

В. Базанов

ОЧЕРКИ
ДЕКАБРИСТСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ



В. Базанов

**ОЧЕРКИ
ДЕКАБРИСТСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

*Публицистика
Проза
Критика*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА—1953

ПРЕДИСЛОВИЕ

Декабризм — одно из замечательнейших явлений русской истории, сказавшееся и в общественной жизни нашей страны, и в ее культуре, и в ее художественном развитии. В. И. Ленин дал нам точное определение декабризма и его места в истории революционной борьбы XIX века. По словам В. И. Ленина, декабристы — *«дворянские революционеры»*. Они были зачинателями того движения, которое после них последовательно расширялось и превращалось постепенно в движение общенародного характера. Важно и отграничить декабристов от последующего революционного развития и найти связь между ними и этим развитием. В. И. Ленин писал о декабристах: «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа». В статье о Герцене, где В. И. Ленин коснулся вопросов декабризма, мы находим замечания, восполняющие общую характеристику декабристских деятелей: «Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию».¹

В истории русской литературы XIX века декабристы и Пушкин были родоначальниками всего, что связано было с прогрессивной мыслью, с мотивами высокого патриотизма, борьбы за лучшее будущее родной страны. Среди декабристов мы находим немало значительных писателей, людей больших дарований, честного пафоса,

¹ В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 18, стр. 14.

энергической и многообразной деятельности: это — Рылеев, Александр и Николай Бестужевы, Кюхельбекер, Александр Одоевский, Владимир Раевский, Михаил Орлов, Николай Тургенев, отчасти Катенин и Федор Глинка.

Декабристы выработали свою эстетику, свое понимание культуры; они не только создали свою художественную литературу и публицистику, но и поставили их на службу передовому общественному движению. О том, что декабристское направление отнюдь не было чем-то побочным для русской литературы, что оно захватило центры ее развития, свидетельствует принадлежность к литературному декабризму Пушкина и Грибоедова. Роль Пушкина и Грибоедова в формировании декабристской литературы была исключительно велика и плодотворна.¹ Без Пушкина и Грибоедова трудно представить себе декабристскую литературу.

В настоящее время мы можем говорить об истории декабристской литературы в связи с историей декабристского движения. Еще Герцен указывал на важность декабристского десятилетия в истории русского освободительного движения.

«Десять лет, протекшие со времени возвращения войск и до 1825 года, — писал А. И. Герцен, — составляют алогей петербургского периода»². Действительно, это десятилетие (1815—1825) богато событиями, и самое знаменитое событие этих лет — декабристское движение, закончившееся восстаниями в Петербурге и на юге России, в Василькове (Киевской губернии).

Вместе с декабристским движением формировалась и развивалась декабристская литература, декабристская литературная пропаганда. В 1812—1815 годы еще не было декабристской литературы как таковой, не было тогда и декабристского движения как сформировавшегося общественно-политического движения эпохи. Но

¹ См. исследования Б. С. Мейлаха «Пушкин и русский романтизм», М. В. Нечкиной «Грибоедов и декабристы» и Д. Д. Благого «Творческий путь Пушкина».

² «О развитии революционных идей в России» — А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем. Под редакцией М. К. Лемке, т. VI, П., 1919, стр. 348 и сл.

преддекабристские идеи в эти годы уже «носились в воздухе», и они находили отражение в современной литературе, в прозе и в поэзии. Не следует забывать, что будущие декабристские писатели — Рылеев, Раевский, Глинка, Катенин и Пушкин — свои первые значительные произведения создавали под прямым впечатлением Отечественной войны. С 1812 года фактически начинается их литературная биография.

Первые опыты декабристской прозы и поэзии создаются в годы энергичной деятельности Союза Спасения (1816—1817), первого декабристского тайного общества.

Достаточно сослаться на знаменитую «Вольность» Пушкина и первые гражданские стихотворения Глинки, Раевского и Катенина, чтобы увидеть наметившийся союз между художественным словом и декабристскими идеями. Декабристская литература тогда только начинала складываться, образуя особое направление, совсем противоположное карамзинизму. Союз Благоденствия (1818—1820) идет на прямое сближение с передовыми литературными силами.

Законоположение Союза Благоденствия — «Зеленая книга» — становится программным литературным документом, определяющим задачи и цели литературного движения. «Зеленая лампа» и «Вольное общество любителей российской словесности» — литературные филиалы этого союза. В эти годы литература становится частью общего декабристского движения, и Союз Благоденствия осуществляет идейное руководство ею. Тогда в литературе еще не было Рылеева, а Александр Бестужев только начинал свою деятельность. Союз Благоденствия был беден литературными кадрами, и расцвет декабристского художественного творчества падает на последующие годы.

1821—1825 годы — самый значительный период в истории декабристской литературы. В годы деятельности Северного общества декабристская литература находится на подъеме, она переживает новый и небывалый этап в своем развитии. Этот период можно назвать *рылеевским*. Рылеев и Александр Бестужев, сдружив слово с оружием, окончательно соединили декабристскую литературу с революционным движением; декабристская поэзия и проза развивались под знаком республиканских

идей Пестеля и Рылеева. О рылеевском периоде в истории декабристской литературы хорошо сказал Герцен в работе «О развитии революционных идей в России»: «Время для тайного политического сообщества было выбрано во всех отношениях прекрасно. Литературная пропаганда шла очень деятельно; душою ее был знаменитый Рылеев; он и его друзья придали ей энергию и увлекательность, которой она никогда не имела ни раньше, ни позже. То были не только слова, но и действия. Чувствовалось определенное принятое решение, сознательная цель; не обманывались насчет опасности, шли твердым шагом, с высоко поднятой головой к бесповоротно установленному исходу». Пушкин и Грибоедов тоже вышли из этой среды, и они являются выдающимися представителями декабристской литературы.

В нашей работе на примере декабристской художественной прозы и публицистики прослеживаются основные пути развития декабристской литературы. На примере поэзии эти пути выясняются еще более отчетливо, но поэты-декабристы (Рылеев, Кюхельбекер, Одоевский, Раевский, Катенин, Глинка) изучены внимательнее всего, тогда как декабристская художественная проза и публицистика до сих пор остаются несколько в тени. Действительно, декабристы создали вполне оригинальную, высокохудожественную и общественно значительную гражданскую поэзию, но и в развитии русской прозы они сделали тоже немало. Превосходно понимая необходимость создания гражданской прозы и публицистики, они даже сетовали на то, что поэзия несколько оттеснила прозу. Н. И. Тургенев в 1819 году писал, что «обстоятельства века» требуют не только поэзии, но и прозы: «Наша словесность ограничивается донныне почти одной поэзией. Сочинения в прозе не касаются до предметов политики. Сия отличительная черта русской литературы делает ее неудовлетворительною для нашего времени». В 1823 году в «Полярной звезде» Александр Бестужев отмечал не без некоторой иронии: «...у нас такое множество стихотворцев (не говорю поэтов) и почти вовсе нет прозаиков». Это сказано в том смысле, что у нас «нет прозаиков», но они должны появиться.

В литературную программу декабристов входило создание поэзии, художественной прозы, критики и публи-

цистики. Об этом красноречиво свидетельствует законоположение Союза Благоденствия, где было сказано о необходимости иметь свою «отечественную словесность». Законоположение предписывало «убеждать, что сила и прелесть стихотворений не состоит ни в созвучии слов, ни в высокопарности мыслей, ни в непонятности изложения, но в живости описаний, в приличии выражений, а более всего в непритворном изложении чувств высоких и к добру увлекающих».

Наряду с созданием высокой декабристской поэзии Союз Благоденствия изыскивал средства «изящным искусствам дать надлежащее направление, состоящее не в изнеживании чувств, но в укреплении, благородствовании и возвышении нравственного существа нашего». Союз Благоденствия рекомендовал заниматься изданием «повременных сочинений, сообразно степени просвещения каждого сословия», равно как участвовать в коллективных занятиях по «сочинению и переводу хороших, нравственных книг» и в «разборе выходящих книг» и т. п. Среди декабристов нашлись не только талантливые поэты, но и прозаики, литературные критики, публицисты, историки и экономисты.

Декабристы обратили внимание на прозу потому, что этот вид литературного творчества отличается наибольшей емкостью, позволяет разрабатывать сложные и многообразные темы, которым подчас тесно в границах стиха. Можно утверждать, что чем богаче становился социальный и исторический опыт декабристов, чем богаче и конкретнее делалась их мысль, тем необходимее оказывалась для декабристов проза во всех ее разветвлениях. Уже на подступах к событиям 14 декабря наблюдается рост декабристской прозы. Теоретические дискуссии, политические проекты, документы политического мировоззрения, документы пропаганды и агитации (катехизисы и воззвания) — все это в литературном отношении означало развитие и укрепление прозаического стиля, слова, сказанного прозой. Значительно разрослась проза декабристов после 14 декабря 1825 года.

В историю декабристской прозы мы вправе включить также и многое из материалов следственного дела. В своих показаниях, устных и письменных, декабристы пытались из роли обвиняемых перейти в роль обвините-

лей. Они хотели перед своими судьями развернуть страшную картину страдающей России, той самой России, которая побудила их к вооруженному восстанию. Из показаний декабристов можно составить целую книгу. Знаменитое письмо Александра Бестужева из Петропавловской крепости может служить примером обличительного красноречия, исходящего из уст подсудимого и обращенного к судьям. Александр Бестужев указывал здесь на несчастья страны, правительство которой «беззаботно дремало», страны, где произвол помещиков, лихоимство чиновников «возвышались до неслыханной степени бесстыдства».

И после катастрофы 14 декабря, в период изгнания, в ссылке, на каторге декабристы в большинстве своем оставались верными движению, своим прежним взглядам. Они размышляли над причинами неудачи, погружались в воспоминания, в анализ фактов, они старались закрепить свои дела в рассказах для потомства, они углублялись в новое изучение истории и печальной действительности своей родины. Декабристы, пережившие неудавшееся декабрьское восстание, стремились создать памятные портреты лучших людей движения — таких, как Рылеев. Образ Рылеева сохранился как в поэзии (в стихах Кюхельбекера и Одоевского), так и в декабристской прозе (в воспоминаниях Николая Бестужева).

Проза декабристов должна рассматриваться широко, ее изучение нельзя ограничивать только явлениями художественной литературы как таковой, потому что у декабристов и роман, и повесть, и политические трактаты, и мемуары, и дружеская переписка очень тесно смыкались между собой. Проза декабристов — это и повести Бестужева-Марлинского, и путевые книги Ф. Глинки, и дневники Николая Тургенева, и письма Михаила Орлова; это, кроме того, этнографические и экономические изучения, производимые декабристами: статьи и очерки Николая Бестужева и Корниловича. Наконец, сюда следует причислить и литературно-критические статьи и манифесты Александра Бестужева, Кюхельбекера, Рылеева, Ореста Сомова и Федора Глинки, сыгравшие выдающую роль в становлении литературы декабризма. Многочисленные воспоминания о пережитом ссылке декабристов (братьев Бестужевых, Якушкина, Пущина,

Оболенского, Штейнгеля, Фонвизина, Горбачевского, Розена, Беляева, Поджио, Завалишина) тоже входят в понятие *декабристская проза*.

Важное место в прозе декабристов принадлежит ораторскому слову. В декабристской среде впервые выработывалось вольное русское красноречие, противоположное по своему смыслу и характеру красноречию официальному, церковному и государственному, а также и тем формам красноречия более частного порядка, но тем не менее официально окрашенного, примером которого являлись публичные выступления в «Беседе любителей русского слова». Ораторское слово декабристов — орудие вольной политической мысли, революционной пропаганды.

Предлагаемая работа не может взять на себя задачу полностью исчерпать наследие декабристов-прозаиков. Ряд явлений декабристской прозы остался за ее пределами. Читатель найдет здесь не все о писателях декабристах и даже не все об их прозе. Разработаны темы, которые казались автору первоочередными и ближе всего стоящими к вопросам истории декабристского литературного движения.

Первые опыты декабристской прозы и публицистики были созданы под непосредственным впечатлением Отечественной войны 1812 года и последовавших за нею событий. В связи с характеристикой самой ранней декабристской прозы и публицистики бесспорный интерес представляют «Письма русского офицера» и «Письма к другу» Федора Глинки, ибо в них идея гражданской и самобытной литературы была впервые поставлена и обоснована опытом 1812 года. В борьбе за гражданскую самобытную литературу большую роль сыграло «Вольное общество любителей российской словесности». В «Вольном обществе» протекали наиболее интересные литературные диспуты, здесь выработывалась декабристская литературная теория.

В настоящей работе нет специальной главы, посвященной декабристской журналистике. Вся первая часть книги написана в основном на материале передовых русских журналов и альманахов первой четверти XIX века («Сын отечества», «Невский зритель», «Соревнователь просвещения и благотворения», «Полярная звезда» и «Мнемозина»). Возражая Н. Полевому, который,

вместо того чтобы «возбудить рвение сотворить то, чего у нас нет, старается унижить даже и то, что есть», а также споря с Вл. Одоевским, пренебрежительно отзывавшимся о русской журналистике и ставившим своей целью «распространить несколько новых мыслей, блеснувших в Германии», Александр Бестужев в 1825 году в «Полярной звезде» писал о русских журналах: «Журналы наши не так, однакож, дурны, как утверждают некоторые умники, и вряд ли уступают иностранным». Для Бестужева было ясно, что такие русские журналы и альманахи, как «Сын отечества», «Соревнователь просвещения и благотворения» и «Полярная звезда», не уступали иностранным журналам, а в некоторых отношениях и превосходили последние. Передовая русская журналистика развивалась под сильнейшим влиянием декабристских идей, она служила делу борьбы с самодержавием, — именно в этом революционном патриотизме состояла ее отличительная особенность.

Усиленное внимание в работе нами уделено Александру Бестужеву-Марлинскому, безусловно самому талантливому и разносторонне одаренному среди декабристов, трудившихся над созданием прозаической литературы и литературной критики. Бестужев-Марлинский так же первенствует в декабристской прозе, как Рылеев в декабристской поэзии. Заслуги этого выдающегося декабристского критика, публициста и прозаика чрезвычайно велики. Автору работы казалось важным внести новые данные и по-новому прокомментировать художественное творчество Бестужева-Марлинского.

Часть первая



· ИЗ ИСТОРИИ
ДЕКАБРИСТСКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО
ДВИЖЕНИЯ



ЛИТЕРАТУРА «ПУТЕШЕСТВИЙ»

* * *

До недавнего времени мы очень мало знали о революционном движении последней трети XVIII и начала XIX века. Новейшие исследования и публикации восполнили этот пробел.¹ Основываясь на высказываниях В. И. Ленина и И. В. Сталина о развитии революционного движения в России, постоянно памятуя, что «кроме России реакционной существовала ещё Россия революционная, Россия Радищевых и Чернышевских, Желябовых и Ульяновых, Халтуриных и Алексеевых»,² советские ученые разрушили буржуазно-либеральную легенду о Радищеве-одиночке и доказали, что у первого русского революционера были единомышленники и преемники, действовавшие с ним рука об руку, находившиеся под его непосредственным влиянием. Революционная теория Радищева нашла плодотворную почву в России

¹ О влиянии Радищева на общественное движение 1790—1800 годов см. К. С. Сивков. «Г. И. Попов — представитель передовой общественной мысли в России конца XVIII века» — «Вопросы истории», 1947, № 12; Л. Светлов. «А. Н. Радищев и политические процессы конца XVIII века» — «Известия Академии наук СССР». Серия истории и философии, 1949, т. VI, № 5; К. С. Сивков. «Общественная мысль и общественное движение в России в конце XVIII в.» — «Вопросы истории», 1946, № 5/6; В. л. Орлов. «Радищев и русская литература». «Советский писатель», Л., 1952, глава вторая; Д. С. Бабкин. «Процесс А. Н. Радищева». М.—Л., изд. АН СССР, 1952, глава «Первые последователи А. Н. Радищева».

² И. В. Сталин. Сочинения, т. 13, стр. 25.

и увлекла многих передовых русских людей, сознательно вставших на путь борьбы с самодержавием и крепостничеством.

Сама попытка обследовать и соответственно прокомментировать новые материалы, свидетельствующие о прочности радищевской традиции в истории русской освободительной мысли и передовой литературы, заслуживает всяческого приветствия. Вместе с тем необходимо отметить, что некоторые исследователи, продолжая разрабатывать тему «Радищев и радищевцы», слишком расширяют круг идейных единомышленников великого русского революционера. В число «радищевцев» стали включаться и совсем малоизвестные писатели, не развивавшиеся в русле передового мировоззрения и не оставившие после себя значительного следа в истории русской культуры. Оказывается, что прослыть «радищевцем» не так уж трудно: необходимо путешествовать по России, посещать курные избы, интересоваться народной поэзией, крестить крестьянских детей, признавать, что крестьяне составляют «драгоценнейшую половину земнородных жителей» и «чувствовать умеют». Так стирается политическая острота самой проблемы и снижается значение Радищева в истории русской общественной мысли. Почетное звание «радищевца» может носить далеко не всякий общественный и литературный деятель, выступавший против «злонравных дворян» и бичевавший пороки современного общества. Здесь требуется тщательный и строгий отбор. Не выходя за пределы литературы «путешествий», ограничимся одним примером: П. И. Челищев и его «Путешествие по северу России в 1791 году».

П. И. Челищев принадлежит к передовым людям XVIII века. Он был близким знакомцем Радищева, вместе с ним учился в Лейпцигском университете и, видимо, испытал влияние со стороны своего великого современника. В 1790 году Челищев был заподозрен Екатериной в соавторстве знаменитого «Путешествия из Петербурга в Москву». Сохранилась записка Екатерины II: «По городу слух, будто Радищев и Щелищев писали и печатали в домовой типографии ту книгу; исследовав, лучше узнаем». Свое путешествие по северу России Челищев совершил вскоре после уничтожения «Путеше-

ствия из Петербурга в Москву» и расправы над Радищевым. Путешествие он начал в мае 1791 года, а закончил в декабре: последняя запись датируется 21 декабря 1791 года. Путевой журнал Челищева был издан Л. Н. Майковым в 1886 году под названием «Путешествие по северу России в 1791 году». В предисловии к книге Л. Н. Майков писал, что «путевые записки Челищева представляют богатый материал для изучения народной жизни русского севера в конце прошлого века и вместе с тем свидетельствуют, что автор их был человек светлого ума, дельного образования и благородного, независимого образа мыслей». На выход в свет «Путешествия» Челищева А. Н. Пыпин откликнулся в «Вестнике Европы» большой рецензией «Вновь открытый писатель прошлого века». Либеральный историк литературы решил значительно уточнить несколько расплывчатую характеристику Л. Н. Майкова. Сравнивая «Путешествие» Челищева с «Путешествием» Радищева, Пыпин пришел к выводу: «Оба писателя, останавливаясь на каком-либо факте, заслуживающем осуждения, и соображая, чем этот факт мог быть вызван, приходят к общим причинам, которые заключаются в невежестве, беспечности местных властей, в отсутствии чувства гражданской обязанности». Для сближения Челищева с Радищевым имелись некоторые основания: 1) Радищев и Челищев вместе учились и в молодости близко знали друг друга; 2) Екатерина имела подозрение, что Челищев принимал участие в создании и печатании «Путешествия из Петербурга в Москву»; 3) хотя подозрение Екатерины не подтвердилось и Челищев не подвергся никакому преследованию, тем не менее он был на дурном счету при дворе; 4) в 1791 году Челищев отправляется путешествовать по России и ведет подробный журнал своего путешествия, в котором вспоминает Радищева. Пыпин ссылается на запись, сделанную Челищевым в Белозерске: «Будучи в Белозерске в доме помянутого диакона Ивана Алексеяева с 27-го на 28-е число ноября, видел сон, будто я, Федор Васильевич Ушаков, Кутузов и двое Радищевых были в одном доме, из которого Радищев и Кутузов бежали, и якобы их опять поймали, и Радищева я видел, а Кутузова не видел»; 5) сочинение Челищева имеет форму дневника, «Путешествие из Петер-

бурга в Москву» — тоже своеобразный путевой дневник. И Челищев и Радищев пишут «путешествие», стремясь познакомиться с бытом и положением народа.

Придавая особое значение белозерскому сновидению и тем страницам «Путешествия» Челищева, где говорится о «беспечности местных властей», Пыпин пошел на прямое сближение «Путешествия по северу России» с «Путешествием из Петербурга в Москву», назвав Челищева «единомышленником Радищева».

Это мнение Пыпина перекочевало в исследования советских историков и литературоведов. М. В. Нечкина в книге «А. С. Грибоедов и декабристы», говоря о Е. А. Кологривовой, урожденной Челищевой, пишет: «Это была родственница известного друга А. Н. Радищева — Петра Ивановича Челищева, автора «Путешествия по северу России в 1791 году», написанного в духе радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву».¹ Вслед за М. В. Нечкиной Н. А. Горбунов в «Путешествии» Челищева находит, наряду с географическим и этнографическим описанием Северного края, «целый ряд выпадов против властей, помещиков и крепостного права».² В. Н. Орлов фактически присоединяется к этой распространенной точке зрения: «В основном книга Челищева посвящена географическим и этнографическим наблюдениям, но в ней встречаются также и смелые выпады против правительства, чиновников и помещиков и выражено горячее сочувствие крестьянам, томящимся в «узах рабства».³ Во всех упомянутых работах о Челищеве говорится между прочим, он не является предметом специального исследования. В книге Д. С. Бабкина «Процесс А. Н. Радищева», представляющей безусловный интерес в своей основной части, вопрос о Челищеве рассматривается более подробно, но уже с явной тенденциозностью. Напоминая, что Екатерина трижды называет имя Челищева в начале следствия по делу Радищева, и приводя подозрение графа Безбородко («что

¹ М. В. Нечкина. А. С. Грибоедов и декабристы. Гослитиздат, М., 1947, стр. 116.

² М. А. Горбунов. Философские и общественно-политические взгляды А. Н. Радищева. Госполитиздат, 1949, стр. 157.

³ В. л. Орлов. Радищев и русская литература. «Советский писатель», Л., 1952, стр. 58.

авторы известной развратной книги господина Радищев и Челищев и что ее печатали в домово́й типографии того или другого из них»), Д. С. Бабкин пытается доказать, что Челищев был арестован после заключения Радищева в крепость, то есть в июле 1790 года.

В итоге появилась еще одна версия: Челищев не только «единомышленник» Радищева, но и его «союзник»: он был в 1790 году арестован и заточен в Петропавловскую крепость.

Исследователь опубликовал два стихотворения: «Стон несчастного дворянина» и «Благотворный мой избавитель». В первом стихотворении говорится о страданиях «несчастного дворянина» («различные беды мои»), о черной «зависти», о каких-то гонениях и доносах. Можно догадываться, что автор этого стихотворения пережил ряд несчастий и бед, был в изгнании, просил «великую царицу» принять «оправданье» и дать «свободу».

Стихотворение «Стон несчастного дворянина» написано не твердою рукой общественного борца, единомышленника Радищева: это «покаянное» стихотворение, написанное человеком, отрекающимся от прежних увлечений и просящим монаршей милости:

Царица! Ты правду считаешь
И милость для нее творишь.
Злодея по делам караешь
И тут его еще щадишь!
Твоих ног к праху повергаюсь,
В чем виновен, в том тебе я каюсь.
Будь воля надо мной твоя:
Рассудка моего незрелость
И пагубна младых лет смелость —
Вот истинна вина моя.

Если эти верноподданные стихи написаны Петром Челищевым в 1790 году, в связи с делом Радищева, как это думает Д. С. Бабкин, то в таком случае совсем странно выглядит такой «единомышленник» великого революционера. И как тогда понять стихи, направленные против какого-то «злодея»:

Злодея по делам караешь
И тут его еще щадишь!

В действительности все оказалось значительно проще. На одной из творческих дискуссий в Институте

русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом), когда обсуждалась книга П. Н. Беркова «История русской журналистики XVIII века», А. В. Западов напомнил, что список стихотворения, которым пользовался Д. С. Бабкин, подписан буквами «Н. Ч.».¹ Д. С. Бабкин на 62-й странице своей работы говорит именно об этом списке, принимая «Н. Ч.» за обычную опisku переписчика: «По содержанию стихотворения, в котором имеется ряд автобиографических черт, видно, что оно принадлежит П. И. Челищеву, но владелец сборника по ошибке написал: «Н. Челищев». Однако это не была ошибка владельца сборника. А. В. Западов обратил внимание на другой список того же стихотворения, оставшийся неизвестным Д. С. Бабкину; этот список имеет пометку: «прислано из Сибири от Н. Ч. Екатерине II». Известно, что Петр Челищев никогда в Сибири не был. Кроме П. Челищева был, оказывается, еще Н. Челищев, который и является фактическим автором стихотворения «Стон несчастного дворянина». Таким образом, из гипотезы Д. С. Бабкина о Челищеве-узнике выпадает первое и самое важное доказательство.

Стихотворение «Благотворный мой избавитель» принадлежит Петру Челищеву, в этом не может быть сомнений. Но и это послание, адресованное Д. П. Трощинскому, проникнуто верноподданническим настроением. Удивительнее всего, что последнее стихотворение также используется Д. С. Бабкиным для доказательства того, что Челищев в 1790 году сидел в Петропавловской крепости и являлся союзником Радищева.

«Челищев называет Трощинского избавителем за то, — пишет Бабкин, — что он изъясил его из тюрьмы, или, как он выражается, «из хляби алчна вещества». В начале стихотворения он пишет ему:

Душою сострадаю,
Мою зря горьку часть
И в черную напасть
Терзающу вникая,
Реченье истины направил
И кротку божеству представил
Изъять меня из хляби алчна вещества.

¹ См. Стенографический отчет Института русской литературы АН СССР (Пушкинский дом), 1953 г.

В этом стихотворении Челищев не указывает прямо места своего заключения, он аллегорично называет это место «фатальным ковом, обрытым рвами». Можно предпологать, что таким «фатальным ковом» явилась для него, так же как и для Радищева и многих других последующих поколений революционеров, Петропавловская крепость. Вряд ли эпитет «фатальный» можно было применить к какой-либо другой тюрьме. К тому же, как известно, Петропавловская крепость, граничащая с одной стороны с Невой, с других сторон окружена рвом, наполненным водой.

Челищев, не называя прямо всемогущей Тайной экспедиции, во власти которой он очутился, говорит Трощинскому о том, что из этого «фатального кова» его никто не в состоянии был освободить, кроме Фелицы, то есть Екатерины II. Он пишет:

Когда торжествовал мой враг,
Остря свой взор, скрипя клыками,
Фатальный ков обрывши рвами,
Из их когтей чтоб исхитить
Единой было лъзя орлице,
Великой той душе, Фелице,
Извлечь и жребий тяжкий облегчить,
Чертог тогда не ты отверз мне божества?

Тюремный режим был создан для Челищева, очевидно, такой же тяжелый, как и для Радищева. Никакие вопли и мольбы не смогли смягчить этого режима». ¹

Подобное толкование стихотворения «Благодарный мой избавитель» следует отнести за счет фантазии исследователя. «Хлябь алчна вещества» и «фатальный ков обрывши рвами» — непременно, по Бабкину, Петропавловская крепость, окруженная рвами, тюремный режим и прочее и прочее. Конечно, так легко дойти и до Илимского острога. Но подобные олицетворения и метафоры постоянно встречаются в псалмодических стихотворениях, в песнях ветхозаветных пророков. Челищев благодарит Екатерину за то, что она «исхитила» из «когтей» врагов и «клеветы», облегчила его жребий», но он ни слова не говорит о Петропавловской крепости или «какой-либо другой тюрьме».

¹ Д. С. Бабкин. Процесс А. Н. Радищева, стр. 62—63.

Радищев в своих показаниях не «рассеивал носившиеся подозрения и слухи о Челищеве», а говорил только правду. «Что Челищев ему знаком, — отвечал он на вопросные пункты Шешковского, — сего он не отрицает, потому что он с ним был товарищем в Лейпциге в университете; что ж касается до связи и советов, как по сему сочинению, так и о других делах, то он никакого с ним сообщения не имел и к нему и в дом уже более двух годов не приезжал». Пути Радищева и Челищева разошлись еще до 1790 года. Этим, может быть, и объясняется несколько загадочный разговор с приятелем Ч. в «Путешествии из Петербурга в Москву». Приятель Ч., как рассказывает Радищев, решил, что «мщение будет бесплодно», и «смирился», предпочел уединиться, замкнуться в самом себе, уйти от социальных битв. Еще современники Радищева не без оснований предполагали, что под приятелем Ч. выведен П. И. Челищев. Радищев к проповеди подобного индивидуализма, к бегству от борьбы относится резко отрицательно.

Историки литературы не желают внять голосу самого Радищева. Все ссылаются на дружбу Радищева и Челищева в годы студенческой жизни. Кутузов учился вместе с Радищевым, однако он стал мистиком и реакционером. Все ссылаются на Екатерину, которая подозревала Челищева в вольнодумстве. По всей вероятности, Челищев в молодости действительно был вольнодумцем и испытал на себе гонение Екатерины, но в историко-литературных трудах речь идет о «Путешествии по северу России в 1791 году». Следуя по стопам некоторых известных историков литературы, кандидат филологических наук К. В. Чистов опубликовал в петрозаводском журнале «На рубеже» специальную статью «Путешественник по северу России в 1791 году». Автор статьи именует Челищева «другом и соратником» Радищева, «истинным патриотом и демократом», «одним из замечательных вольнодумцев XVIII века»; он ратует за то, чтобы «восстановить правдивый облик друга и единомышленника Радищева». По словам К. В. Чистова, Челищев-путешественник «рисует ужасающую нищету карельского и архангельского крестьянства, экономическую запущенность края, гневно разоблачает антинародную и антипатриотическую экономическую поли-

тику Екатерины». «Совершенно так же, как в «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищева, *главный герой книги П. И. Челищева — крестьянин, представитель трудового народа*. Простому народу отдает он все свои симпатии, любовь и внимание, и, наоборот, господствующие классы вызывают у него ненависть, гнев и презрение... Безнравственности и разврату, царящим в чиновной и монашеской среде, противопоставляет он целомудренность крестьянских девушек — сестер радищевской Анюты, не желающих работать на фабрике потому, что там работниц «на всякое непотребство попускают». Под пером К. В. Чистова просветитель-постепеновец Челищев становится революционером, который, подобно Радищеву, «присматривается к различным формам проявления стихийного протеста в народной среде». Хотя Челищев и не ставит прямо проблему крестьянской революции, но подходит к ней «вплотную» и уже видит, что «переворот должен произойти в интересах трудового народа». «Совершенно так же, как в «Путешествии» Радищева, Челищев показывает полную несостоятельность полумер и реформ свыше... Челищев, так же как и Радищев, исполнен предчувствия близости больших и грозных событий, которые, несомненно, приведут к изменению существующего порядка вещей». Несмотря на ряд оговорок («Было бы несомненным преувеличением приписывать Челищеву радищевскую ясность и твердость политических взглядов»), К. В. Чистов утверждает, что Челищев был «близок к радищевской концепции неизбежности народной революции».¹

Особое значение придается тому факту, что в Архангельске служил родной брат Александра Радищева — Моисей Николаевич Радищев. Отсюда попытка доказать особый смысл поездки на север: Челищев поехал не просто изучать малоизвестный край, а непременно встретиться с Моисеем Радищевым и через него установить переписку с Александром Радищевым, который, кстати сказать, тогда находился в пути в Илимский острог. Почувствовав, что путешествие Челищева по северу России трудно свести к встрече с Моисеем Радищевым, К. В. Чистов тут же оговаривается: «Между прочим, вполне

¹ «На рубеже», 1952, стр. 71—80.

вероятно, что второй целью поездки было стремление на время исчезнуть из Петербурга, где аресты и ссылки следовали один за другим». Однако поведение Челищева во время поездки не подтверждает этого предположения. Путешественник разъезжает совершенно открыто, постоянно встречается с местными властями, присутствует на официальных приемах, ведет переписку с архангельским губернатором, добивается открытия памятника Ломоносову и через шесть месяцев благополучно возвращается в Петербург. Наивно думать, что поездкой в северные губернии Челищев мог отвести от себя удар самодержавия, скрыться от расправы. В комментариях к «Путешествию из Петербурга в Москву» в издании «Academia» между прочим говорится, что Челищев поехал замаливать грехи, но отнюдь не устанавливать связи с ссыльным Радищевым. «Поездка предпринята была, повидимому, по обету поклониться святыням Севера и посетить все его церкви и монастыри. Челищев был человек набожный и, может быть, дал обет, опасаясь ареста, суда и наказания за связь с Радищевым. Большую часть дневника занимает описание святых. Есть, однако, немало и таких мест, которые свидетельствуют о большой наблюдательности автора».¹ Допустим, что составитель данного комментария совсем неправ. Но каковы же доводы тех исследователей, которые видят в Челищеве-путешественнике «идейного единомышленника» Радищева? И Пыпин и все последующие авторы, писавшие о Челищеве, ссылаются на одни и те же страницы из «Путешествия по северу России». Стремясь к максимальной объективности, процитируем наиболее красноречивые высказывания путешественника.

«Скажите мне, раскормленные питомцы роскоши и праздности, как можете вы пышными знаками почестей украшаться монархов ваших, их обременять неумолкающими и сильными требованиями то чинов, то знаков, то денег, то вотчин, когда под игом вашего нерачения загнанная истина молчит, невинность стонет, все степени страждут, никто не находит своего права, а вы, величаясь, напрасно просыпаете ненадобный век в вредном

¹ А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву, т. II. «Academia», 1935, стр. 363.

вашем для всех изобилии». ¹ В том же самом очерке «От Тихвинского монастыря до Санкт-Петербурга», где довольно резко сказано о «беспечных тунеядцах», Челищев спрашивает: «Почто не доискиваете вы до источника разнообразных пород бедствий и злодейств? Отрите мрак очей ваших, войдите подробно в хижины поселян всех степеней: вы найдете их источник, болезнь, лекарство, блаженство их и ваше. Смотрите: повсюду бедность, праздность, скука; повсюду малая прибыль, а величайший труд. Сколько ж должен человек наклониться к злу, нежели к добру? Самый и климат зовет народ наш к праздности; а праздность, известно, мать пороков. В чужих краях дает крестьянину щедрая природа девять месяцев на работы, а три — на отдохновение; у нас же четыре месяца на работы, а восемь на обременительную праздность. Там же, по многолюдству поселян, пахарь должен пропитать пять душ, а у нас приходится верно больше осьми, то есть жену, старого, малого, дворян, служащих, духовных, солдат, штатских, купцов, посадских, рукодельцев, — весь северный край по строгости климата не пашущий, — и отправляете хлеб в чужие края! Вот отчего наш крестьянин видится и есть изнурен! Он четыре месяца денно и ночью обливается потом неусыпно, а восемь печется на печи». ²

Именно эти тирады навели Пыпина на мысль, что Челищев является единомышленником Радищева. Однако если посмотреть на самые смелые высказывания Челищева более пристально, то в них не обнаружится ничего похожего на радищевские взгляды. Путешественник объясняет крестьянскую нищету не социальным бесправием, а тяжелыми климатическими условиями, постоянными неурожаями, отсутствием промышленных предприятий, где бы крестьяне могли применить свой труд (четыре месяца работают, а восемь лежат на печи), нерадивостью чиновников и тому подобное. Пыпин не случайно сравнивал Челищева с Радищевым, для него и Радищев был не более как предшественник дворянских либералов, борющийся с «невежеством, беспечностью

¹ «Путешествие по северу России в 1791 году. Дневник П. И. Челищева». СПб., 1886, стр. 271.

² Там же, стр. 273.

местных властей». Для него Челищев и единомышленник Радищева, и «богомольный путешественник», «церковный статистик». «Религиозный интерес до того господствует в его книге, — пишет Пыпин о Челищеве, — что как будто ее целью было не описание природы и народного быта местности, виденных путешественником, а исчисление всех церквей, монастырей и всяких предметов поклонения, которые могли представиться усердному богомольцу».

Нужно удивляться не Пыпину, а тем советским исследователям, которые, оперируя двумя-тремя цитатами, усмотрели в «Путешествии» Челищева выпады против помещиков и крепостного права. Ни о помещиках, ни о крепостном праве в «Путешествии по северу России» вовсе не говорится. В Олонецкой и Архангельской губерниях не существовало крепостного права и не было помещиков, а путешественник писал о так называемых «государственных» крестьянах. Правда, Челищев побывал в Вологодской и в Петербургской губерниях, где было поместное землевладение, но здесь он собирал сведения о монастырях и церквях, интересовался фауной и флорой русского севера, говорил об экономике края и крестьянских ремеслах.

Основное внимание Челищева было направлено в сторону монастырей, церквей, часовен, раскольниковских скитов. В крестьянских избах путешественник пил чай, а в церквях служил молебны, потом записывал в свой путевой дневник имена всех святых и подробно рассказывал о церковных празднествах. Если сравнить подробнейшее описание монастырей и церквей с беглыми зарисовками крестьянской жизни, то не будет никакого сомнения, что «Путешествие по северу России» написано совсем с иных позиций, нежели «Путешествие из Петербурга в Москву». Челищев иногда отмечает в монастырях позорные явления, однако критика пьяных монахов еще не делает путешественника атеистом. В противоположность Троицкому монастырю на Сухоне, где управляют благочестивые монахи, Челищев рисует Кирилловский Белозерский монастырь, где наместник пьет запоем, а братья если «не напились до мертва, то это для того, что у них не только вина и пива не было, но даже и дурного квасу в обрез стало». Челищев недоволен белозерскими монахами еще и потому, что 24 ноября,

день тезоименитства императрицы-«благодетельницы», не отметили они торжественно, не били в большие колокола. Подобную критику монастырской жизни и порядков вполне мог допустить в своих отчетах на имя генерал-губернатора любой благонамеренный губернский чиновник.

В своем «Путешествии» Челищев очень мало сказал о крестьянском житье-бытье. Касаясь положения олонечкого крестьянина, путешественник пишет: «Живущие по обеим сторонам Онега дворцовые и экономические крестьяне почти все раскольники, живут очень бедно, ибо хлебопашества у них еще меньше, нежели у крестьян, живущих по Свири, да и урожай гораздо хуже...»¹ Вот и все, что говорит дневник Челищева о крестьянской бедности. Вообще, путешественник не любит задерживаться в крестьянских избах. Сведения о встречах с крестьянами чрезвычайно скупы: «...из оной деревни, в доме крестьянина Лариона Ипатова отужинавши, поехали в исходе второго часа пополудни»; «по приезде ж в деревню Босыngu, в доме же крестьянина Романа Филиппова напившись чаю, поехали в половину седьмого часа пополудни» и т. д. Ясно, что такие краткие рассказы о чаепитии за крестьянским столом не могут идти ни в какое сравнение с теми потрясающими картинами народного горя, которые содержатся в знаменитом «Путешествии» Радищева. Путешествуя по русскому северу, трудно было обойтись без крестьянской избы: здесь не было дворянских усадеб, и путешественник волей или неволей должен был в крестьянской избе отогреться, пить чай, устраивать себе временный отдых. Исследователей особенно трогает тот факт, что Челищев пристил крестьянских детей. Но покумиться с олонечким крестьянином или однажды содействовать счастливому браку крестьянской девушки и парня — это далеко еще не показатель сближения с народом. Наивно думать, что путешественник, посещающий крестьянские избы, непременно переходит на позиции народа, становится выразителем народных надежд и чаяний, продолжает дело Радищева. Известно, что Петр I, путешествуя по Олонецкой губернии, тоже заходил в крестьянские

¹ «Путешествие по северу России...», стр. 19.

избы, бывал на крестьянских свадьбах, крестил крестьянских детей, однако никому не приходило в голову превращать Петра I в «радищевца». Челищев изображает внешнюю сторону крестьянской жизни, он более или менее подробно рассказывает о крестьянских промыслах, об огородничестве и охоте, о рыбной ловле и лесоразработках, о ремесленниках и ремеслах. Вот наиболее типичное изображение крестьянского труда: «Оные крестьяне, живущие по большей части поблизости Белого моря, промышляют ловлею в нем морских зверей и рыб. При устьях в Белое море реки Двины как стоячими, так и тяглыми, большими и малыми, редкими и частыми неводами семгу, сельдей, корех и камбал в немалом количестве, особливо сельдей ловят в одной тоне воез по пятнадцати».¹ Путешественник не любит философствовать и рассуждать, он ведет сухие, почти протокольные записи: «Во оном Выгозере ловится рыба: лещи, сиги, щуки, окуни, плотицы, ерши и ряпуга». Подобные описания биосферы не имеют никакого отношения к радищевскому социальному народознанию.

Челищев в своем «Путешествии» лишь слегка коснулся проблемы народности. Совершив поездку по Олонецкой и Архангельской губерниям, где живым ключом была народная поэзия, путешественник не проявил сколько-нибудь должного внимания к духовному миру крестьян. Челищев интересовался по преимуществу церковной стариной и воспоминаниями о Петре I. Он записывал легенды об основании Прилуцкого монастыря, предания о преподобном Корнилии, рассказы о разбойнике Анике, но не народные причитания, сказки, песни, которыми так дорожил Радищев. Фольклорно-этнографический материал в «Путешествии» Челищева имеет случайный характер и ни в какой степени не характеризует народную жизнь и народную поэзию северного края.

О «Путешествии по северу России» следует судить по содержанию всей книги, то есть не пользоваться двумя-тремя избранными цитатами, а иметь дело со всем составом высказываний автора. Челищев действительно положительно отзывывается о трудолюбии северных крестьян, он верит в силу прогресса и просвещения,

¹ «Путешествие по северу России...», стр. 109—110.

желает, чтобы русский север из края заброшенного и патриархального превратился в край экономически развитой и богатый. В «Путешествии» содержатся выпады против плутов и казнокрадов, против «беспечных тунеядцев» и «питомцев роскоши», забывших о чести гражданской службы. Но эти выпады не создают основного пафоса книги. К тому же в критике правящих классов Челищев никогда не переходит дозволенных границ: разоблачая отдельные недостатки, он не трогает социального строя, не громит дворян-помещиков и тем более «казанскую помещицу». Д. С. Бабкин и К. В. Чистов ссылаются на челищевскую характеристику олонецкого генерал-губернатора Тутолмина, который украл у горного инженера Толстого слиток золота и «схватил Владимира первой степени». Но сибарита и тунеядца Тутолмина еще более основательно критиковал Г. Р. Державин. Об этом исследователи забывают. Челищев пытается примирить две непримиримых социальных силы: «блаженство народное» и самодержавие («пользу государю»). Отсюда его идейная ограниченность и постоянные противоречия. Обращаясь к русским женщинам с призывом не обременять себя узами семейного рабства, «возжигать одним взором огонь мщениия», заниматься общественно-полезным трудом и тому подобное, Челищев в то же самое время замечает: «знай всяк сверчок свой колчок». Он ставит в пример и всячески восхваляет архангельскую генерал-губернаторшу, которая «имеет множество душевных свойств». Путешественник хочет писать о русской женщине, а говорит о губернаторше! О Дуняшах и Анютах, прославленных Радищевым, Челищев пишет очень мало, да и то в связи с губернаторским особняком, где крестьянские девушки находят приют и ласку. «Не плачь, Дуняша, живи только хорошо, через год я тебе порука, что ты у генеральши будешь не только принята, да даже у нее будешь любимая работница», — говорит мать, уговаривая свою дочь идти к губернаторше-«благодетельнице» в прислуги-руководельницы. Другая мать говорит дочери, которая неохотно соглашается идти на работу к губернаторше: «Эй, Анюта, полно!» Это совсем другая героиня, и напрасно К. В. Чистов считает, что Челищев изображает «сестер радищевской Анюты». Радищев был горд

за свою Анюту, которая любой ценой добивалась независимости и личного счастья. В рассказе об Анюте и ее женихе (глава «Едрово») Радищев с восхищением писал о высокой нравственности «сельских жителей»: «Я не мог надивиться, нашед толико благородства в образе мыслей у сельских жителей».

Желая все что бы то ни стало превратить Челищева в революционера, в единомышленника Радищева, К. В. Чистов крайне субъективно излагает некоторые факты. Так, например, он обычную религиозную проповедь Кирилла Новоезерского, в которой речь идет о «мятеже в людех», о грехопадении, о необходимости смирять страсти, превращает в своеобразную революционную аллегорию. В воображении автора статьи К. В. Чистова Кирилл Новоезерский в своей проповеди намекает на революционную ситуацию в России, и путешественник как бы использует этого монаха для пропаганды радищевских взглядов. Это уже похоже на явную фальсификацию. Но К. В. Чистов умалчивает о том, что Челищев боится народных возмущений, что ему совсем чужда радищевская революционность. В «Путешествии по северу России» Челищев называет «злодеями» атамана Репку и есаула Гуляева, которые решили «пошупать» помещиков. Путешественник надеется, что губернаторы наведут порядок и «бродяги» не будут больше разгуливать по большим дорогам.

«Путешествие» Челищева находится в одном ряду с *учеными* «путешествиями», но оно не является «путешествием» революционера, возлагавшего надежды на народную революцию. Вопрос о Челищеве-путешественнике бесспорно представляет интерес для историков и этнографов, занимающихся изучением русского севера. Не может пройти мимо Челищева и историк русской литературы. «Путешествие» Челищева — путешествие за делом, с целью познать малоизвестный край. Челищев дорожит статистическим и историческим материалом, он проявляет много наблюдательности, с усердием изучает экономику края и частично народный быт. Путешественник подробно рассказывает о флоре и фауне русского севера, о монастырях и церквах, о крестьянских ремеслах и промыслах, о пребывании в Олонецкой и Архангельской губерниях Петра I, о родине Ломоносова. Го-

воря о научных предметах, собирая этнографические сведения и статистические материалы, Челищев проходит мимо теневых сторон русской действительности: он не жалуется ведомственным чиновникам, погрязших в самоуправстве и взяточничестве, обирающих «бедных людей». Челищев ратует за процветание торговли и купеческого сословия, говорит о необходимости развития мануфактур и фабрик, усовершенствованного лесоводства, он интересуется природными богатствами и производственной жизнью русского севера, не пренебрегает статистическими данными, ведет свое повествование в строгом и даже несколько скупом плане, чуждаясь всякой риторики и поэтических украшений. Еще Ломоносов доказывал необходимость подобных ученых «путешествий», он призывал русских путешественников изучать природные условия и бытовые особенности России, создавать этнографические и географические описания родной страны. П. И. Челищев внес свой вклад в экономическое и историческое изучение Карелии и Архангельской губернии, заслуги его в этом отношении не вызывают сомнений.

В создании ученых «путешествий» принимал самое непосредственное участие и Радищев, как автор «Путешествия из Петербурга в Москву» и как автор сибирских путевых дневников и краеведческих исследований («Записки путешествия в Сибирь», «Дневник путешествия из Сибири», «Сокращенное повествование о приобретении Сибири», «Письмо о китайском торге», «Описание Тобольского наместничества»). В «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищев выступает и как ученый, и как писатель-гражданин, и как философ, и как революционер. Радищев — вершина политической мысли XVIII века, теоретик и сторонник крестьянской революции. Изображать же Челищева соратником и единомышленником Радищева значит грешить перед исторической правдой, находиться во власти теории «единого потока».

* * *

Вокруг наследия Радищева велась напряженная и длительная борьба. Остановимся прежде всего на литературе «путешествий». Этот жанр мы берем не по ана-

логии с «Путешествием из Петербурга в Москву». Для нас важно понять эволюцию жанра в годы Отечественной войны и заграничных походов. Отсюда появляется необходимость напомнить о существовании карамзинистской литературы «путешествий», об эпигонах Карамзина, борьба с которыми в то время только еще разгоралась. Вот некоторые из них, появившиеся вскоре после «Путешествия» Радищева: «Путешествие в полуденную Россию» В. И. Измайлова (1800—1802), «Путешествие по всему Крыму и Бессарабии» П. Сумарокова (1800), его же «Досуги Крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду» (1803), «Моя прогулка в А., или Новый чувствительный путешественник К. Г.» (1802), «Путешествие в Казань, Вятку и Оренбургскую губернию» М. Невзорова (1803), «Путешествие в Малороссию» и «Второе путешествие в Малороссию» (1803) князя П. Шаликова и т. д. Все эти многочисленные «путешествия» не имеют никакого отношения к народу, к его реальной жизни, в них на первом плане стоит образ сентиментального путешественника и пасторальные картины. В тогдашней литературе «путешествий» легко обнаруживаются две линии: линия политической критики, гражданской активности, гражданского протеста и линия официального благополучия, казенно-дворянской идиллии. «Чувствительные путешествия» можно было писать, не выходя из своей комнаты. В дороге путешественники-карамзинисты только тем и занимались, что пили кофе с «чувствительными друзьями», читали дамам сентиментальные элегии, любовались лугами, усыпанными «желтыми, лиловыми и голубыми цветочками», восклицая при этом: «О природа! О чувствительность!» За все путешествие князь Шаликов два раза встречается с крестьянами: первый раз в храме, во время богослужения, второй — на сельском празднике. «Чувствительный» путешественник, в котором без труда угадывается обыкновенный крепостник, старается вызвать впечатление полного благополучия и гармонии деревенской жизни; крестьяне пьют горелку и водят хороводы, «добрые помещики» им всегда покровительствуют. Так вырисовывается образ российского крепостника, живо воспринимающего и живо толкующего родную действительность.

«Путешествие в полуденную Россию» В. Измайлова мало чем отличается от путешествия князя Шаликова, хотя в нем и содержатся некоторые исторические сведения. На первом плане и здесь стоит «сам друг с собачкой», потом «и небо, и травки, и поющие птички, и шумящие ручейки», и снова — «собственное бытие мое». Даже героическое прошлое русского народа не волнует сентиментального путешественника: он проезжает по местам Куликовской битвы, однако об историческом событии, вдохновившем Рылеева на гражданскую «думу» о Дмитрии Донском, автор «Путешествия в полуденную Россию» рассказывает вялыми словами, и на Куликовском поле он видит всего лишь... «овечек в стаде» и «зеленые лесочки». О Куликовской битве Вл. Измайлов пишет дословно следующее: «Набежали орды татарские, наполнили ужасами войн сердца мирных пастушков и обагрили кровью поля и луга, где паслись счастливо невинные овечки». Образ путешественника ясен до мелочей. Путешественник странствует под отечественным небом «с мирною душою». Объехав почти всю «полуденную» Россию от Москвы до Кавказа, Вл. Измайлов на своем пути встретил однажды «двух Нимф, двух целомудренных Диан», что означало на языке путешественника — сельских девушек. В письме XVIII о крестьянской семье сказано более подробно, но столь же приторно: «Муж, молодой и прекрасный собой, с женою еще прекраснейшею сидели оба за работой: он ткал холстину, она пряла шерсть». В оглавлении «Путешествия в полуденную Россию» это письмо названо: «Горячие любовники в крестьянском состоянии».

В «Путешествии в Казань, Вятку и Оренбургскую губернию» Максима Невзорова содержится описание нравов и обычаев местных жителей, сообщаются некоторые сведения о Нижнем-Новгороде, о Минине и Пожарском, о Казани и борьбе русских с татарами, о павловских мастеровых и т. д. Однако исторический, географический и этнографический материал в «Путешествии» Невзорова привлекается в исключительно малых дозах и чаще всего в качестве экзотического привеска к лирическим отступлениям. Картины «веселости простых крестьян», в частности изображение праздника в селе Заблиговский погост, не выходят за рамки традиционного сенти-

ментального путешествия. Невзоров ограничивается риторическими восклицаниями: «Какая чистота! какое здоровье! какая свежесть в их лицах! Полнота их состава есть точное изображение весны, когда тучная Флора дышит прелестными и чарующими ароматами».¹ В изображении собственно крестьянской жизни Невзоров идет по проторенной карамзинистами дорожке.

Просматривая литературу «путешествий», не трудно убедиться, что главными поставщиками этого жанра являлись эпигоны Карамзина. В их дневниках и письмах центральная тема эпохи, тема крепостнической России, состояния народных масс вовсе обходилась или искажалась до неузнаваемости. Вместо неприглядной правды — «красивые картинки», «гармония и порядок», восхищение природой и те нежные и приятные чувствования, которые постоянно возбуждает в себе сентиментальный путешественник. Это были особого рода путешественники, дворяне-бездельники, забавляющиеся игрою в литературу. Крепостники охотно брали на себя эту роль носителей душевной утонченности. В их письмах и дневниках пропадает подлинное лицо автора, и жизнь вокруг автора и сам автор подменяются «чувствительными» выдумками. Господа дворяне, искатели возвышенных и трогательных впечатлений, разъезжали по России в мрачные годы царствования Павла I, когда из пятидесяти двух губерний тридцать две были охвачены крестьянскими восстаниями, когда произвол помещиков принимал неслыханные размеры и ропот в народе не затихал ни на минуту.

Реакционная литература «путешествий» явилась на свет божий через пятнадцать лет после нашумевшего «Путешествия из Петербурга в Москву». «Путешествие» Радищева не называлось прямо, оно даже часто не подразумевалось, однако объективно вся эта мелкотравчатая литература карамзинистов означала сознательную и бессознательную, скрытую и открытую борьбу с идеями русских просветителей и защиту феодально-крепостнической идеологии. Уже одного того обстоятельства, что

¹ Максим Невзоров. Путешествие в Казань, Вятку и Оренбургскую губернию, ч. I, М., 1803, стр. 51.

«чувствительные» авторы подвизались в рамках общего с Радищевым жанра «путешествия», было достаточно для сопоставлений и полемики.

Сентименталисты совершали свое путешествие по России, как бы споря с Радищевым, как бы стремясь вытеснить из сознания читателей картины и настроения, вызванные путешествием Радищева: «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала». Так писал Радищев. Где Радищев обличает и негодует, там сентиментальные путешественники умиляются и испытывают лирический восторг. Вместо рассказа о «страданиях человечества» — страданиях крепостного русского мужика — читатель слышал от них длинную повесть о томительных, сладких переживаниях, насыщающих их растроганную душу. Сентименталисты оказывают сопротивление Радищеву и в области общих взглядов и идей и по отдельным частным поводам. Общий с Радищевым жанр «путешествия» приводит их в соприкосновение и с отдельными частными эпизодами и мотивами, с которыми этот жанр связан был у Радищева, и тут они ведут, по тому или другому конкретному поводу, свою полемику с Радищевым, дополняющую их полемику с ним по центральным и основным вопросам. Сентименталист князь Шаликов вооружается против радищевского толкования человеческой личности.

У Радищева человек — активная сила, призванная перестроить земной мир сообразно своим коренным потребностям. Шаликов твердит о греховности всего земного, о святости небесного, о бесплотности человеческого разума. Во всем, что относилось к изображению крестьянской жизни, коренных явлений русской действительности, оппозиция Радищеву, гуманисту, демократу и революционеру, сказывалась совершенно очевидно, хотя и без ссылок на «Путешествие из Петербурга в Москву» — на книгу, запрещенную и уничтоженную Екатериной II.

* * *

В те же самые годы, когда карамзинисты своими писаниями пытались устранить радищевскую традицию, в защиту Радищева выступали И. П. Пнин, И. М. Борн,

В. В. Попугаев, высоко превозносившие своего учителя, мужественного борца и писателя-гражданина, погибшего в борьбе с самодержавием. Но особенно важно, что в творчестве писателей-радищевцев (философско-публицистический «Опыт о просвещении относительно к России» Пнина, политический трактат «О благоденствии народных обществ» Попугаева, его же замечательный очерк «Негр», гражданские стихотворения Ивана Борна и Василия Попугаева) радищевские идеи нашли художественное и публицистическое воплощение. После исследования В. Н. Орлова «Русские просветители 1790—1800-х годов» нет необходимости доказывать, что передовые писатели-публицисты, объединившиеся в первые годы XIX века в «Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств», пытались в своей литературной деятельности сохранить радищевские идеи и проблемы, во многом разделяя с великим деятелем литературы его взгляды и убеждения.¹

¹ Отмечая положительное значение книги В. Н. Орлова «Русские просветители 1790—1800 годов» и отдавая должное исследователю, осветившему в своем безусловно интересном и значительном труде общественную и литературную деятельность целой группы прогрессивных и демократически настроенных поэтов и публицистов 1790—1800 годов, мы не можем согласиться с преувеличенной оценкой художественной практики некоторых поэтов-радищевцев и их роли в дальнейшем развитии русской поэзии. В. Н. Орлов утверждает, например, что Иван Пнин «выдвинул и обосновал новые критерии художественности, отменяющие нормативные критерии феодально-крепостнической эстетики» (см. изд. 2-е, стр. 408). Во-первых, остается неясным, что это за «феодально-крепостническая эстетика», которую непременно должен был «отменить» Иван Пнин. Во-вторых, «новые критерии художественности», которые «выдвигал и обосновывал» тот же Пнин, на деле оказываются не столь уж новыми. Иван Пнин в «Послании к некоторым писателям» (именно на это «Послание» ссылается В. Н. Орлов) оправдывает «весьма слабые» сочинения:

Попадется сочинение
В ваши руки весьма слабое,
И которое исполнено
Недостатков и погрешностей,
Да и слишком худо писано,
Но имеет цель полезную,—
То послушайте, друзья мои,
Еще хуже вы поступите,

Конечно, ни Пнин, ни Борн, ни Попугаев (а именно их зовут «радищевцами») не поднимались до уровня Радищева-просветителя, не говоря уже о Радищеве-революционере, но это нисколько не мешает говорить о радищевской традиции, о последователях Радищева. Всегда, не только «вослед Радищеву», но и в годы декабристского движения и в эпоху Чернышевского и Добролюбова, были выдающиеся деятели, властители дум молодого поколения, но были и их ученики, рядовые участники литературной жизни и общественной борьбы, которых нельзя равнять с Радищевым и Чернышевским, но нельзя выдающихся героев изолировать от их окружения. Едва ли можно согласиться с П. Н. Берковым, который считает, что «радищевцем» может считаться исключительно «революционер, признающий справедливость, законность и историческую неизбежность крестьянской революции». «Поэтому правильнее называть И. П. Пнина, — пишет П. Н. Берков, — просветителем с элементами радикализма, но ни в коем случае не видеть в нем продолжателя радищевских традиций». ¹ П. Н. Берков до Чернышевского не видит в России ни одного писателя, ни одного революционного деятеля, достойного называться «радищевцем». «Радищев, — по его словам, — как подлинный революционер

Коль его злословить станете,
Не щадя и сочинителя...

На основании этого «весьма слабого» сочинения Ивана Пнина нельзя серьезно говорить о «новых критериях художественности». Подобные стихи писали самые заурядные поэты-карамзинисты. Напрасно В. Н. Орлов полагает, что Пнин в данном случае высмеивает «поэтов-карамзинистов с их гипертрофированным вниманием к мелочным вопросам стиховой техники» и ратует за создание поэзии гражданской, за принципиально новое «представление о деле писателя и об истинной писательской славе». Не следует забывать, что в русской поэзии XVIII века существовали Ломоносов, Державин и Радищев. Эти крупнейшие поэты XVIII столетия действительно оказали влияние на дальнейшее формирование русского литературного процесса, в частности декабристской литературы и поэзии Пушкина, а Иван Пнин, Борн и Попугаев все же находились на периферии литературного движения, и не они утверждали «новые художественные критерии».

¹ П. Н. Берков. История русской журналистики XVIII века. Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 381.

стоит на таком высоком пьедестале, что до Чернышевского никого нельзя поставить рядом с ним, даже в качестве ученика, последователя, продолжателя традиций». П. Н. Берков, много сделавший в области изучения русской журналистики XVIII века, слишком упрощенно понимает развитие передовых идей в России XIX столетия, не замечая ни декабристов, ни петрашевцев, ни Белинского и Герцена, ни других менее известных общественных деятелей, внесших свой вклад в общее дело революционной борьбы. В конечном итоге П. Н. Берков возвращает нас к буржуазно-дворянской версии о Радищеве-одиночке.

Совсем иначе о влиянии Радищева на русскую общественную мысль и русскую литературу пишет Г. П. Макогоненко. Не отрицая значения писателей из «Вольного общества словесности, наук и художеств» и не настаивая на самой терминологии («писатели-радищевцы», «последователи Радищева», «продолжатели радищевских традиций» или просто «русские просветители», «просветители с элементами радикализма»), Г. П. Макогоненко вполне своевременно возражает против канонизации какой-либо одной группы писателей начала XIX века, пусть даже эти писатели испытали на себе влияние радищевских идей. Всякое искусственное раздувание одного направления, одной «школы» неизбежно ведет к нарушению исторической перспективы, к забвению более важных процессов и явлений в истории русской литературы. Писатели-радищевцы (Пнин, Борн, Попугаев, не говоря уже о менее заметных членах «Вольного общества») не *соединяют* Радищева с декабристами, а лишь в какой-то мере продолжают борьбу за гражданскую литературу, начатую в XVIII веке Радищевым, Новиковым и Крыловым. Борн, Попугаев и даже Пнин не оказали существенного влияния на формирование декабристского мировоззрения и декабристской литературы, декабристы и Пушкин обычно обращались непосредственно к Радищеву, они учились у Радищева без посредников. Г. П. Макогоненко прав и в том отношении, что кроме Пнина, Борна и Попугаева в создании передовой гражданской литературы начала XIX века принимали участие многие другие писатели, не входившие в состав «Вольного общества словесности, наук и

художеств». «Невозможно согласиться и с тем, — пишет Г. П. Макогоненко в статье «А. Н. Радищев и русская общественная мысль», — что именно члены «Вольного общества» понесли идеи первого революционера навстречу декабристам. Факты противоречат этому. Поэты «Вольного общества» лишь продолжали борьбу Радищева и Крылова за гражданственность в литературе и в меру своих сил и таланта делали то, что и многие их современники, захваченные просветительской идеологией, — Федор Глинка, Николай Гнедич и др.»¹

В своей новой работе «Радищев и русская литература» В. Н. Орлов говорит именно об этих многих «современниках», пытавшихся «в меру своих сил и таланта» продолжать общее дело борьбы за гражданскую литературу. Наша задача показать, что у Радищева в начале XIX века были не только противники, стремившиеся оправдать крепостническую Россию и зачеркнуть «Путешествие из Петербурга в Москву», но и его защитники, не доходившие в борьбе с самодержавием до радищевского отрицания, до радищевской революционной страсти, но тем не менее унаследовавшие от него ненависть к деспотизму и рабству, его горячий патриотизм.

* * *

Сами условия русской действительности, социальные сдвиги, которые произошли в стране в последней четверти XVIII века, способствовали зарождению свободлюбивых настроений, сохранению радищевских традиций. Не прошло шести лет после расправы с Радищевым, как в России, в 1797 году, была предпринята первая попытка создать тайный политический кружок, общество смоленских вольнодумцев. Руководителем смоленского политического кружка был полковник русской армии А. М. Каховский,² служивший при штабе А. В. Суворова. Среди видных участников смоленского преддека-

¹ «Вестник Академии наук СССР», 1952, № 9, стр. 79.

² Александр Михайлович Каховский, родом из небогатых смоленских дворян, был по матери родным братом А. П. Ермолова. Мать А. М. Каховского происходила из рода Давыдовых (сестра отца поэта-партизана Дениса Давыдова). После смерти первого мужа она вышла замуж за П. А. Ермолова.

бристского общества — будущий «проконсул Кавказа» А. П. Ермолов. Подробная характеристика «смоленского заговора» содержится в статье Т. Г. Снытко, опубликованной в 1952 году в журнале «Вопросы истории» (№ 9). Новые материалы свидетельствуют, что в России конца XVIII века уже существовали преддекабристские настроения и в русской армии были люди, которые серьезно думали о судьбе родины и мечтали о политических преобразованиях. Офицеры, собиравшиеся у Каховского, изучали произведения Гельвеция, Монтескье и Гольбаха, в дружеских беседах хвалили республиканский образ правления, с пропагандистскими целями распространяли «дерзновенные изречения», сочиняли вольнолюбивые стихи и песни. Павла I они считали тираном, которого следовало уничтожить; в кружке готовились к политическому заговору, и майор Потемкин предлагал себя в цареубийцы. А. М. Каховский в 1796 году, при вступлении Павла на престол, «имел план к перемене правления», и, как об этом рассказывает в своих показаниях член кружка капитан В. С. Кряжев, уговаривал полководца Суворова «взбунтовать войско» и «явно восстать против государя». Во время чтения трагедии Вольтера «Смерть Цезаря» Каховский заметил: «Если б этак и нашего!..» Т. Г. Снытко справедливо пишет о смоленском офицерском обществе: «Самым фактом своего существования смоленская организация подтверждает то положение, что декабризм не был выражением чужих теорий и идеологий, импортированных в Россию после похода в Западную Европу 1813—1815 годов. Декабристское движение явилось логическим продолжением и развитием общественного движения в России конца XVIII и начала XIX века».¹

Всемерно подчеркивая благотворное влияние Радищева на передовую русскую литературу, нельзя забывать о главном источнике антикрепостнических настроений и вольнолюбивых помыслов. Кроме знаменитой книги «Путешествие из Петербурга в Москву», была еще вторая книга — «учебник жизни», сама русская действительность. За двадцать лет со дня путешествия Радищева в крепостнической России мало что из-

¹ «Вопросы истории», 1952, № 9, стр. 122.

менилось, поэтому путешествующие писатели, если они не были неисправимыми реакционерами, под впечатлением окружающей действительности могли создавать путевые записки, в которых содержались «радищевские» мотивы и настроения. У нас нет никаких оснований «Замечания, мысли и рассуждения во время поездки в некоторые отечественные губернии» Федора Глинки и «Путешествие критики» С. фон Ф. считать произведениями, написанными под непосредственным впечатлением «Путешествия из Петербурга в Москву». Возможно, что С. фон Ф. вообще не читал знаменитой книги Радищева. Путешественники не имели большого опыта общественной борьбы, они не исповедывали революционной теории, не являлись последовательными «радищевцами», но тем не менее сумели создать замечательно правдивые книги о крепостнической России, почти по-радищевски, не делая революционных выводов, взглянуть на «курные избы» и «буйное самовластие». Книги обоих авторов помогают нам правильно понять истоки декабристской литературы и декабристского движения в целом. Декабристское движение берет свое начало в годы Отечественной войны с Наполеоном. Но это не значит, что до 1812 года и заграничных походов не было в России социально-политических и культурно-исторических предпосылок для возникновения идей и настроений, характеризующих будущих декабристов.

Важно, что среди передовых литературных деятелей первого десятилетия XIX века, испытавших влияние Радищева, но не поднявшихся на уровень радищевской революционно-материалистической идеологии, мы видим будущих декабристов.

В годы расцвета декабристского движения, когда пришли в литературу Рылеев и Александр Бестужев, Федор Глинка не играл существенной роли, хотя и возглавлял «Вольное общество любителей российской словесности». После 14 декабря 1825 года и олонечкой ссылки Глинка соединил свою судьбу со славянофилами и оказался чуждым передовых веяний. Он кончил бесславно свой девятидесятилетний путь, превратившись под старость в «ходячий иконостасик». Но в молодости, в годы войн с Наполеоном и заграничных походов,

в годы деятельности «Союза Спасения» и «Союза Благоденствия», Глинка сыграл свою роль в общественно-литературном движении, и его без всяких оговорок можно считать одним из ранних декабристских писателей.

В 1808 году Глинка закончил трагедию «Вельзен, или Освобожденная Голландия», которая была издана в 1810 году в Смоленске. «Вельзен, или Освобожденная Голландия» — республиканская трагедия, вернее романтическая драма, направленная против тирана и деспотизма. Начальствующий над голландскими войсками главный герой трагедии Вельзен наделен всеми качествами гражданина. Вельзен — вождь восстания, простой и сильный человек, верный сын своего отечества. Мужественно и непоколебимо ведет себя голландский князь Инслар, он призывает бороться против чужеземного ига и тирании. Олицетворением тирании является Флоран — завоеватель и деспот. Не только Вельзен и Инслар, но и Годмила, жена Вельзена, участвует в общей борьбе за священные права народа, помогает разить тирана. Она, гордая и независимая, смело высказывает свою ненависть похитителю свободы нидерландского народа. Годмила с младенцем на руках предпочитает смерть в темнице свободе, добытой у деспота ценой позорного предательства. Образ матери и любящей жены прямо включается в политический сюжет. Изображая борьбу народа за свою национальную независимость, автор трагедии приветствует восстание республиканцев против неограниченной монархии. Местный элемент в «Вельзене» носит чисто условный характер; на нидерландском материале здесь создается политическое иносказание. Если не знать, что действие происходит в Голландии, то вполне можно подумать, что речь идет о какой угодно другой стране; в трагедии автор дает абстрактный образ некоей страны, борющейся со столь же отвлеченным тираном. И все имена героев придуманы самим Глинкой, их нет в летописи нидерландских событий XVI века. И это не случайно. Отдельные детали свидетельствуют о том, что изображение действия трагедии в Голландии было аллегорично, и Глинка имел в виду прежде всего Россию. Флорана Глинка то и дело именует царем, чем сбли-

жает нидерландский сюжет с русской действительностью.

Свободу — или смерть!..

Страна, лишенная законов и свободы,

Не царство, но тюрьма: в ней пленники — народы...

Подобная тирада могла относиться ко всякой стране, лишенной законов и свободы, а к России в особенности. В списке опечаток к тексту трагедии Глинка вынужден был несколько разрядить специальный подбор слов: *свобода, закон, царство, тюрьма*. Он несколько ослабил свой намек на Россию, выдав слово «царство» за опечатку и предложив читать: «темница скорбная — в ней пленники народы». Однако во всех остальных стихах, посвященных Флорану, слово «царь» остается: «Кто смеет рассуждать, коль царь велит карать!» и т. д. Флоран достиг престола путем преступлений и жертв, от его жестокого деспотизма стонет весь народ:

...Флоран, взойдя на здешний трон,

Скрепляя смертью кровавое правленье,

Цветущие страны привел в опустошенья...

Совсем необычна для Глинки подчеркнутая связь организаторов тираноборческого движения с народом. Вожди войск и сами воины желают восстать против «железного трона», обогренившего кровью. Они ждут с минуты на минуту, когда появится Вельзен, чтобы вместе с ним и под его руководством или за «отечество с восторгом умереть», или «тысячью смертей тирана поразить». Эту трагедию Глинки следует рассматривать в перспективе декабристского романтизма. Нидерландская тема, впервые в России поднятая им, была продолжена Н. Бестужевым в «Записках о Голландии 1815 года», опубликованных в 1821 году в «Соревнователе просвещения и благотворения» (ч. 15).

Федор Глинка должен быть отмечен как автор «Писем русского офицера». Об этих «Письмах» справедливо замечает В. Н. Орлов в книге «Радищев и русская литература»: «С известными основаниями можно говорить о радищевской традиции (имея в виду как идейное содержание, так и жанровые особенности «Путешествия из Петербурга в Москву») применительно к знаменитой патриотической книге Ф. Глинки «Письма

русского офицера» (1808, дополненное издание—1815)». ¹ «Письма русского офицера» в издании 1815—1816 годов имели важное дополнение: «Замечания, мысли и рассуждения во время поездки в некоторые отечественные губернии». Таким образом, «Письма русского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции, с подробным описанием похода россиян противу французов в 1805 и 1806 годах, а также отечественной и заграничной войны 1812 по 1815 г., с присовокуплением Замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии» включали не только военный опыт автора, историю всей борьбы с Наполеоном, но и путевой дневник, явившийся в результате путешествия Глинка по России в 1807—1811 годах. Наконец, в 1816—1817 годах Глинка выпустил в свет «Письма к другу, содержащие в себе замечания, мысли и рассуждения о разных предметах, с присовокуплением исторического повествования: Зиновей Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия». Сам Глинка указывал, что все эти письма находятся «непрерывно в общей связи», что они образуют один цикл писем о родине.

«Замечания, мысли и рассуждения во время поездки в некоторые отечественные губернии» не случайно выпали из общих обзоров сентиментальной прозы начала XIX века. В них совершенно явно обнаруживался протест против карамзинистской литературы путешествий. В самом первом письме о войне 1805—1806 годов, открывающем книгу, Глинка предупреждал друга своего, что он не будет следовать примеру карамзинистов. Напомнив о шутливой стерновской классификации путешественников (праздные, любопытные, лживые, гордые, пустые, мрачные и чувствительные, к последним Глинка отнес самого Стерна), писатель-офицер заявил, что себя он не может причислить «ни к одному из сих отделений, ибо путешествовал по обязанности, а не от праздного или пустого любопытства». «Что касается до слога, то я, — признавался Глинка, — не старался, а может быть, и не мог сделать его витиеватым и кудрявым; я желал од-

¹ В. л. Орлов. Радищев и русская литература. Гослитиздат, 1949, стр. 86.

ного, чтобы все повествования отличались простотою и истиною». В письмах Глинки нет ни настоящего стернианства с его реалистическим юмором, ни избыточной чувствительности, столь характерной для последователей Карамзина. В путевом дневнике, который вел Глинка в годы Отечественной войны и заграничных походов, в черновом наброске «Выезд из Парижа» имеется и такое восклицание: «О дураки, дураки — чувствительные путешественники!»¹ В непрерывном потоке сентиментальных писем и путешествий «Замечания, мысли и рассуждения во время поездки в некоторые отечественные губернии» образуют особую ветвь, которая граничит с будущей прозой декабристов.

Федор Глинка много внимания уделил изображению народных обычаев и нравов, характеристике государственного правления и анализу причин народных бедствий. В отличие от беспечных путешественников, склонных всюду наблюдать благоденствие, Глинка заглянул внутрь крестьянских изб и нашел в них крайнюю запущенность и бедность. Рассказывая о своем пребывании в Галиции, Глинка изображает черную хату: «Теперь сижу я в хате у мужика, в Старой Галиции: печь топится, трубы нет; густой черный дым наполняет и коптит всю хату; вместе с нами лежат коровы. Взглянешь на хозяев — и ужаснешься; они все в лохмотьях и закоптели. На бледных лицах их изображается горесть; они живут в убожестве и нищете. Отчего же они так несчастны? На это, можно сказать, много причин; главная состоит в безмерных налогах».² Судьба венгерских и галицийских крестьян вызвала у русского путешественника искреннее сочувствие, он желал им всяческих благ. Судьба крестьянина в России еще более печальна, она не может не волновать путешественника.

Путешествуя по отечественным губерниям, Глинка старался рассматривать людей в различном состоянии, гостить в палатах и жить в хижинах. Посещая «курные избы», автор путевых записок, тогда еще молодой писа-

¹ Центральный литературный архив, ф. 141, «Путевая книжка» на 32 л.

² «Письма русского офицера», ч. 1, стр. 178—179.

тель, не забывал о главном источнике социального зла, о «буйном самовластии» помещиков. В путевых записках содержится «Сетование крестьянки». Этот очерк лишний раз убеждает, что Глинка совершал свое путешествие с целью изучения народной жизни, правового и материального положения русского крестьянина. Путешественник заводит разговор о крестьянском «жизьебытье», и крестьянка, «пожилых лет хозяйка», каких много на Руси, рассказывает о горькой крестьянской доле с такой эмоциональной взволнованностью, с таким воодушевлением и «непритворной скорбью», что у путешественника «волосы становятся дыбом» и «сердце обливается кровью». Глинка называет сетование крестьянки «поразительной речью». Действительно, простая деревенская женщина «проговорила такую речь, в которой не было, может быть, и тени риторических красот, которыми блещут речи, сказываемые на кафедрах», зато в ней была сила, естественность, сама жизнь. Крестьянка, утирающая слезы кулаком, становится олицетворением социальной и художественной правды, народного красноречия, истинных чувств. И эта крестьянка из деревни С. противопоставлена помещику NN, получившему воспитание в московском иностранном пансионе. В помещике нет ничего достойного человеческого уважения, он только деспот и изверг, личность совершенно никчемная, хищная и своенравная. Накануне приезда путешественника в селение С. помещик, собрав всех крестьян, «требовал от них денежного оброка». «Когда бедные поселяне отговаривались неимением денег, то, угрожая им плетью, розгами и всем, чем буйное самовластие грозит униженному рабству, говорил: «Продайте своих коров, овец и все, что имеете, для уплаты мне оброка: мне нужна в деньгах: я еду в Москву!»¹

Предупредив в самом первом письме своего друга, что он не принадлежит к числу праздных скитальцев и не может считать себя сентиментальным путешественником, Глинка в одном из следующих писем назвал имя того писателя, к которому он чувствует душевное влече-

¹ «Письма русского офицера», ч. 2, стр. 98.

ние: «Рейналь в Истории своей о Индии говорит, что в некоторых индийских законах изображено так: «Богач должен быть сравнен с деревом, обремененным плодами и возвращенным природою среди бесплодной степи; все алчущие и утомленные имеют право покоиться под его тенью и рвать с него плоды». ¹ Имя Рейналя ведет к Радищеву, который высоко ценил «Историю обеих Индий», содержащую смелые нападки на рабство и тиранию. На Рейналя ссылался Радищев в главе «Чудово» своего «Путешествия». ²

Не будем утверждать, что Глинка в данном случае непосредственно руководствовался примером Радищева, но едва ли можно также отрицать, что подобные «путешествия» совсем не показательны для карамзинистов. Имели мужество писать о курной крестьянской избе, с волнением слушать сетование крестьянки, негодовать против «буйного самовластия» только лучшие люди из дворян — Радищев и его последователи: писатели-радищевцы, декабристы, Пушкин и Грибоедов. «Замечания, мысли и рассуждения» Глинки тем и значительны, что они бросают свет на те социально-политические и культурно-исторические предпосылки, которые способствовали возникновению декабристских идей и настроений. Идеология декабристов складывалась на русской почве и под сильнейшим влиянием окружающей действительности.

Побывав в Киеве и Смоленской губернии, совершив поездку по Волге, Глинка прибыл в Тверь. Перед ним лежал путь, по которому в свое время ехал на перекладных из Петербурга в Москву Радищев. В «Путешествии» Ра-

¹ «Письма русского офицера», ч. 1, стр. 192.

² В 1795 году, после окончания сухопутного кадетского корпуса, Сергей Глинка возвращался на родину, в Духовщинский уезд Смоленской губернии, и все его «сокровище» состояло из трех книг: «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева, «Сентиментального путешествия» Стерна и «Вадима Новгородского» Княжнина. Федор Глинка в то время жил в Духовщинах и готовился к поступлению в кадетский корпус. Наконец, Сергей Глинка в 1806 году, вместе с сыном Александра Радищева Н. А. Радищевым, совершил путешествие из Петербурга в Москву. «Отец моего спутника, Александр Николаевич Радищев, — писал С. Н. Глинка в своих «Записках», — был человек чрезвычайно просвещенный и образованный». Ясно, что и Федор Глинка хорошо знал «Путешествие» Радищева.

дищева глава «Тверь» занимает одно из центральных мест; достаточно сказать, что в ней обильно цитируется знаменитая ода «Вольность». В «Замечаниях, мыслях и рассуждениях во время поездки в некоторые отечественные губернии» имеется аналогичная глава и под тем же названием. Глинка напоминает о судьбе Меншикова, низвергнутого «с высоты величия и славы», оказавшегося в «хладной Сибири». Отступление в прошлое имеет преднамеренную мотивировку. За Меншиковым скрывается судьба какого-то более близкого «бедного узника»: «Бедный узник, жертва пылких страстей, притесненный, изгнанный из общества, обремененный веригами и брошенный в подземную тюрьму, воображает золотое царство свободы, где никогда не раздастся ни звука цепей, ни стоны притесненных, где *скован законом один только деспотизм*. Он воображает и забывается о своем злополучии». ¹ Кто бы мог быть этим «бедным узником», попавшим в «подземную тюрьму» за мечту о «царстве свободы»? И почему именно в Твери Глинка вспомнил об этом узнике? Радищев в Твери «развернул и читал» оду «Вольность», а потом рассказывал о содержании одиннадцати прочитанных строф: «...описание царства свободы и действия ее, то есть сохранность, спокойствие, благоденствие, величие...» Именно эти слова Радищева, поясняющие содержание оды «Вольность», Глинка, несколько перефразируя, вложил в уста «бедного узника» и, таким образом, окончательно сблизил загадочный тверской рассказ об узнике, мечтавшем о «золотом царстве свободы», с образом самого Радищева. ²

В очерке «Замечание о склонности прибрежных волжских жителей», входящем в состав главы «Тверь», Глинка приводит предание о первом тверском князе Ярославле

¹ «Письма русского офицера», ч. 1, стр. 16—17.

² Среди «вопросов», значащихся в черновых походных тетрадах офицера, имеется и такой вопрос: «Что всего реже? Ответ: «Тиран, который бы дожил до старости». Здесь же, в походных тетрадах, он приводит следующее изречение:

Сегодня жить,
А завтра гнить,
Сегодня князь,
А завтра грязь.

Ярославовиче и его любимом отроке Григории. На первый взгляд историческое предание об Ярославе не имеет никакого отношения к политической тенденции «путешествия». По тверским летописям известно, что Ярослав, поехав на соколиную охоту, узнал о свадьбе отрока Григория и Ксении; войдя в церковь, он расстраивает венчание и сам женится на Ксении.¹

Федор Глинка этот сюжет о двух искателях любви, соперничающих друг с другом, перестраивает на социальной основе.

Ксения подает руку Ярославу, и государь, торжествуя победу, становится на место Григория. Отрок Григорий, пораженный вероломством Ксении, уходит в леса и становится отшельником. Но главное: историческое предание в повести Федора Глинки облечено в форму сновидения путешественника. Так автору было легче отступать от исторических фактов и перестраивать речь Григория в духе монолога радищевской «Истины». Путешественник видит во сне то, что ему самому хотелось видеть наяву, о чем он думал, но сказать от своего имени не решался. Путешественнику снится сон, что отрок Григорий говорит государю: «Государь есть отец, покровитель, защитник своего народа... Но ты не государь, ибо попираешь правосудие ногами и пред всеми являешь себя рабом своих страстей! Ты не друг, ибо дружба, дар неба

¹ Обработку этого летописного сказания мы находим в повести Сергея Глинки «Григорий (историческая русская повесть)», которая стоит в прямой зависимости от «Бедной Лизы» Карамзина. Григорий в повести Сергея Глинки имеет «чувствительное сердце», «в простоте сердечной беседовал он с поселянами, любовался идиллической природой и т. п. Ярослав — тоже sentimentalный герой. Совершив преступление, он «не находит ни спокойствия, ни радости», он обвиняет себя «не в том, что силою принудил ее (Ксению.— В. Б.) соединиться с ним узами брака, но в том, что Григорий, которого прежде он называл другом своим, лишен им всего, забыт всеми, в нужде и бедности скитается по свету». Конфликт между князем Ярославом и отроком Григорием в повести Сергея Глинки переводится исключительно в план отвлеченной морали, и весь сюжет сводится к спору двух женихов. Григорий в порыве отчаяния говорит Ярославу, что его «порфира не скроет кровавых пятен», но гнев отрока направлен не столько против преступного государя, сколько против соперника в делах любви.— См. «Русский вестник», 1808, ч. 2, стр. 147—148.

для убогих и несчастных, не может быть уделом царей: ты только грозный владыка, притеснитель!.. Ты привык считать себя в венце земным богом. Раболепие с трепетом лобзает прах ног твоих, и ты играешь судьбою подданных по дерзкой воле твоих страстей... О государь! Ты ослеплен самовластием. Опомнись! Кто ты? что ты делаешь? и где дерзаешь быть неправосудным?... История приемлет свинцовое перо и готова написать имя твое в черную книгу *царей притеснителей*».

Таков твердый сон путешественника в «Письмах» Глинки.¹ Фантазмагория Радищева хорошо известна: «Истина» в образе женщины срывает «бельма» с глаз царя и обнаруживает перед ним реальное состояние страны: заросшие нивы, угнетенный народ и т. п. «Ибо ведай, что ты первейший в обществе можешь быть убийца, первейший разбойник, первейший предатель, первейший нарушитель общия тишины, враг лютейший, устремляющий злость свою на внутренность слабого», — говорит «Истина». И золотой венец «нечто, сидящего во власти на престоле», предстает в другом виде. Одежды «нечто», скипетр, покоящийся на изваянных из чистого золота снопах, покрываются человеческой кровью. Радищев, используя прием аллегорического изображения, очерчивает сущность русского самодержавия, показывает его внутреннюю гнилость. В дальнейшем мы сможем убедиться, что иносказательное описание (сновидение) станет излюбленным приемом декабристской прозы, декабристской политической утопии.

Возможно, что иносказание о государе, ослепленном самовластием, иносказание об «Истине», «Старце», «Опыте» и самой «Истории» в своей основе имеет народно-сказочный сюжет о семи «мудрецах» и юноше. Семеро «мудрецов» лишают доверчивого государя зрения. «Мудрецы» — это придворные льстецы, которые «грабят подданных королевства бесчеловечным образом». «Сие учиняли они для того, чтоб им вольнее было делать то, что им захочется, и через то бы обогатить себя». Мудрый юноша приходит в спальню царя и под царской постелью находит большой орех, вокруг которого обвилось семь червей. «Видишь ли, государь, — сказал он ко-

¹ «Письма русского офицера», ч. 3, стр. 36—39.

ролю, — сих малых насекомых, которые причиною твоей на воздухе слепоты?» «Вижу, — отвечал король, — но отчего они здесь явились?» «Я все оное изъясню, — молвил юноша, — изволь лишь меня выслушать: сии семь червей означают семь мудрецов, которые тебе служат лицемерным образом, хотя ты их и жалуешь больше всех прочих достойных людей; но они, несмотря на то и не удовольствуясь милостью твоей, повредили твои глаза нарочно для того, чтоб ты не видел, как они твое королевство разоряют». В заключение юноша говорит, что излечиться от слепоты можно только путем казни злодеев: «Прикажи всем твоим мудрецам отрубить головы». ¹

Сказка о «семи мудрецах» показывает, «сколько опасно царям окружать себя льстецами». Н. А. Цертелев во «Взгляде на русские сказки, песни и повести в духе старинных русских стихотворений» следующим образом расшифровал содержание этого сказочного сюжета: «Государь сей, окружив себя порочными людьми, не мог знать, что происходит в государстве его, ибо, так сказать, видел и слышал глазами и ушами своих любимцев». ²

Народная сказка о заблуждающемся монархе и мудром юноше, известная нам по сборнику «Дедушкины прогулки», в устном бытовании могла иметь иную редакцию, социально более острую. Писатели если и обрабатывали сюжет этой сказки, то в духе своего мировоззрения. Радишев требовал уничтожения и царя и царедворцев, царь и его «мудрецы», подбострастные льстецы, в одинаковой мере заслуживают казни. В народной сказке на казнь ведут царских прислужников, придворных, угнетающих народ и разоряющих свое отечество; уничтожение их и возвращение зрения государю — источник спасения государства. У Радишева — смелая критика самодержавия и призыв к восстанию; у Глинки — только смелая критика. Описание Радишева лишено всякой нравоучительности. Однако несколько расплывчатые полу-

¹ Сборник «Дедушкины прогулки, содержащие в себе десять русских сказок». 1815, № 7. Более раннее издание 1786 г.

² Н. А. Цертелев. Взгляд на русские сказки, песни и повести в духе старинных русских стихотворений. СПб., 1820, стр. 9—10.

тона глинковской аллегории не могли затушевывать политического мотива: царь, ослепленный самовластием, достоин «черной книги». В глинковском тверском сновидении отрок говорит царю-притеснителю: «Смотри! и смерть, стоя за тобою, треплет тебя по раменам и шепчет на ухо: вспомни себя! или еще минута — и я сорву с тебя венец и порфиру, дам тебе *ризу из тления* вместо покрова славы». За золотой парчой царедворцев и вельмож творятся «ужасные вещи». Об этом вещает глинковская «История».

* * *

Если «Замечания, мысли и рассуждения во время поездки в некоторые отечественные губернии» Федора Глинки дают некоторое основание говорить о полемике с карамзинистами, то «Путешествие критики, или Письма одного путешественника, описывающего другу своему разные пороки, которых большею частию сам был очевидным свидетелем» С. фон Ф. в этом нас почти убеждает.

Еще 14 марта 1810 года А. Мерзляковым было подписано цензурное разрешение на выход в свет «Путешествия критики». Однако в течение восьми лет сочинение С. фон Ф. не могло выйти из печати и поступить в продажу. Только в 1818 году в Москве в типографии Селивановского, в дальнейшем известного своими связями с декабристами, эта книга была набрана и, судя по сохранившимся экземплярам, вышла в свет. Со временем «Путешествие критики» стало библиографической редкостью. Эта книга была известна самому незначительному кругу литературоведов; даже в специальных библиографических справочниках о «Путешествии критики» не говорилось ни слова. В 1951 году книга С. фон Ф. переиздана Московским государственным университетом в серии «Памятники русской сатирической публицистики начала XIX века». В настоящее время выяснен и автор «Путешествия», скрывшийся за инициалами С. фон Ф. Автором этой книги был С. К. фон Ферельцт, служивший учителем немецкого языка во Владимирской губернской гимназии.¹

¹ И. Д. Смолянов, автор рецензии, появившейся в 1952 году в «Вестнике Московского университета» (№ 11, стр. 83—85), спра-

Этот совершенно безвестный учитель был принципиальным врагом карамзинистов и идейным союзником писателей-радищевцев. В плане борьбы с эпигонами Карамзина «Путешествие критики» представляет чрезвычайно большой интерес. С. фон Ф. начинает свое «Путешествие» с критики сентиментальной литературы «путешествий». Он не скрывает своей неприязни к карамзинистам, к «чувствительным» путешественникам. Первое письмо, под названием «Первое воззрение городского жителя на деревенскую природу», есть своеобразный литературный манифест. С. фон Ф. удивляется, «почему многие путешественники наводят на читателей тягостную дремоту сочинениями своими, состоящими большею частью в длинных описаниях и скучных рассказах о всем том, что они видели и слышали во время путешествия своего». Далее он переходит прямо к полемике: «Не везде миртовые аллеи; не везде прекрасные равнины, усеянные благоуханными цветами; не везде резвые ручейки с нежным журчанием пробегают по камешкам; не везде слышно

ведливо замечает, что издание Московским университетом «Путешествия критики» заслуживает всяческого одобрения. Проф. А. В. Кокорев, опубликовавший полный текст «Путешествия критики», не раскрыл псевдонима С. фон Ф., высказав малоправдоподобную догадку об авторстве С. П. Фонвизина, племянника Д. И. Фонвизина. Между тем в архиве МГУ, как это следует из дополнительной заметки «От редакции», напечатанной в том же 11 № «Вестника Московского университета», сохранился протокол заседания Совета университета от 26 мая 1820 года, где совершенно точно раскрыт подлинный автор «Путешествия»: учитель Владимирской гимназии Савелий Карлович фон Ферельтц. Почти одновременно и в Ленинграде, на основе цензурной ведомости, был выяснен автор «Путешествия», о чем сообщил Г. П. Макогоненко в журнале «Огонек» (1952, № 50). И. Д. Смолянов в своей рецензии справедливо указывает, что В. Е. Евгеньев-Максимов еще в 1914 году в книге «Писатели — борцы с крепостной неволею» дал справедливую характеристику «Путешествия критики». В. Е. Евгеньев-Максимов писал на 41—42 страницах своей работы:

«Через несколько лет после кончины Пнина неизвестным автором была написана замечательная книга, в которой радищевские традиции ожили с новой силой. Мы говорим о «Путешествии критики» С. фон Ф., подготовленном к печати, если судить по цензурной пометке, в 1810 году, вышедшем же в свет восемью годами позднее — в 1818 году.

Наряду с резкими обличениями помещиков-скупцов (письмо 3-е), помещиков-невежд, ушедших в растительную жизнь (письмо

сладкогласное пение соловья. Есть места дикие, каменистые, песчаные, безводные, где ничего не слышно, кроме отвратительного карканья галок и ворон». Деревенская природа не похожа на буколические описания карамзинистов: «На месте зелено-бархатных лугов увидел я просто зеленые луга. Это заставило меня выбросить из головы все описания, какие только я знал». В полемике с «чувствительными» путешественниками С. фон Ф. остается верен лучшим традициям сатирической литературы XVIII столетия. «Сентиментальные» путешественники повсюду видели «хоры резвых пастухов и веселых пастушек», этих счастливых «любимцев природы». Путешественник-критик однажды увидел пастуха и уже «приложил внимательное ухо, чтобы насладиться нежными звуками свирели», но услышал «один пронзительный свист и хриповатые восклицания: эй!.. куда! Я тебя!» Взору путешественника представилось «обширное поле, на котором видно было множество земледельцев». Крестьяне, работающие на поле, не пели веселых песен: «Они веселятся, занимаясь трудною работою, в одном воображении у писателей, известных публике под именем «чувствительных». «Весело чувствительному празднующему, — пишет С. фон Ф., — смотреть на работающих: каково-то работать? Весело и работать, но с прогулкой и для прогулки. А работать для того, чтобы трудами своими доставлять пропитание не только себе, но и сим чувствительным сочинителям, есть действие столь же несообразное с негою и веселостью, сколько и сама праздность несходна с трудолюбием». Это почти как в «Кайбе»

4-е), страстных охотников, готовых менять слуг на собак (письмо 7-е), наряду с горячими нападками на безобразное воспитание дворянских детей, растлевающее их умственно и нравственно (письма 22-е и 30-е), анонимный писатель с теплым сочувствием и большим по тем временам мастерством рисовал тяжелые картины крестьянской жизни. Так, очень живо изображена им безвыходная печаль населения одной деревушки, все парни которой проданы барином фабриканту (письмо 2-е). Глубоко трогателен рассказ об опозоренной барином крестьянской девушке, которая в конце концов была выдана замуж за какого-то уроды (письмо 10-е); жгучее сожаление вызывает судьба крестьян «совершенного человеконенавидца», помещика Г. М. (письмо 16-е), или некоего «великого эконома», обогащающегося поголовной продажей мужской молодежи в рекруты (письмо 22-е)».

Крылова и в «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищева. И вообще нужно сказать, что в «Путешествии критики» постоянно мелькают крыловско-радищевские и новиковско-фонвизинские образы и напоминания. «Путешествие» С. фон Ф. тесно связано с сатирической литературой XVIII века; с другой стороны, в нем налицо вызревающие идеи декабристов.

«Письмо второе» имеет столь же декларативный характер. Отметив, что сентиментальные путешественники немало потрудились над приукрашиванием деревенской природы, С. фон Ф. переходит к самому главному, к изображению действительной жизни крепостного крестьянина. Само название второго письма вводит читателя в мир реальный: «Бесчеловечный поступок Н. с своими крестьянами». Автор «Путешествия критики» не говорит о маршруте своей поездки, читателю неизвестны названия тех деревень и сел, которые он проезжал. Да это и неважно, путешественник сознательно пренебрегает названиями отдельных селений, ибо перед его взором всегда стоит вся помещичья Россия. «Любезный друг! — восклицает С. фон Ф. в своем пятом письме. — Судьба как бы нарочно водит меня в путешествии моем большею частию по таким местам, где вижу я одно развращение человеческое, высказывающееся в различных видах. Там видел и двух жестокосердных владельцев, мучащих крестьян своих страшными налогами; там глупого, но жалкого мужа, страждущего от безобразной и вместе злой жены своей. Здесь... здесь, что я видел... ты скоро узнаешь».

Путешественник ищет общения с народом, он слышит «горестные всхлипывания», встречает печальные взоры и покрасневшие от слез глаза престарелых и совсем юных крестьян. На вопрос о помещике Н. («да почему он вам так страшен?») седой старец отвечает от лица всей деревни: «Да так-то, батюшка! страшен, что как вздумаешь про него, так волосы дыбом становятся. Десять лет, как мы ему достались в руки; десять лет он гнетет нас страшными налогами, десять лет сосет кровь нашу. Работаем и день и ночь — а все на него. Он же последний кусок ото рта отнимает у нас». Помещик Н., картежник и кутила, продает своих крестьян фабриканту, но прежде чем совершить сделку, он заковывает молодых

крестьян в железы, а стариков заставляет караулить своих детей. Помещичий произвол не имеет границ, крестьяне приравнены к скоту. Помещик Н. придумывает каждый день «новые фигли», и ответ его на просьбы страдающих крестьян всегда один: «Ваше дело молчать и делать то, что я приказываю, а я приказываю то, что мне хочется, или сию же минуту палок... плетей!... Спину мягче брюха сделаю!» Здесь же, во втором письме, С. фон Ф. рассказывает об отдаче крестьян в рекруты. Вот седой старец, едва стоящий на ногах от старости и печали. У него два сына, два молодца, один другого лучше, и обоих помещик отдает в рекруты. Путешественник не только рассказывает своими словами об ужасах крепостничества, но предоставляет трибуну седому старцу. Крестьянские речи — самое сильное обвинение самодержавию. С. фон Ф. записывает в свой путевой дневник слова деревенского старика: «Жена недавно померла с печали. Да, вечная ей память! теперь умирать же бы... А и похоронить-то нечем. — Я остаюсь без всякого призрения — с одной нищетой, бессилием и тоскою. Не токмо что работать, и по миру-то ходить мочи нет. Ах! Если бы господь услышал бы молитву мою да прибрал меня поскорее!»

И этот путешественник посещает крестьянские избы. Но избы превращены помещиком Н. в тюрьмы:

«Иду в сопровождении их в один ближайший дом, который они мне указали. Подхожу — звук цепей, вопли несчастных поражают слух и сердце мое. Слезы стремительно полились из глаз моих. Боже мой! это хозяева, заключенные в собственных домах своих! — Тем ли заслужили они такую горькую участь, что и денно и ночно трудились для доставления продовольствия господину своему? — Отворяю дверь — какое зрелище! Там страждущая мать томится в объятиях сына, и душа ее, кажется, удерживается в брэнном теле до тех пор, когда начнут безутешного сына исторгать из объятий ее. Тут трое малюток увиваются около брата своего, который заступал у них место отца и матери. «Родимый ты наш братец! на кого ты нас покидаешь? кто нас будет поить, кормить? без тебя натерпимся мы и холоду и голоду», — умоляли они брата своего, который, взирая на них наполненными слез глазами, тем более, кажется, чувствовал

несчастье свое, что оно делается источником горестей и страданий для оставляемых им сирот. Между тем они не перестают повторять жалобную песнь свою. Какое разительное красноречие! Я закрываю руками лицо и опрометью бросаюсь вон, не в силах будучи долее выдержать скорбь».

На фоне этой драматической сцены особенно трогательно выглядят «трое малюток». Они тоже представители многострадального народа, и свое горе крестьянские дети выражают словами народных причитаний: «Родимой ты наш братец! на кого ты нас покидаешь?..» Напомним, что Радишев дал первый образец рекрутских причитаний. Дело шло не только о рекруте, которого отрывают от семьи и отдают на новое рабство, но и о судьбе тех, кто с уходом «кормильца» обрекался на новые мучения. В композицию «путешествий» типа радишевского народные причитания входят вполне закономерно, они являются голосом народа.

Сошлемся на десятое письмо. Оно целиком посвящено судьбе крепостной девушки, которая стала жертвой помещика-прелюбодея. «Жестокая сердечная скорбь весьма живо изображалась на лице» этой четырнадцатилетней красавицы. Можно не знать всей страшной истории в подробностях, чтобы догадаться, кто являлся виновником столь тягостной драмы. Над этой красавицей помещик «совершил скотское свое намерение», затем он страшными угрозами принудил ее выйти замуж за «глухого, кривого, горбатого» старика. Устами матери несчастной жертвы автор говорит о «подобных сему случаях»: «Для них причинить насилие, похитить честь бедной девушки столь же обыкновенно и, по мнению их, безгрешно, как оторвать ногу у паука». От себя путешественник добавляет: «Не устоит и каменное сердце, видя таковые примеры бесчеловечья: видя несчастных и не имея возможности облегчить несносную их участь!»

В письмах С. фон Ф. содержится целая галерея помещиков-«человеконенавидцев». У путешественника «волосы становились дыбом», когда он слушал рассказы о помещичьем произволе. Помещик М. — не исключение. Не проходило дня, чтобы он «не отдул одного, а иногда пятерых из людей своих кнутьями и не влепил бы каждому ударов ста по три — и то еще за малую вину».

Чтобы дать некоторое представление о «вине» наказуемых, путешественник сообщает рассказ одного из очевидцев: «Во время стола один из людей его, желая, верно, доказать господину своему холопское усердие, поставил любимой его борзой собаке тарелку со шами. Г. М., не зная почему, подумал, что щи слишком горячи; потому отдал приказ, чтобы в ту же минуту усердному лакею дали сто пощечин: сколько ни оправдывался бедный тот человек, однако был обвинен и наказан, потому что господину его угодно было сделать его виновным. Сколько ни велико сие наказание, однако Г. М. тем еще не удовольствовался, соскочил со стула, схватил тарелку и поднес ее мне, дабы я засвидетельствовал справедливые его взыскания. Но я, любя истину, отвечал ему, что щи не только не горячи, но даже и не теплы. Как! вы хотите потакать плуту? — сказал он мне. Потом, затопав ногами, заскрежетав зубами, закричал страшным голосом: кнутъев... кнутъев... и бросился вслед за слугою, которого, ухватя под руки, потащили на двор. Вдруг услышал я жалостнейший крик человеческий и хлопанье кнутъев; что продолжалось около четверти часа». По окончании экзекуции барин М., казавшийся с первого взгляда «кротким как овечка, милым как ангел», снова сел за стол и «начал кушать с большим против прежнего аппетитом». В общем помещик М. — «совершенный изверг, чудовище, услаждающееся мучениями других».

Есть в книге С. фон Ф. портреты, как бы предшествующие «Мертвым душам» Гоголя. Помещики забавляются кто чем может, они как бы соревнуются в тиранстве, шеголяют друг перед другом и набивают себе цену в пошлости и в замысловатых нелепостях. Помещик А. «по натуре своей великий скряга», он с себя самого «за каждый обед и ужин берет по известному количеству денег, смотря по тому, сколько бог поможет ему скушать; кладет их в собственный сундук и по прошествии года, сверив приход с расходом, полученный барыш берет себе в заем по 15%» (письмо третье). Это особая игра в безделье, напоминающая родственные упражнения героев Гоголя, причем безделье здесь является пародией дела, самого по себе отвратительного. Этот помещик, потехи ради занимающийся подобием денежной спекуляции, одновременно и гоголевский Плюшкин и один из гоголев-

ских обжор, а по абсурдному практицизму он, пожалуй, еще и Ноздрев.

Путешественник, герой этой книги, наблюдает людей достаточного помещика, великого скупца: «все они были покрыты «раздранными рубищами», некоторые из них бросали презрительные взгляды на своего господина, другие «тяжелыми вздохами изъясляли сердечную скорбь, каковую причиняют им всегдашние труды, которые столь же для них бесполезны, сколько и тягостны». Разоблачив скупость и глупость помещика А., путешественник посещает его зятя, господина Беспорядкова. Беспорядков — предтеча будущего Манилова. Городничий Вральман и гости в доме городничего — фонвизинско-гоголевские персонажи. Все они «псовые охотники», страшные любители до разных небылиц. «Будучи все преданы до чрезвычайной страсти гоняться за зайцами», каждый из этих охотников содержал целую свору гончих «крылаток» и «вихров», но им и в голову не приходило, что на «дворе собаки борзые, да холопы босые». Особенно много среди поместных дворян Скотининых и Простаковых: «Простаков в лакированных сапогах и с ослиною физиогномией». Путешественник постоянно отсылает читателя к Фонвизину и Новикову. Почти дословно вторит Новикову С. фон Ф., когда пишет о помещичьих детях в двадцать первом письме: «Дети Г. П. в школу вступили поросятами, а из нее выйдут взрослыми свиньями». Отцы и дети мало отличаются друг от друга. С. фон Ф. не видит различия между отцами-крепостниками и недорослями. Недоросли — будущие крепостники, они немного повзрослеют и начнут сечь своих подчиненных «во всю ивановску». Сыновья помещика П. гордились тем, что им с детства все дозволено, и они мечтали о той поре, когда заменят отца в сечении крепостных: «Как я буду настоящим барином, — сказал меньшей брат, — так стану сечь людей еще больше, нежели батюшка». «Так и должно! — отвечал другой. — Я часто слышал от матушки, что без побоев от них и добра не видать; а бить их ничуть не грех: лакей хуже собаки». «Вот настоящие дворянские чувствия», — подтвердил меньшей».

Путешественник не говорит о том, сколько дней он ездил из селения в селение и по какой именно губернии он путешествовал, но в предпоследнем, тридцать третьем

письме он сообщает своему другу, что из М. переехал в К. Однако и в К. «все то же, что и везде»: «И здесь так же, как и в других местах, скудный ум ходит пешком, а богатая *глупость* ездит на *скотах*». Во всей России не сыщешь уголка, где бы не секли и не мучили крестьян. Везде стоит плач, всюду дикий произвол помещиков; какой бы помещик ни подносил стакан шампанского, путешественнику казалось, что «сей стакан наполнен слезами и кровию несчастных крестьян».

«Путешествие критики» состоит из тридцати четырех писем, органически связанных между собой единым идейным замыслом. Автор «Путешествия» стремится как можно шире охватить русскую действительность первого десятилетия XIX века. Мы подробно остановились на содержании двух писем, но и все остальные тридцать два письма написаны с не меньшей силой негодования и всегда в защиту крепостных крестьян. Читая «Путешествие критики», невольно вспоминаешь «Путешествие из Петербурга в Москву». С. фон Ф. не поднимается до радищевского революционного сознания, но критику крепостничества и защиту угнетенного народа он ведет с радищевских позиций, последовательно и с ненавистью разоблачает помещиков-крепостников. В русской литературе начала XIX века не было других путевых записок, которые бы так близко граничили с «Путешествием из Петербурга в Москву».

В. Ермилов говорит, что Гоголь «создал особый русский жанр поэмы-путешествия — *путешествия за правдой*... После поэмы — путешествия за правдой Гоголя появилась поэма — путешествие за правдой Некрасова: «Кому на Руси жить хорошо». ¹ Но верно и то, что у Гоголя и Некрасова были свои предшественники, — это прежде всего Радищев, тоже добывавший правду в своем путешествии, а затем его последователи, известные и малоизвестные писатели, внесшие посильный вклад в этот «особый, русский жанр». У Гоголя и у Некрасова этот жанр «путешествий» по крепостной России — сквозь неправду за правдой — нашел свое гениальное завершение. Что наметили писатели-радищевцы и писатели-декаб-

¹ В. Ермилов. Н. В. Гоголь. «Советский писатель», М., 1952, стр. 294.

ристы, то Гоголь вывел четкими контурами, трагическими и сатирическими. По словам Герцена, русский читатель через Гоголя увидел помещиков-крепостников как бы оголенными, «выходящими из своих дворцов и домов без масок, без прикрас, вечно пьяными и обжираться: рабы власти без достоинства и тираны без сострадания своих крепостных, высасывающие жизнь и кровь народа с тою же естественностью и наивностью, с какой питается ребенок грудью своей матери. «Мертвые души» потрясли всю Россию». И вот это потрясение, это горькое изображение, сделавшее поэму Гоголя таким великим событием в истории русской жизни и русской литературы, было отчасти подготовлено писателями-патриотами, свободолюбцами и народолюбцами, действовавшими в первую четверть века.

ПИСЬМА И ЗАПИСКИ ОБ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА

* * *

В дальнейшем русская литература «путешествий» и писем прямым образом связана с патриотическим движением 1812 года и с последующими событиями в России и на Западе. В этом жанре русской литературы выступают будущие декабристы. Декабристы отлично понимали, что им дал 1812 год, чему он их научил, что для них подтвердил, чего от них потребовал. «Мы были дети 1812 года», — говорил М. И. Муравьев-Апостол. «Дети 1812 года» в том смысле, что свою революционно-дворянскую идеологию будущие декабристы непосредственно связывали с массовым патриотическим подъемом русского народа; 1812 год они считали «началом свободомыслия в России». По словам А. А. Бестужева, в 1812 году русский народ «впервые ощутил свою силу», и, как следствие, «пробудилось во всех сердцах чувство независимости, сперва политической, а впоследствии и народной». ¹ Сергей Волконский на вопрос Александра I о настроениях народа и роли дворянства в войне с Наполеоном имел мужество ответить: «Каждый крестьянин — герой!» «А дворянство?» — спросил царь. «Государь! — воскликнул Волконский. — Стыжусь, что принадлежу к нему, — было много слов, а на деле ничего». ² И. Д. Якушкин в своих «Записках», оглядываясь на прой-

¹ «Из писем и показаний декабристов». Под ред. А. К. Бороздина. СПб., 1906, стр. 35.

² С. Волконский. Записки. СПб., 1901, стр. 193

денный путь, еще раз отмечал роль русского народа в войне 1812 года. «Война 1812 г. пробудила народ русский к жизни и составляет, — по словам Якушкина, — важный период в его политическом существовании. Все распоряжения и усилия правительства были бы недостаточны, чтобы изгнать вторгшихся в Россию галлов и с ними двенадцать языцы, если бы народ попрежнему оставался в оцепенении». ¹ Эти слова, как сообщает В. Е. Якушкин, часто вспоминал М. И. Муравьев-Апостол, говоря при этом: «Иван Дмитриевич совершенно прав, начиная свои записки с указания на влияние 1812 года. Именно 1812 год, а вовсе не заграничный поход создал последующее общественное движение, которое было в своей сущности не заимствованным, не европейским, а чисто русским». Сам М. И. Муравьев-Апостол в 1870-х годах внес в свою записную книжку: «Жертвовать всем, даже жизнью, во имя любви к отечеству было побуждением сердца; не было эгоизма в наших чувствах». ²

* * *

Если высказывания декабристов об Отечественной войне и «начале свободомыслия», известные из ответов на вопросы Следственного комитета, сравнительно хорошо изучены и уже стали достоянием каждого исторического исследования, то более ранние документы декабристской литературы, художественные и публицистические, явившиеся непосредственно после войны 1812 года и заграничных походов, написанные под живым впечатлением недавних событий и способствовавшие зарождению и укреплению декабристских идей, до сих пор не привлекали достаточного внимания историков и литературоведов. Между тем без них будет неполной и вся летопись декабристского общественного движения, будет неполной и история декабристской литературы. 1812 год не прошел бесследно для будущей декабристской литературы и пуб-

¹ «Записки И. Д. Якушкина». М., 1906, изд. 7-е, стр. 11.

² В. Е. Якушкин. М. И. Муравьев-Апостол — «Русская старина», 1886, июль, стр. 151—170.

лицистики. Патриотизм русского народа, проявившийся в борьбе с иноземными захватчиками, и дальнейшая судьба народа-победителя, оказавшегося под ярмом крепостничества, определили основные идеи и темы декабристской литературы. В годы Отечественной войны создается совершенно новый жанр, традиционный только по названию, жанр *военных* «записок», «дневников», «писем» и «путешествий». Записки участников Отечественной войны составляют важную главу в истории русской прозы, в военной и литературной истории. Дореволюционные литературоведы изучали поэзию и прозу 1812 года без всякой дифференциации, вся дворянская литература, направленная против Наполеона и его войн, безоговорочно объявлялась патриотической, литературой единого патриотического содержания. В действительности не было и не могло быть этой идейно единой литературы; в литературных течениях того времени патриотизм толковали по-разному, не было единодушия в вопросе о том, каков общий смысл героической эпопеи 1812 года, значение и место в этой эпопее народных масс.

* * *

После 1812 года воспоминания и записки участников Отечественной войны составили вполне специальный раздел современной прозы и публицистики. Эту прозу 1812 года следует рассматривать в двух ее потоках: прогрессивном (преддекабристском) и реакционно-охранительном. Из записок о 1812 годе, кроме известного «Дневника» поэта-партизана Давыдова и «Писем» Федора Глинки, следует отметить «Записки о 1812 годе» Сергея Глинки (СПБ., 1836), «Походные записки русского офицера 1812, 1813, 1814 и 1815 годов» И. Лажечникова (М., 1836), «Краткие записки адмирала А. Шишкова, веденные им во время пребывания его при блаженной памяти государе императоре Александре I в бывшую с французами в 1812 и последующих годах войну» (СПБ., 1831). Все эти «записки» патриотичны, но патриотизм их различен. Кажущееся единство патриотической литературы о войне с Наполеоном таит в себе

совсем противоположные тенденции. Записки адмирала А. Шишкова, находившегося во время войны при Александре I, состоят из правительственных манифестов и торжественных воззваний. В них нетрудно узнать Шишкова — «беседчика», стремящегося выдержать интонацию высокого «штиля», с его библеизмами, с его риторическими фигурами и нагромождениями. В свободное время от служебных обязанностей адмирал Шишков не случайно занимался чтением священных книг, находя в них «разные описания и выражения, весьма сходные с нынешними». Шишков брал «речения и выражения оных без всякой перемены» и, только «сдвигая» одно к другому, составлял «священные» повествования о войне 1812 года: «Вшествие врага в царство и гордый помысел его», «Разорение Иерусалима», «Молитва царева», «Глас с небеси», «Воззвание царя к народу», «Падение Кипариса», «Пророчество». В высочайших манифестах и в собственном «священном» повествовании Шишков выступает в качестве официального летописца. Параллельно высокому плану записок разворачиваются более частные заметки, в которых Шишков рассказывает о своих личных переживаниях, о разных «случаях и приключениях». Сам облик автора резко меняется в этом втором плане. В манифестах и рассуждениях он парит, он только «государев слуга», в частных эпизодах, не имеющих прямого отношения к политическим и военным действиям, Шишков и среди военного шума выглядит барином-хлебосолом, который ежеминутно жалуется на плохое состояние своего здоровья, на трудности полуфронтной жизни, радуется при встречах с петербургскими дамами, с восхищением рассказывает о вкусных обедах и т. д. и т. п. Адмиральские записки приобретают слишком домашний, интимный характер. И здесь Шишков как бы сходится с Карамзиным. Сочиня «приказы по войскам», полные официального патриотического восторга, Шишков не забывает напомнить об особых заслугах русокого дворянства, которое, по его словам, есть «верная и крепкая ограда престола, ум и душа народа». «Вельможи, дворянство, духовенство, купечество, народ» — в такой последовательности перечисляет Шишков сословия, отводя народу в героической эпопее 1812 года самое последнее место.

И это не только точка зрения Шишкова, это официальное мнение реакционной дворянской историографии.¹

Поздравляя воинов с победой, Шишков недоумевает: какую же награду дать русскому народу после «толиких происшествий и подвигов». «Награда ему — дела его, которыми свидетели небо и земля», — вот и все, что говорится о награде народу-герою. И, наконец, возвращаясь из заграничного путешествия, адмирал Шишков в своем дневнике делает приписку: «Возвратное путешествие мое в Россию было без всяких особенных приключений». Эти слова выдают Шишкова. Он даже не устаивает сколько-нибудь пристального внимания народную Россию, вышедшую из потрясений великой войны. Здесь, в России, для него все как было, все по-старому, «без особенных приключений». Адмирал Шишков — идейный соратник и соавтор Александра I. В высочайшем манифесте от 13 августа 1814 года о русском крестьянине было сказано дословно следующее: «Крестьяне, верный наш народ, да получают мзду от бога!»

¹ Александр I в своих манифестах дал пример подобного толкования 1812 года. О народе император говорил не иначе, как «мой народ». В письме к графу Н. И. Салтыкову Александр I писал 3 июля 1812 года из Вильно: «Я надеюсь на усердие моего народа и храбрость войск моих». Однако когда в манифестах речь шла о главном «спасителе» отечества, то Александр I всегда называл дворянство, к нему обращался в первую очередь, на него возлагал все надежды. В манифесте по случаю организации всеобщего ополчения Петербургской губернии «верные сыны России» перечисляются в таком порядке: «Да встретит он (враг.— В. Б.) в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицина, в каждом гражданине Минина. Благородное дворянское сословие! Ты во все времена было спасителем отечества; святейший Синод и духовенство! Вы всегда теплыми молитвами своими призывали благодать на главу России; народ русский! храброе потомство храбрых славян! Ты неоднократно сокрушал зубы устремившихся на тебя львов и тигров...» Этот манифест был издан 16 июля, а 3 ноября правительствующий сенат от лица «императора и самодержца всероссийского» объявлял всенародно: «Храбрые войска наши везде поражали и низлагали врага. Знаменитое дворянство не пошадило ничего к умножению государственных сил. Почтенное купечество ознаменовало себя всякого рода пожертвованиями. Верный народ, мещане и крестьяне показали также опыты верности и любви к отечеству, какие одному только русскому народу свойственны».

«Записки» адмирала Шишкова тем и показательны, что, несмотря на их патриотическую фразеологию и постоянную апелляцию к народной героике, они написаны с реакционно-охранительных позиций и ни в какой мере не могут претендовать на значение записок об Отечественной войне, поскольку в них на первом плане стоят классовые симпатии одного из крупнейших представителей правительственной реакции.

Вообще следует сказать, что немногим из писателей 1812 года удалось в своих записках понять подлинный смысл и реальные движущие силы Отечественной войны. Мы не говорим о ростопчинских афишах и его «Мыслях вслух на красном крыльце», комедии «Вести, или Убитый живой» и повести «Ох, французы», написанных в разное время, начиная с 1807 и кончая 1842 годом. По справедливому словам Л. Н. Толстого, граф Ростопчин «не имел ни малейшего понятия о том народе, которым думал управлять». Не только Ростопчин, но и Сергей Глинка, первый ратник московского народного ополчения, не понял народного характера войны 1812 года. Его сочинения — «Записки о 1812 годе» (СПБ., 1836) и «Записки о Москве и заграничных происшествиях от исхода 1812 года до половины 1813 года» (СПБ., 1837) представляют свод разных слухов и вестей, но эти вести не создают реальной летописи Отечественной войны, и не очевидцем они рассказаны. Автор хотя и признается, что писал свои записки не из тщеславия, а «для сохранения связи в ходе обстоятельств», но этому трудно поверить. Все его повествование грешит стремлением превратить личное я в «дух народный». Сергей Глинка смотрит на народ с позиций дворянского эгоцентризма: «Веду к государю народ». ¹ В конечном итоге первый ратник московского народного ополчения призывал сражаться «за веру и царя» и «за отца-помещика».

Насколько литература о 1812 годе не однородна по своему идейному и художественному составу, свидетельствуют «Походные записки русского офицера» И. Лажечникова. Они образуют самостоятельную линию в беллетристике, посвященной 1812 году. Показательно, что,

¹ С. Н. Глинка. Записки о 1812 годе. СПб., 1836, стр. 9.

собираясь вступить в ряды русской армии, И. Лажечников в самой первой записи своего дневника, датированной 20 ноября 1812 года, уподобил себя «рыцарю печального образа», который покидает «мирные хижины» и отправляется искать новых приключений и, «если должно, — сразится с мельницами». Подобное же уподобление мы видим в «Сентиментальном путешествии» Стерна. Запись, сделанная 1 января 1813 года, звучит совсем элегически, как будто она сделана не в главной квартире в Мерече, а в сельской хижине, не писателем-воином, а бездомным скитальцем. «Ни одного уголка, где приклонить и согреть бы замерзшие члены мои. Я, — пишет Лажечников, — точно походил на странствующего рыцаря печального образа. Санхо-Панса мой считал на небе ясные звезды, а мои Россинанты уныло смотрели на голую снежную равнину». ¹ В походе и на отдыхе, в обстановке отнюдь не сентиментальной, Лажечников не расстается со своим двойником, не перестает по-стерновски плакать и улыбаться. В его записках нет ни потрясающих картин войны, ни батальных сцен, ни развернутых патриотических высказываний. О славе русского оружия Лажечников говорит словами «Певца во стане русских воинов» и еще несколькими отрывочными зарисовками, которые не создают основного повествования, а являются случайным дополнением к нему. Автор «Походных записок» вместе с русской армией проходит по селам и городам Германии, вместе с ней вступает в Париж. Заграничный поход давал возможность включать в записки политический материал. Но Лажечников этого не делал. Из «Походных записок» мы более узнаем о «шалуне Зефире» и «плутишке Амуре», о липовых рощах, о прекрасных аллеях, многолюдных ярмарках и кабачках, нежели об идеях века. Лажечников не любил касаться политических проблем. По многолюдным улицам Варшавы, Берлина и Парижа «сентиментальный» путешественник проходит «с тощим желудком, легким кошельком и нежным сердцем». «Походные записки» Лажечникова не похожи на записки Шишкова и Сергея Глинки, но они также не

¹ И. Лажечников. Походные записки русского офицера. М., 1836, стр. 81.

могут быть поставлены в сравнение с письмами и записками будущих декабристов. Они принадлежат более эпохе Карамзина, нежели эпохе 1812 года.¹

* * *

Следует сказать, что и будущие декабристы, писавшие о 1812 годе в пору борьбы с Наполеоном, поддавались иллюзиям относительно Александра I. Только позднее, оглядываясь на пройденный историей путь, разбираясь в итогах событий, они поняли, что были обмануты царем, не сдержавшим ни одного из своих обещаний. Так обстояло дело и в «Письмах русского офицера» Федора Глинки и в «Записках» В. И. Штейнгеля. Барон Штейнгель в 1812 году вступил в петербургское ополчение, участвовал в нескольких сражениях, в частности в осаде Данцига, и тогда же вел свои записки, вышедшие в двух томах в 1814—1815 годах с посвящением императору Александру. Штейнгель тех дней только и слышит военную музыку и барабанный бой, все свои возвышенные мечтания связывает он с именем «мудрого» Александра I. Петербургских ополченцев, о которых рассказывает Штейнгель в «Записках», на первых порах заслоняет граф Витгенштейн. Штейнгель сравнивает Витгенштейна с «непреборимой скалой, о которую, подобно разъяренным волнам, тщетно ударялись громады неприятельских полчищ, и прилив несчастья, угрожавший потоплением Петрову граду, был им остановлен в пределах, кои все адские усилия вотще прорвать старались».² Описывая первую битву, в которой непосредственное участие

¹ В нашу задачу не входит обзор отголосков 1812 года в русской повести и романе 20-х годов. Укажем только, что в 1831 году почти одновременно появились романы Булгарина («П. И. Выжигин») и Загоскина («Рославлев, или Русские в 1813 г.») Авторы этих романов выводят на сцену вымышленные лица и заставляют их произносить утомительные, скучные тирады. В романах Загоскина и Булгарина отсутствуют живые деятели и события, не действует и молчит народ.

² «Записки касательно составления и самого похода санкт-петербургского ополчения против врагов отечества в 1812 и 1813 годах, с кратким обозрением всех происшествий, во время бедствия и спасения нашего отечества случившихся, и с подробным описанием осады и взятия Данцига», ч. 1, стр. 67.

принимали петербургские армейские ополченцы, Штейнгель особенно подчеркивает заслугу сенатора А. А. Бибикова, храбрость начальников и офицеров, — «мужество, достойное российских дворян».

Список героев, отличившихся на поле битвы, состоит в основном из титулярных советников, губернских секретарей и коллежских регистраторов; о русском солдате, об ополченце из народа в «Записках» почти не говорится. В дальнейшем Штейнгель отказывается от слишком официального тона своих «Записок», стиль повествования становится менее торжественным и витийственным, но более дельным и естественным, способным передать дух русского солдата. Исходя из собственных наблюдений, Штейнгель в самом конце «Записок» говорит об ополченцах, находя в них «ту отличительную веселость, ту гибкость и проворство, коими сама природа отличила народ русский». Показателен отзыв о русской песне, которую не раз приходилось слышать Штейнгелю на привале и во время похода: «Какая бы тоска ни пала на сердце русское, он запоет песню, душа его увлекается в заунывных неподражаемых тонах, он забывается совершенно — сердце его бывает в сию минуту, так сказать, наэлектризовано, и он готов к неожиданным действиям героизма». ¹ В конце своих «Записок» Штейнгель необычайно восторженно отзывается о Кутузове, видя в нем истинного героя. «Имя твое и память, — говорит Штейнгель, — будут греметь в отдаленнейшем потомстве России, мысль о тебе смешается с понятием о любви к отечеству — и ты по смерти будешь производить чудеса истинного героизма». ²

Но едва ли не самая знаменательная глава «Записок» Штейнгеля посвящена итогам, возвращению ополченцев в отечество.

Теперь Штейнгель, обогащенный опытом Отечественной войны, рассчитывает на признательность «сотоварищей и сослуживцев», «великодушных соотечественников», и от них ждет награду за усердие, за свой скромный труд. Оказывается, что и цель книги состоит в желании автора передать героические дела соотечественников потомству. «Наконец должен я сказать, — заявляет Штейн-

¹ В. И. Штейнгель. Записки, ч. 2, стр. 46.

² Там же, стр. 51.

гель, — что не из тщеславия, не из лести и пристрастия, не из выгод личных употребил я слабые способности мои для начертания сего повествования; но единственно в той сильной уверенности моей, что всякий сын отечества должен все телесные и умственные силы свои употребить для пользы и славы своих соотечественников, как современных, так и будущих. Хороший пример дедов, рассказанный кстати внукам, произвести нередко может чудеса. Если ныне сердца наши воспаляются любовью к отечеству при напоминовении деяний Минина, Гермогена, Пожарского, Палицина, почему не быть уверену, что дела современных героев, при подобном, недавно минувшем, бедствии отечества содеянные, не будут одушевлять потомство?»¹ В этом патриотическом назидании, в обращении к соотечественникам хранить «хороший пример дедов», напоминать о деяниях Минина и Пожарского, одушевлять потомство героикой 1812 года и употреблять все свои силы для славы отечества, нельзя не почувствовать преддекабристских настроений — того гражданского патриотизма, которым полны «думы» Рылеева и вся передовая декабристская литература.

Высказывания Штейнгеля, автора «Записок», не нужно преувеличивать, в них еще не определился подлинный политический кругозор декабризма. После окончания Отечественной войны Штейнгель продолжил свои писания и в них значительно расширил свои наблюдения над окружающей действительностью. В 1817 году он подготовил записку «Нечто о наказаниях», в которой протестовал против палачества и кнутобойства, «ужасных и человечеству противных». Тогда же он написал записку «Некоторые мысли и замечания относительно законных постановлений о гражданственности и купечестве в России». В. И. Штейнгель выступал в защиту купеческого и мещанского сословия и требовал оградить третье сословие от «наглости и насильства»: «Но разве не видим сплошь, что, при малейшем притязании полиции, бьют их по щекам, секут розгами и проч., — и всякий будошник дает невозбранную волю рукам своим».²

¹ В. И. Штейнгель. Записки, ч. 2, стр. 183—184.

² Богатый материал для понимания постепенного формирования декабристского мировоззрения Штейнгеля дают его автобиографи-

Для историка декабристской литературы представляют некоторый интерес «Записки о походах 1812 и 1813 годов, от Тарутинского сражения до Кульмского боя». Эти «Записки» (в двух частях) в 1834 году были изданы в Петербурге, но изданы анонимно, без обозначения фамилии автора на титульном листе книги. Рукопись «Записок» была получена из Бобруйской крепости, и принадлежала она ссыльному декабристу В. С. Норову. На каторге и в ссылке декабристы продолжают свои незавершенные замыслы, прерванные неудавшимся декабристским восстанием. Их сознание невольно возвращается

ческие «Записки», которые были начаты около 1819 года и закончены под конец жизни, по возвращении из Сибири. Важный дополнительный смысл имеет рассказ в этих «Записках» об отце, служившем капитан-исправником в Нижне-Камчатске, человеке честном, но вспыльчивом, постоянно находившемся в распрях с местным начальством и бюрократией и погибшем в этой неравной борьбе. За попытку в 1792 году «самовольно» выехать из Иркутска отец будущего декабриста был арестован генерал-губернатором и посажен на гауптвахту, где «позволяли делать с ним всякого рода наглости; а когда он выходил из терпения и приходил в отчаянное бешенство, тогда, называя его сумасшедшим, обременяли цепями и допускали солдат бить его, кому как и сколько вздумалось». Так обращались с отцом декабриста. Жизнь самого В. И. Штейнгеля была не из легких. Он воспитывался в Морском корпусе, где кадетов секи «безжалостно», «морили на хлебе и воде», «ставили голыми коленями на древесу и даже на горюх». Ранние автобиографические «Записки» Штейнгеля должны учитываться при характеристике «Записок о петербургском ополчении». В дальнейшем Штейнгель продолжает свои воспоминания. Четвертая глава «Записок» начинается рассказом о Рылееве. О Рылееве говорится с огромным уважением: «Брошенное им слово «теперь или никогда», казалось, воспламенило всех». Хотя Штейнгель и придерживался конституционно-монархических воззрений, считая, что «республика в России невозможна», тем не менее он вступил в Северное общество, близко сошелся с Рылеевым, участвовал в декабристском движении и понес суровую кару. В последних главах «Записок» Штейнгель подробно рассказывает о пребывании декабристов в Петропавловской крепости, о следственном процессе и поведении Николая I, этого палача декабристов, о жизни декабристов в Сибири. Часть III «Записок» имеет вполне самостоятельное значение. Это уже не воспоминание, а политическое обозрение, ретроспективный взгляд на историю декабризма и восстание 14 декабря 1825 года. «Записки» Штейнгеля, наряду с воспоминаниями Н. Бестужева и Оболенского, составляют важнейший документ декабристской мемуарной литературы. Они были опубликованы П. Е. Щеголевым в сборнике «Общественное движение в России в первую половину XIX века», т. 1, стр. 325—474.

к эпохе 1812 года, сыгравшей первостепенную роль в развитии декабристского движения. «Записки» Норова показательны отношением к Кутузову. Если официальная дворянская историография сознательно принижала роль Кутузова как полководца, то декабристские военные историки дали «в основном верную, хотя и недостаточно полную оценку полководческого искусства Кутузова». ¹ В «Записках» Норова не случайно цитируются кутузовские приказы — они являлись образцом кутузовского красноречия, своеобразного кутузовского стиля и слога, патристически-народного, понятного каждому солдату. В отличие от напыщенных и витиеватых высочайших манифестов, вышедших из-под пера адмирала Шишкова, приказы Кутузова написаны удивительно просто, по-народному взволнованно и энергично. В приказах Кутузова мы находим преодоление сословных перегородок и определение войны 1812 года как подлинно Отечественной войны; о народе в них сказано как о главной и единственной силе истории. Вот один из дневных приказов Кутузова:

«Русские воины! После чрезвычайных успехов, одерживаемых нами ежедневно и повсюду над неприятелем, остается только быстро его преследовать, и тогда, может быть, земля русская, которую мечтал он поработить, усееется костями его. Настают зима, вьюги и морозы, но вам ли бояться их, дети Севера? Железная грудь ваша не страшится ни суровости погод, ни злости врагов; она есть надежная стена Отечества, о которую все сокрушается. Вы будете переносить и кратковременные недостатки, если они случатся. Добрые солдаты отличаются твердостью и терпением; старые служивые дадут пример молодым; пусть всякий помнит Суворова; он научил сносить голод и холод, когда дело шло о победе и о славе русского народа. Идем вперед! Да будет за нами тишина и спокойствие». ²

Приказы, обращения и письма Кутузова написаны «сильным солдатским слогом». И в этом отношении они

¹ См.: Л. Г. Бескровный. «Контрнаступление М. И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г.» — «Известия АН СССР», Серия истории и философии. М., 1952, т. IX, № 1, стр. 4.

² «Записки о походах 1812 и 1813 годов, от Тарутинского сражения до Кульмского боя», ч. I. СПб., 1834, стр. 37—38.

представляют прямую противоположность витийственному стилю «высочайших» манифестов, автором которых был Шишков. Декабристские писатели учитывали опыт Суворова и Кутузова, их умение разговаривать с солдатами по-солдатски. В послесловии к книге «Подарок русскому солдату» Федор Глинка высказывался о «сильном солдатском слоге»: «А кто первый сотворил у нас быстрый (как скорый марш), легкий, живой и сильный солдатский слог? — Суворов, великий Суворов. Его тактика написана истинно солдатским слогом, зато солдаты знали и твердили ее наизусть, как любимую сказку или песню».

Изображая главнейшие события эпохи похода 1812 года, Норов ставил своей целью «опровергнуть неосновательные речи, выдуманные завистью и врагами славы нашего оружия: что холод был причиною наших успехов!»¹ Эту же цель преследовал Денис Давыдов в своем «Дневнике партизанских действий 1812 года» и «Теории партизанского действия». Не случайно Норов «приглашал внимательного и беспристрастного читателя, во-первых, взглянуть на возражения генерала Давыдова».

* * *

Неверно было бы утверждать, что только будущие декабристы были способны понять народный характер Отечественной войны 1812 года. Давыдов не был декабристом, но ему принадлежит «Дневник партизанских действий 1812 года», который может служить примером самой передовой военной публицистики. Правда, и здесь следует оговориться. Денис Давыдов еще в 1803 году написал смелые политические басни «Голова и ноги», «Река и зеркало» (ему же приписывается басня «Орлица, Турухтан и Тетерев», где в образе злого петуха Турухтана был высмеян Павел I, а в образе Тетерева, «глухой твари» и «разини бестолковой», — Александр I). За «возмутительные стихи» Давыдову «мылили голову», перевели из Кавалергардского гвардейского полка в провинциальный армейский гусарский полк, из Петербурга в Киевскую губернию. На сатиру «Голова и ноги» ссы-

¹ «Записки о походах 1812 и 1813 годов...», стр. 134.

лался в своем письме Николаю I из крепости В. И. Штейнгель: «Кто из молодых людей, несколько образованных, не читал и не увлекался сочинениями Пушкина, дышащими свободой, кто не цитировал басни Дениса Давыдова: Голова и ноги!..»¹

«Дневник партизанских действий 1812 года» написан отважным партизаном-воином и с передовых позиций. Нельзя отрицать, как об этом говорил В. М. Саянов, что «Давыдов очень заботился о своей военной славе и слишком много говорил о собственных боевых заслугах. Давыдов прекрасно знал восторженное мнение современников о себе и всячески старался его использовать».² Но справедливость требует также отметить, что эту славу он всегда делил пополам с народом, «я» и «мы», лихой партизанский командир и его боевые «сотоварищи» — неотделимы, между ними подлинное глубокое содружество. «Узнав, что в село Токарево пришла шайка мародеров, мы 2-го сентября на рассвете напали на нее и захватили в плен 90 человек, прикрывавших обоз с ограбленными у жителей пожитками».³ И это *мы* всюду чувствуется. Ревнивый к собственной военной славе, Давыдов никогда не противопоставлял себя военным делам товарищей и сподвижников. Партизанам в «Дневнике» посвящены са-

¹ «Общественное движение в России в первую половину XIX века», стр. 400.

² См. вступительную статью к «Полному собранию стихотворений» Дениса Давыдова.— Библиотека поэта, Большая серия. «Советский писатель», 1933, стр. 8.

³ Цит по тексту «Военные записки», Госполитиздат, М., 1940. Под редакцией Вл. Орлова.— Следует напомнить, что Белинский ценил не только Давыдова-поэта, но и Давыдова — военного писателя. По словам Белинского, Давыдов «примечателен и как поэт, и как военный писатель, и как вообще литератор, и как воин — не только по примерной храбрости и какому-то рыцарскому одушевлению, но и по таланту военачальничества, и, наконец, он примечателен как человек, как характер. Он во всем этом знаменит, ибо во всем этом возвышается над уровнем посредственности и обыкновенности». Советские историки литературы, продолжая развивать это мнение Белинского, дали вполне достойную оценку оригинальному дарованию писателя-воина, в частности, они отметили большие заслуги Давыдова как военно-исторического беллетриста.— См. вступительную статью В. Н. Орлова к указанному изданию «Военных записок», а также научно-популярный очерк А. Гвоздарева «Денис Давыдов. Поэт. Партизан», изданный в 1943 году в Ярославле.

мые восторженные страницы: «Кочевье на соломе под крышею неба! Вседневная встреча со смертью! Неугомонная залетная жизнь партизанская! Вспоминаю о вас с любовью и тогда, как покой и безмятежие нежат меня, беспечного, в кругу милого моего семейства!» Между тем в своих описаниях Денис Давыдов строг и скуп на слова, он не любит риторики и сентиментальничанья, говорит только дело, ему недосуг отвлеченно витийствовать о долге и чести. О значении партизанского движения в 1812 году он пишет, как в боевом приказе, ясно и без всяких украшений: «Господствующая мысль партизанов той эпохи долженствовала состоять в том, чтобы теснить, беспокоить, томить, вырывать, что по силам, и, так сказать, жечь малым огнем неприятеля без угомона и неотступно». Давыдов подчеркивает свою смелость и инициативу в делах войны не столько ради самолюбования, сколько из оппозиции к тем бездарным военачальникам, которых назначал на высокие места царский штаб. После войны, когда больше не было проверки делом и действием, эти полководцы казенного образца, мастера парадов и муштры, стали господствовать в русской армии, и именно к ним относится ненависть Давыдова. В «Дневнике» Дениса Давыдова намечается критика аракчеевских порядков в армии, которую он завершит в «Воспоминаниях об цесаревиче Константине Павловиче». В блестящем памфлете на Константина Павловича, имевшего «физиономию, поражающую всех своею оригинальностью и отсутствием приятного выражения», Давыдов с холодным презрением писал о «любителях изяшной ремешковой службы» и «правил вытягивания носков», об аракчеевцах, которые к тому же были «яростными врагами либерализма». В своем «Дневнике», начатом в годы войны с Наполеоном и законченном лишь в 1838 году, Давыдов ссылался на «умного, благородного и почтенного генерала» И. М. Бегичева, называвшего графа Аракчеева «в эпоху его могущества графом Огорчевым». Poleмика с «огорчевыми», с бездушными и невежественными военачальниками составляет одну из интереснейших страниц «Дневника партизанских действий 1812 года». Вместе с тем это есть полемика передового русского офицера с реакционной историографической литературой. Денис Давыдов не только не возвышает Але-

ксандра I, но и вообще о нем почти не упоминает в своем «Дневнике»; события, по Давыдову, разворачиваются безо всякого вмешательства императора. Пафос книги Давыдова — в доказательствах, что война 1812 года — народная, национально-освободительная война. Отсюда повышенный интерес к партизанскому движению, к патристическому движению народных масс. Давыдов спорит в своем дневнике с военными деятелями, принижающими армейское партизанское движение. Такова сцена встречи в избе генерала Раевского. Не называя своих «приятелей» по фамилии, Давыдов ясно говорит, что они не знают тяжелой партизанской службы и неверно судят о партизанах. «Едва я поздоровался с Раевским и некоторыми приятелями моими, — пишет Давыдов, — как начались улыбки, полунасмешливые взгляды и вопросы насчет двухмесячных трудов моих... Иные давали мне чувствовать, что нет никакой опасности действовать в тылу неприятеля; другие — что донесения мои подвержены сомнению; те безмерно хвалили партизанов прошедших войн с тем, чтобы унизить мои поиски; некоторые осуждали светлейшего за то, что дает место в отношениях делам, не достойным внимания...» Описание этой сцены построено Давыдовым так, что последнее слово о партизанском движении принадлежит «светлейшему», Кутузову. Вскоре после разговора с «некоторыми приятелями» в избе Раевского Давыдов был приглашен Кутузовым, который обнял отважного партизана и прибавил: «Удачные опыты твои доказали мне пользу партизанской войны, которая столь много вреда нанесла, наносит и нанесет неприятелю». Прощаясь с Кутузовым, Денис Давыдов напоминает главнокомандующему о своих подчиненных и просит их наградить. Это тоже важная деталь. Денис Давыдов через весь свой «Дневник» проходит с «горстью своих товарищей». Правда, к награде он представляет офицеров, но и рядовые участники партизанского движения не изображаются безликими, о них можно сказать: «вот этот». Характеристики русских генералов, офицеров и рядовых участников Отечественной войны с Наполеоном — предельно лаконичны и художественно выразительны. Это целая серия портретов, написанных рукой художника, умеющего в кратком определении и воздать хвалу и уничтожить дутую репутацию. Бенниг-

сен — «длинный и возвышавшийся над полками, как знамя»; Каменский — «злой, вулканический»; Багратион — «Ахилл наполеоновских войн», с «горделивой поступью, орлиным взглядом, геройской осанкой»; Барклай — «скромный, важный, величественный»; Кутузов — «умнейший, тончайший, просвещеннейший и любезнейший»; Ермолов с его «величавой осанкой, классическими чертами лица, глазами, исполненными жизни и огня», с «обширными сведениями» и «замечательным даром слова»; Милорадович — генерал «необыкновенного мужества и невозмутимого хладнокровия во время боя», «обожаем солдатами». В уменье двумя-тремя штрихами создавать портреты своих боевых друзей состоит отличительная черта писательской манеры Дениса Давыдова, с огромным вниманием относившегося к человеку, независимо от его ранга и чина. «Каждый солдат может стать героем», — говорил Давыдов. Давыдов-художник изображает русских офицеров и солдат, отважных и сообразительных, во всей их естественной красоте и поэтической прелести. Русские военные люди не нуждаются в штампе, каждый из них — яркая индивидуальность, а не человек-автомат, подтянутый ремнем. Автор дневника рисует картину прихода калужских ополченцев в казачьи полки. Перед читателем проходят живые люди, калужские ополченцы узнаются не только по фамилиям.

«Волынского уланского полка майор Степан Храповицкий — росту менее среднего, тела тучного, лица смуглого, волоса черного, борода клином; ума делового и веселого, характера вспыльчивого, человек возвышенных чувств, строжайших правил честности и исполненный дарований как для поля сражения, так и для кабинета; образованности европейской.

«Состоявший по кавалерии ротмистр Чеченский — черкес, вывезенный из Чечни младенцем и возмужавший в России. Росту малого, сухошавый, горбоносый, цвета лица бронзового, волоса черного, как *крыло ворона*, взора орлиного. Характер ярый, запальчивый и неукротимый; явный друг или враг; предприимчивости беспредельной, сметливости и решимости мгновенных.

«Ахтырского гусарского полка штабс-ротмистр Николай Бедряга — малого росту, красивой наружности, бли-

стательной храбрости, верный товарищ на биваках; в битвах — впереди всех, *горит, как свечка*.

«Того же полка поручик Дмитрий Бекетов — росту более нежели среднего, тела тучного, круглолицый, златокудрый. Сердцем — *малый*, как говорится, *рубаха*, весельчак, с умом объемистым, тонким и образованным; офицер весьма храбрый и надежный даже и для отдельных поручений.

«Того же полка поручик Макаров — росту высокого, широкоплечий и силы необыкновенной, без образования, но с умом точным. Агнец между своими, тигр на поле битвы...»

Среди партизан — крестьянин Федор из Царева-Займища. «Этот удалец, оставя жену и детей, скрывшихся в лесах, находился при мне, — пишет Денис Давыдов, — до изгнания неприятеля из Смоленской губернии и только после освобождения оной возвратился на свое пепелище». Но еще больший вес имеет тот факт, что этот крестьянин Федор, мичман Храповицкий, титулярный советник Татаринов, землемер Макаревич, отдавшие свой долг отечеству и возвратившиеся на родину «с торжествующей совестью после священного дела», оказались куда выше родовитых дворян. «Исключая Храповицкого, два последние были бедные дворяне, а Федор — крестьянин; но сколь возвышаются они перед потомками тех древних бояр, которые, порыскав два месяца по московскому бульвару с гремучими шпорами и с густыми усами, ускакали из Москвы в отдаленные губернии, и там, пока достойные и незабвенные соотчичи их подставляли грудь на штык врагов родины, они прыскались духами и плясали на могиле отечества!» Чтобы быть ближе к народу, Давыдов одевается в мужицкий кафтан и отпускает бороду. Все это делает Денис Давыдов не в целях бравоирования, через крестьянское платье он пытался сблизиться с народом, найти к нему доступ.

**ПИСЬМА ФЕДОРА ГЛИНКИ
И И. М. МУРАВЬЕВА-АПОСТОЛА**

* * *

«Дневник» Дениса Давыдова давно вошел в историю русской литературы. Рядом с этой патриотической книгой следует поставить «Письма из Москвы в Нижний Новгород» И. М. Муравьева-Апостола, напечатанные в 1813—1814 годах в «Сыне отечества», и особенно «Письма русского офицера» Ф. Глинки, вышедшие отдельным изданием в 1815 году в Москве.

Приветствуя переиздание «Писем русского офицера», «Русский вестник» в 1870 году утверждал за Глинкой славу последователя Карамзина. «Глинка, — говорится в библиографической заметке, — не только питомец карамзинской школы: он, равно как Жуковский, современник Карамзина. Слава Карамзина начинается с его «Писем русского путешественника», напечатанных в 1792 году, а с того как вышли в свет «Письма о походе 1805—6 годов», начинается и известность Глинки. От его «Писем русского офицера» веет временем юности Карамзина, его буколическим сочувствием природе и его манерой изложения. Читая «Письма русского офицера», нельзя не вспомнить «Писем русского путешественника».¹

Мнение «Русского вестника» не то что умаляет значение Глинки, — оно ошибочно определяет место автора «Писем» в истории русской литературы и общественной мысли. С «Русским вестником» можно согласиться в том отношении, что «Письма русского путешественника» были «песней соловья», а «Письма русского офицера» — «зву-

¹ «Русский вестник», 1870, апрель, стр. 687.

ком оружия». Но говорить, что от «Писем» Глинки веет только «юностью Карамзина», значит не увидеть в них молодости будущего декабриста. Глинка, несомненно, испытал влияние Карамзина. Манерой и слогом Карамзина Глинка рассказывает о своем первом пребывании в Польше и Германии. Взоры путешественника блуждают «по прелестным живописным окрестностям», путешественник гуляет по уединенным аллеям в саду княгини М., читает надписи на надгробных памятниках, вместе с генералом М. присутствует на бале у княгини Ч., знакомится в замке с картинной галлереей, состоящей из прекрасного собрания подлинников Рубенса и Корреджио, завтракает и обедает в гостях, причем в письмах сообщаются подробнейшие сведения о порядке дня, начиная с самого утра и кончая поздним вечером. Но домашние эпизоды и прогулки по аллеям не составляют главного содержания «Писем». К тому же русский офицер не только присутствует на бале и пьет кофе, но и знакомит читателя с вековыми плодами просвещения, с успехами цивилизации. Будущие декабристы дорожили культурно-познавательным материалом, и Глинка широко вводит этот материал в свои «Письма».

В. В. Сиповский в монографии «Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника» (СПБ., 1899) фактически повторил оценку «Русского вестника», ставя Глинку в разряд подражателей Карамзина на том основании, что в его «Письмах» встречаются буколические картины природы. И анонимный рецензент «Русского вестника» и В. В. Сиповский приводят одно и то же описание природы, в котором якобы Глинка следует по стопам «сентиментальных» путешественников. Однако глинковский пейзаж с таким же успехом противопоставляется излишней чувствительности. Цветущая природа, как объективная реальность, существует и там, где расположен воинский стан. Офицеру-воину не зазорно наслаждаться природой, а слишком чувствительному — и вздыхать по ней. Другое дело, когда над родной землей нависли «грозные тучи». Тогда картины веселья и беспечности будут несоответственными, они ничего не скажут ни сердцу, ни уму. Такой тайный спор заключен в одном из самых буколических описаний Глинки. Ссылаясь на «картинную природу» в изображении Глинки, В. В. Сиповский обры-

ваает цитату на самом знаменательном месте: «Как приятно гулять по здешним полям. Чистый воздух, картинная природа, уединение — все услаждает чувства, все нежит душу, все располагает ее к дружбе, любви и добру». А далее: «Но, увы, можно ль предаться сим нежным чувствам, когда война сгущает громовые тучи, и смерть машет над нами косою». ¹ Думаем, что Глинка в данном случае отказывался итти по пути «сентиментальных путешественников», которые в своих «походных записках» продолжали «услаждать чувства» и «нежить душу».

Использование традиции не всегда означает слепое следование за ней. В «Письмах русского офицера» мы видим одновременно преодоление этой традиции, поиски нового жанра. «Письма русского офицера» (все восемь частей) — важный публицистический и художественный документ эпохи, подготовившей декабристов.

Глинка вел свой походный дневник при свете бивачных огней, на голом поле, часто сразу после сражения. «Окруженный шумом военных бурь, — признавался автор «Писем русского офицера» осенью 1816 года в письме к А. А. Прокоповичу-Антоновичу, — я посвящал все свое время обязанностям службы. Иногда только, в минуты общего отдохновения, при свете полевых огней, часто на самом месте боя изливал я, как умел, мысли и чувства мои на бумаге». ² «Письма русского офицера» создавались в походе, а не в Арзамасе, где, например, писал свой дневник в 1812 году Сергей Глинка. В отличие от Лажечникова, который имел время «исправить погрешности своего творения», значительно дополнить и переработать журнальный текст своих записок, Глинка напечатал «Письма русского офицера» в таком виде, в каком они были написаны во время войны и заграничного путешествия. И. А. Крылов в разговоре с Глинкой не советовал и при переиздании «Писем» ставить «новые заплаты на старом кафтане», «не подтачивать нового к старому». «И поверьте, что позднейшим читателям и

¹ «Письма русского офицера», ч. 5, стр. 2—3.

² Письмо Ф. Н. Глинки к А. А. Прокоповичу-Антоновичу (1816 г.) хранится в Рукописном отд. Гос. Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина.

любопытно и приятно будет найти у вас, — говорил Крылов, — не сухое официальное изложение, а именно более или менее удачный отпечаток того, что и как виделось, мыслилось и чувствовалось в тот многопамятный XII год, когда вся Россия, вздрогнув, встала на ноги и, с умиленным самоотвержением, готова была на всякое пожертвование».¹ Глинка так и сделал, переиздавая свои «Письма» в 1870 году.

Основная заслуга Глинки как автора «Писем русского офицера» состоит в том, что он показал народный характер войны 1812 года. Со страниц «Писем русского офицера» Отечественная война выглядит подлинно народной войной; народ, творящий свою историю, был главным участником исторического события. Главное в «Письмах» состоит в изображении народной героики. Установка на реалистическую верность и правдоподобие изображаемых картин придает «Письмам русского офицера» значение художественного и публицистического документа, по которому можно судить о народном характере Отечественной войны 1812 года. События и лица выглядят вполне живыми, без ложнопатриотического восторга, во всем их трагическом и героическом величии.

Силу русского оружия доказало знаменитое Бородинское сражение: «Застонала земля и пробудила спавших на ней воинов. Дрогнули поля, но сердца спокойны были. Так началось беспремерное Бородинское сражение 26-го августа. Туча ядер, с визгом пролетевшая над шалашом нашим, пробудила меня и моих товарищей... Мужество наших войск было неописуемо. Они, казалось, дорожили каждым вершком земли и бились до смерти за каждый шаг». Не трескучие морозы, а героизм и самоотверженность русского народа спасли Россию от покорения французами и обеспечили ей национальную независимость. Война 1812 года — война народная, отечественная, и Глинка в своих «Письмах» всюду подчеркивает ее народный характер.

О великом героизме русского народа и его полководцев Глинка рассказывает как очевидец, поэт и художник, мысли и чувства которого проникнуты горячей лю-

¹ См. вступление Ф. Н. Глинки к «Письмам русского офицера». М., 1870.

бовью к человечеству и родине. «Письма русского офицера» выявили в авторе подлинно патриотического писателя, талантливого художника и публициста, умеющего живо и красочно рисовать эпизоды походной жизни, батальные сцены, боевые дела русской армии. В «Письмах русского офицера» народ выступал не в качестве декорации. В письме «Приближение армии к Москве» простой народ противопоставлен изнеженному дворянству, достойные сыны отечества — вельможам и «богатым людям», отъезжающим в дальние губернии. «Все вельможи, все богатые люди выехали в дальние губернии; большая часть сокровищ увезена. Оставшееся купечество и толпа народа готовы были еще защищать священные стены древних зданий, храмы божии и гробы царей российских, но, видя отступающую армию, оставляя все, следовали за оною. Многие показали такие примеры пренебрежения собственных выгод и преданности к общей пользе, которые удивляли нас только в истории: сии усердные сыны Отечества сожигали собственные дома свои, дабы не дать в них гнездиться злодеям».¹

* * *

В отличие от всех известных нам записок о 1812 году «Письма русского офицера» Глинки соединяют тему войны и заграничных походов с темой возвращения на родину.² В письме от 29 апреля 1814 года Глинка спра-

¹ «Письма русского офицера», ч. 5, стр. 199.

² Следует также отметить «Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 год» артиллерии подполковника И. Р. (М., 1835). Автор этих записок Иван Радожицкий с действительным патриотизмом думал о судьбе родины. Показательны парижские впечатления: «Прощай, Париж! теперь я знаком с тобою и, возвратясь в Россию, перечеркну многое в книгах, где пристрастные путешественники превозносили тебя выше меры. Мы видели товар налицо. Правда, много есть в Париже вещей, достойных любопытства и удивления; но мудро ли счастливому завоевателю, овладевшему престолом революционной Франции, обобрававшему столицы государств европейских, собрать все лучшее в гнездо свое. Если у нас в России есть что хорошее, то это наше и родилось у нас». Это из заграничных впечатлений И. Радожицкого. Мысли при обратном возвращении в Россию: «Отечество!.. Это сладкозвучное

шивал: «Как-то примут нас в Отечестве нашем, когда бог судит воротиться?» Жизнь русского крестьянина рисовалась в несколько идиллических тонах: «Тут в веселом пиру товарищей за ковшами пенистой браги или за чарами ими же добытого вина воины-поселяне, разнежась на привале, с неизъяснимым умилением беседовать станут о прежних днях побед». Но эта идиллическая картинка, созданная воображением патриотического писателя, разрушилась при первом взгляде на окружающую действительность. На обратном пути в Россию, проезжая многие города и села, Глинка наблюдал крайнюю бедность селений, произвол, казнокрадство и бюрократизм чиновников. «Проедешь Оршу, Дубровку, Борисов и Минск, — писал на обратном пути автор «Писем русского офицера», — и ничего не заметишь, кроме бедности в народе и повсеместного разрушения».

Нужно помнить, что в тогдашних русских условиях критические замечания Глинки были чрезвычайно весомы. Даже очень невинные его ремарки вызывали ожесточенный правительственный отпор. Так, безнаказанными не прошли строки, посвященные почтовому ведомству. Там царил непроходимый беспорядок, а проезжающим давалось право посылать жалобы и «никогда не знать, удовлетворен ли он или нет». «Люди, сочинявшие сии строгие постановления в тишине великолепных кабинетов, конечно, никогда не езжали под именем простых офицеров или бедных путешественников. Побывав в когтях станционных хозяев, они заговорили бы совсем другим языком». Прочитав эту меткую характеристику бюрократических порядков России, министр просвещения граф Разумовский заявил протест: «В шестой части изданных в Москве и напечатанных в типографии Селивановского «Писем русского офицера», на стр. 88 и 89, — писал

слово много в себе заключает. Мы дрались за него, проливали кровь, жертвовали за него жизнью; мы спасли свое счастье, которым должны наслаждаться в родной стране». Наконец, думы офицера при взгляде на внутреннее состояние России: «Курные хаты», «спят на голых досках и едят грубую пищу, работают как волю». Помещичьи мызы в Малороссии «великолепны», а хаты у мужиков «так малы и тесны, что похожи более на собачьи конурки, нежели на жилища людей».

гр. Разумовский П. И. Голенищеву-Кутузову, — помещены весьма дерзкие замечания на почтовые в России учреждения, особ, под руководством коих они сделаны. Не понимаю, как московский цензурный комитет, невзирая на многократные замечания и выговоры начальства своего, беспрестанно пропускает статьи, явным образом противные уставу о цензуре, и не смогу не предполагать, что цензоры пропускают сочинения, вовсе не прочитывая оных. Прошу ваше превосходительство и о настоящем случае сделать замечание цензурному комитету и строжайший выговор профессору Котельницкому, одобрявшему вышеупомянутую книгу, также принять меры, чтобы подобные упущения впредь не могли случиться». Это отношение графа Разумовского было отправлено 25 августа 1815 года, а через два дня, то есть 27 августа, был получен ответ: «Во исполнение предписания вашего сиятельства от 25-го числа сего августа № 2481 сделаны мною московскому цензурному комитету замечания, а профессору Котельницкому строжайший выговор за пропуск в «Письмах русского офицера» весьма дерзких замечаний на почтовые в России учреждения и особ, под руководством коих они сделаны. Сверх того приняты меры, чтобы подобные упущения впредь отнюдь не могли случаться».¹

В последних главах своих «Писем» Глинка с глубоким разочарованием писал, что на родине попрежнему процветают ложь и лицемерие, богатство и роскошь, когда тысячи русского народа страдают и бедствуют. «Люди все те же, что и были. Пожары не просветили умов, и злополучие не успело еще смягчить сердец. Прежние страсти и прихоти выползают из пепла и старое свое господство утверждают в новых домах. Роскошь и богатство запевают прежние песни. «Бедность не порок» — говорят равнодушно светские умники, лежа на богатых диванах».²

Изображение войны 1812 года как героической народной эпопеи и, одновременно, разоблачение крепостничества становятся традицией передовой публицистики

¹ Приводится в нашей книге «Поэтическое наследие Федора Глинки», Петрозаводск, 1950.

² «Письма русского офицера», ч. 6, стр. 65.

и беллетристики. В частности, Грибоедов собирался написать драму «1812 год» и уже сделал набросок сцены, в идейном отношении очень близкий к письмам Глинки. Крепостной крестьянин М. остается в осажденной Москве, потом бежит из Москвы, чтобы сражаться во «всеобщем ополчении без дворян», тогда как сановные вельможи, изменив патриотическому долгу, поспешно исчезают из Москвы, спасая свою жизнь и богатство.

А ныне знать, вельможи — где они?
Тот князь, твой восприемник от купели.
Его жена? родня? Исчезли все.
Их пышные хоромы опустели.

В заключение своей драмы Грибоедов собирался рассказать о трагической судьбе крепостного крестьянина М. «Прежние мерзости. М. возвращается под палку господина, который хочет сбрить ему бороду».¹

¹ В. Ермилов в книге о Н. В. Гоголе пишет о незавершенном замысле Грибоедова: «В литературе бывают замыслы, пусть не осуществленные, но сами по себе имеющие право называться *гениальными*. Эти замыслы всегда бывают в своей сущности простыми, народными, схватывающими *самое главное* в своем времени. Таков был этот замысел Грибоедова, направленный на раскрытие коренного трагического противоречия эпохи» (стр. 100). Не менее гениальным и тоже не завершенным замыслом о 1812 году и последующей эпохе является повесть Гоголя о капитане Копейкине. В. Ермилов правильно замечает: «Недаром царская цензура запретила ее печатание, и Гоголю пришлось совершенно переделывать «Повесть» для того, чтобы сохранить хотя бы образ Копейкина. И недаром Гоголь особенно дорожил этой повестью, считая ее едва ли не лучшим местом в поэме» (стр. 279). Героem гоголевской повести является инвалид Отечественной войны 1812 года. Капитан Копейкин, не имевший ни руки, ни ноги и ни копейки в кармане, прорывается в приемную к вельможе и просит оказать помощь. Вместо помощи грозный окрик: «Ищите сами средств». Генерал-вельможа принял Копейкина, как говорит Гоголь, «в лопатки», а потом выслал героя 1812 года из Петербурга с фельдъегерем «на казенный счет». Декабристы мечтали о подобном сюжете. Гоголь не только создал повесть о Копейкине, оказавшемся жертвой самодержавия, но и предложил вполне демократическое решение социальной проблемы: «Итак, куда делся Копейкин, неизвестно, но не прошло, можете представить себе, двух месяцев, как появилась в рязанских лесах шайка разбойников, и атаман-то этой шайки был, судьба мой, никто другой...» Капитан Копейкин становится предводителем «шайки разбойников». Но это только «завязка романа». Судя по первоначальной редакции «Мертвых душ», Копей-

Грибоедов не завершил свой замысел, грибоедовский сюжет слишком резко расходился с лживой официальной концепцией 1812 года. В грибоедовской драме весьма ясно говорилось о «награде» в отечестве: крепостной крестьянин, доведенный до отчаяния издевательствами помещика, кончает жизнь самоубийством. Конечно, подобный сюжет не мог стать достоянием ни сцены, ни печати. Он метил не только в отдельного барина-крепостника, жертвой которого стал ополченец 1812 года, но и в Александра I и в Аракчеева, во всю крепостническую Россию. Александр I ответил народу-победителю военными поселениями и новым рабством крестьян. Глинке тоже пришлось подумать о завершении писем, в которых речь шла о современной России. Он вынужден был обратиться к иносказательному описанию. В восьмой части «Писем русского офицера» Глинка запрятал свой проект, назвав его «Фантасмагорией». Мудрый старец в этой «Фантасмагории» просвещает неопытного юношу. Он «живыми примерами» объясняет «великое таинство правления судьбою народов». Мудрый старец указывает юноше самое восхитительное зрелище, картину народа благоденствующего: «край благословенный: обильные жатвы залитыми морями волнуются по необозримому пространству возделанных полей, тучные стада пестреют на злачной зелени долин; города наполнены народом,

кин должен был превратиться в защитника обиженных и угнетенных. Капитан Копейкин превращается в своеобразного народного генерала, под его началом целая «армия», состоящая из «беглых солдат». И эта «армия» не дает «спуску никакого» тем, кто угнетает народ, не дает «спуску» тем, кто владеет «фуражом казенным, провиантом или деньгами», а проезжающих по дороге по «своей надобности» не трогает. Таких благородных разбойников народ воспеваеt в своих песнях и преданиях. Нужно сказать, что до такого решения социальной проблемы не доходили дворянские революционеры. Они были за героя 1812 года, за Копейкина-инвалида, против сибарита-вольможи, но и против Копейкина-разбойника, Копейкина-атамана, предводительствующего народной «армией», способной смести с лица земли помещичье государство. Гоголь сюжет о герое 1812 года разработал с «небывалой социальной остротой». В. Ермилов хорошо говорит об этом солдате: «Целое войско, престрашное и, к тому же, предводительствуемое офицером — героем и инвалидом славной Отечественной войны 1812 года!» (стр. 286).

заливы покрыты кораблями, а реки множеством судов; везде слышны гласы жизни и песни радости». Показывая на эту процветающую страну, престарелый наставник говорит юноше: «Столь счастлива бывает страна, когда управляет ею государь мудрый!» И тут же мудрый старец обращает внимание на картину страданий «народа бедствующего»: «Невозделанные степи, неосушенные болота, унылые города и бедные села представляются глазам его. Угнетенный нуждами народ таится в глуши дремучих лесов. Он не имеет понятия о счастии общественной жизни; утешение веры, защита законов и все приятности наук и художеств для него чужды. Промышленность не смеет приглашать его к деятельности, а торговля к выгодным менам. Целые области стонут под ложами правителей своих, и все их достояние не может насытить корыстолюбия оных». ¹

Через год или два спустя после выхода в свет «Писем русского офицера» Федор Глинка как член декабристского тайного общества прекрасно прокомментировал «Фантасмагорию», записав в свою памятную книжку правила, которых он непременно должен придерживаться: «*Порицать*: 1) Аракчеева и Долгорукова; 2) военные поселения; 3) рабство и палки; 4) леность вельмож; 5) слепую доверенность к правителям канцелярии (Геттун и Анненский); 6) жестокость и неосмотрительность уголовной палаты; 7) крайнюю небрежность полиции при первоначальных следствиях». ²

В своих показаниях и письмах из Петропавловской крепости декабристы указывали на прямую связь между их движением, идеологией дворянских революционеров, и национально-освободительной борьбой против Наполеона, в которой русский народ проявил чудеса храбрости и самоотверженности. Декабристы в своих конечных целях и в методах борьбы с самодержавием были далеки от народа, но это не помешало дворянским революционерам прислушиваться к голосу народа, работать на народ, серьезно думать и готовиться к ликвидации крепостничества и абсолютизма в своей стране.

¹ «Письма русского офицера», ч. 8, стр. 191—193.

² «Русская старина», 1904, март, стр. 512.

В письме из Петропавловской крепости Александр Бестужев свидетельствовал о ропоте народа: «Еще война длилась, когда ратники, возвратясь в дома, первые разнесли ропот в классе народа. «Мы проливали кровь, — говорили они, — а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили Родину от тирана, а нас опять тиранят господа». ¹ Петр Каховский в письме к Николаю I из Петропавловской крепости (24 февраля 1826 года) с восторгом отзывался о нравственных и умственных достоинствах «добрého народа русского», спасшего отечество от иностранного ига. «Сердце цело во мне, — писал Каховский, — видя ум и простое убедительное красноречие народа русского... В 1812 г. нужны были невероятные усилия. Народ радостно все нес в жертву для спасения отечества». Показателен также и конечный вывод Каховского: «Но народ, давший возможность к славе, получил ли какую льготу? Нет!» ² Это «нет» (русский народ не получил от правительства никакой льготы, а он заслужил ее) и есть один из главных мотивов антикрепостнической декабристской идеологии. Будущие декабристы в большинстве своем — сами непосредственные участники великих событий. После окончания войны 1812 года и возвращения на родину из заграничных походов они воочию убедились, что русский народ, жертвовавший своею жизнью, снова попал под иго крепостнического самодержавия и дворян-тиранов. Отсюда идет декабристская ненависть к аракчеевскому режиму, решимость бороться с уродствами социальной жизни и с политическим бесправием.

Александр Бестужев и Петр Каховский писали об аракчеевской России десять лет спустя после окончания Отечественной войны, оглядываясь на пройденный путь. Между тем для историка русской общественной мысли первостепенное значение имеют свидетельства и суждения, которые выливались на бумагу под прямым впечатлением только что пережитого, сразу же после возвращения русских воинов в Петербург. Пусть в этих ранних

¹ «Из писем и показаний декабристов». Под ред. А. К. Бороздина. СПб., 1906, стр. 35—36.

² Там же, стр. 17—19.

художественных и публицистических документах и не столь резко оценена аракчеевская действительность, как это мы видим в позднейших отзывах и записках, зато в них заключены самые первые отклики, непосредственные впечатления и зарисовки, списанные с натуры, по живым следам. К тому же письма участников 1812 года, появившиеся в 20-е годы в печати, составляли насущную потребность дня, они читались и перечитывались, по ним судили о 1812 годе, на них воспитывалось молодое поколение.

* * *

«Письма русского офицера» включают заграничное путешествие, и в описании этого путешествия Глинка очень близко подходит к позднейшим высказываниям декабристов о заграничных походах 1812—1814 годов. Русские люди оказались внимательными и вдумчивыми наблюдателями социально-политической жизни западно-европейских государств. Заграничные походы были поучительным уроком, они сыграли известную роль в развитии освободительного движения в России. Глинка пристально вглядывается в европейскую жизнь, с интересом следит за развитием гражданских идей, с большим удовлетворением рассказывает о парижских музеях и театрах, о «женевском мудреце» Руссо, о цветущих полях Саксонии. Автор «Писем русского офицера» включил в свою книгу главу под названием «Палаты законодательного сословия», чтобы показать картины «вековых плодов просвещения» и «успехов цивилизации».

И в годы Отечественной войны и заграничных походов, и значительно позже, в годы деятельности Союза Спасения и Союза Благоденствия, Глинка придерживался конституционно-монархической платформы. Он всегда ратовал за конституционное правление и всегда боялся революции, не только народной, но и буржуазной; его постоянный девиз: «без крови». О декабристских идеях «Писем русского офицера» следует говорить с ограничениями. Ясно, что Пестель и Рылеев смотрели на европейские революционные события с иных позиций, нежели Глинка, представитель правых декабристских кругов.

Политическая умеренность, конечно, сказалась и в «Письмах», сказывалась она и в отношении к Робеспьеру, Мирабо и Марату, и в преувеличенной оценке Генриха IV, который, по словам Глинки, «живал в хижинах, был другом и отцом поселян», «знал о состоянии народа» и не верил лживым «рассказам льстецов». Глинка за конституцию, за просвещенного монарха, ограниченного разумными законами, но он против республики, против революционных действий, которые могут слишком «воспламенить головы». Оказавшись в центре политических событий эпохи, автор «Писем русского офицера» многого не понял и многое перетолковал на свой лад.

В черновых набросках «Писем русского офицера» одна из заметок была озаглавлена «Выезд из Парижа». В этой заметке писатель-воин подводил итог заграничным впечатлениям, а итог таков: «Революция раздражила страсти, воспламенила головы. Бедные офицеры, привыкшие роскошничать на чужой счет, могут ли смотреть спокойно из убогих изб своих, как богачи станут пировать в дачах своих. Революция уже много уравнила состояние. Здесь все еще тесно жить. Быть чему не есть во Франции... Фитиля нет, а порох остался». Наконец, одну из последних глав «Писем русского офицера», судя по «Записным походным книжкам», Глинка собирался назвать «Предвестия революции».¹

Глинка далек от безоговорочного сочувствия французской революции. Он, как и многие другие участники похода в Париж, судил о французской революции по ее итогам, а итоги находились в противоречии с учением французских просветителей, идейных вдохновителей революции. Отсюда известное разочарование, настороженное отношение к практическим результатам французской революции, критика современного состояния Франции. В 1820 году, как об этом рассказывает в своих показаниях Г. А. Перетц, Глинка убеждал вновь принятых в тайное общество, что французская революция обещала «много хорошего», но тут же замечал, что «участвовавшие в оной, вместо преследования общей цели, искали личных выгод», а потому «говорили, чтоб нам того не

¹ Черновые наброски «Писем русского офицера» хранятся в Центральном Государственном литературном архиве в Москве.

делать».¹ «Нам того не делать», то есть не искать «личных выгод», а преследовать «общую цель». Очевидно, Глинка имел в виду поведение буржуазной партии во французской революции, действительно, вместе с поступательным ходом революции, все более отклонявшейся от «общей цели». Буржуазная Франция, вышедшая из революции, своим общественным устройством не прельщала декабристов. «Растление нравов, роскошь, изнеженный образ жизни и множество неизвестных дотоле причин, — писал Глинка в «Письмах к другу», — ослабили впоследствии тела, унизили душу и помрачили умы. Благородный дух народов, паривший прежде орлом, стал пресмыкаться змеєю. Себялюбие погрело все добродетели, и частные выгоды растерзали общее благо».² Надо полагать, Глинка здесь подразумевает практику термидора, обнажившего моральные тенденции буржуазии. В «Письмах» И. М. Муравьева-Апостола, отца трех декабристов, содержится та же самая мысль, что и в «Письмах» Глинки, но выражена она еще более отчетливо, причем этот автор подчеркивает, что французская революция привела к буржуазному режиму, осложненному диктатурой Наполеона: этот период от революции к Наполеону, к буржуазной диктатуре Наполеона, усугублял у декабристов разочарованность в итогах французской революционной практики. И. М. Муравьев-Апостол писал: «Я сам был свидетелем перехода их (французов. — В. Б.) от республики к тирании». Участники войны 1812 года и заграничных походов увидели Францию не «мятежных граждан», а «низких рабов». Буржуазная цивилизация современной Франции наводила русских людей на грустные размышления, тем более что французский народ сделался «орудием тирана, ведущего неистовые войны противу всех народов, с тем чтобы их подвергнуть тому же рабству, в котором они сами пресмыкаются».³ И. М. Му-

¹ Показания Г. А. Перетца опубликованы частично в журнале «Каторга и ссылка», 1926, № 4/26, а также см.: «Декабрист Г. А. Перетц. Библиографический очерк и документы». Изд. Академии наук СССР, 1926.

² «Письма к другу», ч. 3, 1816, стр. 63—64.

³ «Сын отечества», 1813, ч. 9, стр. 5. Автором «Писем из Москвы в Нижний-Новгород» был Иван Матвеевич Муравьев-Апостол (1762—1851), писатель и дипломат, один из образованней-

равьев-Апостол напоминал о судьбе Греции, Рима, о падении древних республик: «Чугунный скипетр суеверий и деспотизма лежит на развалинах Афин и Спарты. Отечество Леонида и Аристида стонет под двойным игом варварства и тиранства». ¹ Судьба Франции напоминала ему судьбу древнего Рима. «Рим, — пишет И. М. Муравьев-Апостол, — начался монархией и подпал деспотизму. Тарквиний изгоняется, власть делится, и выходит аристократия, т. е. вместо одного тирана — сто. Против аристократии борется демократия, последняя одолевает первую и кончается ужаснейшей тиранией. Все тот же круг, из коего Рим выбраться не мог. Но что я говорю о древних! Французы, острые, скорые французы в 20 лет пробежали вверх и вниз лестницу, по которой римляне тащились 700 лет!» ²

В ходе Отечественной войны 1812 года и заграничных походов было многое проверено и критически пересмотрено, причем выводы, к которым пришли русские воины, побывавшие в Париже в 1814 году, не всегда говорили в пользу современной европейской жизни. Буржуазная

ших людей своего времени, отец прославленных декабристов. Он пользовался репутацией либерального человека, выступавшего против Аракчеева; декабристы намечали его вместе со Сперанским и Мордвиновым в состав Временного правительства. И. М. Муравьев-Апостол огромное значение придавал воспитанию своих сыновей, стремясь из них сделать истинных патриотов, смелых и сильных душой. В 1812 году в письме к Г. Р. Державину он писал: «Я родился с пламенной любовью к отечеству; воспитание еще возвысило во мне сие благородное чувство, единое достойное быть страстью души сильной». О своих сыновьях говорил: «Выращу детей, достойных быть русскими, достойных умереть за Россию» (см. Г. Р. Державин. Сочинения, т. VI, СПб., 1871, стр. 297 и сл.). Правильную характеристику И. М. Муравьеву-Апостолу дает С. Я. Штрайх (см. примечания к «Избранным произведениям декабристов», т. 2, стр. 527). Это, конечно, не значит, что И. М. Муравьев-Апостол являлся предшественником декабристов. В его «Письмах», наряду с острой и правильной критикой подражания всему иноземному и защитой самобытности русской культуры, сказываются консервативные настроения русского сановника. Сказываются они прежде всего в отношении к французской революции и в одобрительной оценке французской монархии времени Людовика XIV, под властью которого Франция якобы «процветала». Политический смысл этих рассуждений очевиден.

¹ Там же, 1815, ч. 23, стр. 98.

² Там же, 1814, ч. 16, стр. 51.

Франция была такова, что ее политические и общественные учреждения являлись «самой злой, самой отрезвляющей карикатурой на блестящее обещание философов XVIII века». ¹ Современная Франция не только не давала ответа, но и от многого предостерегала; Америка, раздражаемая противоречиями между отдельными областями, была на пороге междоусобной войны, в ней заметно потухали прежние республиканские традиции; Англия, разбогатевшая за счет чужих земель, погрязла в своем эгоизме, в буржуазном бессердечии. «Англия, пресыщенная славой и сокровищами, может быть уразумеет, наконец, — пишет И. М. Муравьев-Апостол, — что эгоизм в последствиях своих столько же пагубен государству, как и частному человеку». ² Сами просветительские идеи были притягательны для передовых русских людей, думавших о преобразовании в своем отечестве, но современная Франция их наводила на грустные размышления. Россия тоже нуждалась в социальных переменах, и передовые русские люди мучительно искали решение волновавшей их социальной проблемы.

* * *

В «Письмах русского офицера» Федора Глинки и в «Письмах из Москвы в Нижний-Новгород» И. М. Муравьева-Апостола тема о войне 1812 года соединена с глубоким взглядом на современное состояние Европы и с размышлением о судьбе своей родины. В «Письмах из Москвы в Нижний-Новгород» феодализм определялся как «давно истлевшее и с просвещением несовместимое политическое тело». Для И. М. Муравьева-Апостола было ясно, что феодализм должен заменить «новый порядок вещей», который «с большею точностью и справедливостью определит права народа». ³ Но эти права должен определить «повелитель», то есть просвещенный монарх, ограниченный разумными законами. Дальше подобной политической программы, предполагавшей введение

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. IV, стр. 260.

² «Сын отечества», 1815, ч. 23, стр. 95.

³ Там же, стр. 94.

в России конституционной монархии, ни И. М. Муравьев-Апостол, ни Федор Глинка не пошли. Решение было чрезвычайно бедное, однако вопросы о дальнейших судьбах европейских социальных порядков были так многозначительны, что они продолжали жить в русском обществе и волновать его независимо от того, как решали их писатели-декабристы, впервые вводящие их в оборот.

Показательно отношение Глинки к классическому наследию французских просветителей, к идеологии просветительской эпохи XVIII столетия. «Письма русского офицера» и «Письма к другу» лишний раз доказывают, что будущие декабристы наследовали идеи французских просветителей, но не копировали их. Совершая поездку по отечественным губерниям после окончания Отечественной войны, Глинка не расстаётся с сочинениями Мабли, Адама Смита и Руссо.

В «Письмах к другу» автор сообщает: «...лошади везут шагом; пользуясь временем, дочитываю прекрасную книгу Мабли». Глинка даже заставляет обитателей хижин, русских крестьян, читать и понимать политическую литературу, рожденную в эпоху революционных переворотов. Обитатель хижин Бедняков «не читал Смита, а говорил почти его словами; вот они: «в тех состояниях, где труд напрягается достаточной платою, многочисленное семейство не только не бывает тягостью, но даже источником изобилия для отца». ¹ Бедняков «в свою очередь читал с жаром страсти пламенные страницы из Руссовой Элоизы». ² Имена Мабли, Адама Смита и Руссо были привычны также и Радищеву, и через эти имена европейских просветителей, занимавших мысль декабристов, они снова связываются с радищевскими традициями.

Особенно близким Глинке оказалось учение Руссо, противопоставление порочной цивилизации современности более демократических, более ранних в порядке социальной истории форм человеческих отношений. Руссоистская критика феодального и буржуазного быта, его социальной и моральной несостоятельности, своеобразная критика «европейского человека», сочетающаяся с гумани-

¹ «Письма к другу», ч. 2, стр. 152.

² Там же, стр. 147.

стическим утверждением прав личности, находила поддержку среди декабристов, особенно у деятелей Союза Благоденствия.

Руссо не был подкуплен материальными успехами буржуазной цивилизации и в своих философских трактатах указывал на изнанку всех этих успехов, на моральную деградацию человека, носителя этой цивилизации. Энгельс в «Анти-Дюринге» высоко оценил Руссо, как мыслителя, проникшего в диалектику социального различия.¹ Руссо, подобно многим мыслителям его эпохи, а также и эпохи последующей, в своих попытках найти положительный идеал был гораздо менее силен, чем в области социальной критики. Выход из противоречий современного общества он видел в возвращении к патриархальности, к социальным отношениям далекого прошлого, еще сохранившимся в качестве пережитков в недрах современной цивилизации. Убеденный демократ, сторонник «простого человека», его счастья, его прав и свободы, он, однако, не мог указать действительного способа охраны народных интересов и в этих вопросах мыслил как утопист. В политической области Руссо достиг более положительных результатов, чем в вопросах социальных. В своем «Общественном договоре» он проповедовал идею народоправства, перехода всей полноты власти в руки народа, и именно эта идея вдохновляла лучших деятелей французской революции.

Если Карамзину и карамзинистам Руссо был мил как утопист, мечтающий о патриархальной идиллии, причем писатели этого направления почти целиком вытравили из утопии Руссо ее политический смысл, то для декабристов «женевский мудрец» велик прежде всего как публицист и политик, автор «Общественного договора», писатель-гражданин. На декабристов оказывал свое воздействие демократический пафос учения Руссо. Но они скептически относились к утопии Руссо, к его идеям возврата к патриархальному и «естественному» состоянию. Так, например, Глинка, принимая демократический идеал Руссо в его общей форме, отнюдь не принимал конкретной демократической программы Руссо, сводившейся

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XIV, стр. 138—139.

к несбыточной социальной утопии ретроградного характера. Глинка видел в Руссо страстного защитника идей социальной справедливости и гуманизма. В «Письмах русского офицера» устами Ивана Свешникова он говорил: «Руссо самый красноречивый писатель; он хоть кого обворочит». Еще в 1808 году в журнале «Аглая» Глинка напечатал свои «Мысли», в которых признавался, что «желал бы быть Зевсом для того, чтобы пролить гром на злодеев и лить реками отраду в сердце несчастных». Глинкой была создана специальная формула: «Рубище скрывает часто лучшие добродетели». Восприняв идею о нравственном превосходстве простого народа над эгоистической моралью дворянского и буржуазного общества, Глинка все же не сделался ортодоксальным руссоистом, разделяющим как достижения, так и заблуждения учителя. Не случайно крестьянин Свешников, страстный поклонник Руссо, одновременно доказывал «несбыточность мечтаний женеvского философа». «Был ли золотой век (состояние невинности), о котором гласит древность, или это воображение поэтов?» — спрашивал Глинка. «Золотой век» есть «воображение поэтов», и прежде всего Руссо. Всего важнее для декабристов то обстоятельство, что даже если «золотой век» и существовал, то «золотой» — *патриархальный* век не стоит вздыханий.

В отношении Глинки к Руссо и руссоизму переплетались самые разнородные мотивы: как дворянин, как привилегированный землевладелец, он не в состоянии поддерживать наиболее смелые, радикальные идеи Руссо, и, при всем своем сочувствии к человеку в «рубище», Глинка все же не более как конституционный монархист, возлагающий надежды на мирное развитие под опекой верховной власти. И все же есть у Глинки в его критике Руссо и другие мотивы, свободные от классовой ограниченности. В Глинке сказывается русский национальный опыт, и именно из его данных он исходит, вступая в спор с патриархальной утопией Руссо. Россия времен декабристов слишком явным образом страдала от избытка именно этой патриархальности, которую брал под защиту Руссо. Патриархальность в различных ее формах слишком явственно задерживала рост России, и декабристы не могли поэтому видеть в патриархальности свой идеал.

Тем более что самодержавная власть по-своему проявляла готовность опираться на патриархальную идеологию, и реакционные карамзинисты в этом отношении шли ей навстречу.

В несколько наивных рассуждениях Глинки сквозит верная мысль, что общественные отношения буржуазной Франции малосообразны с теми добродетелями, которые официально провозглашает республиканский строй. Именно буржуазные порядки, буржуазный уклад жизни приводят И. М. Муравьева-Апостола к заключению, что во Франции отсутствует «чистота нравов». Сравнительно с Францией, русский народ, еще не тронутый порчей буржуазности, представляется Муравьеву-Апостолу более расположенным к восприятию высших гражданских идей, это «народ, наделенный драгоценными дарами природы, наиспособнейшими ко всем успехам ума, с сильною душою, с пылким воображением». ¹ Не следует только отвергать «дары природы и пособия отечества». Между тем в современной России не создано условий для проявления самобытных наклонностей русского народа, для развития его способностей и истинного просвещения. И. М. Муравьев-Апостол в «Письмах» говорит об истинном просвещении», которое нельзя смешивать с «наружным блеском», с лоском дворянского быта и обихода. Отечеству нужны не только «богатыри телом», но и «богатыри душой». В современной России истинное просвещение не в почете, все остается «попрежнему в грустном мраке». Это беспокоит Муравьева-Апостола. «Так, друг мой, — пишет он в письме к другу, — сердце мое обливается кровью, когда я помышляю, сколько гениев у нас увядает при самом развитии цвета разума и не принеся никакого плода отечеству! Сколько людей, одаренных способностями, осуждается жить для того только, чтобы бременить собою землю!.. И все это от того только, что мы, по старому заблуждению, не следуем в воспитании путем, проложенным опытностию веков, по которому все просвещенные народы шли и будут идти, доколе станут предпочитать учение невежеству и истинное просвещение наружному блеску, который, подобно потешным огням,

¹ «Сын отечества», 1813, ч. 10, стр. 28.

сверкнет, исчезнет — и все вокруг себя оставит попрежнему в грустном мраке». ¹

И. М. Муравьев-Апостол прекрасно понимает, что истинное просвещение не может уживаться с рабством: «Рабство и просвещение не совместны». Поэтому развитие просвещения и усовершенствование нравственности само собой предполагало борьбу с крепостничеством, воспитание гражданских чувств и национальной гордости.

Глинка тоже полагал, что даровать народу конституцию, не исправив предварительно нравы, значит погубить хорошую идею: прежде следует навести порядок в нравственном общежитии, а потом уже браться за радикальные перемены. Отсюда требование — максимально развивать мирную пропаганду и влиять на общественное мнение, распространять просвещение и человеколюбие. Достигнуть нравственного совершенства всех общественных сословий, гармонии или социального равновесия в обществе можно при помощи длительного воздействия на ум и сердце сограждан.

Отсюда понятно, почему Глинка такое огромное внимание уделял общественному воспитанию и как писатель-дидактик и как руководитель педагогического филиала Союза Благоденствия — «Вольного общества учреждения училищ по методу взаимного обучения». «Общественное воспитание, — говорит Глинка, — есть бесспорно лучшее из всех. Оно уравнивает все состояния и приучает питомцев к единому смыслу и братскому союзу, что впоследствии может составить истинную неодолимую крепость общества. Домашнее воспитание нежит тело, расслабляет души и делает до крайности надменными и своевольными баловней потворства и неги. Какой-нибудь княжеский или графский сын, привыкнув от молодых ногтей слышать беспрестанно, что все с уклончивостью называют его сиятельным, поневоле вообразит, что он в самом деле земное или, по крайней мере, комнатное солнце... Напротив, в общественном воспитании все посторонние титулы, все причуды знатности исчезают, а при всяком остается одно только звание человека». ²

¹ «Сын отечества», 1813, ч. 10, стр. 28.

² «Письма к другу», ч. 3, стр. 59—60.

Глинка до самого 14 декабря 1825 года донес свои умеренные идеи о нравственном преобразовании общества. В предисловии к «Опытам аллегорий или иносказательных описаний в стихах и прозе», сданным в печать в самом конце 1825 года, Глинка признавался, что его внимание всегда привлекал человек «со стороны его положения в обществе и особенно со стороны его природы нравственной, в которой собственно заключается великая тайна нашего счастья», что он всегда считал необходимым «останавливать внимание людей на высоких истинах и нравственности». Мысль Глинки о высокой нравственности как источнике человеческой свободы не являлась революционной теорией — в лучшем случае она была просветительной, рассчитанной на искоренение пороков и воспитание подрастающего поколения в духе гражданской этики. Однако в некоторых нравоучительных аллегориях Глинке удавалось достигнуть необходимого политического эффекта, и его иносказания становились подекабристски нравоучительными. В частности в рассказе «Сновидение», входящем в состав «Писем к другу», Глинка очень близко подошел к радищевской «Беседе о том, что есть сын отечества», и, может быть, под впечатлением радищевского трактата построил беседу мудреца с юношей. Радищев писал о «сыне отечества»: «Истинный человек есть истинный исполнитель всех предуставленных для блаженства его законов; он свято повинуется оным... С благоговением подчиняется он всему тому, чего порядок, благоустройство и спасение общее требуют; для него нет низкого состояния в служении отечеству... он пламенеет нежнейшею любовью к целости и спокойствию своих соотчичей... не страшится трудностей, встречающихся ему при сем благородном его подвиге; преодолевает все препятствия... ежели уверен в том, что смерть его принесет крепость и славу отечеству, то не страшится пожертвовать жизнью», и т. д.¹ В рассказе Глинки суровый, но почтенный мудрец открывает юноше «врата общества». «От хижины до палат расстояние неизмеримо! Закоренелые предрассудки, как

¹ «Беседа о том, что есть сын отечества» была опубликована в 1789 году без подписи автора в журнале «Беседующий гражданин».

железные стены, отделяют людей от людей. Жители света, в который вступаешь, крепостные рабы приличий и отношений». И мудрый старец дает совет юноше: «Вдохновенный внушениями моими; ты не убоишься вещать строгие истины и *сильным мира и царям*. При дворе государя, на бурном море, под свистом пуль, у самого жерла огнедышащей горы, подкрепляемый мною, ты пребудешь непоколебимым, и если вселенная станет сокрушаться вокруг тебя, ты не дрогнешь».¹

Следует отметить, что проблема общественного воспитания, затронутая в «Письмах» И. М. Муравьева-Апостола и Федора Глинки, находит в дальнейшем развитие в программных декабристских документах. Устав Союза Благоденствия предлагал обращать «наибольшее внимание на нравственное образование», чтобы подрастающее поколение было достойно высокого «звания гражданина и добродетельного человека». В декабристской дидактике вопрос шел о распространении «правил нравственности и просвещения», «доблести народной» и о возвышении России «на степень величия и благоденствия». Член Союза Благоденствия Н. И. Кутузов в статье «О причинах благоденствия и величия народа» прямо заявлял: «Воспитание должно основываться на нравственности: где нет сего основания, там не может быть ни величия, ни благоденствия народного». «Любовь к отечеству, гордость народная, — писал Н. И. Кутузов, — должны наполнять юные сердца питомцев». Наконец, воспитатели, отвечающие за судьбу молодого поколения, сами должны обладать высокими качествами гражданина: «исполненные добродетели, известные любовью к отечеству, исполненные народной гордости, ненавидящие иноземное влияние». «Они, — писал Н. И. Кутузов о воспитателях, — должны описанием добродетелей великих мужей всех народов поселить в сердце воспитанников желание подражать им».²

Декабристы не проявили большого интереса к литературе нравоучительной, считая ее слишком рассудочной и отвлеченной. Однако сама идея о поэзии, говорящей

¹ «Письма к другу», ч. 2, стр. 121—127.

² «Сын отечества», 1820, ч. 54, стр. 7—12.

языком «высоких чувствований», несомненно соответствовала требованию Рылеева «потребить все усилия осуществить в своих писаниях идеалы высоких чувств, мыслей и вечных истин, всегда близких человечеству и всегда не довольно ему известных» («Несколько слов о поэзии», 1825). Проблема нравственного совершенства волновала всех без исключения декабристов, но особенно она волновала тех, кто находился под непосредственным влиянием идей Союза Благоденствия и после ликвидации Союза не расставался с иллюзиями «Зеленой книги». В учении о нравственном долге, как первоисточнике человеческой свободы и возвышенных чувств, вкладывалось на разных этапах декабристского движения разное идейное содержание. Рылеев, например, пришел к выводу, что высшим проявлением нравственного долга является способность жертвовать собой: умереть на плахе или победить. Глинка полагал, что за кровь нельзя воздавать кровью, он рассчитывал на длительное действие, пропаганду этических идеалов ставил превыше всего. Слишком преувеличивая власть человеческих чувств, Глинка пришел в конечном итоге к нравоучительному доктринерству.

Декабристы-республиканцы не могли согласиться с конституционно-монархической концепцией И. М. Муравьева-Апостола и Федора Глинки, с их тактикой постепенного действия. Но и сам декабризм как общественно-политическое движение явление чрезвычайно сложное, включающее разные оттенки и даже направления.

* * *

В конце 1816 года на страницах «Сына отечества» появилась первая заметка о будущих декабристах, изучающих политическую экономию. Автор этой заметки, скрывшийся за инициалы Ф. Г. (Федор Глинка), понятно не называл слушателей профессора Германа членами Союза Спасения, но это были именно они — истинные и верные сыны отечества. В показаниях Следственному комитету Пестель вспоминал об офицерском кружке: «Зимою с 1816 на 1817 год слушал я курс политических наук у профессора и академика Германа в его квартире на Васильевском острове». Вместе с Пестелем курс поли-

тической экономии слушали еще двадцать офицеров, в том числе Никита Муравьев, С. Трубецкой, Илья Долгоруков, Ф. Глинка и др. В № 9 «Сына отечества» за 1818 год Глинка опубликовал краткий конспект первой лекции профессора Германа на тему «Взгляд на историю политических наук». В примечании к своему конспекту Глинка сообщал: «Весьма любопытно и очень приятно видеть питомцев Марса, щедро украшенных ранами и знаками отличия, скромно сидящих за круглым столом и прилежно слушающих ученого человека. Почтенный господин Герман говорит весьма умно. В прошлом году прочитаны три системы политической экономии; ныне читаются финансы. Предлагаю для образца первый урок в таком виде, как успел записать оный со слов профессора».¹

Профессор Герман касался в своих лекциях актуальных вопросов современности и научно обосновывал необходимость борьбы за конституционные порядки. Он, например, предлагал слушателям следующие вопросы: «Как жили предки наши в сем обществе? Чем пользовались или чем бы должны были пользоваться в оном? Почему общество сие имеет такой, а не другой вид, кто и для каких причин дал ему вид сей, а не приличнее ли для счастья его был какой-либо иной?» Из этих вопросов неминуемо проистекал следующий: «Отколе родились власти, и почему все покорились нескольким или одному? Вот начало общественного договора».² Изучение курса политической экономии входило в программу научных занятий декабристов, составляя ее важнейший раздел. Знакомство с теорией меркантилистов и физиократов, по словам Н. И. Тургенева, невольно воспитывало чувство ненависти к «насилию» и приучало «любить правоту, свободу, уважать класс земледельцев, столь достойный уважения сограждан и особенно попечительности правительства».³

Дискуссия о разных формах правления, начатая в годы Отечественной войны и заграничных походов, была продолжена в годы деятельности первых декабрист-

¹ «Сын отечества», 1818, ч. 44, стр. 97.

² Там же, стр. 103—104.

³ Н. И. Тургенев. Опыты теории налогов, 1819, стр. 2.

ских тайных обществ. Декабристы проявили большое специальное внимание к историческим судьбам других народов и формам государственного правления, к поворотным моментам истории; они вдумчиво вглядывались в прошлое древней Греции и Рима, в прошлое и настоящее Америки, Англии, Франции и Германии. Являясь живыми свидетелями буржуазной революции во Франции, оппозиционного движения в Германии, последовавшего за освободительными войнами против Наполеона, восстаний в Испании, Италии и Греции, прекрасно зная об ужасах капиталистического рабства в Соединенных Штатах Америки и Англии, русские дворянские революционеры в своих суждениях исходили не столько из отвлеченных идей и теоретических предпосылок французских просветителей, сколько из конкретных наблюдений над современной действительностью.

Пестель в своих показаниях Следственному комитету утверждал, что «все сии происшествия ознакомили умы с революцией, с возможностями и удобствами оные производить». Но Пестеля не удовлетворяли западноевропейские буржуазные парламенты, и в одинаковой мере его не удовлетворяли конституционно-монархические проекты умеренных членов Союза Благоденствия. «Я сделался, — говорил Пестель, — в душе республиканец и ни в чем не видел большего благоденствия и высшего блаженства для России, как в республиканском правлении». Пестель «вспоминал блаженные времена Греции», «сравнивал величественную славу Рима в дни республики с плачевным ее уделом под правлением императоров», потом он бросал свой взор на историю Великого Новгорода, которая также «утверждала в республиканском образе мыслей». Что касается Франции и Англии, то их «конституции суть одни только покрывала, никак не воспрещающие министерству в Англии и королю во Франции делать все, что они пожелают...»¹

Если в 1816 году Пестель еще мог говорить в пользу монархической конституции, то в 1820 году он последовательно защищал «республиканский и революционный образ мыслей». А. И. Герцен писал о победе республиканцев над конституционными монархистами в работе

¹ «Избранные произведения декабристов», т. 2, стр. 165—166.

«О развитии революционных идей в России»: «Основное ядро заговорщиков сделалось республиканским и не захотело более довольствоваться представительной монархией. Они справедливо думали, что если у них будет достаточно силы, чтобы ограничить самодержавие, то ее хватит и на то, чтобы вовсе его уничтожить».¹ За словами Герцена скрывался исторический факт, реальный политический диспут, развернувшийся на собрании Коренной думы Союза Благоденствия в квартире Глинки в начале 1820 года. Собрание в квартире Глинки показало, что декабристы «без дальних толков», как выражался Н. И. Тургенев, решили голосовать за республику. На заседании присутствовали Ф. Н. Толстой, Ф. Н. Глинка, И. А. Долгоруков, Лунин, Иван Шипов, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, Иван Муравьев, Пестель, Колошин и др. Пестель делал доклад о «всех выгодах и всех невыгодах как монархического, так и республиканского правления». Федор Глинка агитировал в пользу конституционного монархического правления, предлагая на престол императрицу Елизавету Алексеевну. Вспоминая о совещании 1820 года, Пестель писал в своих показаниях: «Сие заключение Коренной думы было сообщено всем частным думам, а в том числе и тульчинской. С сего времени республиканские мысли начали брать верх над монархическими».

Политические дискуссии не прекращались и после ликвидации Союза Благоденствия. В квартире Рылеева петербургские декабристы продолжили спор, и нужно сказать, что республиканцы-рылеевцы всегда брали верх, одерживали победу над конституционными монархистами. Декабристы постоянно размышляли о будущем политическом строе, рассуждали о преимуществах и недостатках разных форм правления. При встречах с Пестелем Рылеев осуждал конституционно-монархический строй в Англии, он называл его «устарелым». Английская конституция, говорил Рылеев в беседах с Пестелем, «имеет множество пороков»; что касается Наполеона, то Рылеев восклицал: «Сохрани нас бог от Наполеона!» Александр Бестужев совершенно ясно выразил основной лозунг

¹ А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем. Под ред. М. К. Лемке. П., 1919, т. VI, стр. 346 и сл.

левого крыла Северного общества, лозунг свой и Рылеева: «Устранить царствующую фамилию, а на Руси огласить республику». Мечтая о будущем, Рылеев и Бестужев собирались «учредить сенат из старейших и умнейших голов русских», а палату представителей «составить по выбору народа из всех сословий». Об этом писал Александр Бестужев в письме к Николаю I из Алексеевского равелина. Этот рылеевско-бестужевский «сенат» походил на древнее новгородское вече, да и сам Бестужев пояснял, что деятели Северного общества «думали основываться вообще на правах народных и в особенности на затерянных русских».

1812 ГОД И НАЧАЛО БОРЬБЫ ЗА САМОБЫТНУЮ ЛИТЕРАТУРУ

* * *

Далеко не все созданное передовыми публицистами и журналистами в эпоху 1812 года составило идейное и литературное вооружение декабристов. Кондратию Рылееву и Александру Бестужеву пришлось создавать декабристскую прозу и поэзию во многом заново и ориентироваться в своей творческой практике не столько на ранние опыты своих прямых предшественников по тайному обществу (Глинка, Катенин), сколько на наследие Радищева и поэзию Пушкина. Но и в ранние годы преддекабристского и декабристского движения были высказаны такие идеи, которые не утратили своего положительного значения, остались нетронутыми и даже послужили основанием для создания подлинно декабристского искусства.

Сама мысль о большой самобытной литературе героического стиля возникла в годы Отечественной войны, и она принадлежала будущим декабристским писателям. Одним из первых теоретиков самобытного искусства был Н. И. Гнедич. На торжественном открытии Публичной библиотеки в Петербурге Гнедич 2 января 1814 года выступил с «Рассуждениями о причинах, замедлявших развитие нашей словесности». Гнедич говорил, что «слава земли российской должна наполнить и возвеличить наши сердца той благородной гордостью, должна вселить в нас навеки то уважение к самим себе и языку своему, которое одно составляет истинное достоинство народа». За десять лет до выступления Кюхельбекера в «Мнемозине»

и Александра Бестужева в «Полярной звезде» Гнедич осудил всякую подражательность, видя в ней одну из главных причин, мешающих развитию русской литературы. Указывая на важность изучения летописных сказаний, Гнедич призывал «описывать подвиги наших героев», воспитывать юношество для пользы отечества и обязательно в духе мужественной гражданственности, не расслабленной «негой и роскошью». И. Н. Медведева, автор исследования «Н. И. Гнедич и декабристы», совершенно верно отмечает, что «вопросы, которые затронул Гнедич в своей речи, стали очередными и насущными, как только вернувшиеся с полей сражения окунулись в российскую действительность».¹

Одновременно с Гнедичем в защиту самобытности русской культуры писал И. М. Муравьев-Апостол. Подчеркивая историческое значение национально-освободительной борьбы русского народа, Муравьев-Апостол в «Письмах из Москвы в Нижний-Новгород» ставил развитие литературы в прямую зависимость от исторического развития общества. Если в русской литературе еще сильны элементы подражательности, то в этом повинны сами писатели. Русские классики (Сумароков), потом сентименталисты (Карамзин и его школа) ставили французскую литературу превыше всего. Русских дворян, преклоняющихся перед французской образованностью и просвещением, Муравьев-Апостол называет «космополитами». Проявление столь пагубного явления, как космополитизм, он видел в пренебрежении к богатейшему русскому языку. Дворянские космополиты до того забыли свой родной язык, что «даже богу молиться не умеют иначе, как по французскому молитвеннику». Дворяне предпочитают говорить «языком чужим, а не своим», не тем русским языком, на котором «говорят 40 миллионов народа величайшего, удивительнейшего, доказавшего перед лицом вселенной, что доблести рода человеческого еще не истощились веками». И. М. Муравьев-Апостол спрашивает: «Когда же это кончится?»²

¹ И. Н. Медведева. Гнедич и декабристы. Сборник «Декабристы и их время». Под ред. М. П. Алексева и Б. С. Мейлаха. Изд. Академии наук СССР, М. — Л., 1951, стр. 101—154.

² «Сын отечества», 1814, ч. 12, стр. 28.

Ратуя за создание литературы отечественной и резко критикуя русское дворянство за упрямство, за косность, за отрыв от народа и потерю чувства национальной гордости, автор замечательных «Писем из Москвы в Нижний-Новгород» не желает прослыть «квасным патриотом, отрицателем достоинств и достижений французской культуры. Наоборот, его «Письма» свидетельствуют об огромном интересе передовой России к французской литературе. Расин, Мольер, Лафонтен — «великие люди», заслуги их общеизвестны, французская литература изобилует «образцовыми сочинениями». Все это признает и подчеркивает русский критик, предшественник Александра Бестужева. Но и французской литературе недостает самобытности. Отнимите у Расина «то, что не его, что принадлежит Омеру, Софоклу, Еврипиду, Вергилию, Сенеке...», «и останется один прекрасный механизм стиха». «Достоинство хотя и великое, но не то еще, которое требуется от гения-творца», — замечает И. М. Муравьев-Апостол.¹

Самый национальный из всех французских классиков — Лафонтен: «он неподражаем». Этот «французский фабулист» учился у Федра и Ариоста, но, подражая древним, он сумел сохранить национальную самобытность. Мольера должно полагать «настоящим основателем истинной комедии». Мольер тоже самобытен, хотя у него и были учителя в лице Кальдерона и Лопе де Вега. Таким образом И. М. Муравьев-Апостол приветствует во французской литературе XVIII века все более или менее оригинальное, что взрывает классицизм изнутри, убивает пристрастное отношение к чужеземному и равнодушие к своему, национально-народному элементу. Одновременно И. М. Муравьев-Апостол требует равноправия национальных культур, он считает, что и в области культуры тоже существовало подобие наполеоновской диктатуры, насильственная прививка французских вкусов, искусственное равнение на французский классицизм. А этого не должно быть, так как другие народы, равноправные участники культурно-исторического процесса, тоже «имеют право хвалиться такими высокими умами, каковых нет во Франции»: Тассо в Италии, Сервантес

¹ «Сын отечества», 1813. ч. 10, стр. 220.

в Испании, Шекспир в Англии, Гете и Шиллер в Германии. «А мы, — пишет И. М. Муравьев-Апостол, — разве не вправе гордиться нашим Державиным, которого природа одарила гением удивительным».¹

Не обойден в «Письмах» И. М. Муравьева-Апостола вопрос о критерии искусства: «Вкус к изящному» — понятие чересчур общее, так как вкусы не одни и те же, они меняются по нациям и по эпохам. «Тут, — предупреждает автор «Писем из Москвы в Нижний Новгород», — идет дело не о вкусе к изящному, который неизменно принадлежит вообще всем векам, всем просвещенным народам, но о том, который особенно составляет по характеру каждого народа, по нравственным его свойствам и по образу правления».² Это и есть основной принцип эстетики, которой придерживались декабристы, — национальное своеобразие поэзии. Каждый народ создает свою поэзию согласно «нравственным его свойствам» и «образу правления». «Вкус к изящному» не выступает отдельным явлением, взятым независимо от национальных и общественных потребностей. Муравьев-Апостол отстаивал национальную самостоятельность в искусстве и полагал, что у французов свой вкус изящного, а у русских — свой. Во Франции «изнеженный, жеманный вкус», французы любят «украшать природу». Даже «великий Расин» — и тот не избежал «изнеженности», а что остается сказать об остальных поэтах XVIII века: «Изящной природы во всей очаровательной ее простоте нет ни в одном». Между тем «украшать природу», «давать несродные ей прикрасы, значит — портить ее».³ Это был удар и по Карамзину и по его подражателям, которые тоже насаждали в России «жеманный вкус», кудрявили и завивали русский язык, чуждались естественности и простоты. Из Франции в Россию перешел «изнеженный, жеманный вкус», не свойственный русскому народу. В России должна возникнуть самобытная литература, свободная от подражательства. И. М. Муравьев-Апостол ратует за национальную комедию, взятую из русских нравов, соответствующую русскому национальному характеру. «Если

¹ «Сын отечества», 1813, ч. 10, стр. 226.

² Там же, стр. 227—230.

³ Там же, стр. 221.

комедия есть живое в лицах представление господствующих нравов, то каждый народ должен иметь свою комедию по той самой причине, что каждый народ имеет свои собственные нравы и обычаи». ¹ Рассуждение И. М. Муравьева-Апостола о самобытной русской комедии тем более примечательно, что в декабристских кругах этот вопрос постоянно обсуждался.

Но едва ли не самым значительным документом периодической журналистики, ставившей вопрос о необходимости борьбы за самобытную литературу, являются статьи Глинки, в частности его рассуждение «О необходимости иметь историю Отечественной войны 1812 года». Глинка постоянно возвращается к той мысли, что Отечественная война ясно показала значение народа в жизни отечества, и задача искусства — показать и прославить народную героиню, подвиги и добродетели народных героев. «Повелители мира, — пишет Глинка, — убедились опытом, что при защите престола и прав народных наиболее отличились те состояния людей, которые менее прочих пользовались выгодами и преимуществами жизни; ибо между тем, как сыны счастья помышляли только о спасении своих сокровищ и личных выгод, люди бедные толпами бежали спасать отечество или умирать за него на поле чести». Отсюда и цель искусства, сформулированная Глинкой в статье «О природной способности русских к приятным искусствам»: «Пусть и в наш век перо, резец, кисть и смычок обратятся единственно к прославлению добродетелей и подвигов отечественных». ² В упомянутом выше трактате «О необходимости иметь историю Отечественной войны 1812 года», появившемся в «Сыне отечества» (1816, ч. 27, стр. 138—162) и перепечатанном в «Письмах к другу», Глинка совсем близко подошел к теории декабристского романтизма. Правда, Глинка говорил об основных принципах создания истории Отечественной войны, о так называемом «историческом повествовании», но высказанные им положения легко распространяются на всю совокупность литературы и публицистики. Именно война 1812 года натолкнула на мысль о необходимости создать в России литературу, пропове-

¹ «Сын отечества», 1813, ч. 10, стр. 224—225.

² «Письма к другу», ч. 2, стр. 91.

дующую героические и патриотические идеалы. В рассуждении Глинки содержится целая программа передового литературного движения, превосходящая литературные идеи декабристов. В своем трактате Глинка снова возвращается к характеристике русского народа, ибо историческое повествование о войне 1812 года должно «оживить для потомства тех, которые пострадали смертью для отечества». Писатель-историк — только «душеприказчик» народа, народ русский — «народ мужественный, народ знаменитый». Характеристика русского народа в статье Глинки сопровождается следующим патетическим восклицанием: «О народ мужественный, народ знаменитый! Сохрани навеки сию чистоту во нравах, сие величие в духе, жаркую любовь ко холодной родине своей! будь вечно русским, как был, и будешь в народе первым!»¹

«Рассуждение» Глинки должно учитываться при изучении декабристской прозы и публицистики. В нем о самобытности и гражданственности литературы было сказано близко по духу позднейшим выступлениям Рылеева, Кюхельбекера и Ореста Сомова. Подробно коснувшись такого важного вопроса, как интерпретация исторического материала, особенно «деяний отечественных героев», Глинка в своей статье об «историческом повествовании» дает определение высокого и самобытного слога:

1. Слог «исторического повествования» должен быть исполнен «важности, силы и ясности». «Слог грека Фукидида, римлянина Тацита и нового Тацита Иоанна Миллера без сомнения послужит образцом. Но отнюдь не должно упускать из вида и древнего славянина Нестора, которого рукою водила сама истина: должно напоить перо и сердце свое умом и духом драгоценнейших остатков древних рукописей наших».

2. Слог должен быть «чист, ясен и понятен». «Понятен не для одних ученых, не для одних военных, но для всякого состояния, ибо все состояния участвовали в славе войны и в свободе Отечества».

3. Следует очистить русский язык от засилия иностранных слов и выражений. «Русские не потерпели ига татарского; не потерпели нашествия галлов и два-десяти

¹ Здесь и далее цитирую по «Сыну отечества».

языков; они, конечно, не потерпят и владычества чуждых наречий в священных пределах словесности своей».

4. Проблему самобытного слога можно разрешить, опираясь на летописи, народные предания и песни. Должно «вслушиваться в старинные русские песни» и «разные местные наречия», в которых несомненно найдется «много любопытного и для нас теперь еще нового».

В «Письме к генералу NN о переводе воинских выражений на русский язык», напечатанном в 28 части «Сына отечества» за 1816 год (стр. 43—51), Глинка еще более ясно сформулировал свою мысль, предложив «освободить язык наш, столь же сильный и величественный, как и самый народ русский, от нашествия иноплеменных наречий».

Глинка видел в очищении русского языка от галицизмов «зарю свободы» отечественной словесности. Право на гражданство в русском языке имеют только те «иностранные речения», по преимуществу технические термины, которые стали интернациональными. Глинка призывал не к возвращению русского языка к старославянскому наречию, а к расширению его народно-национальных основ. Возлагая надежды на будущее русского языка, он говорил, что «юные ветви» со временем станут «величавыми деревьями». Языковая программа Глинки сложилась в годы Отечественной войны и означала продолжение борьбы на фронте отечественной словесности: «Во все времена,— писал он,— и у всех почти народов слава языка следовала за славой оружия, гремя и возрастая вместе с нею. Но где во вселенной не говорят теперь о России? и где говорят языком ее?.. Имя Отечества нашего сияет славою немерцающею, а язык его безмолвствует!»

Глинка руководствовался в рассуждении об «историческом повествовании» и отечественном слоге стремлением вывести современную литературу из подражательного состояния на путь, соответствующий национальному самосознанию, окрепшему в годы Отечественной войны.

Почти рядом с трактатом Глинки об «историческом повествовании» в «Сыне отечества» (1816, ч. 27 и 29) Никита Муравьев поместил свое «Рассуждение о жизнеописаниях Суворова». Показательно самое начало муравьевской заметки: «Можно с уверенностью сказать,

что муза истории дремлет у нас в России». Между тем Россия богата героическими делами. «Россия, — говорит Никита Муравьев, — имела Румянцевых, Суворовых, Каменских, Кутузовых, но дела их никем надлежащим образом не описаны — они как бы достояние другого народа!» Жизнеописание героев Никита Муравьев рассматривает как особый род патриотической литературы, необходимый для воспитания юношества. «Юный воин, лишенный отечественных сих пособий, должен пользоваться примерами других народов, как будто бы мы скудны были своими. Все сии горестные для патриота размышления возбудили во мне мысль, что нет еще до сих пор в русской истории *Суворова*, первого из вождей». ¹ Никита Муравьев говорил о важности жизнеописаний отечественных героев. Рылеев эти патриотические жизнеописания превращает в поэзию, его «думы» есть своеобразный род биографических повествований. Нужно думать, что выступления в «Сыне отечества» Федора Глинки и Никиты Муравьева со статьями о необходимости иметь самобытную литературу, героическую по своему содержанию, способствовали зарождению декабристской исторической повести и декабристской поэзии, всегда обращавшейся к прошлому своего отечества, а также декабристской литературной теории. Не следует забывать, что Федор Глинка и Никита Муравьев в 1816 году состояли в Союзе Спасения, и в своих рассуждениях они проводили идеи первого тайного декабристского общества. Между ранними и позднейшими литературными декларациями имеется не только связь, но и прямая зависимость. В частности Орест Сомов, находившийся в постоянной дружбе с Рылеевым и братьями Бестужевыми, в своем очерке «О романтической поэзии» (1823) говорит о значении национального материала в художественной литературе и советует писателям предпринять своеобразное историческое путешествие, «окинуть взором края России», в частности обратив внимание на украинцев «со сладостными их песнями и славными воспоминаниями воинственных сынов Тихого Дона и отважных переселенцев Сечи Запорожской».

¹ «Сын отечества», 1816, ч. 27, № 6, стр. 221.

В задачу «исторического повествования» входило постоянное напоминание о «деяниях отечественных героев»: «Тебе, русский историк! принадлежит священный подвиг сей: ты должен оживотворить для потомства тех, которые пострадали смертью за Отечество!.. Да будет книга твоя памятною книгою усопших на полях битвы. Возьми в пример летописателей прежних веков. Не все ли деяния отечественных героев передавали они, как святыню, позднеjšíм потомству? Так! вы не умерли, мужи, павшие на полях Задонских; не исчезла память ваша, витязи окропившие кровию своею пустыни Аркские! Великие тени ваши не сетуют о забвении: вы живете в сердцах истинных Россиян!»¹

Подобное «историческое путешествие», историческое повествование о «прежней славе россиян» Глинка предлагал создать силами писателей, «любителей отечественной славы». Он же указывал на основной источник, которым следует пользоваться при написании «исторического путешествия»: «Великие деяния, рассыпанные в летописях отечественных, блещут, как богатейшие восточные перлы или бразильские алмазы на дне глубоких морей или в ущелии гор. Стоит только собрать и сблизить их,

¹ Показательно и то, что статья Глинка «О необходимости иметь историю Отечественной войны 1812 года» печаталась в 27 части «Сына отечества», а в 30 части того же журнала за 1816 год появилась катенинская баллада «Ольга». И Глинка и Катенин в то время уже состояли в Союзе Спасения. Выступление Катенина в защиту просторечья и народности в какой-то мере перекликалось с выступлением Глинка в защиту «исторического повествования» и самобытного слога. Напомним, что баллада «Ольга» вызвала ожесточенный спор. В разгоревшейся полемике Грибоедов взял сторону Катенина. «Бог с ними,— замечал Грибоедов в «Сыне отечества» (ч. 31), — с мечтателями; ныне в какую книжку ни заглянешь, что ни прочтешь, песнь или послание, везде мечтания, а натуры ни на волос». Кюхельбекер в том же «Сыне отечества» (ч. 103), но уже девять лет спустя, в 1825 году, ставил в заслугу Катенину его баллады, которые «принадлежат поэзии романтической» Пушкин тоже одобрительно отзывался о «простоте и даже грубости выражений» катенинских баллад и называл автора их «одним из первых апостолов романтизма». Выступление Катенина в защиту самобытного слога оценивалось современниками с точки зрения борьбы за подлинный романтизм в литературе.

чтоб составить для России ожерелье славы, которому подобное едва ли имели Греция и Рим. Древнейшие русские летописи, рассеянные по разным рукам, любопытнейшие грамоты и записи, погребенные в архивах древних городов и монастырей, старинные народные предания, песни, стихотворения русские — вот первые источники для исторического путешествия... Подвиг, — заключал Глинка, — трудный, но блистательный!.. Тогда увидим мы в сей любопытнейшей книге, как в очарованном зеркале, гражданские законы, воинское искусство, нравы, обычаи, одежду людей и слог — одежду мыслей их: все в совершенном приличии месту, случаю и времени. Тогда, конечно, взиграет дух юного россиянина при воззрении на великие доблести и воинскую славу предков». ¹

Вместо обычного «сентиментального путешествия» («сам друг с собачкой») декабристы выдвинули «путешествие» по родной стране с целью изучения «великих деяний» предков, народной славы, гражданских законов, нравов и обычаев, отражающих национальные черты народа. Вместо праздного собирателя впечатлений в декабристских «путешествиях» появляется думающий и рассуждающий о судьбе своей страны путешественник, передовой человек эпохи, своеобразный исследователь, художник и публицист, ставящий перед собой историческое и социально-экономическое обозрение России и ее окраин. «Всего, как мне кажется, важнее узнавать и описывать нравы своего народа. Путешествие есть единственное к тому средство», — писал Глинка в «Письмах русского офицера».

Украинская повесть Глинки о Богдане Хмельницком и была первым опытом подобного «путешествия». Она явилась в результате большой предварительной работы над материалом и поездки автора повести на Украину. «Я, — признавался Глинка, — старался получить о нем всевозможные сведения во время пребывания в Киеве, Чернигове и на Украине. Я собирал всякого рода предания, входил во все подробности и вслушивался даже в песни народа, которые нередко объясняют разные места истории его». Таким образом были собраны «главные черты из жизни Хмельницкого и сделан, так сказать, очерк

¹ «Сын отечества», 1816, ч. 43, стр. 266—267.

жизнеописания его». «Историческое путешествие» Глинка понимал как описание героического прошлого, важнейших мужей отечества, прославившихся на военном и гражданском поприще. «Кто исчислит все подвиги и заслуги жителей Дона и Малороссии на поприще воинском и гражданском?» На этот вопрос отвечала украинская повесть: «Сколько знаменитых мужей породили счастливые страны сии под ясным небом своим, мужей, которых имена живут в потомстве и будут сиять немерцаемым блеском и в позднейших летописях наших!..» В отличие от ставшего традиционным идиллического изображения Украины (В. И з м а й л о в. Путешествие в полуденную Россию; П. Ш а л и к о в. Путешествие в Малороссию), Глинка изображает «блистательную эпоху жизни героя, которая была вместе и незабвенною эпохою освобождения Малороссии».

В основе украинской повести Глинки лежало декабристское отношение к исторической теме. Для Глинки Богдан Хмельницкий прежде всего борец за права народа, начертанные «на могилах предков».

Между декабристской художественной прозой, поэзией и декабристской публицистикой есть много общего. Это общее состоит, в частности, в одинаковом отношении к историческому прошлому: поиски «потерянных прав русского народа» и восхваление национально-освободительной борьбы. Оглядываясь назад, декабристы думали о настоящем и будущем России.

Сама тема из прошлого Украины отвечала основным стремлениям будущих декабристов, их поискам социальной и целеустремленной литературы. Исторический сюжет был преломлен Глинкой через идеи гражданственности и свободолюбия: «Свобода есть общее достояние всех человеков!» Глинка натолкнул на украинские сюжеты Рылеева. В «думе» о Хмельницком Рылеев заставил произносить героя глинковскую тираду о свободе, о «священных правах людей»:

Забывтый узник бурей грянет
На притеснителей врагов!

Помимо «думы» о Богдане Хмельницком, появившейся в «Русском инвалиде» (1822, № 54), Рылеев собирался написать трагедию. За несколько дней до декабря-

ских событий Глинка был у Рылеева и имел с ним разговор о плане предполагаемой трагедии. «Рылеев был болен, — вспоминал Глинка в своих следственных показаниях 15 февраля 1826 года, — с сильной опухолью в горле и ни о чем не говорил, как только о разных предметах его поэм, также о трагедии «Богдан Хмельницкий», которую он начал писать, и намеревался объехать разные места Малороссии, где действовал сей гетман, чтобы дать историческую правдоподобность своему сочинению». Из задуманной трагедии остался лишь один отрывок «Гайдамак», напечатанный в 1825 году в «Соревнователе просвещения и благотворения».

Близость Глинки к Рылееву определяется не только общей для них интерпретацией исторического материала, но и одинаковым стремлением к самобытным формам поэзии. В отличие от эстетики классицизма, пренебрегавшей локальным элементом, декабристский романтизм ценил «местные» краски и национальный материал, как первоисточники самобытной литературы. Одновременно декабристские романтики стремились в образах национально-освободительной борьбы выразить современную социальную действительность, они использовали исторические обращения в целях декабристской пропаганды.

Повесть Глинки полностью соответствовала эстетическим принципам романтизма декабристов. Федор Глинка дал пример нового исторического романа, в основе которого лежало характерное для декабристов отношение к исторической теме. Рылеев в своих думах, Бестужев в исторических повестях, Глинка в «Богдане Хмельницком» руководствовались одним и тем же направлением в разработке исторических сюжетов: все они восстанавливали образы героического прошлого для возбуждения гражданского мужества и вольнолюбивых чувств.

Так в творчестве писателей-декабристов постепенно складывался особый жанр «путешествий», «записок», «дневников» и исторических «дум». Первый опыт декабристской художественной прозы и публицистики мы находим в творчестве Глинки, в его «Письмах русского офицера», в «Письмах к другу» и в повести о Богдане Хмельницком. Затем следуют «Путешествие в Ревель» А. Бестужева, «Записки о Голландии» Н. Бестужева, «Европейские письма» Кюхельбекера.

Если героям далекого прошлого нехватало пражданственности, писатели-романтики из среды декабристов, жертвуя историческим правдоподобием, наделяли их необходимыми качествами положительного героя, приписывали необходимые черты. Но это не значит, что декабристские романтики совсем не дорожили историческим правдоподобием. Украинская повесть Федора Глинки тем и показательна, что в ней содержится исторически реальный образ славного сына украинского народа, боровшегося за воссоединение Украины с Россией. Глинка вполне удачно использовал историческое прошлое для пропаганды декабристского свободолюбия. Речи Богдана Хмельницкого и его сон об Украине, страдающей под игом польских феодалов, приобретают характер декабристской аллегии, прикрывающей актуальную современность. Речи его — пример возвышенного гражданского монолога: «Нет, родитель мой! Не рабу жаловал ты жизнь, не для рабства воспитал меня... Ах! Не сам ли ты возвысил дух мой, внушил мне благородство чувства, открыл всю прелесть свободы и весь позор рабства? Не ты ли озарил мой ум светом наук? Не ты ли наградил меня средствами пользоваться опытами древности, восхищаться бытописаниями преков и римлян? Удел рабства, родитель мой, есть невежество». ¹ Богдан Хмельницкий рассказывает об «усладительном» сне, который предвосхищает все дальнейшее развитие сюжета. Сновидение Хмельницкого — политическая утопия, рассказ о «бедствиях Отечества». «Бедные поселяне уныло влачили плуг под грозой бича литовского. Кровавым потом и горькими слезами орошали они землю, которой плоды расхищали у них гордые властелины... Цвет полей и злак наших нив пожираем был конями литовскими — и сыны Малороссии, лишенные воли, собственности и законов, изгибались под тяжким бременем даней и налогов. Томно отзывался скрытый стон народа, глухо звучали цепи раб-

¹ «Письма к другу», ч. 3, стр. 139—192. Повесть перепечатана с незначительными изменениями в «Соревнователе просвещения и благотворения», 1819, № 1. Отд. изд. СПб., 1819. Цитируем по первоначальному тексту. См. «Письма к другу», стр. 148, 158—159, 163—164. Повесть не была закончена, и продолжение не появилось.

ства. Солнце, казалось, не хотело светить стране порабощенной». И вдруг раздался голос неизвестного: «Востаньте и бодрствуйте: час свободы настал!» В ответ «в тысяче местах воспрянули рабы и цепи сокрушились...» На этом сновидение не обрывается. Глинка постоянно возвращается к мысли о государстве, преобразованном по примеру и подобию той свободной и просвещенной страны, о которой мечтал Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву». «Тысячи овец зашумели вокруг источников, нивы озлатились, города начали возникать и реки покрываться судами... Все узнали в богине сей — свободу. Свобода! Свобода! восклицали миллионы, и миллионы благоденствовали». Через всю раннюю прозу Глинки проходит мечта об освобожденном отечестве, выраженная в форме сновидений. Сон Богдана Хмельницкого достойно завершает фантастическую сюиту, проходящую через эту повесть. Современное состояние России, только что освободившейся от внешних врагов, но страждущей в цепях собственного рабства, в этих утопических иносказаниях всегда подразумевалось. Эта традиция шла от Радищева, и она была закреплена в декабристской прозе.

Любопытна попытка А. Д. Улыбышева теоретически обосновать правомочность и необходимость подобных сновидений. Разные видения могут преследовать спящего, но, сколь бы они фантастичны ни были, реальность, действительные мечты и помыслы за ними всегда скрываются. «Тщеславный» не успеет предаться сну, как «уже видит себя украшенным орденом». «Несчастный любовник наслаждается во сне предметом своих долгих вожелдений, и почти угасшая надежда вновь оживает в его сердце». Но есть сновидения, которые «вскармливают не одни только эгоистические страсти». «Патриот, друг разума и, в особенности, филантроп имеют также свои мечтания, которые иногда воплощаются в их снах и доставляют им минуты воображаемого счастья, в тысячу раз превосходящего все то, что может им предоставить печальная действительность. Таков был мой сон в прошлую ночь; он настолько согласуется с желаниями и мечтами моих сотоварищей по «Зеленой лампе», что я не могу не поделиться им с ними». Автор политической утопии заранее дает понять,

что сон, виденный им в прошлую ночь, есть желанная мечта всех «лампи́стов». «Патриот, друг разума» во сне увидел герб империи. «Две головы орла, которые обозначали деспотизм и суеверие, были отрублены, и из пролившейся крови вышел феникс свободы и истинной веры». В освобожденной стране процветали искусства, земледелие и промышленность, на фасаде превосходного здания можно было прочесть: «*Святы́лище правосудия открыто для каждого гражданина, и во всякий час он может требовать защиты законов*». Но это был только сон, «прообраз нашего будущего», а наяву, в действительности? «Я собирался перейти мост, как внезапно меня разбудили звуки рожка и барабана и вопли пьяного мужика, которого тащили в участок. Я подумал,— заключает свою утопию Улыбышев,— что исполнение моего сна еще далеко». Кроме политической утопии «Сон», на заседаниях «Зеленой лампы» читалось стихотворение под названием «Шарада». Автором этого стихотворения был Федор Глинка. Б. Л. Модзалевский, публикуя сохранившиеся бумаги «Зеленой лампы», писал о глинковской шараде в стихах: «Она любопытна своим политическим содержанием, как бы отзвуком тех частей пушкинской оды «Вольность», в которых поэт говорит о вечном законе и его назначении».¹ С другой стороны «Шарада» своим содержанием близка тем политическим утопиям в прозе, которые нами рассмотрены выше.

Тогда ни звук оков, ни угнетенных стон
Не возмущают дух в странах, ему подвластных;
Полны счастливых сел и городов прекрасных,
Любуются они красотой своих полей,
И солнце, кажется, сияет им светлей...

В противоположность этой счастливой стране, созданной воображением поэта, видится собственная страна, где отсутствуют «священные законы»:

Но горе, где, поправ священные законы,
Забыв свой долг, презрев граждан права и стоны,
Воссядет равный им с страстями — а не закон:
Там вмиг преобратит строптивой властью он

¹ «Декабристы и их время», т. 1, стр. 35.

В ничто — обилья блеск; луга и нивы — в степи,
И детям от отцов наследье — грусть и цепи;
И землю окропят потоки горьких слез,
И вздыет стон людей до выпренных небес!

Декабристские проекты строились на конкретном материале окружающей действительности. В них мы видим и отрицание феодально-крепостнической системы и прославление конституционно-монархического или республиканского образа правления. На заседаниях «Зеленой лампы» слушались утопические сочинения Улыбышева и Глинки, а на заседаниях тайного общества — политические проекты Пестеля и Никиты Муравьева. Декабристская мечта о будущем России по-разному выражалась, но цель публицистических трактатов и художественных утопий была единой, к одинаковому результату они стремились. Так, например, Никита Муравьев, один из основателей Союза Благоденствия, в своем «Проекте конституции», без всяких поэтических фигур, в словах скупых, в точных параграфах, предусматривая все детали будущего строя, все права и обязанности русских граждан, рисовал преимущества конституционной монархии над неограниченным самовластием. Общая идея проекта, выраженная во вступлении, вполне согласуется с теми политическими утопиями, которые читались на заседаниях «Зеленой лампы». Наша задача подчеркнуть существовавшие взаимосвязи между художественной и политической литературой декабристов. Декабристские писатели обращаются к фантастике, создают ряд политических утопий, в которых прославляют свои свободолобивые идеалы, рисуют картины народного благоденствия, выражают свой взгляд на будущее России.

Чернышевский очень хорошо сказал о художественной фантастике: «фантастика вообще овладевает нами только тогда, когда мы слишком скудны в действительности». К подобной фантастике обращался и сам Чернышевский в романе «Что делать?». Знаменитый четвертый сон Веры Павловны в каких-то своих оттенках близок декабристским политическим фантазмагориям. От Радищева к декабристам, а от декабристов к Салтыкову-Щедрину и Чернышевскому передается основная идея политической утопии, часто выраженная в форме сновидения.

дения. На разных этапах освободительного движения эта идея получает новое развитие и свое художественное воплощение. В романе Чернышевского пропагандируются уже социалистические идеалы и идеи крестьянской революции.

* * *

Будущие декабристы высоко ценили национальные традиции, они всегда вдумывались в прошлое своей страны и в историю других народов и извлекали из этого прошлого уроки для современности. Это касается не только первых литературных выступлений Федора Глинки и Катенина, но и Александра Бестужева, его старшего брата Николая Бестужева и, конечно, прежде всего Рылеева. Николай Бестужев в 1821 году на трех заседаниях «Вольного общества любигелей российской словесности» (7 марта, 4 апреля и 23 мая) читал свои «Записки о Голландии», в которых одобрительно отзывался о республиканском образе правления и приветствовал национально-освободительную борьбу в Голландии. По словам Н. Бестужева, голландцы «показали свету, к чему способно человечество и до какой степени может возвыситься дух людей свободных». Пребывание в Голландии сыграло важную роль в формировании мировоззрения будущего декабриста: особенно были памяты встреча с норвежским моряком, республикански настроенным Эриксоном, и драматическая сцена расстрела испанских инсургентов.¹ «Бытность моя в Гол-

¹ Заграничное плавание Н. Бестужев совершил в 1815 году. Свои впечатления от поездки он изложил в путевых очерках: «Записки о Голландии» и «Гибралтар». Сцена расстрела четырех инсургентов изображена с явным сочувствием к республиканцам: «В самый день прибытия нашего, для удержания этих беспорядков, расстреляны были четверо самых пылких революционистов. В долине перед Алгезирасом выведены были войска, и при стечении множества народу была совершена казнь. Один из инсургентов не хотел завязывать глаз; но, увидя генерала О'Донеля в числе зрителей схватил с нетерпением платок и сказал «Не хочу осквернить последних минут жизни моей видом человека, предавшего отечество и пришедшего любоваться кровью сограждан». — С сими словами он был расстрелян» («Гибралтар»).

«Записки о Голландии 1815 г.», «Путешествие на катере»; «Отрывок из журнала флотского офицера 1815 г.» «Крушение

ландии 1815 года, в продолжение пяти месяцев,— говорил Н. Бестужев в показаниях Следственному комитету, — когда там установилось конституционное правление, дала мне первое понятие о пользе законов и прав гражданских».

В 1822 году Н. Бестужев представил на рассмотрение «ученой республики» свое сочинение под названием «Опыт истории российского флота». Обзорение истории флота служило поводом, чтобы перейти к обсуждению более важной исторической проблемы, а именно наметить основные периоды государственной жизни России и определить к ним свое отношение. Н. Бестужев не только сообщает ценнейшие сведения по мореходству и судостроению в России, но и связывает историю флота с важнейшими историческими событиями национальной жизни. Просвещение, мореплавание и торговля древней Руси «доказывали в русских ту же степень образования и даже больше познания прав человечества, нежели у других народов». «Когда варварское береговое право всех европейцев, даже в позднейшие времена, не разбирая друзей и неприятелей, делало пленниками несчастных пловцов, разбиравшихся у берегов, и овладевало их товарами: тогда русские, при кораблекрушениях, — пишет Н. Бестужев, — почитали имущество союзников неприкосновенным, провожали безвредно пловцов в их отечество — и всякое оскорбление, сделанное несчастным, почитали преступлением». В древней Руси мореплавание и торговля были в почете. «Решительный удар северной торговле» нанес Иван IV, при котором древний Новгород утратил свое «политическое и коммерческое существование». Главное внимание Н. Бестужев направляет в сторону древнего Новгорода. С историей республиканских областей, которые считались «истинным источником народного изобилия», сравнивались все остальные эпохи. Оглядываясь на прошлое России, Н. Бестужев замечал, что после смерти Владимира Мо-

российского военного брига Фалька, «Толбухинский маяк», «Гибралтар». «Об удовольствиях на море», «Опыт истории российского флота», «Гуго фон Брахт», «Русский в Париже 1814 г.», «Отчего я не женат» «Гусиное озеро» — входят в «Рассказы и повести старого моряка Н. Бестужева», М., 1860 г.

номаха, который в своем завещании разделил государство на удельные княжества вместо того, чтобы «общими силами поставить оплот своим порабителю», княжеская Русь стала клониться к упадку. Это и есть декабристская концепция древней Руси, осуждающая раздор между князьями. Удельные князья, занятые междоусобицами, «спокойно смотрели на постепенное завоевание отечества, и вскоре южная торговля России, потрясенная в своем основании, перестала быть ее опорой с сей стороны. Татары разорили Киев; многие южные города выжжены и истреблены; литовцы, пользуясь смятением, вступили в смоленские области — и мореплавание страны исчезло с свободою торговли россиян». Потребовалось два века, чтобы постепенно рассеять следы иноземного нашествия. При Иване III, когда Россия окончательно освободилась от татарского ига, было «позволено свободно торговать», но уничтожение Новгородской республики, павшей под ударами Ивана IV, составило новую беду отечества. Это тоже типично декабристская историческая версия: декабристы отрицательно относились к политике князей московских, видя в ней начало самодержавия; они сознательно подчеркивали демократизм новгородской республики. Николай Бестужев тогда еще не был декабристом, но его историческое мышление было по существу декабристским. Не отрицая прогрессивной роли Ивана IV в объединении национальных сил, отмечая его историческую заслугу как покорителя Казани и Астраханского ханства, Н. Бестужев одновременно называл Ивана Грозного «честолюбивым», имея в виду, что он «обратился с грозой на вновь непокоренных новгородцев». Иван IV не стал героем декабристской историографии и декабристской художественной литературы. Декабристы приветствовали решительную борьбу Ивана IV против оппозиционно настроенного боярства. Но они не могли простить ему уничтожения новгородской вольности. Декабристы хотели, чтобы вся Россия XVI века походила на древнерусские республики. Иван IV, по словам Н. Бестужева, «разорил и истребил множество гордых республиканцев», при нем Новгород утратил свое политическое значение. Хотя Иван IV помышлял о «просвещении подданных» и о «пользе государства», но властолюбие в нем брало

верх. Печально складывалась судьба отечества еще и потому, что в XVI веке возникло крепостное право. Исключение составляют годы царствования Петра I. На примере развития русского флота Н. Бестужев доказывает, что Петру Великому заслуженно принадлежит слава первого реформатора и гражданина.¹

¹ «История российского флота» была единогласно одобрена «ученой республикой» на собрании 9 октября 1822 года. На этом собрании присутствовал Рылеев. Опубликована в «Соревнователе просвещения и благотворения», 1822, ч. 19.

ДНЕВНИКИ И ЗАПИСКИ

* * *

Отечественная война имела огромное значение для декабристов, она ускорила их идейное развитие, опыт патриотической войны придал особую остроту всему, что накопилось в духовном мире будущих декабристов, придал окончательную форму их воззрениям общественным и политическим. Однако декабристское движение отпращивалось от причин более общего характера. Декабристов подняло на их дело общее состояние дел в России. Они были очень чутки к жизни родной страны, ощущали потребности, возникшие вместе с ходом национальной истории, не могли мириться с отсталостью русских общественных и политических отношений, не могли принять ни крепостничества, ни самодержавия, всего того, что задерживало дальнейший рост великой страны и великого народа. Отечественная война подчеркнула для них, что условия, в которых протекает повседневная жизнь народа России, победителя Наполеона, не достойны этого народа. Патриотическое воодушевление 1812 года с особой силой внушило им мысль, что необходима коренная перестройка социально-политического порядка, что необходима борьба за народное благоденствие и процветание. После победы над Наполеоном с особенной настойчивостью напоминали о себе задачи внутреннеполитического характера — нужно было также победить у себя на родине самодержавие и крепостничество.

Руководитель Южного общества П. И. Пестель писал в своих показаниях Следственному комитету: «Я никакого лица не могу назвать, кому бы я мог именно

приписать внушение мне первых вольнодумных и либеральных мыслей, и точного времени мне определить нельзя; когда они начинают во мне возникать, ибо сие не вдруг сделалось, а мало-помалу и сначала самым для самого себя неприметным образом...»¹ П. И. Пестель говорил о важности «политических наук» и «политических книг», но особенно он подчеркивал личный опыт, «мысли и внимание на положение народа». «Причем рабство крестьян всегда сильно на меня действовало», — завершал свои показания Пестель.

Таковы и были обычные мотивы, под воздействием которых складывались убеждения декабристов. П. Г. Каховский затруднялся сказать, когда именно он стал декабристом по своим политическим взглядам и убеждениям. «Мысли формируются с годами; определительно я, — писал Каховский в своих показаниях, — не могу сказать, когда понятия мои развернулись. С детства, изучая историю греков и римлян, я был воспламенен героями древности. Недавние перевороты в правлениях Европы сильно на меня действовали». С. И. Муравьев-Апостол говорил: «Так называемые либеральные мнения родились во мне ни по чьему внушению, но по собственным размышлениям и чтением книг; и с 1818-го года они сделались главным предметом моих занятий». О том же самом писали в своих показаниях деятели «Общества соединенных славян». Вот показание П. И. Борисова: «Никто не внушал мне вольнодумства и либеральных мыслей. Чтение греческой и римской истории и жизнеописания великих мужей Плутарха и Корнелия Непота поселили во мне с детства любовь к вольности и народодержавию; впоследствии жестокости командиров к их подчиненным питали оную и раздували час от часу более... Для чтения избирал сочинения только тех писа-

¹ Цит. по изданию «Избранные социально-политические и философские произведения декабристов» (в трех томах). Общая редакция и вступительная статья И. Я. Шипанова. Подготовка текста к печати и примечания С. Я. Штрайха. Госполитиздат, 1951. Пестель, т. II, стр. 164; Каховский, т. I, стр. 516; Муравьев-Апостол, т. II, стр. 197; Борисов, т. III, стр. 61—62; Бечаснов, т. III, стр. 89—90. В дальнейшем ссылки на это издание сокращены: «Избранные произведения декабристов».

телей, коих мысли и дух были сходны с моими; таким образом я нечувствительно сделался либералом». Братья Борисовы советовали В. А. Бечасному «бросить романы, как незаслуживающие потери времени, предлагая читать хороших писателей — трагедии, стихи, сочинения Пушкина».

Декабристы были людьми превосходной образованности, знатоками всего, что выработала литература, философия и наука западноевропейских стран. В знании западной культуры, и притом с ее лучших сторон, они могли бы поспорить с самыми осведомленными из современных им европейских литераторов. Декабристы близко стояли к традициям прогрессивной и революционной линии XVIII века, к культуре просвещения, подготовившей и идейно вооружившей французскую буржуазную революцию, которой завершился этот век. Декабристы чтили и помнили и Монтескье, и Вольтера, и Руссо, и философов материалистов, Гельвеция и Гольбаха, в то время когда на Западе, в условиях аристократической реакции, этих писателей предавали гонению, лживо заверяя, что они устарели и заслуживают быть забытыми; и действительно, литературный Запад в новом, XIX веке забывал этих идейных предшественников революционной эпохи, отвыкал от духа их учений. Характерно обращение декабристов к политической экономике, тогда еще молодой науке, не получившей в культурном обиходе тогдашней Европы общественного признания. Декабристы, не в пример многим литераторам, их современникам за рубежом, тщательно изучали начала этой новой дисциплины, как они были изложены в сочинениях Адама Смита и его школы. Все, что бросало свет на пути современной истории, давало толкование законам общественной жизни, активно было усвоено декабристами. Если декабристы знали Запад и его культуру, и зачастую блистательно знали, то из этого отнюдь не следует, что они были послушными выучениками западной мысли, как того хотелось буржуазным историографам, извратившим историю декабризма и в этом пункте, как и во многих других. Декабристов вели вперед не книги иностранных авторов, прочитанные ими, но опыт русской жизни, практические задачи, стоявшие перед нацией. Что же касается идейных тра-

дий, то буржуазные историографы совершенно оставляли в тени первостепенно важную для декабристов нашу собственную русскую традицию революционной мысли. Мы говорим о великом русском революционере А. Н. Радищеве, знамя которого подхватили декабристы. Великая роль, принадлежащая здесь Радищеву, родоначальнику лучших устремлений в новой русской литературе, впервые была оценена советской наукой, что естественно, — только советская наука могла выделить демократическую и революционную линию в русской литературе как главное ее направление, а вместе с тем только она могла правильно определить место, занятое на этой линии Радищевым. Переоценка всего содержания классической русской литературы и переоценка значения Радищева идут рука об руку.

Знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву» и столь же знаменитую оду «Вольность» декабристские писатели бесспорно знали и изучали. В. И. Штейнгель назвал на следствии «Путешествие из Петербурга в Москву» в числе сочинений, «наиболее способствовавших развитию его либеральных понятий». Декабрист Кюхельбекер указывал, что «Путешествие» Радищева переписывают с жадностью и дорожат каждым дерзким словом». Петр Бестужев заявлял, что «мысли свободные» зародились от чтения «Путешествия из Петербурга в Москву» и вольнолюбивых стихотворений Пушкина. Поколение декабристов имело возможность познакомиться с наследием Радищева и Новикова, с политической литературой эпохи Просвещения, имело много случаев познать жизнь и людей, наблюдать окружающую действительность, обогащать свои впечатления путешествиями по России.

Вопрос об отношениях между Радищевым и плеядой писателей-декабристов не может решаться элементарно и однолинейно. Не следует понимать дело так, что вся последующая литература целиком и во всех отношениях составляет более высокую историческую ступень сравнительно с Радищевым. Преемственность здесь совершается по более сложным законам. Радищев был последовательным и законченным революционером, откинувшим дворянские предрассудки, не допускавшим и мысли о каком-либо мирном компромиссе с самодержавием.

Далеко не все писатели, принадлежавшие к лагерю декабристов, способны были подняться на идейную высоту, занятую Радищевым. Протесты против феодально-крепостнического государства еще не всегда означают у декабристов готовность вступить с этим государством в активную борьбу.

Можно наблюдать разную степень близости к Радищеву у различных декабристских авторов. До некоторых из них радищевские влияния доходят только косвенно, они видят и знают бедственное состояние народа и пишут о нем, и все же дворянские навыки и интересы не позволяют им по-радищевски встать на сторону народа, борющегося за свои права. Революционное вдохновение Радищева звучит в гражданских стихотворениях Пушкина, в поэзии Рылеева, в рассуждении Раевского о рабстве крестьян в России. Но напрасно было бы искать подобие его в сочинениях более умеренных и осторожных декабристов.

Русская литература XIX века начиналась под мощным воздействием Радищева. Первые по времени декабристские писатели далеко отстоят от центральных для Радищева идей и настроений. Это относится и к Катенину, и к Федору Глинке, и к Николаю Тургеневу, и к Михаилу Орлову. Но были среди декабристских писателей, публицистов и мыслителей истинно «революционные головы», по выражению Пушкина. Первый великий русский революционер не заслоняет декабристов и не умаляет их заслуг; декабристы учились у Радищева и вместе с тем развивали его дело, с оружием в руках добивались победы над самодержавием. Нельзя согласиться с утверждением П. Н. Беркова, что «дворянские революционеры-декабристы представляли шаг назад по сравнению с Радищевым». По словам П. Н. Беркова, «между Радищевым и Чернышевским не было в истории России ни отдельных лиц, ни групп лиц, которые стояли бы на революционных в полном смысле слова позициях».¹ К тому же П. Н. Берков явно переоценивает книжное влияние XVIII века на

¹ П. Н. Берков. История русской журналистики XVIII века, стр. 380.

развитие декабристского движения. «Великие события русской истории первой четверти XIX в. — Отечественная война с Наполеоном в 1812 г. и восстание декабристов в 1825 г. — настолько поражают наше воображение своей грандиозностью, что мы, — пишет П. Н. Берков, — обычно забываем, что отцами героев 1812 года и 1825 года, а часто и самими героями этих эпических моментов русского прошлого были люди, воспитавшиеся на русской культуре XVIII в., в том числе и на русской журналистике того столетия».¹ Можно подумать, что участники Отечественной войны 1812 года и декабристы только и делали, что читали «Живописец», «Беседующий гражданин», «Почту духов», «Зритель», «Санкт-петербургский Меркурий», «Санктпетербургский журнал» и «Московский журнал», — не было бы этих журналов и не было бы великих политических событий, не было бы и декабризма в России.

Декабристы имели свои слабые стороны и противоречия, они боялись в борьбе с самодержавием опираться на широкие народные массы, но в целом они сыграли выдающуюся роль в развитии революционного движения, вылившегося в вооруженное восстание против самодержавия и крепостничества. Сама попытка противопоставить Радищева декабристам — является догматической и антиисторической. Радищеву тоже присущи слабости и противоречия, которые под разными благовидными предлогами обходят некоторые исследователи.

К сожалению, декабристы не оставили после себя завершенного «путешествия» по современной России. Нужно думать, что это была бы замечательная книга. Декабристы располагали богатейшим материалом и были готовы создать свое «путешествие». В центре внимания декабристов всегда была Россия — Россия прошлого, настоящего и будущего. Однако публицистические и художественные произведения, посвященные актуальной современности, не могли появиться в печати ни в двадцатые годы, ни значительно позже. Не дойдя до печатного станка, многие декабристские произведения в стихах

¹ П. Н. Берков. История русской журналистики XVIII века, стр. 557.

и в прозе распространялись в списках и таким образом становились достоянием читателя. Едва ли не самую блестящую характеристику значения потаенной литературы, прозы и поэзии, в развитии передового общественного движения России дал Н. И. Тургенев. По словам Н. И. Тургенева, в «деспотической стране, как Россия, где пресса задушена цензурой, судить об общественном мнении можно только из разговоров, знания фактов или из рукописной литературы... Эта подпольная литература, замечательная по силе эпитграмм и высоте поэтического вдохновения, показывала господствующее направление умов России».¹

Если потаенная поэзия, прежде всего вольнолюбивые стихотворения и эпитграммы Пушкина, революционные стихотворения Рыльева, а потом и Одоевского, грибоедовская комедия «Горе от ума», тоже распространявшаяся в списках, прочно вошли в декабристскую литературу, составляя ее основной фонд, то декабристская потаенная публицистика (воззвания, катехизисы, суждения, дневники, письма) не собрана воедино и еще недостаточно изучена.

Далеко не все стихотворения, записки, дневники, письма и воззвания, предназначавшиеся для пропаганды, для рукописного распространения, дошли до нас. Можно с уверенностью сказать, что потаенная литература декабристов была значительно более обширной, но многое утрачено, и утрачено безвозвратно. Однако поиски в этом направлении должны продолжаться, и, как показывают последние изыскания исследователей, эти поиски не безуспешны. Достаточно сказать, что совсем недавно советским ученым удалось открыть среди бумаг князя Вяземского неизвестные до сих пор тексты песен Рыльева и Александра Бестужева, выявить рукописное наследие «первого декабриста» Раевского, письма Михаила Орлова к Вяземскому и т. д.

* * *

В потаенную литературу входят дневники и записки, не предназначавшиеся к печати, но ставшие органиче-

¹ Ник. Тургенев. Россия и русские, 1907, стр. 50.

ской частью общего литературного и общественного процесса. В «Дневник» Н. И. Тургенева включены «путевые записки», — они частично дают представление о путешествующем декабристе. «Дневник» Тургенева — вполне открытый «разговор» будущего декабриста о России, о русской деревне, о западноевропейских событиях, о господствующем направлении умов в России, о новом герое, который непременно должен стать самоотверженным гражданином и общественным трибуном.¹ «Дневник» Тургенева соединяет эпоху 1812 года с началом декабристского движения. Прощаясь со старым 1816 годом и приветствуя новый 1817 год, Н. И. Тургенев 31 декабря делает в своем «Дневнике» запись, которая прямо вводит в содержание дневниковых записок, указывает на то, что автор их не собирается рассказывать о личных утехах, не будет заниматься «радостными воспоминаниями», но непременно будет говорить открытую правду и, если потребуется, лить «горькие слезы». «Одни желания теперь и всегда, — пишет Тургенев под новый год, — будут одушевлять меня: да озарит новый год Россию новым счастьем и русский народ — новым благоденствием! Да дастся отечеству новая жизнь радости и свободы! Да

¹ См. «Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1816—1824 годы», т. III, под редакцией и с примечаниями проф. Е. И. Тарасова. П., 1921. В нашу задачу не входит подробный обзор литературы «путешествий» двадцатых годов. Понятно, что сентиментальная литература «путешествий» не ограничивается перечисленными нами ранее образцами и не укладывается только в первое десятилетие XIX века. Борьба продолжается и в двадцатые и в тридцатые годы. Сошлемся хотя бы на «Путевые записки по многим российским губерниям 1820 года» Гавриила Геракова (П., 1828). Статский советник Г. В. Гераков совершил в 1820 году путешествие из Петербурга на Кавказ и в Крым, путь его лежал через Ярославскую, Костромскую, Нижегородскую, Казанскую, Астраханскую и др. губернии. В «Путевых записках» Гераков рассказывает о встречах с крестьянами, и этот ретроградный автор всюду видит гармонию и порядок: «...окружили своего помещика и обвились около него, как дети около своего отца». За два года до Г. В. Геракова, в 1818 году, из Петербурга на Кавказ, совершил путешествие А. А. Шишков, племянник адмирала А. С. Шишкова. Но это путешествие было несколько необычное. Александра Шишкова выслали из Петербурга за вольномыслие, он ехал на Кавказ не по своей воле. «Судьба наша, кажется, — писал Пушкин Александру Шишкову в письме из Одессы в 1823 году. — одинакова, и родились мы, видно, под единым созвездием». Александр Шишков оставил после

умножится число истинных сынов отечества и да уменьшится число слепцов и эгоистов!» Это исповедь декабриста, думающего о судьбах родины и народа, о задачах и целях ближайшей борьбы, о необходимости героического характера, о воспитании чувств собственной воли. Все внимание сосредоточено на политических событиях, на важных общественных вопросах, на пропаганде высоких гражданских понятий. Характерна запись, помещенная 29 июня 1817 года: «Неужели народ, родивший столько героев, показавший столько блестящего ума, характера, добродушия, столько патриотизма, — не мог иметь в себе людей, которые бы, избрав себе в удел действовать во благо своих сопраждан, постоянно следовали своему предназначению, которые, не усташась препятствий, сильно действующих на людей бесхарактерных, но воспламеняющих огонь патриотизма в душах возвышенных, — стремились бы сами и влекли за собой всех лучших своего времени к святой, хотя и далекой цели гражданского счастья? Какое сердце не содрогнется при таких упреках? Какие парадоксы могут их опровергнуть?»

Преддекабристская идея здесь облечена в форму дневниковых записей. Грозит малодушным упреком по-

себя путевые записки о Кавказе в форме писем к другу. Его записки представляют большой интерес и со стороны этнографического элемента, историко-познавательного материала и со стороны более интимной, личной, поскольку автором их был политический ссыльный, друг Пушкина и декабристов. В записках Александра Шишкова содержится совершенно ясный намек на путешествие не по своей воле, и в них же сделан полемический выпад против беспечных «сентиментальных путешественников»: «О, если б я ехал путешествовать для того, чтоб, возвратясь на родину, раскрасить все мною виденное цветами собственного воображения; рассказать о том, чего вовсе не было, и, подобно нашим историкам, описывать каждую лужу кристалловидным, тихо колеблющимся озером, каждый мужицкий дом счастливой хижинкой Палемона и Вавкиды и, наконец, на каждом шагу

Ронять, как новый Стерн,
Жемчужную слезу на шелковистый дерн,

то я был бы покоен... Но путешествовать на быстрых фельдъегерских конях, без малейшего желанья путешествовать, и не знать, когда возвратишься под сени родимой кровли, даже не иметь к тому ни малейшей надежды, это не легко» («Сочинения и переводы капитана А. А. Шишкова», т. I, стр. 111—114).

томства, Тургенев отсылает за примером к предкам, прославившимся героическими делами.

В тургеневский «Дневник» входят отрывки тех речей, которые сам Тургенев произносил в обществе «Арзамас» и у себя в квартире, наброски и заметки неосуществленных статей и, наконец, впечатления путешественника — отрывки из путевого дневника. Даже запись (27 сентября 1817 года), посвященная литературному собранию в «Арзамасе», проникнута антикрепостническим пафосом. Не жареный арзамасский гусь достоин внимания «Дневника», не шутки и каламбуры воспроизводит Тургенев, не бытовой облик арзамасцев его прельщает. Тургенев рассказывает о чрезвычайном заседании, на котором нечаянно «отклонились от литературы и начали говорить о политике внутренней». «Все согласны в необходимости уничтожить рабство; но средства предпринимаемые не всем нравятся... Я, который не люблю хвалить никого попустому еще менее правительства, — признается Тургенев, — всегда буду хвалить за желание уничтожить рабство, если, впрочем, это желание будет иметь исполнение».

Мысль о рабстве, о необходимости его уничтожения становится основной, главенствующей. Вот несколько выписок из тургеневского «Дневника»:

«(20 октября 1817 г.) ...Меня гнетет, уничтожает мысль, что я при жизни своей не увижу Россию свободною на правилах мудрой конституции.

«(21 июля 1818 г.) ... Я не нашел здесь (в Тургеневе. — В. Б.) веселых лиц ни на мужиках, ни на бабах, ни на девках.

«(23 июля 1818 г.)...Жизнь нашего крестьянина весьма трудна. Три дня в неделю в течение всего года он работает на господина.

«(7 августа 1818 г.)...Я теперь более нежели когда-либо ненавижу всю гнусность рабства, видя вблизи. до чего оно людей доводит и как оно существовать может. Все доводы, в защищение, в извинение рабства приводимые, есть самый пустой вздор.

«(11 сентября 1818 г.) ...У меня беспрестанно в голове наша деревня, участь крестьян и печальное, ужасное положение России... Мы под ним (деспотизмом — В. Б.) живем и долго жить будем! Это также давит меня.

«(21 октября 1818 г.) ...Мне становится душно в России: нет нигде приюту ни чувствам, ни надеждам. Сегодняшнее заседание совета как будто оледенило меня ужасом нашего правосудия. Один отставной солдат после 30 лет службы возвратился на родину, был избит своим бывшим баринком (Сатиным), кот[орый], отдав прежде двух его сыновей в рекруты, отдал и последнего, дабы более огорчить бедного отца».

Так листок за листком отрывается от календаря, и в «Дневнике» Тургенева снова появляется 31 декабря, конец 1819 года. В записи, сделанной под новый, 1820 год, есть и такие строки:

«...стон народа раздается от П[етер]бурга до Камчатки, но он теряется на неизмеримом пространстве.

«Итак, с мыслию о тебе, о Россия, мое любезное и несчастное Отечество! провожаю я старый и встречаю новый год... Но любовь к Отечеству заглушает во мне все другие чувства; и если бы я мог провидеть его счастье — как бы скоро чувства ненависти и презрения исчезли из души моей!.. Может быть, с годами это чувство, которым я дорожу, ослабнет? — Но нет, никогда Россия не перестанет быть для меня священным идеалом, — к нему, для него, ему — все, все, все!»

Все эти отрывки, построенные в форме эмоциональных обращений и восклицаний, относятся к 1817—1819 годам. Это годы кипучей деятельности Тургенева в Союзе Благоденствия, и его «Дневник» — летопись этой поры. Тургенев в эти годы посещал Симбирскую губернию, в какой-то мере его «Дневник» — путевые записки, дневник путешественника.¹ В этом же «Дневнике» — начало известной записки о крепостном состоянии. 5 января 1820 года Тургенев сделал следующую запись: «Вчера отправил к Глинке переписанное мое нечто». Это «нечто», посланное Федору Глинке, и есть известная записка «Нечто о состоянии крепостных крестьян в России». В этой

¹ Тургенев с презрением относится к путешественникам типа П. П. Свинына, который в 1818 году в «Сыне отечества» опубликовал свою «Поездку в Грузино», где прославлял арачкеевское имя. Тургенев писал в своем «Дневнике» (7 ноября 1818 г.) о поездке Свинына: «Кстати о подлости, нельзя не вспомнить о поездке Свинына в Грузино, — съездил, да еще написал. Вот храбрость подлости!»

записке Тургенев выражал точку зрения Союза Благоденствия на крепостное право и законодательство, назвав рабство «коренной несправедливостью», которая «влечет за собой множество несправедливостей». Произвол помещиков «устранить невозможно, не устранив самой причины», то есть не уничтожив рабство.

Среди посетителей тургеневской квартиры был и Пушкин, только что окончивший лицей и находившийся под влиянием Тургенева. В X главе «Евгения Онегина», вспоминая свою дружбу с Тургеневым и другими декабристами, Пушкин изобразил Тургенева именно таким, каким он был в лучшие годы своей деятельности, когда у себя на квартире, а потом и на заседаниях Союза Благоденствия произносил горячие речи против рабства. Вот эти строки из X главы, посвященные Тургеневу:

Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И, плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян...

Напомним, что свою знаменитую оду «Вольность» (1817) Пушкин написал в тургеневской квартире, где постоянно спорили на политические темы и резко осуждали крепостнические порядки в России.¹ В «Записках» Ф. Ф. Вигеля, впервые появившихся в «Русском архиве» (1892), подробно изложена «творческая история» первого революционного стихотворения Пушкина, а история эта такова:

«Из людей, которые были его старше, всего чаще посещал Пушкин братьев Тургеневых: они жили на Фонтанке, прямо против Михайловского замка, что ныне Инженерный, и к ним, то есть к меньшому, Николаю, собирались нередко высокоумные молодые вольнодумцы. Кто-то из них, смотря в открытое окно на пустой тогда, забвенью брошенный дворец, шутя предложил Пушкину написать на него стихи... Вдруг вскочил он на большой и

¹ Полковник Митьков в своих показаниях Следственному комитету свидетельствовал, что «свободный образ мыслей» он «заимствовал из чтения книг и от сообщества Николая Тургенева, который наиболее способствовал внушению сих мыслей».

длинный стол, стоявший перед окном, растянулся на нем, схватил перо и бумагу и со смехом принялся писать».

Ф. Ф. Вигель тенденциозно передает содержание оды «Вольность», но ценно само свидетельство современника, состоявшего в то время в «Арзамасе» и близко связанного с семьей Тургеневых. Свидетельство Ф. Ф. Вигеля находит подтверждение в одном из писем самого Н. И. Тургенева. В письме к П. И. Бартеневу много лет спустя, в 1867 году, он писал: «У меня никаких писем Пушкина не было и нет. Есть стихи, его рукою написанные, например его ода «Вольность», которую он в половине сочинил в моей комнате, ночью dokonчил и на другой день принес ко мне написанную на большом листе».¹

В оде «Вольность», написанной в квартире Тургеневых, глядя на Михайловский замок, где был убит Павел I, содержатся те же мысли, что и в «Дневнике» Николая Тургенева, те же политические требования. Порицать рабство, грозить тиранам, прославлять свободу, желать конституции, определять сущность незыблемых законов — это лозунги будущих декабристов и Пушкина. Пушкин доказывает непрочность всякой власти, основанной на деспотизме, на угнетении человека человеком.

Но Пушкину недостаточно поразить самодержавие в самой общей форме, недостаточно ему показать падение тиранов и справедливое волнение народов на примерах прошлого; не менее важно разоблачить Александра I, создать конкретный образ русского монарха, играющего в либерализм. В оде «Вольность» Пушкин намекнул на причастность Александра I к убийству отца, на события в Михайловском замке, которые могут повториться. Пушкин хотел сказать, что Александра I ждет удел Павла I. Тиранов караулит справедливый рок: жизнь их кончается на плахе. Но Пушкин — не сторонник дворцовых переворотов, он смотрит значительно дальше и видит более грозную силу, исторически вполне оправданную. В сатирической песенке «Noël», написанной изумительно просто, в форме народной «байки», доступной широкому читателю, Пушкин создает образ самодовольного Александра I и образ плачущей России. Отношения между царем и народом напряженные, напряженные до последней

¹ «Звенья», 1936, кн. 6, стр. 149.

степени. Мария и спаситель выражают мнение народа, а мнение таково: «Вот бука, бука — русский царь!» И это не просто «бука — русский царь», а именно Александр I — льстец и позер, на словах — либерал, обещающий облегчить участь народа, а на деле — коронованный аракчеевец, вместе с Аракчеевым создающий военные поселения. С таким царем не может быть примирения, народу от его сказок не становится легче. Наконец в 1819 году Пушкин пишет стихотворение «Деревня». В это же время, в 1819 году, Н. И. Тургенев готовит записку «Нечто о состоянии крепостных крестьян в России», которая имела целью пробудить интерес к крестьянскому вопросу, побудить правительственные сферы облегчить участь крепостных крестьян и искоренить злоупотребления со стороны помещиков. Основная мысль тургеневской записки заключена в словах: «одна коренная несправедливость — существование рабства». В пушкинской «Деревне» содержится та же самая мысль: рабство крестьян составляет «убийственный позор». «Друг человечества» не может равнодушно смотреть на деревенскую жизнь, где «рабство тощее влачится по браздам», где «девы юные цветут для прихоти бесчувственной злодея»:

Младые сыновья, товарищи трудов,
Из хижины родной идут собой умножить
Дворовые толпы измученных рабов.

Декабристские политические лозунги на первом этапе их развития находят в пушкинских вольнолюбивых стихотворениях свое наиболее полное художественное выражение. С другой стороны, пушкинская ода «Вольность» перекликается с «Дневником» Тургенева. Это один из примеров единства публицистического и поэтического слова.

* * *

В «Дневнике» Тургенева названо одно из лучших произведений потаенной декабристской публицистики — письма Орлова к Бутурлину. «Вчера, — записывает Тургенев 29 ноября 1819 года. — читал я письмо Орлова к Бутурлину о его книге. В письме сем все справедливо.

Одно меня пленило, и я обрадовался тому, что люблю Орлова. Упрекая Бутурлина, что он подобно Прадту, Виньону и Горресу представляет Россию каким-то страшилищем Европы или арбитром ее, Орлов заключает: «Пойди в хижину бедного россиянина, истощенного от рабства и несчастья, и извлеки оттуда, ежели можешь, предвозвещение будущего нашего величия!» — Эти слова меня почти до слез тронули. Я нашел в них силу моего собственного чувства. Буду теперь же писать к Орлову». Что именно писал Тургенев в письме к Орлову, нам неизвестно, но на одной из следующих страниц «Дневника» можно найти взволнованные строки, посвященные тому же Орлову, может быть даже набросок упомянутого письма: «О тебе одном, Михаил Орлов, могу я вспомнить, думая об Отечестве. На тебе одном может успокоиться мысль моя, робкая при виде несчастья России. В тебе заметил я искру подлинного патриотизма...»

Два письма Орлова к Бутурлину выходят за рамки частной переписки. Д. П. Бутурлин в своей «Военной истории походов россиян в XVIII столетии» (СПб., 1819, ч. 1, стр. IX—X) утверждал, что во все времена земледельцы в России были свободны и по своей воле могли переходить от одного помещика к другому. Это право действовало якобы до тех пор, пока Россия заключалась в тесных пределах, но когда покорение Сибири, Кавказа и Астрахани присоединило к государству новые обширные области, то крестьяне во множестве начали переходить с одного места в другое. Тогда, в XVI веке, правительство вынуждено было «употребить средство жестокое», чтобы прикрепить крестьян к земле, запретить «переходить от одного помещика к другому». Ссылаясь на склонность русского крестьянина переходить с места на место в поисках свободных земель, Бутурлин исторически оправдывал самодержавие и крепостное право.

Орлов возражал против самой попытки оправдать «беззаконные действия самовластия». «От хорошей жизни никто не уходит», — признается Орлов в письме к Бутурлину из Киева от 2 ноября 1819 года.¹ Крестьяне вынуждены были бежать, ибо «тяжелый гнет» и «произвол

¹ Письма М. Ф. Орлова к Д. П. Бутурлину опубликованы в сб. «Декабристы и их время», т. I, стр. 199—205.

помещиков» превзошел всякие границы. Орлов обвиняет не крестьян, а самодержавие. Его возмущал тот факт, что Бутурлин слишком «холодно рассуждал о предмете, который сделался первою причиною всех наших внутренних неустройств». «Сие твое ложное рассуждение доказывает, что ты, — писал Орлов, — должен опасаться распространения мыслей о внутренней политике, которой ты не понимаешь. Мы живем в таком веке, что историк не может быть историком, ежели он не имеет хороших сведений о политической экономии». В заключение Орлов советует войти в хижину бедного крестьянина и воочию убедиться в рабстве: «Друг мой! Нет никого на свете, который бы более меня привязан был чувством к славе отечества! Но не время теперь самим себя превозносить. Ты видишь все с высокой точки умозрения, с поля сражения. Войди в хижину бедного россиянина, истощенного от рабства и несчастья, извлеки оттуда, ежели можешь, предвозвешение будущего нашего величия».

Второе письмо к Д. П. Бутурлину было послано из Киева 20 декабря 1820 года. Видимо, Орлов написал это письмо проездом из Кишинева в Москву на съезд Союза Благоденствия. Письмо 1820 года вводит нас непосредственно в круг тех интересов, которыми жил Орлов накануне московского съезда, в годы своей кишиневской деятельности. Во втором письме к Д. П. Бутурлину о самовластии и крепостничестве сказано совсем резко. «Итак ты видишь, — пишет Орлов, — что в том и другом смысле ненавистный закон, порабащующий крестьян, был противен и человеколюбию и здравому рассудку. Ах! сколько бы бедствий было отвращено от отечества нашего, ежели б самовластие наших государей, основав внешнюю независимость, не основало вместе внутреннего порабащения России!» Касаясь мнения Д. П. Бутурлина о датчанах, которые «вручили самовластие одному человеку», Орлов заявляет: «Я тут ничего великого не вижу, кроме великого непонятия о достоинстве народа вообще и о достоинстве человека в частном отношении. Хотя, говоря о сем предмете, ты старался зацепить все важнейшие струны моего сердца, но правила моей жизни, которые заключаются в истинной и непреклонной ненависти к тиранству, не позволили мне вдаться в расставленные тобою сети. Я остался непоколебим в моем мнении и

ежели б был датчанином, то проклинал бы то мгновение, в которое предки мои подвергли меня игу деспотизма, так точно, как россиянин должен проклипать тот несчастный закон, который осудил на рабство большую часть наших сограждан».

В письмах к Бутурлину Орлов касался самых насущных политических проблем. Если Бутурлин в России XVIII столетия видел исключительно успехи дворянской монархии, феерический блеск и великолепиие, то Орлов не делает исключения для века Екатерины II. Россия той поры изнемогала «от внутренних болезней». Основная причина «всех внутренних неустройств» — крепостное право. Без всяких условностей Орлов говорит о внутренней и внешней политике Александра I. Политика Священного союза, рассчитанная на борьбу с революционным движением и в России и на Западе, вызывает резкое осуждение: «И что же мы будем предлагать завоеванным народам, но признаться, что сие обещание не может быть честным для народов, которые все более или менее стремятся к свободе».

Письма Орлова хотя и были адресованы частному лицу, но они тогда же, в 1820 году, приобрели широкую известность и обсуждались в декабристских кругах.

Другим блестящим документом декабристской потаенной литературы является рассуждение «первого декабриста» Владимира Раевского о рабстве крестьян в России. Между письмами Орлова к Бутурлину и запиской Раевского имеется прямая и теснейшая связь. Последнее письмо к Бутурлину относится к осени 1820 года. Тогда Орлов уже командовал 16 дивизией и фактически возглавлял кишиневскую группу декабристов. Возможно, что Орлов свое письмо читал на заседании кишиневской ячейки Союза Благоденствия. Раевский работал над рассуждением о рабстве крестьян в течение всего 1821 года. Аrest помешал Раевскому наполнить рассуждение конкретными примерами и окончательно его отредактировать. Отсюда следует, что и Орлов и Раевский в 1820—1821 годах работали над созданием антикрепостнической записки, и руководствовались они одинаковыми соображениями.

Раевский выступал в защиту крестьян, которые «в изорванных рубищах, с бледными, изнуренными ли-

цами и тусклыми взорами просят не у людей (ибо владельцы их суть тираны), но у судьей пищи, отдыха и смерти». Автор рассуждения спрашивал: «Откуда взят закон торговать, менять, проигрывать, дарить и тиранить подобных себе человекoв?» О русском помещике говорилось с негодованием: «Взирая на помещика русского, я всегда воображаю, что он вспоен слезами и кровавым потом своих подданных...» В записке с радищевской силой звучал призыв к революционному восстанию. Подчеркивая, что «миллионы скрывают свое отчаяние до первой искры», Раевский восклицает: «Граждане! тут не слабые меры нужны, но решительный и внезапный удар!»

Это рассуждение, эмоционально взволнованное, возвышенное по своему слогу, полное революционных призывов, следует поставить рядом с лучшими образцами декабристской агитационной литературы. Декабрист-публицист равнозначен декабристу-поэту. Когда Раевский говорит о крепостном праве, о самовластии, его прокламация достигает необычайной поэтической силы. С такой же пылкостью и бурным воодушевлением написаны Раевским тираноборческие стихотворения. Самодержавие — грозная, но противоестественная сила. Эта сила держится на слепоте народа.

Рассуждение Раевского можно сопоставить с «Путешествием из Петербурга в Москву». Радищев в лице «первого декабриста» нашел своего идейного последователя. Раевский обращался не к Александру I, как это пытались сделать Якушкин и Тургенев; Раевский рассчитывал на свои силы, на «смелый удар», которым только и можно было уничтожить крепостничество и помещиков. Раевский требовал «скорых перемен», его политические замыслы и практические намерения отражали республиканские настроения кишиневско-тульчинской группы декабристов, во главе которой стоял Пестель. Революционный смысл записки Раевского был ясен и его врагам. В рапорте от 14 апреля 1827 года Военно-судной комиссии при Литовском корпусе было сказано: «Смелое его рассуждение «О рабстве крестьян и необходимости скорого преобразования в России», доказывающее вольный образ мыслей его и что он знал всю цель тайных обществ... Аудиторский департамент, рассматривавший сии бумаги более четырех лет, до сего времени не потребо-

вал от него объяснений по его бумагам, тогда как по оным, кажется, можно было еще в 1822 году обнаружить тот ужасный заговор, который открылся 14 декабря 1825 года».

Когда от Раевского потребовали соответствующих «объяснений», то он смело отважился свое рассуждение дополнить фактами. Во вступлении содержалось указание, что однажды Раевскому и Охотникову попалась «тетрадь о необходимости рабства в России». На обертке тетради стояло имя Ф. В. Ростопчина. Полемикой с Ростопчиным собственно и начинается революционный трактат о крепостном праве: «Странно и досадно русскому читать такой сброд мыслей и суждений» и т. д. В свое оправдание Раевский ссылался на «Дух законов» Монтескье (выписки из «Духа законов» сохранились в черновых бумагах и были приобщены к следственному делу), а также на «Естественное право» Куницына и «множество подобных книг». Но эти ссылки делались не столько для выяснения подлинных источников, сколько для самозащиты и маскировки истинных причин, побудивших написать революционное сочинение. Военно-судная комиссия просила уточнить, что разумел Раевский под словами: «Миллионы скрывают свое отчаяние до первой искры». Пояснить и без того ясный намек на возможную революцию Раевский мог только путем ссылки на «гипотезу историческую». Он напомнил о Пугачеве и привел «много примеров» из современной действительности. «Я сам, — говорил Раевский, — был свидетелем лет десять тому назад в Полтавской губернии близ селения Решетиловки — ужаснейшего бунта 700 душ крестьян помещика Кирьякова, против коих выслано было войско и артиллерия». Таким образом Раевский не только читал жизнеописание Пугачева и основывал свое мнение на «гипотезе исторической», но и сам был свидетелем крестьянских возмущений. Наблюдения над окружающей действительностью подсказывали, что достаточно одной «искры», — и отчаяние миллионов прорвется и произойдет «смелый удар». До такой постановки вопроса не доходил ни один из декабристов, исключая только Пестеля. Причем Раевский говорил о крестьянских возмущениях как об исторически оправданном акте социальной мести...

Раевский и в неволе, на пятом году заключения, оторванный от живого мира, не забыл тех примеров и доказательств, которыми он в 1821 году собирался дополнить свое рассуждение о рабстве крестьян. «Где вы нашли такой закон, что русские помещики имеют право торговать, менять, проигрывать, дарить и тиранить своих крестьян?» — спрашивали подсудимого в крепости Замостье. «Впрочем, на свободе я бы в один год, — говорил Раевский, — до сотни примеров с доказательствами представить мог». Из сотни примеров Раевский привел несколько, не пощадив и своего отца — курского помещика. «А что помещики торгуют людьми, то в подтверждение слов сочинителя я могу представить много примеров, но ограничусь несколькими:

«1. Покойный отец мой купил 3-х человек порознь от разных лиц и в разные времена: кучера, башмачника и лакея.

«2. Помещик Гринева, сосед мой в 7-ми верстах, порознь продавал людей на выбор из 2-х деревень.

«3. В Тирасполе я много знаю таких перекупок на примере: доктор Лемониус купил себе девку Елену и девку Марию — сию последнюю хотел продать палачу, не знаю, продал ли? Капитан Варгасов (холостой) купил себе девку майора Терещенки. Лекарь Белопольский купил себе двух девок — Варвару и Степаниду, и пр. и пр.

«А в пример тиранства я могу представить одного из соседей моих по имени, помещика Тюфер-Махера, у которого крестьяне работали в железах».

Указав на сотни других дел, сокрытых в архивах, Раевский сослался на курского помещика Ширкова, который «зарезал девицу Алтухову и, заставляя с собой купаться девок, тут же, выйдя из воды, любодействовал с ними», а также на харьковского помещика Бедрягу, который «резал людей». Многочисленными примерами Раевский хотел сказать, что рассуждение о рабстве не есть «поэтическая выходка», что оно явилось в результате тщательного изучения крепостнической действительности. Возможно, что Раевский смотрел на свое рассуждение как на подпольный политический документ, который должен был сыграть свою роль в оформлении идейных позиций кишиневских декабристов после ликвидации Союза Благоденствия. Несмотря на незавершен-

ность очерка, он уже имел хождение, и, может быть, Пушкин был одним из первых его читателей. Раевский не отрицал, что записка о рабстве крестьян могла ходить по рукам, и даже замечал, что «Охотников мог дать и ста человекам списывать».

* *
* *

Показания и письма из Петропавловской крепости и более поздние записки и воспоминания включают страницы недописанной на воле книги, досказывают недосказанное. Показателен не дошедший до нас дневник путешествующего декабриста Г. С. Батенькова, который он вел в пути из Москвы в Петербург. «На пути из Москвы,— писал Батеньков в показаниях Следственному комитету,— я начал рассуждать о делах греческих, обращался на Россию и жалел, что у нас географическое положение не представляет никакой удобства к восстанию». Проезжая от Бронниц к Новгороду, Батеньков думал про себя «о силе тайных обществ», рассуждал о средствах «атаки» на правительство. Он набрасывает даже план «атакующего общества». И где? У стен древнего Новгорода! Факт сам по себе замечательный.

Почти у каждого декабриста в голове или в записной книжке был готов свой вариант «путешествия» по отечественным губерниям. Сошлемся хотя бы на письмо П. Д. Каховского: «Проехав от севера на юг России, старался вникнуть в положение различных классов людей; отовсюду слышал ропот на правительство и правителей, им поставленных. Покойный император, объезжая области, встречал всюду радость и приветствия, но были ли они искренни? Клянусь богом, нет!»

Четыре письма Каховского из Петропавловской крепости в какой-то степени восстанавливают те впечатления, которые путешественник переживал во время поездки, рассуждая о внутреннем состоянии России («Положение государства меня приводило в трепет... Я проезжал Россию от севера до юга, видел бедствия всех классов», — замечал Каховский в одном из первых своих показаний). В дневник Каховского входили и те записки, которые он вел во время заграничного путешествия (1823—1824).

В письмах Каховского, как и в «Дневнике» Тургенева и в рассуждении Раевского, содержится богатейший материал для понимания лексических и стилистических средств декабристской публицистики. В них мы находим типичные для декабристов фразеологические сочетания, политические инвективы и тот словарный состав, который в одинаковой мере характеризует декабристскую поэзию и декабристскую публицистику. Из отдельных слов и словосочетаний, употребляемых Каховским в своих письмах, можно сконструировать гражданскую оду со всеми ее семантико-стилистическими оттенками. В письме к В. В. Левашову от 24 февраля 1826 года содержатся, например, такие почти рылеевские строки:

Согретый пламенной любовью к отечеству,
Одна мысль о пользе оного питает душу мою...
И юноши, пламенея чистою любовью к благу отечества,
К истинному просвещению, делаютя мужами.
Свобода, сей светоч ума, теплотвор жизни!
Была всегда и везде достоянием народов...

Так Рылеев в своем знаменитом «Гражданине» обращался к молодому поколению с прославлением свободы и любви к отечеству. Речи Рылеева накануне 14 декабря 1825 года по своим мотивам и фразеологическим выражениям тоже могут быть сопоставлены с только что приведенными выдержками из письма Каховского. В письмах Каховского содержится и другой рылеевский мотив: «Смело гряну за свободу», — гряну и в том случае, если придется погибнуть. Вот что писал Каховский в письме из Петропавловской крепости 19 марта 1826 года на имя Николая I:

Умереть на плахе,
Быть растерзанным и умереть
В самую минуту наслаждения —
Не все ли равно?..
Увлеченный пламенной любовью к родине,
Страстью к свободе,
Я не видел преступленья
Для блага общего...¹

Конечно, это не стихи, но в приведенных отрывках заключены основные фразеологические и лексические ряды,

¹ Письма П. Г. Каховского. См.: А. А. Бороздин. «Из писем и показаний декабристов», СПб., 1906.

к которым обычно обращались в своих гражданских стихотворениях поэты-декабристы. На примере «Дневника» Тургенева, рассуждения Раевского и писем Каховского можно говорить о стилистических особенностях декабристской публицистики. Эти особенности состоят и в ярко выраженной общественно-политической окраске лексики, специально подобранной патриотической фразеологии, и в тех ораторских приемах, которые были рассчитаны на создание гражданской патетики и эмоционального напряжения. Декабристы-публицисты и поэты-декабристы часто пользовались одними и теми же стилистическими приемами, они придерживались одного и того же публицистического стиля, придавая особое значение гражданскому слову, обращенному к широкой аудитории. Декабристы вовлекли в сферу своих политических и художественных понятий отдельные слова и целые группы слов, с помощью которых они могли выразить и распространить декабристские идеи и лозунги. Поэты-декабристы широко использовали фразеологию, бытовавшую среди декабристов. Декабристы-публицисты столь же успешно использовали опыт декабристской поэзии, служившей образцом высокого политического красноречия. Между поэзией и публицистикой существовали самые тесные отношения.

Многое из подпольной литературы и устных разговоров было восстановлено самими декабристами значительно позже, по памяти, в записках и воспоминаниях эпохи каторги и ссылки. Таковы воспоминания Николая Бестужева о Рылееве, где страницы недавнего прошлого получили новую жизнь и благодаря этому сохранились для потомства. То же самое можно сказать и о воспоминаниях И. Д. Якушкина, в которых потаенное, припрятанное далеко в душе, перечувствованное и передуманное, далекое и близкое, наконец увидело свет, вырвалось на свободу. «Записки» Якушкина погружают читателя в декабристско-пушкинскую эпоху, в них есть отдельные неточности, но в целом эти «Записки» — важнейший исторический документ; они настолько правдивы и достоверны, что как будто отдельные страницы написаны в годы Отечественной войны и декабристского движения. Из «Записок» Якушкина совершенно ясно следует, что после окончания Отечественной войны и заграничных по-

ходов политическая жизнь России требовала продолжения незавершенного в начале XIX века «путешествия» по родной стране, и декабристы это отлично понимали. И сами «Записки» Якушкина — запоздалый дневник участника Отечественной войны, потом декабриста, прошедшего путь от Союза Спасения до 14 декабря 1825 года. Вспоминая 1814 год, Якушкин изображает возвращение 1-й гвардейской дивизии из заграничного похода. В Ораниенбауме гвардейцы слушали «благодарственный молебен». «Во время молебствия полиция нещадно била народ, пытавшийся приблизиться к выстроенному войску. Это произвело на нас, — признается Якушкин, — первое неблагоприятное впечатление по возвращению в отечество».¹ «Записки» писались после 14 декабря 1825 года, но это нисколько не умаляет их общего значения. В основе их лежали реальные факты и вполне устойчивое отношение к аракатеевской действительности. Отдельные сцены и зарисовки, содержащиеся в «Записках» Якушкина, можно без всяких колебаний включить в декабристскую литературу «путешествий». Якушкин, как член Союза Благоденствия, в одну ночь написал письмо Александру I, но уничтожил его по совету полковника Граббе: «В этом адресе излагались все бедствия России, для прекращения которых предлагали императору созвать Земскую Думу по примеру своих предков».

В основу записки, написанной Якушкиным, были положены факты и наблюдения, полученные им во время путешествия из Петербурга в Смоленскую губернию. Какая-то часть утраченного адреса восстанавливается по более позднему «Запискам», где прошлые факты изложены довольно точно:

«Крепостное же состояние у нас обозначалось на каждом шагу отвратительными своими последствиями. Беспреданно доходили до нас слухи о неистовых поступках помещиков, моих соседей. Ближайший из них — Жигалов, имевший всего 60 душ, разъезжал в коляске и имел огромную стаю гончих и борзых собак; зато крестьяне его умирали почти с голоду и часто, ушедши тайком с поле-

¹ «Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина». М., 1951, стр. 8—9. Редакция и комментарии С. Я. Штрайха. Далее цитирую по этому изданию.

вой работы, приходили ко мне и моим крестьянам просить милостыню. Однажды к этому Жигалову приехал Лимохин и проиграл ему в карты свою коляску, четверню лошадей и бывших с ним кучера, форейтора и лакея; стали играть на горничную девку, и Лимохин отыгрался. В имении Анненкова, верстах в трех от меня, управляющий придумывал ежегодно какой-нибудь новый способ вымогательства с крестьян... У богача Барышникова при полевых работах разъезжал управитель, бурмистр и староста и поощряли народ к деятельности плетью» и т. д.

В «Записки» Якушкина входят не только личные воспоминания, но и коллективный опыт, отзвуки тех разговоров, которые велись в дружеской среде. Якушкин, Сергей Трубецкой, Матвей и Сергей Муравьевы-Апостолы, Александр, Михаил и Николай Муравьевы в 1816 году, живя в казармах, постоянно разговаривали о положении России. «Тут разбирались, — пишет Якушкин, — главные язвы нашего отечества: закоснелость народа, крепостное состояние, жестокое обращение с солдатами, которых служба в течение 25 лет почти была каторга; повсеместное лихоимство, грабительство и, наконец, явное неуважение к человеку вообще». Когда речь шла о современной России, декабристы более рассчитывали на язык, нежели на печатное слово. М. С. Лунин в своей «Записной книжке» остроумно отметил: «В России два проводника: язык до Киева, а перо до Шлиссельбурга». В своем тесном кругу декабристы разговаривали смело и откровенно. Об этом устном политическом красноречии мы скажем в одном из следующих очерков.

В «УЧЕНОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

* * *

Литература для декабристов была трибуной, с которой они могли «заставить услышать крик своего негодования и своей совести». А. И. Герцен очень высоко ставил декабристскую литературу, находя в ней отражение самых лучших, самых заветных надежд, помыслов и героических стремлений молодой России. «Влияние литературы на общество, сложившееся таким образом, — пишет А. И. Герцен, — разрастается до размеров, которые литература других стран Европы давно потеряла. Революционные стихотворения Рыльева и Пушкина можно было найти в руках молодых людей в самых отдаленных областях империи. Не было ни одной благовоспитанной барышни, которая не знала бы их наизусть, ни одного офицера, который не носил бы их в своей сумке, ни одного поповского сына, который не снял бы с них дюжины копий».

Революционные стихотворения Пушкина и Рыльева составляли лучшую часть декабристской литературы, литературы публицистической и гражданской, обличительной и героико-пафосной. На стихотворениях Пушкина и Рыльева воспитывалось целое поколение, на них строилась «горячая юношеская пропаганда». При встрече с Пушкиным в имении Давыдовых Каменке И. Д. Якушкин на память читал стихотворение «Noël» («Ура, в Россию скачет»), а в своих «Записках» писал: «...а между тем все его ненапечатанные сочинения: *Деревня, Кинжал, Четырехстишие к Аракчееву, Послание к Петру Чаадаеву* и много других были не только всем известны, но в то

время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который не знал их наизусть».

Борьбу за самобытное и гражданское искусство всемерно поддерживал Союз Благоденствия. В разделе «Распространение знаний» законоположения этого Союза говорилось о необходимости «показать всю нелепую приверженность к чужеземному и худые его следствия, также стараться уверить, что добродетельный гражданин должен всегда предпочитать приятному полезное и чужеземному отечественное» (кн. 4, § 31). Это программное требование Союза Благоденствия нашло конкретное воплощение в деятельности «Зеленой лампы» и «Вольного общества любителей российской словесности». В «Зеленой лампе», неразлучно связанной с именем Пушкина, состояли члены Союза Благоденствия А. А. Токарев, Я. Н. Толстой, П. П. Каверин, С. П. Трубецкой, Ф. Н. Глинка; остальные «ламписты» в большинстве своем — передовые литераторы, писатели, театральные критики, просто любители отечественной словесности, участвовавшие в обсуждении литературных новинок, театральных представлений и политических новостей. На заседаниях «Зеленой лампы» читались и такие произведения, как «Письмо к другу в Германию» и политическая утопия «Сон», автором которых считается А. Д. Улыбышев (он же автор обширных трудов по истории музыки — о Моцарте и Бетховене). В «Письмах к другу в Германию» сообщалось о наличии в петербургском обществе двух партий, которые находятся «всегда в своего рода войне». Первая партия — «сторонники древних обычаев, деспотического правления и фанатизма»; вторая — «представители либеральных идей». Автор «Письма» всецело на стороне независимых либералов, о старческой партии он пишет с презрением. «Чины, кресты и ленты» — кумиры партии «погасильцев», «неутомимых паразитов», поборников невежества и мракобесия. «Письмо к другу в Германию» является желчной и острой сатирой на «скифо-росские» обычаи и нравы, на дворянское общество, закоснелое в своих консервативных привычках. Не жалуется автор «Письма» также Францию XIX века, где на каждом шагу можно видеть «позорящие отметки деспотизма», разительные контрасты «французского изящества и гиперборейской глупости». Европейское обще-

ство, его нравы и вкусы заслуживают не подражания, а критики. В «Письме» очень резко осмеиваются «французы Севера». Россия не нуждается в «гастрономических увеселениях», в подражательном искусстве, в привозных образцах. Скрытая основа этого памфлета состоит в осуждении подражательной русской литературы, в отстаивании принципов самобытности. А. Д. Улыбышев спрашивает: «Как же, в самом деле, влияние климата и образ правления, которые одни могут наложить на характеры народа печать национальности, могли придать одинаковые черты двум народам, совершенно противоположным в этих обоих отношениях?» В этом вопросе заключен и ответ. Россия настолько самобытная страна, что ей не к лицу копировать чужое искусство, она имеет свои традиции, свои национальные обычаи, свою самобытную культуру. «Французы Севера» — явление модное, но антинациональное, — это поветрие, которое должно исчезнуть. Всякое подражание есть «режущий диссонанс с истинным национальным характером». А. Д. Улыбышев призывает с усердием хранить все, что составляет «национальные качества», «национальную самобытность». «Особенно в литературе, — пишет он, — рабское подражание иностранному несносно и кроме того задерживает истинное развитие искусства». Замечательно рассуждение Улыбышева о тех богатейших возможностях, которые сосредоточены в национальной жизни и которые должны составить основу самобытной русской литературы. Совсем в духе Грибоедова и Александра Бестужева написана похвала русскому национальному костюму, русской женщине и русским песням: «...нет ничего грациознее русской женщины... русские песни — самые трогательные, самые выразительные, какие только можно услышать; они доставили иностранным композиторам мотивы самых прекрасных вариаций». «Итак, — заключает автор «Письма», — не подбирая жалким образом колосья с чужого поля, а разрабатывая собственные богатства, — которыми иностранцы воспользовались раньше нас самих, мы сможем когда-нибудь соперничать с французами, и после того, как мы отняли у них лавры Марса, мы будем оспаривать и лавры Аполлона». В иносказательном рассказе «Сон» потребность национальной комедии связывалась с «великими событиями» недавнего прошлого, то есть

с 1812 годом. «Великие события, разбив наши оковы, вознесли нас на первое место среди народов Европы и оживили также почти угасшую искру нашего народного гения... Нравы, принимая черты все более и более характерные, отличающие свободные народы, породили у нас хорошую комедию — комедию самобытную. Наша печать не занимается более повторением и увеличением бесполезного количества этих переводов французских пьес, устарелых даже у того народа, для которого они были сочинены». Такой «комедией хорошей, комедией самобытной» и была в России комедия «Горе от ума», восторженно встреченная декабристами.

А. Д. Улыбышев, видимо, не являлся членом Союза Благоденствия, но в своих литературных выступлениях на заседаниях «Зеленой лампы» он отстаивал декабристский взгляд на литературу. В том-то и состоит сила декабристского движения, что оно имело сильнейшее влияние и своих многочисленных приверженцев. Декабризм в литературе — понятие более широкое, нежели творчество писателей-декабристов. А. Д. Улыбышев, Н. И. Гнедич, Орест Сомов, А. А. Никитин, В. Н. Григорьев, не говоря уже о великих современниках декабристов Пушкине и Грибоедове, помогали строить декабристскую литературу, они работали на декабризм.

* * *

После закрытия «Зеленой лампы» в 1819 (или в 1820) году значительно повысилась роль «Вольного общества любителей российской словесности». В проекте устава это «Вольное общество» именовало себя *«ученой республикой»*. В «ученой республике» объединились передовые петербургские литераторы, президентом в 1819 году был избран Федор Глинка, член Коренной думы Союза Благоденствия. Истории «Вольного общества любителей российской словесности» и его значению в развитии декабристского литературного движения посвящена специальная работа.¹ В этом очерке мы вынуждены напомнить

¹ В. Базанов. Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949.

один из самых важных эпизодов — спор с публицистом В. Н. Каразиным. В. Н. Каразин не только сотрудничал в «Вольном обществе», но замещал некоторое время президента, являлся его помощником. В собрании 1 марта 1820 года Каразин читал свое рассуждение «Об ученых обществах и периодических сочинениях в России». В речи Каразина содержались такие мысли, против которых на первый взгляд трудно было что-либо возразить. Оратор призывал членов «Вольного общества» посвятить себя занятиям более мужественным, нежели «вздохи сказочных любовников» и «шарады на горох, соблазнительные элегии или стишки в альбом». Осуждая искусство, которое «не представляет уму никаких новых полезных истин», а служит «забавою домашних бесед», Каразин справедливо критиковал поэтов-эпикурейцев за нежелание иметь «возвышенную цель», за неумение действовать на сердце и ум «сограждан». «Вместо того чтобы,— говорил Каразин,— описывать в десяти тысячный раз восход солнца, пение птичек, журчание ручейков, употребим те же дарования, то же счастливое воображение на предметы более дельные. Взяв за образец Бюфона, вместо путешествий небывалых, опишем лучше путешествия действительные, совершенные в недрах отечества нашего. Исчислим естественные произведения России, нравы ее разнородных отраслей, от кочующего на льдах полярных чукчи до индейца, благоговейно поклоняющегося бакинскому огню. Или с Тацитом и Карамзиным испытаем углубиться в историю народов». «Пора перестать быть подражателями только!» — заключает Каразин. Однако оратор не остановился на осуждении «поэтов-баловней», он связал свое рассуждение о литературе с «политическими предметами». И здесь, в политике, Каразин обнаружил самого себя, расписался в своей реакционности.

Вспомнив о республиканском правлении, при котором простой народ «имеет голос» и «собирается из питейных домов на площадь», Каразин заявлял на собрании «состроенных», что «любимыми основаниями наших писателей, независимо даже от личных начал их, не могут быть ни мнимые права человека, ни свобода совестей, столько препрославленная в XVIII столетии». «К счастью,— продолжал Каразин,— иные и по всем прочим обстоя-

тельствам невозможны. Если бы легкомыслие усиливалось производить, а учрежденный за ним надзор мог допускать сочинения в другом духе, то кто станет им рукоплекать?» Каразин возражал против идей эпохи Просвещения и оправдывал правительственную реакцию. Присутствовавшие на мартовском заседании «Вольного общества любителей российской словесности» петербургские литераторы хорошо знали, что в 1819 году Каразин в «Вольном обществе словесности, наук и художеств» читал свое «Защитение противу иностранцев», имея в виду учение Мабли. Тогда он утверждал, что «в природе, каковую нам надо постигать ее, нет равенства», и «Россия никогда не имела прямого рабства земледельцев, что называемое сим именем есть не что иное, как цепь злоупотреблений, нечувствительно вошедших в обычай».¹ Теперь он выступал против «прав человека» и грозил правительственным «надзором».

На мартовских собраниях 1820 года полемика с Каразиным едва ли носила характер отвлеченного спора о существовании рабства в России и разных формах правления. Судя по всему, она приняла несколько иной оборот, несколько неожиданный характер. Между Каразиным, Цертелевым и Измайловым, с одной стороны, Глинкой, Дельвигом, Кюхельбекером и Гречем, с другой, на заседании 15 марта произошло резкое столкновение. Одобренная большинством голосов на прошлом собрании (1 марта) речь была отвергнута, и Каразин удален из «Вольного общества». Глинка и Греч предъявили Каразину обвинение в самовольном напечатании рассуждения «Об ученых обществах и периодических сочинениях в России», в том, что в печатном варианте заключены «мысли особой важности». Председатель «Вольного общества» Федор Глинка «предложил на благоуважение гг. членов поступок г. Каразина, заключающийся в том, что он читал сие оскорбительное для общества рассуждение» и «напечатал с вариантами для общества предосудительными, без позволения сего сословия, пустил экземпляры в публику и через правительственное место поднес оное г. попечителю графу В. П. Кочубею». О том,

¹ Статья «Защитение противу иностранцев» вошла в «Сочинения В. Н. Каразина», изданные В. И. Багалеем.

насколько острый характер приняла борьба с Каразиным, свидетельствует письмо князя Цертелева от 26 апреля 1820 года, сохранившееся в архиве «Вольного общества любителей российской словесности»: «Строгие судьи г. Каразина, обвиняя его в каких-то нескромных выражениях, в то же самое время, в присутствии 26 человек в обществе, высочайше учрежденном, до того забылись, что называли сочлена своего клеветником, невежею, нарушителем спокойствия и другими именами, которых повторять не смею. Странное происшествие! Обвинители делаются судьями обвиняемого; нарушители уважения к обществу говорят о почтении к оному; и оскорбители сочлена своего поучают приличию! Кто не удивится таким действиями?!» Князь Цертелев, выступавший в защиту Каразина, предлагал прекратить спор и уничтожить памятники раздора.

Протоколы чрезвычайных мартовских собраний не сохранились (за исключением решения относительно Каразина, принятого 15 марта), но в делах «Вольного общества» исследователями были обнаружены два печатных экземпляра рассуждения «Об ученых обществах и периодических сочинениях в России». Разница между ними состоит в одном из примечаний (стр. 3—4). В первом экземпляре Каразин говорит от своего лица: «Я иногда дивлюсь статьям иных наших журналов. Хотя побожиться готов, что это делается безо всякого намерения, а так, просто *копировать* по нашей русской привычке иностранных». Во втором экземпляре примечание имеет следующее продолжение: «Сюда принадлежит прославление инсургентов, *вольных* (?) областей, их конституций и т. п. Подумали бы хоть раз эти господа, кому у нас адресуют они свои восклицания!.. Наши санк[ю]лы читать не умеют».

Очевидно, что Глинка и Греч разумели под «особым» экземпляром именно этот экземпляр с расширенным примечанием. Но едва ли на основании одного примечания Каразина, вице-президента «Вольного общества», можно было публично назвать клеветником, удалить с собрания и снять с занимаемого поста. Видимо, за речью «Об ученых обществах и периодических сочинениях в России» скрывалось что-то еще более важное, о чем нельзя было открыто говорить в публичном собра-

нии «ученой республики». Независимо от того, как был информирован граф Кочубей о положении в «Вольном обществе», то ли в устной беседе, то ли путем представления особого печатного экземпляра, снабженного необходимыми комментариями, Каразин во всей этой истории выступал в роли политического доносчика. Что мог рассказать Каразин графу Кочубею? Об этом свидетельствуют его частные записки, которые он вел изо дня в день, постоянно и явно имея в виду Пушкина и других петербургских республиканцев. Дневники Каразина по существу являются черновыми вариантами не дошедших до нас доносов. Из отдельных записей складывается совершенно законченная, продуманная и тщательно выполненная записка о политическом движении в Петербурге.

*

В мартовские дни 1820 года, когда в «Вольном обществе» оживленно обсуждалась речь «об ученых обществах», Каразин в тиши своего кабинета готовил материал для графа Кочубея. 12 марта он заносит в дневник размышления по поводу убийства 11 марта 1801 года Павла I. Смысл каразинской записи совершенно противоположен пушкинской оде «Вольность», в которой этот «достопамятный» день воспет как достойный урок царям-тиранам. Каразин записывает:

«12 марта 1820. День достопримечательный. 19 лет перед сим совершилось еще раз в новейшей российской истории нередко уже случавшееся государственное преступление. Душа моя не одобряла его тогда. Как живо я еще вспоминаю себя стоящим на Казанском мосту с сжатым сердцем, со взором потупленным, то обращенным на окна бывшего Леонова дома, где в четверток страстной недели злодеи имели бесстыдство пировать перед очами, так сказать, всей столицы, перед очами доброго и верного царя и своего народа. О! да будет это преступление, пятнающее всех нас, последним! И кажется, не будет это так, потому, что дух времени приготавливает другие уже преступления и злодеяния».

Каразин собирал сведения об «армии вольнодумцев, собираемой и комплектуемой под шумок библейских

обществ и масонских лож». Продолжая свою запись об «армии вольнодумцев», Каразин вспоминает Пушкина. Первая запись о Пушкине гласила: «Какой-то мальчишка Пушкин, питомец лицейский, в благодарность написал презельную оду, где досталось фамилии Романовых, а государь Александр назван кочующим деспотом... К чему мы идем?» В одной из следующих записей речь шла об эпиграммах Пушкина: «Вот, между прочим, эпиграмма Пушкина, которою восхищаясь Греч и пересказывая свой у него пир с другими подобными мне пересказал. Она сочинена на известного кн[язя] Стурдзу:

Холоп венчанного солдата,
Достойный славы Герострата
Иль смерти шмерца Коцебу...
А впрочем, мать твою... (в рифму)».

И все это для передачи *«по крайней мере в изустном объяснении»* графу Кочубею. Кочубей просил в подтверждение разговоров представить «корректуры и стихи (о них тоже была речь)», — признается Каразин. Каразин не остановился на частных беседах с графом Кочубеем и на выписках из своего дневника. После записи о петербургской «армии вольнодумцев» и Пушкине, датированной 12 марта, в каразинском дневнике следует важное разъяснение: «Для графа В. П. Кочубея над[писано] 31 марта 1820, а послано 2 апреля поутру рано». Между прочими бумагами Каразина сохранилось и это письмо, в котором излагались меры, необходимые для прекращения вольномыслия в России. Каразин не скрывает народных бедствий, тяжести военных поселений, он призывает Александра I направить дворянство «осторожным образом к улучшению участи поселян» и т. д. Но его не могут устроить «проекты республиканские», «строптивные умы», «рассеивание слухов о свободе помещичьих крестьян». Автор «политических рапсодий» со страхом замечает, что «войска наши начинают сближаться с народом и что, следовательно, недалеко уже время, когда они, подобно французским в 1789 году, лишь правительство захочет употребить против него (народа. — В. Б.), перейдут на его сторону».

«Дух развратной вольности, — писал Каразин, — более и более заражает все состояния. Прошедшим летом на дороге из Украины и здесь в Петербурге я слышал

от самых простых рабочих людей такие разговоры о природном равенстве и прочее, что я изумился: «Полно-де уже терпеть, пора бы с господами и конец сделать». Самые дворяне, возвратившиеся из чужих краев с войском, привезли начала, противные собственным их пользам и спокойствию государства. Молодые люди первых фамилий восхищаются французскою вольностию и не скрывают своего желания ввести ее в своем отечестве. Для примера представляю вашему сиятельству князя Сергея Григорьевича Волконского и пр. Сей дух поддерживается масонскими ложами и вздорными нашими журналами, которые не пропускают ни одного случая разливать так называемые либеральные начала, между тем как никто из журналистов и не думает говорить о порядке, об исполнении святых должностей, которое всякое правление может сделать наилучшим. Не ходя далеко, я могу представить вам, сиятельнейший граф, выписки из журналов и газет, которые должны вас удивить. Что принадлежит до масонских лож, то признаю, что я от них ничего доброго не ожидаю. О сию пору их более двадцати в России... О секретных их беседах, так называемой ими работе, я заключаю уже из приватного общения с некоторыми. Все это так и дышит ниспровержением настоящего порядка!

«Что скажем о нынешнем воспитании... натверживание молодым людям сумасбродных книг под именем божественной философии и пр., навязывание им библии нисколько не сделало их лучшими, а заставило смеяться над религиею или на нее досадовать. Такое лицемерное воспитание, как я его назвал в моем рассуждении об ученых обществах, умножает только людей развращенных. В самом лицее Царскосельском государь воспитывает себе и отечеству недоброжелателей... это доказывают почти все вышедшие оттуда. Говорят, что один из них, Пушкин, по высочайшему повелению секретно наказан. Но из воспитанников более или менее есть почти всякий Пушкин, и все они связаны каким-то подозрительным союзом, похожим на масонство, некоторые же и в действительные ложи поступили. Пажеский корпус едва ли с сей стороны не походит на лицей». И здесь же Каразин делает важное примечание о «лицейских питомцах»: «Кто сочинители карикатур или эпиграмм, како-

вые, напр[имер], на двуглавого орла, на Стурдзу, в которых высоч[айшее] лицо названо весьма непристойно, и пр. Это лицейские питомцы! Кто знакомится с публичкою соблазнительными стихотворениями в летах, где честность и скромность наиболее приличны... они же».

Через десять дней после этого доноса, 12 апреля в 8 часов вечера, Каразин был приглашен к графу Кочубею. Кочубей к этому времени уже доложил Александру I о сведениях, собранных Каразиным. Что касается рассуждений и предложений Каразина об усовершенствовании государственной системы правления, то они мало интересовали императора. Все внимание Александра I было направлено к сообщению графа Кочубея о лицее, Пушкине и пушкинских эпиграммах. Разговор по поводу письма Каразина от 2 апреля свелся исключительно к Пушкину. Кочубей поручает Каразину «достать эпиграмму или карикатуру на бумаге», говоря при этом, что Пушкину приписывают и «подпись к портрету». Каразин пытается уклониться от поручения, но поздно. Судьба Пушкина была решена.

19 апреля 1820 года Н. М. Карамзин уже знал, что Пушкину не избежать ссылки, и в письме к И. И. Дмитриеву писал: «Над здешним поэтом Пушкиным если не туча, то по крайней мере облако, и громоносное (это между нами): служа под знаменем либералиста, он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей, и проч. и проч. Это узнала полиция etc., опасаются следствий, хотя я уже давно, истощив все способы образумить эту беспутную голову, предал несчастного Року и Немезиде, однако из жалости к таланту замолвил слово, взяв с него обещание уняться. Не знаю, что будет».¹

Из письма Н. М. Карамзина следует, что в середине апреля друзья Пушкина «опасались следствия», знали о наступавшей опасности. О поступивших доносах, в частности о беседах Каразина с Кочубеем, могли они знать и месяцем раньше, тем более что Глинка служил чиновником особых поручений при Милорадовиче и был в курсе всех сведений, относящихся к политическому над-

¹ «Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», СПб., 1866, стр. 287.

зору. Дальнейшие события в «Вольном обществе любителей российской словесности» не оставляют сомнений, что Каразин еще в марте месяце был заподозрен в ренегатстве и в связях с полицией.

* * *

В те самые дни, когда Каразин писал свои осведомительные записки и беседовал с графом Кочубеем о направлении умов, когда в Петербурге уже начинали носиться слухи о ссылке Пушкина, состоялось второе чрезвычайное заседание «ученой республики» (22 марта). На этом заседании Кюхельбекер читал стихотворение «Поэты». Стихотворение «Поэты» демонстрировало протест «ученой республики» против наступавшей реакции. Приветствуя «союз любимцев вечных муз», «свободный радостный и гордый», Кюхельбекер прямо заявлял в своем послании, что «певца Руслана» ждут гонения, что «крик филина и врана» сделал свое дело. Эпиграфом к стихотворению «Поэты», обращенному к Дельвигу, Баратынскому и Пушкину, Кюхельбекер взял знаменательные строки из послания Жуковского «К кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину»:

И им не разорвать венка,
Который взяло дарованье!

Своим стихотворением Кюхельбекер отвечал на реакционную речь В. Н. Каразина, домогавшегося опорочить «священный союз друзей» всеми средствами. Стихотворение было прямым вызовом тем, кто удалил Баратынского в Финляндию для прохождения дисциплинарной военной службы, кто готовил высылку Пушкина из Петербурга и, наконец, тому, кто своим змеиным «шипением» пытался заглушить высокие песни вольнолюбивых поэтов. Устанавливая этот конкретный адрес стихотворения, отмечая его непосредственную связь с событиями «Вольного общества любителей российской словесности», разразившимися в марте 1820 года в знак протеста против предательской деятельности Каразина, нельзя забывать главного: стихотворение «Поэты» явилось центральным

в лирике Кюхельбекера, в нем до конца было высказано отношение к миссии поэта. Вся основная часть стихотворения посвящена обоснованию высокой роли поэта. «Пророкам истин возвышенных» приходится выступать среди «злодеев и глупцов», земная жизнь для них полна «и скорбей и отравы», но они не покидают благородного поприща, не уходят с поля битвы и «мстят за пролитую кровь». Кюхельбекер желает, чтобы на Руси было больше «певцов и смелых и священных», в этом желании состоит главная идея поэтического манифеста.

Откликом на уже совершившуюся ссылку Пушкина явилось стихотворение Глинки, появившееся в сентябрьском номере «Сына отечества», вслед за эпилогом поэмы «Руслан и Людмила»:

Судьбы и времени седого
Не бойся, молодой певец,
Следы исчезнут поколений,
Но жив талант, бессмертен гений!

Выступление в защиту Пушкина имело огромный общественный резонанс. Напуганный граф Аракчеев в октябре 1820 года уведомлял Александра I, что напрасно дозволяют печатать стихи Пушкина «со означением из Кавказа, видно, что для того, чтобы известить о нем подобных его сотоварищей и друзей». В сентябрьском номере «Сына отечества», где появилось послание Глинки, эпилог поэмы «Руслан и Людмила» был помечен: «26 июня 1820 года, Кавказ». Посылая выписки из журналов, в частности отрывки из стихотворения Кюхельбекера «Поэты», имеющие отношение к высылке Пушкина, Каразин замечал в письме к Кочубею: «Безумная эта молодежь *хочет блеснуть* своим неуважением к правительству».

О Пушкине и «святом братстве» Каразин писал неоднократно. Через три дня после удаления Пушкина из Петербурга он снова занес в свой дневник:

«9 мая 1820 года в 11 часов пополудни. Запишу, и для чего же не записать: сегодня, сейчас, слышал я от А. Ф. Лабзина следующую катрень, якобы соч[иненную] также Пушкиным:

Православный государь!
Наших бед виновник.
Полно, братцы!.. Он не царь,
Много что полковник.

Последнее полустишие кто-то иначе пересказывал. Смысл тот: «Плохой царь, но славный полковник».

Разумеется, не только доносы Каразина решили судьбу Пушкина в 1820 году, однако сами по себе каразинские дневниковые записи представляют для историка литературы бесспорный интерес, поскольку в них отражена оппозиция декабризму. Каразин метил и в Пушкина, и в тайное общество, о существовании которого он догадывался, и в «ученую республику», распространявшую «дух вольности». Борьба с Каразиным в 1820 году означала защиту Пушкина, отстаивание основных принципов декабристской идеологии. На Каразина не следует смотреть как на простого доносчика, подручного графа Кочубея. Свои осведомительские записки Каразин писал из более важных соображений, нежели обычный полицейский донос; он рассматривал свои записки как своеобразные «политические рапсодии».

В лице Каразина декабристы имели сильного и принципиального противника, хорошо владевшего приемами полемики и журнальной борьбы. Не следует забывать, что Каразин некоторое время являлся вице-президентом «Вольного общества любителей российской словесности» и пытался распространить свое влияние на «соревнователей», оттеснить Глинку, этого ставленника Союза Благоденствия. В своей мартовской речи Каразин критиковал тех поэтов, которые не идут дальше «домашних бесед» и наслаждения жизнью. Однако за внешне прогрессивными высказываниями Каразина о необходимости самообытной и содержательной литературы скрывался воинствующий реакционный публицист, требовавший от искусства прежде всего служения дворянской монархии и подчинения существующему политическому режиму, враждебно относившийся к тем писателям, которые восхваляли вольность и занимались «республиканскими проектами».

Декабристы тоже ратовали за создание самообытной литературы, однако в эстетике декабристов тезис о литературе самообытной, способной отражать национальную жизнь, прошлое и настоящее России, не выступал изолированно, за ним следовало не менее важное требование, а именно: литература должна служить передовому обще-

ственному движению, интересам борьбы с самодержавием и крепостничеством.

Под влиянием только что состоявшейся дискуссии об «ученых обществах» и назначении литературы Н. И. Гнедич написал свою речь о поэзии и поэтах, которую произнес в июне 1821 года на полугодовом собрании «Вольного общества любителей российской словесности». Гнедич заявлял: «никакое могущество земное не сильно уже погасить света науки и остановить благородной деятельности ума и сердца!» Это было сказано под впечатлением гонений на Пушкина, в защиту Пушкина и против В. Н. Каразина, который домогался разорвать «священный союз друзей». Основное содержание речи Гнедича сводилось к отстаиванию основных принципов высокого гражданского искусства: высоко нести свое «благородное оружие», любить человечество, не огораживаться «холодною стеною от общества себе подобных», ибо нет более «зрелища унылого», нежели жить «для одного себя». «Святое пожертвование самим собою для блага людей» — торжественно заявлял Гнедич, определяя обязанности поэта-гражданина. Долг писателя — «пробудить, вдохнуть, воспламенить страсти благородные, чувства высокие». Гнедич был блестящим оратором, и легко можно представить себе впечатление, которое могло произвести на слушателей следующее его обращение:

«Мнение есть властитель мира. Да будет же перо в руках писателя то, что скипетр в руках царя: тверд, благороден, величествен! Перо пишет, что начертается на сердцах современников и потомства. Им писатель сражается с невежеством наглым, с пороком могучим, и сильных земли призывает из безмолвных гробов на суд потомства. Чтобы владеть с честью пером, должно иметь более мужества, нежели владеть мечом. Но если писатель благородное оружие свое преклоняет перед врагами своими, если он унижает его, чтобы ласкать могущество, или если прелестию цветов покрывает разврат и пороки, если вместо огня благотворного он возжигает в душах разрушительный пожар и пищу сердец чувствительных превращает в ад: перо его... — оружие убийства».¹

¹ «Соревнователь просвещения и благотворения», 1821, ч. 15, стр. 138—139.

В своем программном выступлении Гнедич касался проблемы языка и призывал писателей любить свой язык, язык богатый и сильный, завещанный предками: «Накопец, писатель да любит более всего язык свой. Могушественнейшая связь человеческих обществ, узел, который сопрягается с нашими нравами, с нашими обычаями, с нашими сладостнейшими воспоминаниями — есть язык отцов наших! И величайшее унижение народа есть то, когда язык его пренебрегают для языка чуждого. Да вопиет противу зла сего каждый, ревнующий просвещение, да гремит неумолкно и поэзией и красноречием! Пусть он в желчь негодования омачивает перо и всем могуществом слова защищает язык свой, как свои права, законы, свободу, свое счастье, свою собственную славу!»¹

«Ученая республика» по заслугам оценила речь Н. И. Гнедича, увидев в ней изложение программных требований высокого гражданского искусства и достойный ответ Каразину. На том же собрании Гнедич был избран вице-президентом «ученой республики», помощником председателя «священного союза друзей».

¹ «Соревнователь просвещения и благотворения», 1821, ч. 15, стр. 140—141.

О ПОЛИТИЧЕСКОМ КРАСНОРЕЧИИ

* * *

Наряду с рукописной литературой декабристы перво-степенное значение придавали устной пропаганде и политическому красноречию. На поприще красноречия, в области устной пропаганды декабристы выдвинули людей блестящего дарования. «Легко представить себе,— пишет М. В. Нечкина,— на политической трибуне Михаила Орлова, Пестеля, Никиту Муравьева, пылкого Бестужева-Рюмина, Владимира Раевского, Лунина и многих других. Сибирь, каторга, виселица, ссылка оказались судьбою этих выдающихся ораторских дарований. До нас дошли многие свидетельства о значительных политических речах, произнесенных декабристами, и о большом впечатлении, которое эти речи произвели на слушателей. Дошли даже — удивительным образом — некоторые образцы этих речей, обладающих своим стилем, пафосом, ритмом».¹ Настоящим трибуном был Пестель. О красноречии Пестеля можно судить хотя бы по известному отзыву Пушкина: «Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю...» Показательно также послание А. П. Барятинского к Пестелю, в котором мы находим прямое указание, что дружеские встречи не проходили без взволнованных речей и политических мечтаний:

Ты, верю, не забыл простые наши встречи,
Когда в вечерний час и помыслы и речи
Сливались в дружестве согретых сердцем слов?

¹ М. В. Нечкина. Грибоедов и декабристы. М., 1947, стр. 336.

О красноречии Михаила Орлова мы можем судить, опираясь на тексты его речей. Накануне отъезда из Киева в Кишинев, в августе 1819 года, Орлов в Киевском отделении Библейского общества произнес речь. Эта речь распространялась во множестве списков и являлась ярким документом декабристской пропаганды. Познакомившись с речью, князь Вяземский писал А. Тургеневу: «Читал ли ты библейскую речь Орлова?.. Я ее читал с отменным удовольствием: много неправильности в слоге, но всегда сила, всегда живопись, везде отпечаток ума бодрого и души плотной... Как ловко отделался он от церковного пустословия: текстов, Моисеев, духовных глаголов и прочего. Ну, батюшка, оратор! Он и тебя за пояс заткнул: не прогневайся! Вот пустили козла в огород! Да здравствует Арзамас! Я в восхищении от этой речи и все еще в надежде, что она так с рук ему не сойдет... Орлов недюжинного покроя». ¹

В киевской своей речи Орлов говорил о противниках просвещения и прогресса, резко критиковал хулителей всего нового, приветствовал свободомыслие, словом уничтожая староверов и обскурантов. И все это им раскрывалось на широком фоне общественной борьбы. Реакционеры, по его словам, «везде отличаются одними и теми же нравственными чертами»: «Любители не древности, но старины, не добродетелей, но только обычаев отцов наших, хулители всех новых изобретений, враги света и стражи веков. Во Франции они противятся свободомыслию и введению представительного правления; в Германии они защищают остатки феодальных прав; в Испании они торжествуют, и каждый из них приносит радостно свое скудное полено для сооружения костров инквизиции...» В России эти староверы были врагами

¹ Переписка князя П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым опубликована в «Остафьевском архиве», СПб., 1899, т. 1, стр. 299—308. Вспоминая «Арзамас» («Да здравствует Арзамас!»), П. А. Вяземский имеет в виду речь Орлова, произнесенную в 1817 году. Орлов призывал «арзамасцев» перейти от шуток и пустяков к серьезной общественной деятельности: открывать филиалы в провинции, главное — приступить к изданию журнала, в котором печатать статьи на политические темы, поражать читателя «новостью и смелостью идей», особенно распространять «идеи свободы» и готовить «лучшее будущее». Программа Орлова не была принята, она была слишком решительной и не устраивала умеренных «арзамасцев».

Петра I, они поощряли рабство и невежество, чуждались прогресса. Орлов говорил не только о реакционерах петровской поры, но довольно ясно намекал на современных крепостников. Блестящая характеристика «политического старовера» была направлена в сторону александровской реакции. «Сии политические староверы, — говорил Орлов, — руководствуются самыми странными правилами: они думают, что вселенная создана для них одних, что они составляют особенный род избранных самим Промыслом для угнетения других, что люди разделяются на две части: одна назначена для рабского челобития, другая — для гордого умствования в начальстве». ¹

Декабристы говорили жарко и откровенно в тесном дружеском кругу. Но эту свою речь Орлов имел смелость произнести перед членами киевского отделения Библейского общества — вот почему изумлялся ей князь Вяземский! Вспоминая о пребывании в Киеве, Волконский пишет в своих «Записках: «...и как всякая новая идея имеет коновода, Михаил Орлов по уму и сердцу был этим коноводом и действовал на просторе в Киеве, где ни предрассудки столичных закоренелых недвижимцев, лиц высшего общества, ни неусыпный и рабски усердный надзор полиции — явной и секретной — не клали помехи в широком действии и где съезд на контракты образованных людей давал случай узнавать людей и сеять семена прогресса политического.

«Благодаря тому, что я остановился в квартире Орлова, я вошел в этот замечательный кружок людей, а чувства мои давно уже клонились к проповедуемым в оном истинам. Более, нежели когда, я понял тогда, что преданность к отечеству должна меня вывести из душного и бессветного быта ревнителя шагистики и угоднического царедворничества. Сожитие с столь знаменитым лицом, как Михаил Орлов, круг людей, с которыми имел я ежедневные сношения, оказали сильное влияние на меня, развили во мне чувства гражданина, и я вступил в новую колею убеждений и действий». ²

¹ «Сборник имп. Русского исторического общества», т. 78, 1891, стр. 519—528.

² «Записки Сергея Григорьевича Волконского». СПб., 1902, стр. 388.

Деятельность Орлова в Кишиневе еще более показательна. Дом Орлова превратился в политический клуб, где рождался «пылкий патриотизм». Жена Орлова Екатерина Николаевна (дочь генерала Н. Н. Раевского) писала брату А. Н. Раевскому в 1821 году: «У нас беспрестанно идут шумные споры — философские, политические, литературные и др.». В другом письме она пишет: «Мы очень часто видим Пушкина, который приходит спорить с мужем о всевозможных предметах». Пушкин тоже принимал участие в политических дискуссиях и вместе с кишиневскими декабристами спорил на политические темы. Реакционный Ф. Ф. Вигель в своих «Записках» (М., 1892, ч. VI) называет по фамилии тех, кто посещал дом Орлова и постоянно ораторствовал. «Два демагога, два изувера, адъютант Охотников и майор Раевский, — говорит Вигель, — с жаром витийствовали. Тут был и Липранди. На беду попался тут и Пушкин, которого сама судьба совала в среду недовольных».

* * *

Здесь необходимо напомнить о выступлении Орлова на московском съезде. И. Д. Якушкин был специально послан из Москвы в Тульчин и Кишинев, чтобы известить южных декабристов о предполагаемом московском совещании, получить согласие и утвердить делегатов. В своих «Записках» Якушкин сообщает чрезвычайно интересные сведения, которые нам помогают правильно понять политическую ситуацию в Тульчине и в Кишиневе накануне московского съезда. Пестель в это время «замышлял республику в России» и работал над «Русской правдой». Ему и полагалось быть первым делегатом от южных декабристов; между тем Пестель не поехал на это ответственное совещание. Поездке Пестеля в Москву препятствовали Бурцев и Комаров, самые умеренные члены южного отделения Союза Благоденствия. Бурцев уверял Якушкина, что «если Пестель поедет в Москву, то он своими резкими мнениями и своим упорством испортит там все дело». Бурцев и Комаров сами напросились командировать их в Москву, ссылаясь, что им «по соб-

ственным делам» так или иначе нужно там быть. «Пестелю,— пишет Якушкин,— очень хотелось приехать на съезд в Москву, но многие уверяли его, что так как два депутата их уже будут на этом съезде, то его присутствие там не необходимо и что, просившись в отпуск в Москву, где все знают, что у него нет ни родных и никакого особенного дела, он может навлечь подозрение тульчинского начальства, а может быть, и подозрение московской полиции. Пестель согласился не ехать в Москву».

Тем временем Якушкин направился в Кишинев с письмом от Фонвизина и поручением пригласить Орлова на съезд. На пути в Кишинев Якушкин встретил Орлова вместе с его адъютантом Охотниковым, «славным малым и совершенно преданным тайному обществу», — как выражается Якушкин. «На убеждения мои приехать в Москву он (Орлов.— В. Б.) отвечал,— продолжает Якушкин,— что пока наверное обещать не может, и с своей стороны приглашал меня ехать с ним к Давыдову в Киевскую губернию».

В Каменке, по словам Якушкина, была придумана инсценировка заседания тайного общества. Якушкин пишет, что, собравшись, декабристы решили сбить с толку А. Н. Раевского (сына генерала Н. Н. Раевского, на сестре которого через несколько месяцев женится Михаил Орлов), подозревавшего гостей В. Л. Давыдова в принадлежности к конспиративному революционному движению. Но такое объяснение нам кажется наивным; созданным Якушкиным спустя много лет после посещения Каменки. Действительная цель инсценировки была не столько сбить с толку А. Н. Раевского, сколько выведать отношение Пушкина и А. Н. Раевского к тайному обществу. Орлов предложил вопрос: «Насколько было бы полезно учреждение тайного общества в России?» Пушкин «с жаром доказывал всю пользу, какую бы могло принести тайное общество в России». Услышав от Якушкина, что «все это только шутка», Пушкин с обидой и горечью сказал: «Я никогда не был так несчастлив, как теперь; я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель перед собою, и все была только злая шутка».

В Каменке эта инсценировка не была только шуткой, за ней скрывалось нечто более серьезное. Не следует

забывать, что Орлов, Якушкин и Охотников из Каменки направлялись в Москву на совещание представителей Союза Благоденствия. В Каменке происходила генеральная репетиция, Орлов испытывал общественное мнение, свои «писанные условия», с которыми он собирался выступить на московском съезде. Через месяц Орлов как бы окажется в положении Пушкина и с таким же энтузиазмом будет доказывать необходимость существования тайного общества в России и предлагать на московском совещании план «крутых мер».

Якушкин пишет о поведении Орлова на московском съезде: «Орлов привез писанные условия, на которых он соглашался присоединиться к тайному обществу. В этом сочинении, после многих фраз, он старался доказать, что тайное общество должно решиться на самые крутые меры и, для достижения своей цели, должно прибегнуть к средствам, которые даже могут казаться преступными. Во-первых, он предлагал завести тайную типографию или литографию, посредством которой можно было бы печатать разные статьи против правительства и потом в большом количестве рассылать их по всей России. Второе его предложение состояло в том, чтобы завести фабрику ассигнаций, через что, по его мнению, тайное общество с первого раза приобрело бы огромные средства и, вместе с тем, подрывался бы кредит правительства. Когда он кончил чтение, все смотрели друг на друга с изумлением. Я, наконец, сказал ему, что он, вероятно, шутит, предлагая такие неистовые меры».¹

План Орлова был отвергнут. Но в Тульчине оставался Пестель, который не согласился с решением съезда и тогда же замыслил о создании нового тайного общества.

В 1821 году кишиневские декабристы перешли от слов к делу, они с новой силой и энергией взялись за осуществление «писанных условий», с которыми Орлов выступал в Москве. Об этом свидетельствует не только рассуждение Раевского о рабстве крестьян в России, но и смелая пропаганда кишиневских декабристов в армии, способствовавшая восстанию в Камчатском полку. Орлов и Раевский перенесли агитацию из дворянского особняка в солдатскую казарму; в ланкастерскую дивизионную

¹ И. Д. Якушкин. Записки. СПб., 1906, стр. 53.

школу, во всю 16 дивизию. Напомним, что в «Зеленой книге», в законоположении Союза Благоденствия, говорилось о необходимости отстаивать справедливость, уничтожать пороки и поощрять добродетель; особенно подробно в уставе освещалась проблема «человеколюбия» и правосудия. «Зеленую книгу» хорошо знали кишиневские декабристы, она хранилась у Раевского, ходила по рукам и в какой-то степени определяла практические мероприятия кишиневской ячейки Союза Благоденствия. Однако было бы неправильно рассматривать деятельность кишиневских декабристов исключительно в плане идей, предусмотренных этим законоположением. Орлов, Раевский и Охотников шли дальше требований Союза Благоденствия, они не останавливались на филантропических и просветительских мероприятиях. «Зеленая книга» совершенно не учитывала политической агитации среди солдат, кишиневские декабристы это делали с успехом. Орлов возлагал большие надежды на солдат своей дивизии и применительно к ним развертывал пропаганду. Свое появление в 16 дивизии Орлов ознаменовал приказом от 3-го августа 1820 года. Генерал-декабрист ставил в известность, что он будет «почитать злодеем того офицера», который «употребит вверенную ему власть на истязание солдат». Орлов требовал от своих подчиненных, чтобы они прекратили тиранство, и, в случае невыполнения августовского приказа, грозил суровой расправой.

Собрав материал о злодеяниях майора Вержейского, капитана Гимбута и прапорщика Понаревского, Орлов в последние дни командования 16 дивизией, 6 января 1822 года, пишет в Кишиневе приказ № 3:

«В Охотском пехотном полку гг. майор Вержейский, капитан Гимбут и прапорщик Понаревский жестокостями своими вывели из терпения солдат. Общая жалоба нижних чинов побудила меня сделать подробное исследование, по которому открылись такие неистовства, что всех трех офицеров принужден представить я к военному суду. Да испытают они в солдатских крестах, какова солдатская должность. Для них и для им подобных не будет во мне ни помилования, ни сострадания». Далее Орлов обращался к историческим примерам:

«Обратимся к нашей военной истории: Суворов, Румянцев, Потемкин, все люди, приобретшие себе и отече-

ству славу, были друзьями солдат и пеклись об их благосостоянии. Все же изверги, кои одними побоями доводили их полки до наружной исправности, все погибли или погибнут; вот примеры, которые ясно говорят всем и каждому, что жестокое обращение с нижними чинами противно не только всем правилам, но и всем опытам».

Исторический опыт подсказывал, что тираны-изверги «все погибли или погибнут». Объявив «совершенную благодарность нижним чинам за прекращение побегов», командир 16 дивизии предписывал арестовать Вержейского, Гимбута и Понаревского и предать их военному суду. В показаниях по делу Раевского Орлов достаточно ясно объяснил смысл своего последнего приказа:

«Приказ 1822 № 3 есть изливание презрения моего к поступкам Вержейского и ему подобных. Я хотел сильными выражениями потрясти в душе моих подчиненных пагубные предрассудки и заставить страхом делать то, что не мог достичь внушениями и собственным примером».

В приказе № 3 на первом плане — критика тирании начальников и защита притесненных солдат, страстный протест против рабства и палок. Обычному войсковому приказу Орлов сумел придать политическое и даже философское значение. Это и приказ дивизионного командира и своеобразная речь декабриста в защиту угнетенных.

* * *

Постоянные разговоры и горячие споры происходили между Пушкиным и Владимиром Раевским. «Здесь не было карт и танцев, а шла иногда,— рассказывает в своих воспоминаниях И. П. Липранди,— очень шумная беседа, спор и всегда о чем-либо дельном, в особенности у Пушкина с Раевским, и этот последний, по моему мнению, очень много способствовал к подстреканию заняться положительнее историей и в особенности географией. Я тем более убеждаюсь в том, что Пушкин неоднократно после таких споров на другой или на третий день брал у меня книги, касавшиеся до предмета, о котором шла речь. Пушкин, как вспыльчив ни был, но часто выслушивал от Раевского под веселую руку обоих довольно резкие вы-

ражения — и далеко не обижался, а, напротив, казалось искал выслушивать бойкую речь Раевского». ¹ К сожалению, И. П. Липранди не сообщает более того, что Раевский имел бойкую речь и был постоянным оппонентом Пушкина. Раевский несомненно оказал влияние на формирование мировоззрения и эстетических взглядов своего друга и великого современника. Для Раевского поэзия — общественная трибуна, он расценивает художественное слово с точки зрения живой его действительности, ораторской направленности. Он не печатает своих стихотворений, но, безусловно, читает их своим друзьям. До нас не дошли разговоры и речи Раевского в квартире Орлова, на заседаниях тайного общества, при встречах с Пушкиным. Но его лекции в ланкастерской школе частично дошли. Раевский на кафедре — любопытнейший эпизод декабристской устной пропаганды.

На уроках географии педагог-декабрист считал необходимым сообщить слушателям о сущности конституционного правления, добавляя при этом, что «правление конституционное лучше всех правлений, а особливо нашего монархического, которое, хотя и называется монархическим, но управляется деспотизмом». В своем рапорте от 10 июля 1827 года Комиссия при 1 гвардейском корпусе под председательством генерал-адъютанта Левашова и под наблюдением великого князя Михаила Павловича, рассматривавшая пропагандистскую деятельность Раевского в кишиневской ланкастерской школе в связи с декабрьскими событиями 1825 года, пришла к следующему выводу:

«Рассматривая и объясняя удачные действия революционеров, он, кажется, имел целью приготовить их (слушателей.— В. Б.) быть подражателями сих же преступных примеров. Предпочитая лучшим конституционное правление и разумея о нашем монархическом правлении, как об управляемом деспотизмом, ясно обнаружил готовность содействовать к ниспровержению оного...»

Одним из самых существенных моментов педагогической «методы» Раевского следует считать его обращение к избранным историческим темам. Раевский в своей

¹ Воспоминания И. П. Липранди.— См. «Русский архив», 1866, № 8—9, стб. 1213—1284 и № 10, стб. 1393—1491.

устной пропаганде на уроках истории и Рылеев в своих знаменитых «думах» ставили перед собой одну и ту же цель: они обращались к истории для пробуждения вольнолюбивых чувств. Раевский, например, напоминал о существовании древнерусских республик, о «гордых» и «независимых» новгородцах, о «правах вольности». С воодушевлением он рассказывал о вечевом строе, когда под звуки колокола народ собирался на площадь решать важные государственные дела. Потом он диктовал на уроках чистописания: «Раздался звук вечевого колокола, и вздрогнули сердца в Новгороде». В грамматических таблицах, составленных Раевским, были помещены имена Брута, Кассия, Вашингтона, Мирабо и Кироги. Прописи требовали объяснений, соответствующих комментариев. Раевский с успехом делал это. Он хвалил Кирогу, прославлял испанскую революцию. Мирабо, по словам Раевского, был участником французской революции и писал сочинения против самого государя. Тираноборец Брут противопоставлялся Цезарю. Об этих именах «прогремела история». И Раевский красноречиво рассказывал о них, желая тем самым возбудить у слушателей любовь к вольности. Диктуя правила правописания, Раевский заставлял солдат писать слова: *Самовластье, Воля, Свобода, Конституция, Равенство*. Типично декабристская фразеология, специально подобранный состав гражданских слов преподносился под видом обучения грамоте. В этом состояла учебная «метода» Орлова — Раевского. Дидактика декабристов опиралась на уроки прошлого, из прошлого отбирались яркие примеры борьбы вольности с тиранией, и весь этот исторический материал шел на идейное вооружение солдат и будущих офицеров, на воспитание гражданских чувств. На занятиях по истории Раевский рассказывал о подвигах предков, о Румянцеве и Кутузове и *«будущих наших подвигах»*. «Будущие подвиги», «наши собственные подвиги» Раевского всего более интересовали. Поэтому он решил использовать самые эмоциональные формы воздействия, а именно поэтическое слово, и, прежде всего, те примеры из стихов, которые содержали в себе «свободные мысли». Он заставлял солдат и юнкеров заучивать гражданское стихотворение Гнедича «Перуанец к испанцу» и уже подготовил к чтению рылеевскую сатиру «К Временщику».

Замечательно и то, что Пушкин был охвачен общим настроением кишиневских декабристов и в какой-то мере был соучастником их общих замыслов. И когда кишиневское общество декабристов фактически перестало существовать, Раевский был заключен в Тираспольскую крепость, а Орлов отстранен от командования 16 дивизией, Пушкин продолжал пропагандировать в пользу декабристских идей, он оставался верен начатому, но незавершенному делу. В 1822 году Пушкин написал известную записку против «чудовищного феодализма» и высказывался за освобождение крестьян. После опубликования известным пушкинистом М. А. Цявловским «Дневника» князя П. И. Долгорукова можно и должно говорить о пушкинских *застольных речах*, имеющих много общего с рассуждением Раевского о рабстве крестьян в России. Наконец — знаменитое пушкинское стихотворение «Кинжал», этот политический манифест южного декабризма. Записки князя Долгорукова, которые велись почти ежедневно с августа 1821 по август 1822 года являются прекрасным комментарием к истории декабристского движения в Кишиневе. По ним можно судить, каков был Пушкин того периода в качестве собеседника и спорщика и каких политических убеждений он тогда держался. Ограничимся наиболее характерными выписками из этого «Дневника».

«Обедал у Инзова. Во время стола слушали рассказы Пушкина, который не умолкал ни на минуту...

«За столом маленький диспут с Инзовым насчет слов *вольнодумство* и *своеволие*...

«Диспут у генерала между Стойковичем и Пушкиным насчет грамматических несогласий в русском языке... Пушкин приводил свои доводы с жаром, Стойкович с умеренностью, и к счастью не дошло у них ни до каких колкостей.

«Пушкин рассуждал за столом о нравственности нашего века, отчего русские своего языка гнушаются, отчизне цены не знают, порочил невежество духовенства; говорил с жаром, но ничего не выпустил нового. Мы все слушали со вниманием.

«Пушкин и он (Эйсмонт. — В. Б.) спорили за столом насчет рабства наших крестьян. Первый утверждал с горячностью, что он никогда крепостных за собою людей иметь не будет, потому что не ручается составить их благополучие и всякого владеющего крестьянами почитает бесчестным, исключая отца своего, который хотя честен, но не имеет на этот счет одинаковых с ним правил...

«Наместник ездил сегодня на охоту с ружьем и собакой. В отсутствие его накрыт был стол для домашних, за которым и я обедал с Пушкиным. Сей последний, видя себя на просторе, начал с любимого своего текста о правительстве в России. Охота взяла переводчика Смирнова спорить с ним, и чем более он опровергал его, тем более Пушкин разгорался, бесился и выходил из терпения. Наконец полетели ругательства на все сословия. Штатские чиновники подлецы и воры, генералы скоты большею частию, один класс земледельцев почтенный. На дворян русских особенно напал Пушкин. Их надобно всех повесить, а если б это было, то он с удовольствием затягивал бы петли».¹

Таков Пушкин за столом у Инзова. Разумеется, не всегда и не перед всеми Пушкин мог быть столь откровенным в разговорах политических. 15 января 1821 года на обед к Инзову пожаловал корпусной командир Сабанеев, прославившийся своим деспотическим обращением с солдатами и ненавистью к свободолюбцам. В начале 1821 года Сабанеев уже готовил расправу над Орловым и Раевским. Пушкин «обедал, но молчал». При таком человеке лучше было не разговаривать.

П. И. Долгоруков не был склонен к идеализации Пушкина, и тем больший интерес представляют записи его дневника. Они дают пересказ революционных пушкинских речей местами совершенно дословно. Так, 11 января 1821 года Долгоруков записывает в свой «Дневник», что за столом у Инзова «слушали рассказы Пушкина», и тут же добавляет: «...он всегда готов у наместника, на улице, на площади всякому на свете доказывать, что тот подлец, кто не желает перемены правительства в России. Любимый разговор его основан на

¹ «Дневник Долгорукова» Публикация и примечания М. А. Цявловского. Вступительная статья М. и Т. Цявловских. См. «Звенья». 1951, т. IX, стр. 5—154. Цит. стр. 27, 28, 64, 66, 78, 99—100.

ругательствах и насмешках, и самая даже любезность стягивается в ироническую улыбку». 30 апреля Пушкин спорил с полковником артиллерии Эйсмонттом, обвешанным орденами, «насчет рабства наших крестьян». Из «Дневника» следует, что наместник Бессарабии И. Н. Инзов, личность во многих отношениях достопримечательная, особенно в связи с отеческим отношением к Пушкину, внимательно слушал спор и даже пытался опровергать Пушкина, но «слабо и более шутками, нежели доводами сильными и убедительными». В заключение этой почти жанровой зарисовки Долгоруков сообщает, что «Пушкин ругает правительство, помещиков, говорит остро, убедительно, а за стульями слушают и внимают соблазнительным мыслям и суждениям». Наконец 27 мая за обеденным столом зашел разговор о «политических переворотах в Европе». На этот раз Долгоруков просто приводит отрывок из речи Пушкина, заключая его в кавычки:

«Прежде народы восставали один против другого, теперь король Неаполитанский воюет с народом, Прусский воюет с народом, Гишпанский — тоже; не трудно расчесть, чья сторона возьмет верх». Прочитав отрывок из пушкинской речи, Долгоруков сообщает о впечатлении, которое она произвела: «Глубокое молчание после этих слов. Оно продолжалось несколько минут, и Инзов прервал его, повернув разговор на другие предметы». ¹

После опубликования «Дневника» Долгорукова более чем достоверным представляется сообщение кишиневских полицейских агентов: «Пушкин ругает публично и даже в кофейных домах не только военное начальство, но даже и правительство». ²

Дебаты в доме Орлова, пушкинские речи за столом у Инзова, встреча в имении Давыдовых, известная по воспоминаниям Якушкина, рассуждение Раевского о рабстве крестьян в России и его лекции в ланкастерской школе, речи и воинские приказы Орлова — все это яркие, но далеко не полные страницы из пропагандистского искусства кишиневских декабристов и их ближайшего союзника Пушкина.

¹ «Дневник Долгорукова», стр. 88.

² «Русская старина», 1883, т. 9, стр. 657—658.

НАРОДНАЯ МОЛВА И АГИТАЦИОННЫЕ ПЕСНИ РЫЛЕЕВА И БЕСТУЖЕВА

* * *

Н. И. Тургенев рядом с подпольной литературой ставил устные беседы, разговоры на политические темы: «судить об общественном мнении можно только из разговоров, знания фактов или из рукописной литературы». В *разговорах* участвовала вся Русь, все сословия. *Разговоры* — самый надежный источник для характеристики внутреннего состояния России. Особенно ценны для нас солдатско-крестьянские *разговоры*. Но об этом демократическом, самом народном политическом красноречии мы знаем очень мало и с чужих слов. Так, например, В. Н. Каразин 27 октября 1820 года имел беседу с графом Кочубеем,¹ в которой подробно изложил «суждения простого народа», известные ему из разговоров с самим народом: «К о ч у б е й. Скажите, неужель впрямь видите ту опасность, о коей изъясняетесь?»

«К а р а з и н. Несомненно, опасность предстоит величайшая.

«К о ч у б е й. Признаюсь, я сего не понимаю и отнюдь не могу видеть те опасности, которые вы находите.

«К а р а з и н. Ваше сиятельство не можете о сем судить. Вы не разговариваете с народом, вам никто ничего не скажет. Надобно знать суждения простого народа; надобно поговорить с людьми, из провинций приезжаю-

¹ Содержание беседы нам известно в сокращенной записи графа Кочубея, сохранившейся в «Деле о рассмотрении в Комиссии бумаг, найденных в кабинете покойного государя» — см. «Вольное общество любителей российской словесности», Петрозаводск, 1949, стр. 201—202.

щими, надобно побывать в губерниях, чтобы судить, до какой степени простирается общее недовольствие. Все жалуются. Правительство не уважается. Надобно послушать здешнюю молодежь. Она заражена самым дурным духом. Солдаты, возвратившиеся из-за границы, а наипаче служившие в корпусе, во Франции находившиеся, возвратились с мыслями совсем новыми и распространяли оные при переходе своем или на местах, где они квартируют.

«К о ч у б е й. Да чего же могут хотеть? Какая причина недовольствия быть может?»

«К а р а з и н. Люди начали больше рассуждать. Судят, что трудно служить; что большие взыскания; что они мало получают жалованья; что наказывают их строго, и пр. Крестьяне жалуются более на притеснения потому, что более толкуют; их притом притесняют в губерниях, в коих нет правосудия, в коих существуют большие злоупотребления, берутся взятки и пр. Все сие составляет общие разговоры. Надобно послушать, что говорит наша молодежь...

«К о ч у б е й. Что же из сего произойти может? Как вы думаете?»

«К а р а з и н. Неисчислимые бедствия. Совершенное расстройство государства. В одном месте делается то, в другом другое. В одном погибнут помещики, в другом сохранится спокойствие. В третьем установится какой-нибудь особый порядок, и так далее. Одним словом, произойдет суматоха страшная, которой последствий исчислить наперед не можно.

«К о ч у б е й. Скажите, полагаете ли вы, что кто-нибудь из дворян мог предаться каким-либо вредным мечтаниям?»

«К а р а з и н. Без сомнения. Есть много между дворянами людей, наполненных демократическими правилами. Они заразились самыми дурными правилами и, не думая о будущем, безо всякого рассудка действуют.

«К о ч у б е й. Кто же наши демократы?»

«К а р а з и н. Много их есть, например Тургеневы.

«К о ч у б е й. Вы знаете обоих братьев?»

«К а р а з и н. Обоих, но Николая еще более.

«К о ч у б е й. Полагаете ли вы, что могут быть между солдатами люди, кои решились бы распоряжаться в виде начальников при каком-либо возмущении?»

«К а р а з и н. Кто знает! Между солдатами есть люди весьма умные, знающие грамоте.

«К о ч у б е й. Много есть солдат из бойких семинаристов, за дурное поведение в военную службу отданных?»

«К а р а з и н. Есть и семинаристы и из дворовых весьма острые и сведущие люди. Есть управители, стряпчие и прочие из господских людей, которые за дурное поведение или за злоупотребление отданы в рекруты. Они так, как и все, читают журналы, газеты и проч. Справьтесь, сколько ныне расходуется экземпляров «Инвалида» и других журналов, в сравнении прошедшего времени. Притом печатают в журналах иногда разные вещи неосмотрительно. В «Инвалиде» напечатана была «Революция гишпанская — подвиги Квируга». Кто может ручаться, чтоб многим нашим молодым людям не пришлось в голову играть самим роль Квируга?»

Фактически Каразин рассказал то, что слышал. Он повторил подслушанные в народе *разговоры*. Итог был таков — общее недовольство политикой Александра I, бедственное положение крестьян и солдат, неслыханный произвол помещиков и военачальников, всеобщий ропот в народе, свободомыслие среди передовой дворянской молодежи. Тогда же, в октябре — декабре 1820 года, по Петербургу распространялись подметные письма-прокламации. Эти прокламации оказались настолько близки народным *разговорам* в передаче Каразина, что Александру I пришла мысль: не Каразин ли сочиняет эти воззвания?

С революционными воззваниями 1820 года, написанными в форме обращения семеновцев к Преображенскому полку, связаны лучшие традиции русской народной публицистики, которые идут от пугачевских манифестов.¹ Приведем некоторые выдержки из этих прокламаций:

«Смотрите на горестное наше положение! Ужасная обида начальников довела весь полк до такой степени, что все принуждены оставить оружие и отдаться на

¹ Вопрос об авторстве революционных прокламаций до сих пор остается открытым. В. И. Семевский считал, что прокламации вышли из недр тайного общества и едва ли не С. И. Муравьев-Апостол является их автором («Былое», 1907, февраль, стр. 89). С. Н. Чернов полагал, что авторов октябрьских прокламаций следует искать не в офицерском политическом обществе, а в солдатской среде (сб. «Бунт декабристов», Л., 1926, стр. 56—128).

жертву злобе сих тиранов в надежде, что всякий из воинов, увидя невинность, защитит нас от всесильных и гордых дворян. Они давно уже изнуряют Россию через общее наше слепое к ним повиновение...

«Вот полная награда за наше к ним послушание! Истина: тиран тирана защищает! У многих солдат от побоев переломаны кости, а многие и померли от сего! Но за такое мучение ни один дворянин не вступился. Скажите, что должно ожидать от царя, разве того, чтобы он нас заставил друг с друга кожу сдирать!

«Бедные воины! Посмотрите глазами на отечество, увидите, что люди всякого сословия подавлены дворянами. В судебных местах ни малого нет правосудия для бедняка. Законы выданы для грабежа судейского, а не для соблюдения правосудия. Чудная слепота народов!..

«Хлебопашцы угнетены податями: многие дворяне своих крестьян гоняют на барщину шесть дней в неделю. Скажите, можно ли таких крестьян выключить из числа каторжных? Дети сих несчастных отцов остаются без науки, но она всякому безотменно нужна; семейство терпит великие недостатки; а вы, будучи в такой великой силе, смотрите хладнокровно на подлого правителя и не спросите его, для какой выгоды дает волю дворянам торговать подобными нам людьми, разорять их и вас содержать в таком худом положении...

«Ищу помощи бедным, ищу искоренить пронырство тиранов и полагаюсь на ваше воинское правосудие и на вашу великую силу. Вы защищаете отечество от неприятеля, а когда неприятели нашлись во внутренности отечества, скрывающиеся в лице царя и дворян, то безотменно сих явных врагов вы должны взять под крепкую стражу и тем доказать любовь свою друг к другу. Вместо сих злодеев определить законоучителя, который и должен отдавать отчет во всех делах избранным от войска депутатам, а не самовластителем быть».

Это блестящий документ народной публицистики. В солдатском воззвании все вещи названы своими именами, народные жалобы и революционные требования сведены воедино, и конечный вывод сделан по-солдатски: «Искоренить пронырство тиранов...» Автором подобных подметных писем, явившихся через несколько дней после восстания в Семеновском полку и расправы

над солдатами, мог быть грамотный, политически зрелый и талантливый солдат или ефрейтор, один из участников войны 1812 года, или какой-либо из передовых офицеров, вроде Владимира Раевского или Александра Бестужева, занимавшихся политикой и болевших за судьбу русского солдата.

* * *

Дворянские революционеры слишком опасались массового солдатского движения, чтобы при всем их сочувствии к семеновцам и ненависти к аракатеевскому режиму выступать осенью 1820 года с воззваниями, приближающими народную революцию. Петербургские осенние прокламации, по всей вероятности, вышли из народной среды. Однако и среди декабристов были в то время такие революционные деятели, которые готовились к решительному и смелому удару. Таким был Владимир Раевский, автор рассуждения о рабстве крестьян в России, и к подобному подвигу в Петербурге готовились Рылеев и Александр Бестужев. Знаменитая сатира Рылеева «К временщику» была в настоящем смысле бунтовщицким стихотворением и призывала к дальнейшей борьбе с самодержавием. Не без некоторых оснований Рылееву приписывается записка в защиту семеновцев под названием «Возмущение старого лейб-гвардии Семеновского полка». Позднее, накануне декабрьского восстания 1825 года, Рылеев говорил Батенькову: «Целый полк может быть на стороне либералов, один подобный случай, а именно неповиновение Семеновского полка, был уже пропущен... Не должно повторять ошибок». Показателен и тот факт, что Александр Бестужев в тревожные осенние дни 1820 года отправляется в Кронштадт, чтобы там встретиться и поговорить с семеновцами, которые ждали отправки в Свеаборгскую крепость. В письме к Е. А. Бестужевой от 27 ноября 1820 года Бестужев обронил важное признание: «Я был у семеновцев также на другой день их отправки, на несколько часов,— но теперь они в Свеаборге». ¹ Литературная биография Рылеева и Александра Бестужева фактически начинается

¹ Сборник «Памяти декабристов», Л., 1926, т. 1, стр. 21.

с 1820 года. В ближайшие годы после восстания в Семеновском полку они создадут знаменитые агитационные песни, сатирические и «подблюдные», непосредственно связанные с народной публицистикой и фольклором.

Автор новейшего исследования о декабристских песнях А. Г. Цейтлин справедливо полагает, что сатирические песни «Ах, где те острова» и «Царь наш, немец прусский» были написаны в 1822 году или в начале следующего.¹ В этих песнях изображена петербургская действительность 1820—1822 годов, многие реалии взяты непосредственно из литературной и общественной жизни эпохи, предшествующей возникновению Северного общества. В песне «Ах, где те острова» изображаются некие «острова», где растет трень-трава. Посетители этих сказочных «островов» и есть те самые литераторы, о которых Бестужев, называя себя в шутку «полуграмотным драгуном», писал в 1821 году в письмах к Булгарину: «...всем, всем, всем, у которых сердца не наизнанку». На «Островах» читали Вольтера, а святцы бросали под кровать. Песня полна злободневных намеков. О Грече, например, сказано:

Где не думает Греч,
Что его будут сечь
Больно.

Для участников литературных сходов эта деталь имела вполне конкретный и даже политический смысл. Дело в том, что до событий в Семеновском полку Греч принимал живейшее участие в деятельности «Вольного общества учреждения училищ по методу взаимного обучения». Понятно, что Греч не имел никакого отношения к семеновской истории, хотя и произносил тогда либеральные речи и заведовал школами взаимного обучения для гвардейских солдат. Однако Александр I, узнав о восстании в Семеновском полку, заподозрил Греча в подстрекательстве семеновцев и в распространении революционных прокламаций. Когда П. Я. Чадаев явился в Троппау к Александру I с инструкциями от корпусного командира, государь произнес: «Я, может быть,

¹ А. Г. Цейтлин. Песни Рылеева и Бестужева — «Известия Академии наук СССР». Отделение литературы и языка. М. — Л., 1950, т. IX, вып. 6, стр. 417—438.

грешу, но очень подозреваю Греча».¹ По Петербургу распространялся провокационный слух, что Греч был вызван в полицию и наказан розгами. В песне «Ах, где те острова» по-своему перетолковывался этот эпизод с Гречем, не делавший чести Александру I. Издатель «Сына отечества», в ту пору передовой журналист, фигурировавший в одном из доносов как приверженный деятель Союза Благоденствия, в песне брался под защиту: на «Островах» Греч свой человек, ему не угрожает «секуция».

Песня «Ах, где те острова» — цикл дружеских эпиграмм, своеобразных «частушек», но едва ли Бестужеву принадлежит строфа:

Где Бестужев-драгун
Не дает карачун
Смыслу.

Александр Бестужев в своих показаниях указывал, что подобные песни постоянно подвергались коллективной переработке: «Дурачась, мы их певали только между собой. Впрочем, переходя по рукам, много к ним прибавлено, и каждый на свой лад перевертывал». Заслуживает внимания также свидетельство Е. П. Оболенского: «О помянутых комитетом песнях я слышал; но не знаю оные наизусть и потому написать оных не могу: сочинением же оных никто не занимался особенно (сколько мне известно), но каждый куплет имел своего автора, и вообще они были плоды веселых часов досуга членов и не членов Общества, во время свиданий их между собою».² Заслуживают внимания и другие свидетельства участников дружеских пирушек и литературных вечеров. По словам Греча, пение песен — «дело очень обыкновенное». В «Записках о моей жизни» Греч писал: «Эти вольные разговоры, пение не революционных, а сатирических песен и т. п. было дело очень обыкновенное... После шампанского давай читать стихи, а там и петь рылеевские песни. Не все были либералы, а все слушали с удовольствием и искренне смеялись».³

Возможно, что песня «Ах, где те острова» возникла в «веселые часы досуга», проводимые передовыми пе-

¹ В. И. Семевский. Волнения в Семеновском полку в 1820 г. — «Былое», 1907, № 1, стр. 33.

² «Восстание декабристов», т. 1, стр. 267.

³ Н. И. Греч. Записки о моей жизни. М. — Л., 1930, стр. 547.

тербургскими литераторами в харчевне «Веселые острова». Отсюда и название песни и само выражение: «Острова, где растет трень-трава». В харчевне «Веселые острова» можно было разговаривать откровенно, здесь только и существовала некоторая свобода слова:

Где с зари до зари
Не играют цари
В фанты.
Где Булгарин Фаддей
Не боится когтей
Танты.
Где Магницкий молчит,
А Мордвинов кричит
Вольно...

«Веселые острова» как бы противопоставлялись официальному Петербургу, где хозяйничают Аракчеевы и Магницкие. Здесь, в харчевне «Веселые острова», рядовой гвардии егерского полка Гушеваров защищал семеновцев и говорил о неминуемой революции: «Все в гвардии взбунтуются и сделают революцию».¹

Репертуар декабристских песен еще далеко не изучен. Если в дружеской компании распевались сатирические стихи «Ах, где те острова» и «Царь наш, немец прусский», то с таким же успехом могли распеваться и другие сатирические куплеты, объединявшиеся, таким образом, в единую песенную композицию. В черновых выписках и заметках М. И. Семевского, находящихся среди бумаг Бестужевых и имеющих прямое отношение к этим бумагам,² есть указание, что четырехстишие

Мы добрых граждан позабавим,
И у позорного столба

¹ Сведения о харчевне «Веселые острова» и солдатских разговорах в связи с восстанием в Семеновском полку см. в исследовании С. Н. Чернова «Из истории солдатских настроений в начале 20-х годов» — сб. «Бунт декабристов», Л., 1926, стр. 56—128.

² Бумаги Бестужевых хранятся в Институте русской литературы АН СССР, арх. № 2 (5566), см. л. 199, об. М. К. Азадовский, изучавший рукописное наследие Николая и Михаила Бестужевых, считает, что эти стихотворения Семевскому были сообщены Еленой Бестужевой, что, на наш взгляд, чрезвычайно сомнительно. Едва ли сестра Бестужевых знала эти песни на память, и если даже она их действительно помнила, то едва ли, по вполне понятным мотивам, стала бы диктовать их Семевскому. Вероятнее всего, что

Царя мы русского задавим
Кишкою русского попа

распевалось на дружеских сходках: «Евг. Баратынский — это пел и Ростовцев, пели и другие». Видимо, и известная эпиграмма на Аракчеева, приписываемая обычно Пушкину, есть тоже своеобразная сатирическая песня, вернее — отколовшийся куплет от сатирической песни. В заметке Семевского автором ее назван Рылеев: «Рылеев к Аракчееву». Приводим текст этой эпиграммы по списку, сделанному Семевским:

Всей России притеснитель,
Губернаторов гонитель
И Совету он учитель
И царю и друг и брат!
Полон злобы, полон мести,
Без ума, без чувств, без чести,
Кто же преданный без лести?
Б... и грошевой солдат.

Рядом с этими стихотворениями помещены стихи «Боже, коль ты еси», написанные якобы Дельвигом. Эти стихи звучат в тон и в лад сатирическим песням Рылеева и Александра Бестужева:

Боже, коль ты еси,
Всех царей в грязь меси,
Кинь под престол
Мишеньку, Машеньку,
Костеньку, Сашеньку
И Николашеньку
Жопкой на кол.

Если песня «Ах, где те острова», по всей вероятности, была сложена коллективно и обращена к сравнительно замкнутой аудитории литераторов, то песня «Ты скажи, говори» наверняка сочинена Рылеевым и Бестужевым. Ю. Г. Оксман, впервые указавший на полную самостоятельность этих двух сатирических песен, правильно характеризовал основное различие между ними: «Песня

Семевский записал их со слов Михаила или Николая Бестужевых. Отсюда и паспортизация текстов и справка об их бытовании. Братья Бестужевы могли, понятно, забыть действительных авторов, поэтому их приурочиванию нельзя полностью доверять. Но нет никаких оснований не верить, что Баратынский, Ростовцев и другие пели куплет «Мы добрых граждан позабавим», так же как эпиграмму «Всей России притеснитель» вполне мог написать Рылеев.

«Ах, где те острова» имеет в виду замкнутую литературную аудиторию, вне которой целые строфы (например, о Бестужеве, Булгарине, Измайлове) и не понятны и не интересны. Наоборот, песня «Ты скажи, говори» рассчитана на массовое распространение: ее тематика и словарь отличаются предельной простотой и четкостью». ¹ В песне «Ты скажи, говори» речь идет о дворцовых переворотах 1762 и 1801 годов (свержение Петра III и убийство Павла I), но в самых первых строфах данной песни картина царубийства выходит за пределы традиционного дворцового переворота. В этой песне в форме простонародной и от лица «бедных людей» рассказано о том, «как в России царей давят».

Именно народ подсказал поэтам-декабристам сатирические песни. В народной публицистике, в народных *разговорах*, в антикрепостническом фольклоре следует искать основной источник таких песен, как «Ах, тошно мне». Декабристы, и в этом сказывалась дворянская ограниченность их революционной стратегии, не могли и не желали возглавить крестьянско-солдатское движение, стать во главе народа; но, волей или неволей, они должны были прислушиваться к народной молве, к голосу народа и использовать народное мнение в своей пропаганде. В конечном итоге Рылеев и Бестужев сумели выразить народное мнение об аракчеевской России, и рылеевско-бестужевские песни имеют много общего с лучшими образцами крестьянско-солдатской поэзии, с такими произведениями антикрепостнического фольклора, как «Глас вопиющего в военных поселениях», поэма «Солдатская жизнь» и песня «Как по реке, по реке». Песня «Ах, тошно мне» содержит много общего с народными прокламациями, лучшим образцом которых являлась прокламация, найденная во дворе Преображенских казарм. Все основные мотивы песни Рылеева и Бестужева можно обнаружить в этом документе народной публицистики, отражающем настроение угнетенных народных масс, прежде всего солдат и крестьян. Показательны также произведения народного творчества, посвященные военным поселениям и солдатской жизни.

¹ См. примечания к «Полному собранию стихотворений» К. Рылеева в издании «Библиотека поэта». Л., 1934, стр. 512.

«Глас вопиющего в военных поселениях» начинался следующими стихами:

Жизнь в военном поселенье —
Настоящее мученье,
Только не для всех.
Поселяне голодают,
Зато власти поживают
Очень хорошо.¹

Повсеместно в двадцатые годы распространялась народная поэма «Солдатская жизнь». В феврале 1821 года И. В. Сабанеев сообщал дежурному генералу Главного штаба А. А. Закревскому, что в 6 корпусе известна солдатская песня, в которой, между прочим, солдаты жалуются на свою судьбу:

Знать, судьба наша такая,
Что обижают нас до края,
Всегда мучают и бьют
И покою не дают...
Хоть и сам того не мыслит,
А по зубам, небось, славно чистит...

Песня «Ах, тошно мне», написанная Рылеевым и Бестужевым совместно, прекрасно отражала солдатские и крестьянские настроения. Никогда еще поэзия декабристов не достигала таких вершин гражданского пафоса и негодования, никогда она не звучала с такой обличительной силой, как в этой замечательной песне Рылеева и Бестужева. Тут перед нами случай, когда поэты-декабристы преодолевают расстояние между собою и народом, столь фатальное для всего их движения. Рылеев и Бестужев написали обвинение крепостническому строю от лица крепостного крестьянина, и сами стихи написаны по-народному, как будто их сочинял сам народ:

Ах, тошно мне
И в родной стороне;
Всё в неволе,
В тяжкой доле,
Видно, век вековать?
Долго ль русский народ
Будет рухлядью господ,
И людьми,
Как скотами,
Долго ль будут торговать?
Кто же нас кабрил,

¹ «Русская старина», 1872, ноябрь, стр. 591.

Кто им барство присудил,
И над нами,
Бедняками,
Будто с плетью посадил?

В этой песне все вещи названы прямо и общепонятно, по-крестьянски, по-солдатски, энергично и решительно, без прикрас и иносказаний. Движение этих стихов, замедленное, затрудненное, с переходом от более тягучих строчек к коротким, отрубленным, хорошо передает характер народного раздумья, сосредоточенного и ожесточенного. Замечательно, что эти стихи по смыслу своему в высшей степени действенны, и песня содержит откровенный призыв к расплате с угнетателями, к народной революции:

По две шкуры с нас дерут:
Мы посеем, они жнут;
И свобода
У народа
Силой бар задушена.
А что силой отнято,
Силой вырчим мы то.

Ясно, что песни Рылеева и Бестужева, подсказанные народом, не могли не вернуться в народ и не получить в его среде широкого бытования. Крестьяне и солдаты плохо понимали рылеевскую одическую поэзию. Имена Брута и Риго, даже «иго самовластия» и «угнетенная свобода человека» — весь этот поэтический словарь и фразеология, обычные у декабристов, не доходили до сознания неграмотного простолюдина.

Но стихи декабристов превращались в живую народную песню и переходили на уста народа, когда о вещах, волновавших народ, говорилось простым, доходчивым языком, когда основная общественная коллизия, противоречие между помещиком и мужиком, передавалась такой простой, сильной и внушительной формулой: «Мы посеем, они жнут».

Песни декабристов, как об этом рассказывает Бестужев, пользовались огромной популярностью. Песни распевались на собраниях самих декабристов, на дружеских сходках. Но они предназначались также для распространения в народе и должны были сыграть выдающуюся пропагандистскую роль. Н. А. Бестужев в своих воспоминаниях утверждает, что песни успели проникнуть в сол-

дагскую и матросскую массу: «Хотя правительство всеми мерами старалось истребить сии песни, где только могло находить их, но они были сделаны в простонародном духе, были слишком близки к его состоянию, чтобы можно было вытеснить их из памяти простолюдинов, которые видели в них верное изображение своего настоящего положения и возможность улучшения в будущем. С другой стороны, одного преследования, без всякого внутреннего достоинства, достаточно было для заманчивости сих легких творений, чтобы образованные люди желали сохранить их. Рабство народа, тяжесть притеснения, несчастная солдатская жизнь изображались в них простыми словами, но верными красками. В самый тот день, когда исполнена была над ними сентенция и нас, морских офицеров, возили для того в Кронштадт, бывший с нами унтер-офицер морской артиллерии сказывал нам наизусть все запрещенные стихи и песни Рылеева, прибавя, что у них нет канонира, который, умея грамоте, не имел бы переписанных этого рода сочинений и особенно песен Рылеева».¹

Песня «Ах, тошно мне» настолько была полна народным мятежным содержанием, что Рылеев и Бестужев задумывались, стоит ли распространять ее в массах. Такие песни приближали не дворянскую революцию, а революцию *народную*. А. А. Бестужев писал в своих показаниях Следственному комитету: «Сначала мы было имели намерение распустить их в народе, но после одумались. Мы более всего боялись народной революции, ибо она не может быть не кровопролитна и не долговременна; а подобные песни могли бы ее приблизить. Вследствие сего, дурачась, мы их певали между собой...»²

Из этих слов Бестужева видна раздвоенность декабристов, дворянских революционеров, опасавшихся, как бы революция не перехлестнула через их собственные головы и не пошла дальше того, чего они, как дворяне и землевладельцы, могли от нее желать. Но при всем этом декабристы все же делали решительные шаги в сторону народной массы, и их песни — памятник движения в сторону масс.

¹ «Воспоминания Бестужевых». М., 1931, стр. 79.

² «Восстание декабристов», т. I, стр. 458.



Декабристы не оставили после себя развернутых высказываний по вопросам фольклора, однако в своем творчестве они постоянно обращались к фольклору, и это обращение во многих отношениях показательно.

Декабристы-романтики прежде всего уделяли внимание героическому преданию, героической народной поэзии — отсюда их повышенный интерес к «Слову о полку Игореве». В песенной народной лирике, в солдатских песнях они умели находить отражение ужасов крепостничества, личной и общественной неволи. Они понимали, что за грустными лирическими песнями скрываются социальные бедствия отечества, что грустные чувства, выраженные в песне, не являются делом случая, но вызваны основным укладом народной жизни, тягостным состоянием народа. У декабристов не было прямого следования народной песне, стилизации ее, к тому же принятой в чисто литературных целях. Они старались привить народной песне современные гражданские и политические мотивы, сблизить ее с их собственным политическим мировоззрением. Они создавали народную, массовую политическую поэзию, песни, которых народ еще не пел, но должен бы петь. Они стремились соединить политическое сознание, выработанное в верхах общества, с революционными настроениями, с поэтическими формами, характерными для его низов.

Среди песен в народном духе, созданных декабристами, выделяются своеобразием, присущим этому роду песен, — «подблюдные». В показаниях Следственному комитету Бестужев свидетельствовал, что сама мысль писать песни «народным языком» принадлежит Рылеву; что касается «подблюдных» песен, то эти песни Бестужев выделял в особый цикл и подчеркивал свое авторство. «Я не знаю, — говорил Бестужев, — по наущению ли Общества сделал сие Рылеев, только однажды, в 1822 году, в конце, в забавном расположении духа, пригласил он меня написать что-нибудь народным языком литературное, и песню «Ах, тошно мне» написали мы вместе, а некоторые *подблюдные* я один».¹ Советским

¹ «Восстание декабристов», т. I, стр. 457.

исследователям совсем недавно, в дни 125-летия со дня восстания декабристов, удалось обнаружить в рукописном собрании князя П. А. Вяземского списки затерянных декабристских «подблюдных» песен, автором которых был бесспорно Александр Бестужев.¹ Вновь обнаруженный цикл «подблюдных» песен состоит из семи номеров. Третьим и седьмым номерами идут известные песни «Близ Фонтанки-реки» («Вдоль Фонтанки-реки») и «Уж как шел кузнец» («Как идет кузнец»). Новые варианты песен представляют собой самый авторитетный список и, видимо, всего ближе стоят к подлиннику. В песне «Вдоль Фонтанки-реки» не упущена даже такая злободневная подробность, как происшествие в Семеновском полку: «Да Семеновский полк покажет им толк». Основной мотив подблюдных песен — здравицы гражданской свободе («Правда в суде да свобода везде»). Особенно замечательны резкие по своему содержанию песни «Уж вы вейте веревки на барские головки» и песня о кузнеце, поднимающем нож (символ народного мщения) на злодеев «вельмож», «судей-плутов» и самого царя. Обе эти песни — прямой призыв к народной расправе над угнетателями.

Уж вы вейте веревки
На барские головки;
Вы готовьте ножей
На сиятельных князей:
И на место фонарей
Поразвешивать царей.
Тогда будет тепло
И умно, и светло.
Слава!

М. А. Брискман к декабристским «подблюдным» песням приводит в параллель отдельные варианты народных песен из песенников, наиболее близких хронологически к 1824—1825 годам. Вся эта кропотливая работа проделана исследователем с целью доказать, что поэты-

¹ Новые тексты агитационных песен декабристов опубликованы Кириллом Пигаревым в «Литературной газете» (1950, № 125 от 26 декабря) Одновременно М. А. Брискман в сборнике «Декабристы и их время» (М. — Л., 1951, стр. 7—22) напечатал исследование «Агитационные песни декабристов», в котором опубликовал новые тексты агитационных песен, обнаруженные среди бумаг Остафьевского архива Вяземских в списках, сделанных неизвестной рукой.

Сравнивая фольклорные тексты с параллельными текстами Бестужева, мы убеждаемся, как смело Бестужев обращался с народной песней. «Подблюдные песни» — особый цикл в народной поэзии, гадания о личной судьбе, песни относительно нейтральные в отношении вопросов жизни общенародной. Особая острота политических выражений Бестужева состоит в том, что именно в эту область мирной, созерцательно-лирической поэзии он вносит политическую ноту, и к тому же крайне решительную по своему смыслу. Сохраняются словесные мотивы фольклора, сохраняются его мелодика, связь строк, стилистические фигуры, а суть дела совершенно противоположная. Где в фольклоре патриархальное славенье государя, там у Бестужева славljenje антимонархической свободы, вооруженной тираноборческим кинжалом; где в фольклоре безобидный разукрашенный сказочный обряд, у Бестужева почти на том же словесном фоне образ мужика с топором — с топором народной расправы; где в фольклоре говорится о девичьей судьбе, там у декабристов мы видим убежденное пророчество о будущей свободной России. У Бестужева и Рылеева народная песня срастается с политическим содержанием и в тех случаях, когда песня его не предполагает. И это закономерно: народ как целое, всем существом своих потребностей и дум предполагает идею политического освобождения, если даже та или другая песня его молчит об этом или же говорит о революционной борьбе только неясными, неразвитыми намеками.

В наивысший подъем декабристского движения Рылеев и Александр Бестужев использовали народно-песенный жанр в целях своей политической агитации. Судя по воспоминаниям Н. Бестужева, «простолюдины» увидели в песнях Рылеева и Александра Бестужева «изображение своего настоящего положения и возможность улучшения в будущем». Влияние песен на «дух войска и народа» оказалось настолько существенным, что правительству пришлось «всеми мерами» истреблять песни, подобные «Ах, тошно мне и в родной стороне».

ДЕКАБРИСТЫ В БОРЬБЕ ЗА САМОБИТНУЮ И ГРАЖДАНСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ

* * *

С 1821 года начинается новая пора в жизни «Вольного общества любителей российской словесности». В 1821 году в «ученую республику» пришли виднейшие представители будущего Северного общества. 15 ноября 1820 года был принят Александр Бестужев; 31 мая 1821 года — Николай Бестужев; 19 декабря 1821 года из сотрудников в действительные члены переведен Кондратий Рылеев; тогда же, 19 декабря, в действительные члены принят Александр Корнилович. Вместе с этой группой будущих декабристов в «Вольное общество» приняты: Н. И. Кутузов (21 февраля 1821 года), Е. А. Баратынский (действительный член с 28 марта 1821 года), Д. М. Княжевич (с 31 мая), Н. И. Гнедич (с 31 мая), Я. М. Лыкошин (с 31 мая), В. И. Туманский (в сотрудники 29 августа 1821 года; 18 декабря 1822 года — в действительные члены).

Сотрудничество Рылеева и братьев Бестужевых в этом «Вольном обществе» должно быть особо отмечено. В «ученой республике» будущие декабристы получили хорошую школу политического и художественного воспитания. Александр Бестужев в показаниях Следственному комитету указывал на прямую связь, которая существовала между «Вольным обществом» и тайным обществом декабристов: «В 1822 г. ... свел знакомство с Рылеевым, и как мы иногда возвращались вместе из общества «совершителей просвещения и благотворения, то и мечтали вместе, и он пылким своим воображением увлекал меня

еще более. Так грезы эти оставались грезами до 1824 г., в который он сказал мне, что есть тайное общество, в которое он уже принят и принимает меня». ¹

Много любопытных сведений о друзьях и соратниках по «Вольному обществу» мы находим в письмах А. Бестужева к Ф. В. Булгарину за 1821 год. «Очень и премоного любопытен о ваших новостях политических и литераторских! Что поделывают доброго,— спрашивал Бестужев в письме от 26 мая 1821 года,— общие приятели и товарищи наши: Греч, Глинка, Никитин? Здоров ли барон, не приехал ли Баратынский? Помнит ли меня Н. И. Гнедич?» 6 сентября того же года Бестужев просит кланяться Н. И. Кутузову, А. А. Никитину и «всем, всем, у которых сердце не наизнанку». «Гречу, Воейкову и Гнедичу мой сердечный поклон. Баронету и Баратынскому дружеское пожатие руки; Кутузову и всем юношам просьбу не забывать полуграмотного драгуна», — продолжает передавать приветы А. Бестужев в следующем письме (22 октября 1822 года). ² Именно эти «друзья и товарищи» — Глинка, Гнедич, Баратынский, Дельвиг, Никитин, Кутузов и Греч — возглавили в 1821 году «ученую республику».

Александр Бестужев в то время был известен и как автор боевых рецензий и как автор «Путешествия в Ревель» («Поездка в Ревель»). «Путешествие» Бестужева в 1821 году появилось в «Соревнователе просвещения и благотворения» (продолжение в «Невском зрителе»); на средства «Вольного общества» «Путешествие в Ревель» было издано отдельной книгой.

4 апреля 1821 года секретарь «Вольного общества любителей российской словесности» А. А. Никитин от лица всего «сословия» писал Бестужеву:

«Господину цензору библиографии Александру Александровичу Бестужеву.

«Общество, услышав неприятное для него известие об отъезде вашем из С.-Петербурга на непродолжительное время, поручило мне вам именем всех членов пожелать благополучного пути и скорого возвращения в столицу и притом уверить вас, что сословие сие, умеющее

¹ «Восстание декабристов», т. I, стр. 433.

² См публикацию писем А. А. Бестужева к Ф. В. Булгарину в сборнике «Памяти декабристов», Л., 1926.

в полной мере ценить дарования ваши, усердие и труды, с соболезнованием разлучаясь с вами, как с одним из почтеннейших и достойнейших членов своих, утешается надеждою, что и в отсутствии своем вы сохраните дружеское расположение к сочленам, истинно вас любящим, и по временам, ежели обязанности службы и обстоятельства вам позволят, будете доставлять в Общество походные записки ваши или что-либо другое, достойное пера вашего. Примите и с моей стороны уверения в отличном моем к вам почитании и в желании вам всего доброго».¹

Кондратий Рылеев и Александр Бестужев, возвращаясь с собраний «ученой республики», вместе мечтали и «пылким своим воображением» увлекали друг друга. В дальнейшем, стремясь подчинить «ученую республику», организованную по инициативе Союза Благоденствия, задачам новой декабристской пропаганды, Рылеев, тогда уже видный деятель Северного общества, и его ближайший соратник Александр Бестужев создали в конце 1823 года специальный домашний комитет, который и стал фактически руководить «Вольным обществом любителей российской словесности». Комитет состоял из президента Ф. Н. Глинки и действительных членов: К. Ф. Рылеева, А. А. Бестужева, Н. А. Бестужева, А. О. Корниловича, Н. И. Кутузова, О. М. Сомова, И. К. Аничкова и А. А. Никитина. Все это декабристы или их ближайшие помощники по литературным делам. Летописец «ученой республики» А. А. Никитин в своем отчете за 1823 год свидетельствует, что только благодаря усердию Глинки, Рылеева, А. и Н. Бестужевых, Корниловича, Кутузова, Сомова и Аничкова «Вольное общество», пережив все трудности, «бывшие уже на последней степени своего разрушения, восстановлено для нового существования». Закljučая свой отчет, А. А. Никитин еще раз напоминал, что «судьба соединила членов нашего общества крепчайшим неразрывным союзом взаимного снисхождения, приязни и единодушного стремления к избранной высокой цели».

В 1824—1825 годах «ученая республика» пополнилась новыми действительными членами. Среди вновь

¹ Институт русской литературы АН СССР. Бумаги Бестужевых, арх. № 3 (5572).

принятых — ближайшие друзья и знакомые Рылеева и Александра Бестужева: К. П. Торсон, А. С. Грибоедов, Андр. Пушкин, Д. В. Сухоруков, В. Н. Григорьев, П. И. Колошин, Н. А. Полевой, П. Н. Чебышев, Н. М. Языков, Н. А. Очкин, А. М. Замятин и И. И. Козлов. В своих показаниях 24 декабря 1825 года Рылеев обронил любопытное признание: «Грибоедова я не принимал в общество (Северное общество. — В. Б. Курсив наш.) я испытывал его...» В «ученой республике» тоже «испытывали», проверяли нравственность и узнавали образ мыслей. Рассказывая о правилах приема в Северное общество, А. Бестужев указывает, между прочим, что коренным членам предлагалось «исследовать жизнь того, на кого метят». «Чтобы узнать образ мыслей — начинать противоречить, и когда тот разгорячится, то и видеть образ его мыслей. Рассудительных брать со стороны доказательств, а пылких — блестящими картинками будущего».¹ Лучшим доказательством успехов «ученой республики», во главе которой стояли теперь Рылеев и Александр Бестужев, является письмо Грибоедова от 22 ноября 1825 года. Грибоедов писал Александру Бестужеву: «Оржицкий передал ли тебе о нашей встрече в Крыму? Вспомнили о тебе и о Рылееве, которого обними за меня по-республикански».²

Конечно, и после разгрома В. Н. Каразина «ученая республика» не представляла собой нечто единое: в «Вольное общество» входили писатели и ученые разных взглядов и убеждений, имелись среди «соревнователей» и принципиальные враги декабристов, защитники самодержавия. Каразин был изгнан из «Вольного общества», но остались его союзники — князь Н. А. Щертеlev, Борис Федоров, Александр Измайлов, граф Хвостов. Они посещали заседания «ученой республики» и участвовали в «ученых упражнениях». Но с этой группой реакционно настроенных писателей велась напряженная и постоянная борьба. Показательна полемика с Щертеlevым — второй публичный диспут после каразинской истории.

¹ «Восстание декабристов», т. I, стр. 441.

² «Русская старина», 1889, февраль, стр. 322.

Декабристы не могли пройти мимо одного из основных источников самобытного искусства — народной поэзии. Без знания нравов и обычаев народных, без изучения памятников старины и отечественного фольклора трудно было разрешить спор о классической и романтической поэзии в пользу поэзии самобытной, освобожденной от чужеземных цепей. Не случайно О. Сомов в очерке «О романтической поэзии» (1823) пришел к выводу, что «словесность народа есть говорящая картина нравов, обычаев и образа жизни». Вопрос шел не только об использовании в художественном творчестве фольклорных сюжетов, народных песен, сказок и преданий, как вернейших источников самобытной литературы, но и о создании декабристской фольклористики. Главным центром передовой фольклористики в двадцатые годы становится «Вольное общество любителей российской словесности». В «ученых упражнениях» членов этого общества изучение русского фольклора и народной поэзии других народов, особенно славянских, всегда предусматривалось, фольклорная тема постоянно разрабатывалась.

Знакомя русского читателя с греческим эпосом, с поэзией народов севера, с фольклором западных славян, «Вольное общество любителей российской словесности» особое значение придавало изучению отечественной народной словесности. Постепенно возникла необходимость иметь в составе членов-сотрудников специалиста по данному разделу «ученых упражнений». В 1821 году, пользуясь трехмесячным пребыванием в Москве, президент «ученой республики» Федор Глинка (он же делегат московского съезда 1821 года, на котором было решено закрыть Союз Благоденствия), вошел в сношения «с людьми, занимающимися словесностью и наукой», и «достойными дарованиями общего внимания». Среди новых московских знакомых Глинки был И. М. Снегирев, тогда только начинавший свою фольклорно-собираТЕЛЬСКУЮ деятельность. Глинка предложил Снегиреву участвовать в трудах «Вольного общества» и получил от него две рукописи — «Сказание о побоище великого князя Дмитрия Ивановича Донского» и «Краткое историческое и статистическое обозрение Юрьева-Подоль-

ского».¹ Вскоре Снегирёв был удостоен звания члена-корреспондента «Вольного общества» (избрание состоялось 31 мая 1821 года, в этот же день Николай Бестужев и Н. И. Гнедич были утверждены в звании действительных членов). Через два года после встречи с Глинкой, в 1823 году, со Снегиревым в Москве познакомился Александр Бестужев.² Снегирев предложил напечатать в «Соревнователе просвещения и благотворения» свой «Опыт рассуждения о русских пословицах». В письме к секретарю общества А. А. Никитину от 19 марта 1823 года он писал:

«Исполняя обязанность корреспондента, на следующей почте препровождаю к вам, милостивый государь, «Опыт рассуждения о русских пословицах», опыт хотя и не искусный, но в этом роде первый... Кроме исполненного мною поручения насчет раздачи препровождаемых билетов, я со своей стороны не пропускаю случая содействовать, по возможности, к распространению вашего журнала, рекомендуя его и родным своим и знакомым. В Москве я имел в короткое время незабвенное удовольствие познакомиться с вашим цензором библиографии А. А. Бестужевым, которого издали уважаешь, а вблизи любишь. Такими точно воображаю себе и всех членов вашего благонамеренного общества, которое с любовью к просвещению истинному соединяет любовь с благотворением — сей благотворной любви посвящает полезные труды свои».³

«Рассуждение о пословицах» в «Соревнователе просвещения и благотворения» не появилось, вероятно, потому, что И. Снегирев часть из своего «Рассуждения»

¹ Сведения о встрече Ф. Н. Глинки с И. М. Снегиревым сохранились в документах «Вольного общества любителей российской словесности», № 25, л. 143. Рукоп. отд. Института русской литературы АН СССР.

² В записках А. А. Бестужева о поездке в Москву в 1823 году (вероятно, в феврале — марте) сделана заметка: «Обедали у меня Снегирев и Қалайдович» («Памяти декабристов», Л., 1926, кн. 1, стр. 57), А. Бестужев присутствовал на собрании членов «Московского общества любителей российской словесности» и слушал выступление Снегирева. Об этом также сообщает упомянутая записка.

³ Архив «Вольного общества любителей российской словесности», д. № 7, л. 140 и об.

тогда же опубликовал в «Трудах Московского общества любителей российской словесности» (1823, ч. 3). Участие московского фольклориста в журнале «ученой республики» ограничилось статьей в 15 части «Соревнователя» «Об упражнении и сочинениях» (из Квинтилиана). «Сказание о побоище великого князя Дмитрия Ивановича Донского» тоже не было напечатано, но рукопись хранилась в архиве «Вольного общества».¹ В. И. Маслов предполагает, что это «Сказание» знал Рылеев и воспользовался им в работе над «думой» о Дмитрии Донском.

Одновременно с попыткой привлечь к изучению народной словесности Снегирева руководители «Вольного общества» вели переговоры с Н. А. Цертелевым. Н. А. Цертелев был хорошо известен как автор «Опытов собирания малороссийских народных песен» (СПб., 1819), сыгравших видную роль в ознакомлении русского общества с подлинными образцами украинского фольклора; в 1820 году вышел из печати «Взгляд на русские сказки и песни и повести в духе старинных русских стихотворений», и тогда же появился ряд цертелевских статей в «Сыне отечества» и в «Соревнователе просвещения и благотворения». Статья Цертелева «О свадебном русском обряде» обсуждалась 5 июня 1822 года в «ученой республике» в присутствии Глинки, Рылеева, Корниловича, Александра и Николая Бестужевых. В лице Цертелева «Вольное общество любителей российской словесности» желало приобрести ученого специалиста по вопросам народной словесности. Его выступление в 1820 году в защиту Каразина было забыто, и Цертелев как будто стал искренне сочувствовать новому направлению в литературе. По крайней мере авторитет Цертелева в «ученой республике» настолько укрепился, что в 1823 году его избирают кандидатом в члены Цензурного комитета «Вольного общества», то есть делают непосредственным помощником Рылеева и Бестужева. Как

¹ «Сия важная рукопись,— писал Глинка в адрес «Вольного общества» 2 мая 1821 года,— о которой Карамзин упоминает в истории своей, обогащена многими любопытными цитатами, доказывающими отличное трудолюбие и познание Снегирева, который по приятии доверил мне рукопись сию для доставления обществу с тем, чтоб по напечатании оригинал возвращен был ему» (Архив «Вольного общества любителей российской словесности», № 5, л. 201).

об этом сообщает «Журнал распоряжений», 29 января 1823 года состоялось чрезвычайное собрание «ученой республики», на котором было принято решение «возложить на кн. Н. А. Цертелева сочинение «Исторической картины российской словесности», на что он (Цертелев. — В. Б.) изъявил свою готовность». Решение было вызвано тем, что на предшествовавшем собрании, 22 января 1823 года, Цертелев читал отрывки из своего сочинения, которые получили всеобщее одобрение. Перед чтением своей статьи Цертелев произнес речь, вполне достойную члена «ученой республики». В «Летописи общества», появившейся на страницах «Соревнователя просвещения и благотворения», сообщалось, что «общество приятным долгом поставляет уведомить отсутствующих членов своих, что действительный член, кн. Н. А. Цертелев, по поручению сего сословия занимается составлением книги «Историческая картина российской словесности». Отрывок из оной представил он на суждение общества при следующей речи». Дальше приводилась сама речь. Отдавая должное «Опыту истории российской словесности» Греча, Цертелев говорил, что, при всех достоинствах, этот труд «имеет тот недостаток, что, прочитав его, нельзя сказать, какой род словесности процветал у нас в том или другом периоде, и вообще, в котором успели мы более? Сей-то собственно недостаток заставил меня приступить к составлению «Исторической картины российской словесности». «Сочинение мое, — продолжал Цертелев, — разделено на периоды, сообразно важнейшим эпохам истории нашего отечества, ибо известно, что успехи словесности народов идут наравне с политическим их благоденствием». В заключение Цертелев, используя обычную фразеологию «соревнователей», приветствовал «братское согласие людей различных лет и званий» и их общее стремление к «благородной, высокой цели» «познания, добра и истины». Рассматривая свой труд как часть единого замысла «ученых упражнений», он закончил свою речь такой эффектной фразой: «Станем искренне подавать руки друг другу и на пути к общей цели поддерживать, подкреплять один другого». ¹

¹ «Соревнователь просвещения и благотворения», 1823, ч. 21, стр. 236.

Предложение «ученой республики» заняться составлением «Исторической картины российской словесности» и заявление князя Цертелева, что он отечественную словесность будет рассматривать, сообразуясь с важнейшими историческими эпохами, полностью соответствовало замыслам «Вольного общества», во главе которого стояли декабристы.

В первую половину 1823 года Цертелев на заседаниях «ученой республики» читал четыре отрывка из «Исторической картины российской словесности»: «О народной поэзии», «Взгляд на состояние российской словесности до XVIII столетия», «О поэмах описательных» и «О философских или нравоучительных одах Державина».

В статье «О народной поэзии» Цертелев коснулся народного эпоса, имея в виду русские былины, известные по сборнику Кирши Данилова. Трактую былинный эпос как сниженную поэтическую культуру, Цертелев отмечал в былевой поэзии следы отрицательного влияния татарского нашествия. Погрешности против истории и географии, гиперболическое изображение богатырской силы, так называемый «гигантеск», смущавший в свое время Г. Р. Державина, и тому подобные своеобразия былинного повествования воспринимались Цертелевым и многими другими фольклористами десятых — двадцатых годов как уступка варварским вкусам, как нарушение традиционной эстетики древней Руси. В самой поэтике былинного эпоса Цертелев усматривал соединение противоположных тенденций. «Превосходные описания» и «сильные мысли», напоминавшие «Слово о полку Игореве», как бы переплетались с «грубыми картинами» и необузданной фантастикой. И вообще былины «представляют собой, — заключает Цертелев, — странную смесь истинного и ложного, благородного и низкого, смешного и вздорного». Мнение Цертелева о былинном эпосе мало оригинально. Еще в 1809 году Грамматин в «Рассуждении о древней словесности» (М., 1809) утверждал, что песни, прославляющие князя Владимира, от начала и до конца наполнены «самыми нелепыми вымыслами». Для Грамматина былина представлялась не иначе, как сказкой, переработанной в стихотворение безграмотным простолудином. По Цертелеву «богатырские повести» являлись в результате разрушения более ранних эпических

песен, создателями которых были истинные песнопевцы. Под «богатырскими повестями» подразумевались несомненно былины. Об этом свидетельствуют более частные замечания в статье Цертелева: «эти повести изложены стихами», «несколько оных можно видеть в книге «Древние русские стихотворения», в прежние времена сопро-вождались они «пением», «заклучали в себе подвиги русских витязей» и т. д. Причины исключительно сдержанного отношения к былинному эпосу заключены не столько в непонимании своеобразий фольклорной эстетики, в данном случае художественного стиля былинной поэзии, сколько в исторических воззрениях, привитых частично «Историей государства Российского» Карамзина.

В исторических статьях, разбираемых на заседаниях «ученой республики», как правило проводилась резкая грань между двумя периодами в жизни русского государства: век Владимира, когда «Россия, преследуя и поражая повсюду своих неприятелей, распространяла свои пределы и внушала к себе уважение самой Греции. Казалось, что все приготовляло ее к будущему величию, и уже просвещение начинало распространять благодетельное свое действие...», и следующие века, когда «со смертью Ярослава I прерывается блистательный период российской истории, наступают времена тяжелые, и жребий обрекает Россию на бедствия от несогласия и властолюбия кровожадных и малодушных ее повелителей и предает ее соседственным народам на порабощение». ¹

В этот второй период, когда Россия стонала под «татарским игом», а потом раздиралась «внутренними междоусобицами», произошло, по мнению Цертелева, снижение поэтической культуры, в результате чего явились в былинном эпосе «грубые картины». Эту точку зрения разделяли многие литераторы двадцатых годов. Переводя на русский язык предисловие Лемонте к парижскому изданию басен Крылова, где иностранец между прочим говорил, что «веселый» и «умный» русский народ имел в свое время «летописцев, певцов, игрища скоморохов», но произведения их «исчезли во мраке варварства», О. Сомов спрашивал своих соотечественников: «Нестор,

¹ «Соревнователь просвещения и благотворения», 1821, ч. 16, стр. 168.

Сильвестр, Певец Слова о полку Игореве, Кирша Данилов! Ужели иноплеменник говорит истину? Ужели в самом деле вовсе забыты неблагодарными потомками?»¹

Субъективизм исторических концепций безусловно сказался в характеристике народной поэзии. «Два века, — писал Цертелев, — отечество наше стонало под игом татар и литовцев; два века угасал дух мужества, исчезала чистота нравов и любовь к просвещению, все грозило России вечной гибелью». ² Показательно, что его «Исторические картины российской словесности» складывались из двух периодов: «От древних времен до нашествия татар» и «от нашествия татар до свержения их власти». Если «Слово о полку Игореве» отразило героический период русской исторической жизни, эпоху раннего просвещения, то былевой эпос сложился в тяжелые времена татарского ига и испытал на себе влияние «варварского татарского вкуса».

Только Пушкин в заметке «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» («Московский телеграф», 1825, № 17) сумел преодолеть ограниченность исторических взглядов на русскую культуру эпохи татарского нашествия. «Г. Лемонте напрасно думает, — замечал Пушкин, — что владычество татар оставило ржавчину на русском языке. Чуждый язык распространяется не саблею и пожарами, но собственным обилием и превосходством. Какие же новые понятия, требовавшие новых слов, могло принести нам кочующее племя варваров, не имевших ни словесности, ни торговли, ни законодательства».

Значительно правильнее и глубже в двадцатые годы была понята и оценена русская лирическая песня. В очерке «О произведениях древней русской словесности» Цертелев ссылаясь на «одного из наших писателей», который говорил, что «печаль и уныние» составляют главное свойство русских старинных песен. Таким писателем, как известно, был Радищев, ему принадлежат слова: «...кто знает голоса русских народных песен, тот признается, что есть в них нечто, скорбь душевную означающее». Цертелев несомненно имел в виду это замечание Радищева, когда продолжал: «Печаль и уныние, — как

¹ «Сын отечества», 1825, ч. 102, стр. 69.

² «Соревнователь просвещения и благотворения», 1823, ч. 22, стр. 238.

замечал один из наших писателей, — составляют главное свойство старинных русских песен, которые господствуют не только в словах, но и в самой их музыке. Кажется, однако же, что мрачность характера никогда не была отличительною чертою россиян: отчего же все песни их отзываются унынием, отчего видна на них печать горести? ...Иго татар, жестокость некоторых государей, внутренние мятежи, конечно, не могли представить поэтам ничего приятного, ничего веселого; воображение их всегда встречало то пылающие города, то окровавленный престол, то гнусность крамолы, то страждущую невинность. Изредка только видели они ясные дни и счастье семейственной жизни.¹ Эта характеристика «главного свойства старинных русских песен» вошла в предисловие к неопубликованному собранию старинных песен Цертелева с той только разницей, что вместо слов «гнусность крамолы» значитса в рукописи «государевы крамолы», не считая других более мелких разночтений.

В главе «О народной поэзии» (из первой части «Исторической картины российской словесности») Цертелев опраничился общей характеристикой основных жанров народной словесности, обратив особое внимание на песенную лирику, ибо в ней заключена «простота и точность выражений, сила чувствований, естественность мыслей и, наконец, особенная гармония, свойственная языку нашему». Песни подразделялись на обрядные (хороводные, свадебные и святочные), сохранившиеся; может быть, «от времени язычества» и содержащие в себе «многие обычаи, черты нравов и образ мыслей «наших предков», на песни элегического и анакреонтического содержания, то есть образцы любовной лирики, и, наконец, выделялся «особый род песен, которые можно назвать военно-историческими, но между ними немного старинных». Большая часть исторических или «описательных» песен относилась ко времени Петра I и Екатерины II. В самостоятельную группу Цертелев выделяет так называемые забавные песни, куда входят песни аллегорического и сатирического содержания, «заимствовавшие предмет свой из частной или семейной жизни».

¹ Н. А. Цертелев. О происхождении древнерусской поэзии. СПб., 1820, стр. 22—23.

В течение нескольких лет Цертелев готовился к изданию русских народных песен, тщательно сверяя отдельные варианты. Наконец в 19 части «Благонамеренного» появилось официальное извещение о подписке на книгу «Дух русской поэзии, или Собрание старинных русских стихотворений, заслуживающих внимания или по содержанию, или по изложению своему».

«В прошедшем 1820 году объявлено было в «Вестнике Европы» и «Сыне отечества», — говорилось в заметке «О подписке на новую книгу», — о намерении моем издать собрание старинных отечественных стихотворений. Собрание сие приведено уже мною к окончанию и в непродолжительном времени будет напечатано под названием: «Дух русской поэзии, или Собрание старинных русских стихотворений, заслуживающих внимания или по содержанию, или по изложению своему». Оно состоит из семи книжек, или отделений, составляющих две части.

«Часть первая

заключает в себе:

1. Песни хороводные.
2. » святочные.
3. » свадебные.
4. » заимствовавшие предмет свой из частной или семейной жизни.

«Часть вторая

1. Стихотворения элегические.
2. » анакреонтические.
3. Краткие описания и повествования.

«Из сего разделения видно уже, что в первой части собрания старался я представить картину нравов и обычаев предков наших; во второй показать следы пиитического их гения и успехи литературы того времени. Ко многим стихотворениям сделаны мною примечания; пред каждым отделением помещено краткое рассуждение о стихотворениях, в оном заключающихся; а в конце приложен словарь особенных слов и выражений, встречающихся в сем собрании, с показанием различного их употребления в старинных русских стихотворениях.

«Желающие подписаться на сию книгу могут получить билеты у Казанского моста в книжной лавке И. В. Сленина и у Синего моста в библиотеке для чтения В. А. Плавильщикова. Цена здесь в С. Петербурге за обе части 10 рублей; иногородные прилагают весовых за два фунта...»¹

Это объявление в «Благонамеренном» свидетельствует, что сборник старинных русских песен не только был закончен, но уже принималась подписка в лавке И. В. Сленина и в библиотеке В. А. Плавильщикова, даже цена была обозначена.

Между тем сборник князя Цертелева так и не вышел из печати, не поступил в продажу. В 22 части «Благонамеренного» за 1823 год появилась заметка следующего содержания; «Издание книги «Дух русской поэзии, или собрание старинных русских стихотворений» по некоторым причинам оставлено на неопределенное время, а поэтому подписавшиеся на сию книгу могут получить деньги из тех книжных лавок, из которых выданы им билеты».

Несколько песен из собрания князя Цертелева попало на страницы «Северного архива» (1822, кн. 3, стр. 399—412): «Две хороводные песни» («Во ржи береза зеленая стояла» и «Где Купала ночевала»); три «элегических» в духе народных причитаний: «Клич» («Как бы знала, как бы ведала»), «Неуваженная просьба» («Уж как полно красна девица тужити») «Чужая сторона» («Не кладу богу жалобу»); три «анакреонтических» песни — «Петушок» («Петушок, петушок, золотой гребешок»), «Вьюга» («На улице то дождь, то снег, то вьялица») и «Спасибо» («Ай, спасибо тебе, чарочка золоченая»); две песни под общим заголовком «Краткие описания и повествования» — «Как да у нас, братцы, через темный лес» и «Стругал стружки добрый молодец».

Материалами цертелевского сборника пользовался Киреевский (или Бессонов). Из фольклорной коллекции в восьмой выпуск «Песен» вошло семь текстов («Песни, собранные П. В. Киреевским», М., 1870, вып. 8, стр. 225, 307, 309, 317, 322, 323). Все семь текстов имеют следующие паспорта: «Записано А. Хр. Востоковым, неизвестно где, доставлено нам кн. Н. А. Цертелевым (5 №) или

¹ «Благонамеренный», 1822, ч. 19, стр. 238—239.

«Записано Н. А. Полевым, доставлено нам кн. Н. А. Цертелевым» (2 №). Значительная часть сборника под названием «Дух русской поэзии, или Собрание старинных стихотворений, заслуживающих внимания или по содержанию, или по изложению своему. Изданное с объяснениями и примечаниями членом разных ученых обществ кн. Н. А. Цертелевым» сохранилась среди бумаг Ф. Н. Глинки.¹ Видимо, инициатива издания сборника принадлежала «ученой республике». Трудно сказать, почему сборник народных песен так и не вышел из печати. Но Цертелев в 1823 году прекратил свое сотрудничество в «Вольном обществе», и его «Историческая картина российской словесности» оборвалась в «Соревнователе» на характеристике памятников древнерусской литературы. У нас нет оснований говорить, что «ученую республику» не удовлетворяли цертелевские статьи по народной словесности. Правда, и в оценке народной поэзии не было единого мнения. Декабристы имели свою точку зрения на фольклор. Это бесспорно. Но спор с Цертелевым в 1823 году возник по другому поводу.

* * *

Для руководителей «Вольного общества» стало ясно, что Цертелев не понимает «высокой» и благородной цели, хотя и говорит о ней. Признавать народную поэзию и ценить памятники русской старины было еще недостаточно, чтобы находиться в авангарде, идти в ногу с декабристскими литераторами. Цертелев продолжительное время лавировал между рылеевцами и измайловцами. В «Вольном обществе любителей российской словесности» он ратовал за народность в искусстве, а в измайловском журнале «Благонамеренный» выступал против романтиков, высмеивая поэтов, имеющих «душу воспламененную и доступную всему высокому». В первую половину 1823 года

¹ Об этом сообщалось в нашем очерке «О поэзии Глинки» — см. «Литературный критик», 1938, № 9—10, стр. 296. В настоящее время из Гос. архива феодально-крепостнической эпохи (ф. 684, № 1319) бумаги Глинки переданы в Центральный литературный архив (ф. 141, № 1319).

в «Вольном обществе словесности, наук и художеств», где председательствовал Александр Измайлов, Цертелев читал свою статью «Новая школа словесности». О том, как была встречена эта пасквильная статейка в декабристских литературных кругах, можно догадаться по очередному выступлению Цертелева. В 22 части «Благонамеренного» за 1823 год он напечатал свой новый памфлет, назвав его «Грозный приговор». На этот раз Цертелев сообщал о том, как некие «знакомые незнакомцы», собравшись за чашкой шоколаду в кондитерской лавке на Невском проспекте, ругали автора статьи «Новая школа словесности», называя его «педантом, невеждою, глупцом» и «жалким сочинителем». ¹ В своей последней статье («Грозный приговор») Цертелев намекал на инцидент, разразившийся в апреле месяце 1823 года, но только не в кондитерской лавке, а на одном из заседаний «ученой республики».

На одном из подготовительных собраний «Вольного общества любителей российской словесности», когда обсуждался план публичных выступлений в доме Державина, между Цертелевым и Александром Бестужевым обнаружились принципиальные расхождения, которые послужили причиной дальнейшего раздора. Цертелев представил на рассмотрение «ученой республики» из «Исторической картины российской словесности» главу «О философских одах Державина», требуя включения ее в публичные чтения. Против этой статьи категорически возражал Бестужев. Особенно бурно прошло подготовительное собрание 16 мая 1823 года. На этом заседании присутствовали Рылеев, А. и Н. Бестужевы, Корнялович, Сомов, Никитин, Греч, Измайлов, Кутузов, Цертелев, Д. Княжевич, Федоров, Лобанов, Сахаров, Булгарин, Туманский и Лыкошин. Протокола собрания от 16 мая, в котором были бы отражены выступления отдельных членов, не сохранилось, но по ряду других источников мы можем судить, что именно на этом собрании разгорелся горячий спор. Яблоком раздора послужила упомянутая статья Цертелева о Державине. Выступление с речью о Державине в публичном собрании считалось исключительно ответственным. Вопрос шел о выражении мнения «ученой

¹ «Благонамеренный», 1823, ч. 22, стр. 162.

республики». В статье Цертелева слишком подчеркивались верноподданнические моменты и дидактизм державинских од и ничего не говорилось о Державине как о поэте-гражданине. Следовательно, она не отвечала взглядам Рылеева и Бестужева. Между тем Цертелев настойчиво добивался, чтобы его статья была одобрена к чтению. Полемика приняла очень острый характер, обсуждение проходило бурно, и спорили много. Подробности этой дискуссии утрачены, но в нашем распоряжении известно письмо А. Бестужева к князю Вяземскому, а также письмо А. Е. Измайлова к Н. И. Шредеру от 30 мая 1823 года. «В прошедший вторник, ровно неделю назад, — писал А. Измайлов, — было торжественное собрание «Общества любителей российской словесности», или, как попросту говорится, соревнователей, в доме Державина, в той самой великолепной зале, где собиралась прежде «Беседа». Предуготовительных собраний было около десятка, и, признаюсь, они крайне мне надоели, сколько потому, что отняли много времени, а более по той причине, что были слишком шумны. Новая школа вооружилась против старой, партия против партии, а я никаких партий терпеть не могу, не принадлежал исключительно ни к одной и никогда не заводил своей, хотя бы легко мог это сделать».¹ А. Е. Измайлов напрасно считал себя беспартийным литератором: он вместе с Цертелевым и Федоровым в «Вольном обществе» составлял оппозицию декабристским романтикам, выступал против «новой школы». В письме к князю Вяземскому Бестужев называет своих идейных противников по именам и рассказывает о характере подготовительных собраний. Бестужев пишет, что «пошел перебор пьес», и он предложил «исключить из числа назначенных для чтения пьес разбор од Державина Цертелевым, чистый вздор, где, кроме прекрасного, неподражаемого, божественного, забавного, было одно имя сочинителя». Но, чтобы не вызвать обвинения в личном пристрастии, Бестужев исключил из списка свой «Вечер на бивуаках». Цертелев возражал, «шумел, защищал красоту своей пьесы, восставал против

¹ Письмо А. Е. Измайлова к Н. И. Шредеру опубликовано в книге «Вольное общество любителей российской словесности», стр. 261.

реформы суда, однако ж шары покатались, и он слетел кубарем». Бестужев доказал «неправду» цертелевских возражений, и статья о Державине была большинством голосов отвергнута.

Декабристское отношение к Державину было сформулировано Рылеевым в «думе» «Державин», которую он читал в «ученой республике» 6 ноября 1822 года. Державин для Рылеева — великий поэт гражданственности:

Он пел и славил Русь святую!
Он выше всех на свете благ
Общественное благо ставил
И в огненных своих стихах
Святую добродетель славил.

Статья Цертелева о Державине была отвергнута, но на публичном собрании 22 мая 1823 года от лица партии «безвкусия» выступал Борис Федоров. Он читал свое стихотворение «Ободрение», в котором фактически повторил мнение Цертелева об одах Державина и приветствовал союз поэзии с самодержавием.

«Особенное собрание», состоявшееся в доме Державина, составляет одну из самых замечательных страниц в летописи «Вольного общества любителей российской словесности». Собрание окончилось блестящей победой декабристских писателей. На следующий день после публичного собрания Александр Бестужев писал князю Вяземскому:

«Булгарина статья была занимательна, однакож у нас еще не умеют ценить исторических занятий. Туманскому аплодировали, и стоит; были звонкие стихи и новые картины. Корнилович всем понравился, его читал мой брат очень внятно. Рылеева «Ссылный» полон благородных чувств и резких возвышенных мыслей — принят с душевным одобрением. Никитин читал вашу статью — она всем полюбилась, и потому, что просто высказано, и потому, что любят героя оной. Рукоплескали. Я прочел Пушкина маленькую пьесу «Прощание с жизнью». Пушкин — везде Пушкин. Лобанова перевод из «Федры» хорош. Борис Федоров гадок, словесный вор и отец преотвратительный, не знаю, как и когда прошла сквозь оппозицию его пьеса. В заключение Измайлов смешил более всего тушею, чем

стихами. Но вообще публика была довольна очень, и все прошло прекрасно. Просят поскорее еще». ¹

В этом письме резко сказано о Б. Федорове — «словесный вор»; успех Измайлова не принят всерьез («смешил более своею тушею, нежели стихами»), тогда как поэма Рылеева, полная «благородных чувств» и «возвышенных мыслей», была принята «с душевным одобрением». На многолюдном собрании не был забыт ссыльный Пушкин. Александр Бестужев читал его стихотворение «Прощание с жизнью» (в протоколах «Вольного общества» стихотворение Пушкина значится под названием «Прощание»). Декабристы в присутствии влиятельных петербургских особ напоминали о судьбе поэта. Борьба за Пушкина продолжалась. Все это собрание было задумано как демонстрация декабристских литературных сил.

Для нас имеет первостепенный интерес и та часть письма Бестужева, в которой говорится о борьбе двух литературных партий. Бестужев разъясняет, что главой «правой» партии, вооружившейся против «новой школы», был князь Цертелев.

«Есть партия, — замечает Бестужев, — положительного безвкусия; у ней голова кн. Цертелев, а хвост (тела нет) Борис Федоров и еще два или три поползня, есть и цензурные или, лучше сказать, полицейские партизаны, именно Воронов; прочие суть благомыслящие гласные, полугласные и без слов. Число последних статистиков, как водится, есть наибольшее». О Цертелеве Бестужев говорит с явным пренебрежением: «Человек, как видно из его творений, ничтожный, с лубочным вкусом, как заметно из его поступков и мнений — способный на всякое низкое дело».

Дружеская переписка дополняет и комментирует ту борьбу с партией «положительного безвкусия», которая разгоралась в «ученой республике» в апреле — мае 1823 года и не потухала до самого 14 декабря 1825 года. П. А. Вяземский хотя и не присутствовал на публичном собрании, где читалась его статья о баснописце И. И. Дмитриеве, но и он проявил живой интерес к спору между декабристскими романтиками и классиками из «Благонамеренного». Зная о подготовительных собраниях

¹ «Старина и новизна», 1904, кн. 8, стр. 30—31.

и происках Цертелева и Измайлова, Вяземский писал Бестужеву из Москвы 10 мая 1823 года: «Какой злодей Измайлов! Взятся быть истолкователем и защитником Красовских! Право, я не ожидал от него такой подлости. Я полагал его всегда в числе худых стихотворцев, пошлых журналистов, но, по крайней мере, честных людей,

И что ж! У полыньи каналья очутился!»

В письме от 2 сентября 1823 года Вяземский советует Бестужеву не шадить Хвостова: «Только, ради бога, не впускай Хвостова... Всякому свое место: люди с людьми, а прочие с прочими! Пускай хрюкает он у дверей, но вы мужайтесь и дверей не растворяйте». ¹

Важно было не только морально уничтожить Измайлова, Хвостова, Цертелева и Федорова, но и обосновать свою концепцию романтического искусства, защитить высокое призвание поэта. В одном из следующих писем к Бестужеву (от 20 января 1824 года) Вяземский выдвигает одно из основных положений романтической теории — *независимость* писателя: «Достоинство писателя у нас упадает с каждым днем, и если малому числу избранных не поддерживать его, то литература делается какою-то казенною службою, полицейским штампом или и того хуже — каким-то отделением министерства просвещения. Независимость — вот власть, которой должны мы служить верою и правдою. Без нее нет писателю спасения: и ум, и сердце его, и чернила — все без нее заплеснеет». ²

В эстетике прогрессивных романтиков пропаганда *независимости* означала борьбу за свободу художественного творчества, за передовое мировоззрение.

Одновременно с Вяземским Бестужеву пишет из Одессы Туманский. Письмо Туманского датируется 18 сентября 1823 года: «Поклон тебе, милый разбойник литературы, первый луч «Полярной звезды», первая рука или нога Виртембергского принца, ³ хищник Матильдиного сердца, столп русского, коренного либерализма!

¹ «Русская старина», 1888, ноябрь, стр. 317—319.

² Там же, стр. 324

³ Александр Бестужев в 1823 году был адъютантом принца Виртембергского. Письмо Туманского опубликовано в «Русской старине», 1888, ноябрь, стр. 319.

Поклон тебе и многие лета!» Туманский «добрého Сашеньку» просит передать привет Рылееву, Глинке, Гречу, Дельвигу, Никитину, Корниловичу (все они в 1823 году возглавляли «ученую республику»); что касается Бориса Федорова, то Туманский советует: «Но, пожалуйста, всплунь, встречаясь с Федоровым». Здесь не упомянут Цертелев. Но против Цертелева Туманский выступал публично и сразу же после собрания в доме Державина. В «Соревнователе просвещения и благотворения» перед циклом стихотворений, читанных 22 мая, помещено послание Туманского к «голове» партии «положительного безвкусия». Это послание («К Цертелеву») имеет самое непосредственное отношение к спору о поэзии между Бестужевым и Цертелевым. В нем мы находим ответ «ученой республики» на дошедшие до нас бурные возражения Цертелева и на его попытку восстать против литературной реформы.

* * *

Написанное под непосредственным впечатлением дискуссии в «ученой республике», послание Туманского дает справедливую отповедь «классику» Цертелеву и излагает основные положения романтической теории:

Не тот еще поэт, кто, слабою душой
Искусства позабыв высокие начала,
В толпе своих друзей с цевницей иль трубой,
Идет просторною тропой
По шумным гульбищам журнала.
Нет! не заблещет лавр бессмертный на челе
Рабов общественного мнения,
Привыкших истину вешать без убежденья,
Неправду и порок шадящих на земле.
Законы гения — свобода!

Истинный поэт с юношеских лет чтит высокое искусство; «народов и царей отважный проповедник», он слышит «глас судеб, веков предназначенья», «кладет он на свои живые песнопенья ума высокого печать». Таким поэтом был Байрон, которого Туманский ставит в пример:

Смотри: как Байрон в наши дни,
В отчизне испытав гонения одни,
В слезах страдания живого
Велик душою на земле!

Смотри, с каким презреньем он оставил
 Забавы светские, и светскую толпу,
 И сети узкие разорванных им правил!
 Без страха разглядев грядущих дней судьбу,
 Он бросился в ее холодные объятия,
 Не тратя гордых сил на позднюю борьбу,
 Сокрыв в душе своей моления и проклятья,
 И, предназначенный к великому, не пал
 Страдалец-юноша: его хранили чувства!
 И в нем, как вечный огонь, горел, не потухал
 Светильник мыслей и искусства.

Не трудно заметить, что Туманский в своей защите высокого романтического искусства опирался на взгляды декабристов, сложившиеся под прямым воздействием «Зеленой книги» (книга IV, стр. 349). Программные выражения законоположения Союза Благоденствия («а более всего в непритворном изложении чувств высоких и к добру увлекающих», «высокие положения» и «просвещенная поэзия») поэтами-декабристами Пушкиным и Грибоедовым были переведены на язык поэзии, перелиты в поэтические лозунги: «Высоких дум кипящую отвагу» (Рылеев), «Страстей высоких юный жрец» (Раевский), «Святые таинства высокого искусства» (Кюхельбекер), «К искусствам творческим, высоким и прекрасным» (Грибоедов), «Души высокие порывы», «И дум высокое стремленье» (Пушкин), «Души высокую свободу», «И добродетель в песнях громких» (Глинка). В стихотворении Туманского песнопевец умеет «истину вещать». Он не щадит «неправду и порок», клеймит «рабов общественного мненья», но «верной дружбы славит цену»:

Но он поэт, и глас его нельстивый,
 Свирепый, безнадежный глас,
 Как ветра бурные порывы,
 И мучит и терзает нас.

Рылеев по заслугам оценил выступление Туманского. В начале октября 1823 года, когда Туманский выехал из Петербурга на службу в канцелярию новороссийского губернатора М. С. Воронцова и в Одессе близко сошелся с Пушкиным, Рылеев писал: «Милый Туманский, вижу, что прелестными пьесами нашего парнасского чудотворца «Полярная звезда» обязана тебе. Да не угаснет же в тебе за то никогда чистый пламень поэзии, возженный твою прелестною музою, которую ты так мило славил под

именем милой девы. Пусть пламень сей назло ничтожной и мелкой собратии Федорова чаще и чаще рождает в тебе истинное вдохновение и дразнит самолюбивое безвкусие старообрядцев нашей словесности». ¹ Но что особенно важно, Рылеев в этом письме называет Пушкина «Консулом нашей Литературной республики». Что касается «старообрядцев нашей словесности» и «мелкой собратии Федорова», то письмо Рылеева как бы дополняет письмо Бестужева к князю Вяземскому, где говорится о собрании в доме Державина: «У ней голова кн. Цертелев, а хвост (тела нет) Борис Федоров и еще два или три поползня».

* * *

В конечном итоге спор в «ученой республике» по поводу статьи Цертелева о Державине перерос в дискуссию о романтической и классической поэзии, о старой и новой школе в словесности. Этот спор был продолжен Орестом Сомовым, ближайшим соратником декабристов, в очерке «О романтической поэзии» (СПб., 1823). Трактат Сомова предварительно обсуждался на заседаниях «Вольного общества любителей российской словесности» и после одобрения печатался на страницах «Соревнователя просвещения и благотворения», пройдя окончательную цензуру Рылеева и Александра Бестужева. Это был лучший ответ и Каразину с его требованием самобытной, но не гражданской литературы, и князю Цертелеву, признававшему народность в литературе, но отрицавшему декабристский романтизм, героическую романтику. Очерки Сомова составляют самую значительную главу «ученых упражнений» за 1823 год. Если первые две части сомовского трактата мало оригинальны, так как автор знакомит русского читателя с содержанием известной книги г-жи Сталь «О Германии», то часть третья, посвященная собственно русской поэзии, для 1823 года была новым и смелым словом о романтизме. По Сомову, романтическое направление в русской литературе двадцатых годов нельзя изолировать от общественных и литературных течений Запада. Стихи Туманского о Байроне можно срав-

¹ «Литературные портфели» — «Атеней», 1923, стр. 58.

нить с характеристикой того же поэта у Сомова. Оба подчеркивают его «мизантропию», протест против официального общества, разоблачение им болезней века. Для Туманского и Сомова Байрон не индивидуалист без принципа, но, по исторической необходимости, он обличитель, и поэзия его «глас нелестивый». Туманский писал о Байроне:

Рукой безжалостной покров он с них сорвал,
И страшный человек предстал
Испуганному человеку.
Он видел ужас их — и в испугенье сил
За язвой новую он язву наносил
Как труп бесчувственному веку.

Сомов говорит о своеобразии байроновского юмора, который по своей внутренней боли и горечи скорее является сатирой: «Но шутливость его не такова, чтобы скрывала невинную улыбку удовольствия: это больше язвительная карикатура света и людей». Отмечая, что Байрон прославился своими романтическими поэмами, Сомов заключает: «Поэзия Байрона отличается силою выражений, новостью мысли и живостью картин, в которых он с отличным искусством схватывает черты местные». И для Рылеева Байрон — гражданский поэт, оратор, публицист, сатирик, поэт силы и свободы.

Одни тираны и рабы
Его внезапной смерти рады! —

писал Рылеев в стихотворении «На смерть Байрона».

Декабристы, в отличие от западных подражателей, ценили в Байроне не экзотику и не демонизм характеров, а правдивое изображение страдающего, безобразного и порочного мира, восхищались волей к борьбе, умением одухотворить стихи политической страстью. На Западе особенным успехом пользовались экзотика Востока, таинства любви, фантастичность характеров и событий, которыми наполнены произведения Байрона. Русские же говорили о жестокой правде, о своеобразной жесткости его поэтической манеры. Он сам не слаженный, не гармоничный, и он не намерен сводить объективный мир к гармонии: страдающий Байрон и страдающий, безобразный порочный мир в его произведениях.

В «ученой республике» Державин и Байрон оказались одинаково почетны; в известных отношениях декаб-

ристы продолжали и державинские и байроновские традиции. Оба поэта — Державин и Байрон — назывались самобытными и «возвышенными поэтами». Сомов в своем очерке «О романтической поэзии» развивает рылеевскую концепцию о Державине как «певце возвышенном». «Державин сообщил новую силу языку русскому, — писал Сомов, — разгадал его средства и возможности, влил в поэзию мысли высокие и отвлеченные, облек их в образ видимый и осязаемый и удивил народы отдаленнейшие. Его поэзия неподражательна и неподражаема... Творения сего певца суть говорящие памятники нашей славы народной; и русский, с величавой осанкою самодовольствия, скажет иноплеменным: «Я соотечественник Державина». Декабристы за Державина, но против Жуковского. Сомов говорит о Жуковском скупое и бегло («Познакомив нас с поэзией соседних германцев и отдаленных бардов Британии, он открыл нам новые пути в мир воображения») и подробно останавливается на «немцеобразных рапсодиях» Жуковского и его подражателей — творцов камерной поэзии, ограниченной рамками одной человеческой души, тогда как нужна поэзия больших общественных масштабов, активная к внешнему миру.

«Полярная звезда», руководимая Рылеевым и Александром Бестужевым, спорила с «Северными цветами», где было опубликовано П. Плетневым «Письмо к графине С. И. С. о русских поэтах». Плетнев писал о Жуковском: «Пленяя все наши чувства, он не забывает сердца, которое не может наслаждаться настоящим, не вспоминая прошедшего: а в прошедшем всегда больше для нас прелести, нежели в настоящем. Наконец, он доставляет приятную пищу самому воображению, накладывая покрывало на свой мечтательный мир. Он настраивает все способности души к одному стремлению: из них, как из струн арфы, составляется гармония. Вот в чем заключается тайна романтической поэзии». ¹ Плетнев пытался принять под защиту Жуковского, называя его «образцом всех новейших поэтов». Рылеев, Бестужев, Кюхельбекер и Сомов придерживались иного взгляда, они не считали, что «новейшая» поэзия обязана Жуковскому, Более того, они противопоставляли собственные свои

¹ «Северные цветы», 1825, стр. 36—37.

требования к поэзии тому, что внес в поэзию Жуковский. Они хотели от поэзии энергии, гражданской мужественности, остроты и силы мысли, а Жуковский воспитывал русскую поэзию в духе келейности, душевной размягченности, созерцательности и личной узости. Александр Бестужев тогда же не согласился с мнением Плетнева и в письме к Пушкину сурово отозвался о Жуковском. Пушкин не жаловал Плетнева, но и с Бестужевым он полностью не соглашался. 25 января 1825 года Пушкин писал Рылееву: «Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? Потому что зубки прорезались? Что ни говори, Жуковский имел решительное влияние на дух нашей словесности; к тому же переводный слог его останется всегда образцовым. Ох, уж эта мне республика словесности! За что казнит, за что венчает?»

Рылеев отвечал за всю «республику словесности»: «Неоспоримо, что Жуковский принес важные пользы языку нашему; он имел решительное влияние на стихотворный слог наш — и мы за это навсегда должны остаться ему благодарными, но отнюдь не за влияние его на дух нашей словесности... К несчастью, влияние это было слишком пагубно: мистицизм, которым проникнута большая часть его стихотворений, мечтательность, неопределенность и какая-то туманность, которые в нем иногда даже прелестны, растрепали многих и много зла наделали».

Писатели-декабристы несколько недооценивали роль Жуковского в русской литературе, но недооценивали сознательно, исходя из соображений патриотических. Они не могли простить Жуковскому бегства от действительности, пассивную созерцательность, отсутствие в его поэзии политического протеста. «В годы подготовки декабрьского восстания поэзия Жуковского, которая все более окрашивалась в религиозные тона, воспринималась как форма пассивного примирения с действительностью путем ухода в мир романтического вымысла — «прелестной лжи». «Это, — по справедливым словам Д. Д. Благого, — вызывало резкие нарекания на Жуковского со стороны многих писателей-декабристов».¹ К тому же де-

¹ См. статью Д. Д. Благого в «Литературной газете» от 24 апреля 1952 года.

кабристы не видели в поэзии Жуковского ни настоящей самобытности, ни подлинной народности. Александр Бестужев в письме к Полевым от 23 апреля 1831 года писал о «немецком космополитизме», в котором был повинен Жуковский: «... я был горячим ненавистником немецкого космополитизма, убивающего всякое благородное чувство отечественности, народности».¹

Декабристы в понятие «романтизм» включали прежде всего национальное своеобразие поэзии. По мнению Сомова, были «романтичны» греки во времена древней Греции. «Обнаженная природа», то есть естественная, произвольно выраженная жизнь нации была очень характерна для древней трагедии. Идеалом является античность в «самой себе». Гомеровские, эсхиловские греки для Сомова настоящие романтические герои, в то время как греки расиновские, вольтеровские, ставшие нормой для чужих народов, это классика. Романтическая концепция, оценивавшая литературу с точки зрения выражения в ней духа нации, исключала возможность подражания. По мнению декабристов, романтизм на Западе — явление глубоко оригинальное, подражать которому нельзя. Там своя оригинальность, у нас своя. Рылеев, Кюхельбекер, Бестужев, Сомов («литературная республика») считали, что Россия в своем прошлом и настоящем имеет «богатые пособия» для создания высокого романтического искусства, ибо ни одна страна в свете не была столь богата разнообразными поверьями, преданиями и мифологиями, как Россия. Сомов усиленно пропагандирует необходимость обращения к народной поэзии, к нравам и обычаям народа. «Словесность народная, — по его словам, — есть говорящая картина его (народа. — В. Б.) нравов, обычаев и образа жизни. В каждом писателе, особенно в стихотворце, как бы невольно пробиваются черты народные».

Вопрос, таким образом, шел о важности использования отечественного материала, исторического и современного, о значении народной словесности и этнографии. В народных преданиях и песнях, утверждал Сомов, следует искать «свежесть мыслей», «живое и пламенное воображение», «твердость духа, презирающую все

¹ «Русский вестник», 1861, март, стр. 296.

опасности и самую смерть». «Поэты русские, — говорит Сомов, — не выходя за пределы своей родины, могут перелетать от суровых и мрачных преданий Севера к роскошным и блестящим вымыслам Востока». Столь же богата Россия «событиями старины», «воинскими и гражданскими добродетелями». «Древние наши города: Новгород, Киев, Чернигов, Владимир, Москва и т. п., содержат многие уцелевшие памятники веков прошедших». Дело писателя путешествовать по России, знать прошлое своей страны, гордиться доблестями предков, изучать летописи. Писатели должны охватить своим взором прошлую и настоящую жизнь народов, исторически связанных с Россией. «Сколько, — говорил Сомов, — различных народов слилось под одно название русокий или зависят от России, не отделяясь ни пространством земель чужих, ни морями далекими. Сколько разных обликов, нравов и обычаев представляются испытующему взору в одном объеме России совокупной». Орест Сомов перечислял те огромные возможности, которые имеют русские писатели для создания самобытной литературы, он призывал окинуть взором «края России, обитаемые пылкими поляками и литовцами, народами финского и скандинавского происхождения, обитателями средней Колхиды, потомками переселенцев, видевших Овидия, остатками некогда грозных России татар, многоразличными племенами Сибири и островов, кочующими поколениями монгольцев, буйными жителями Кавказа, северными лапландцами и самодами».

Пример подобного поэтического путешествия дал Пушкин в своих романтических поэмах. Романтическая поэма в России в противоположность поэмам Байрона, отличающимся предельной экзотикой, ориентировалась прежде всего на максимальное использование местного материала, местного колорита. Именно такой характер она впервые приобретает в творчестве Пушкина — автора «Кавказского пленника», «Бахчисарайского фонтана» и «Цыган». Не случайно за Державиным в трактате Сомова следовал Пушкин. «Прекрасные стихотворения Пушкина, — пишет Сомов, — то дышат суровым Севером и завиваются в седых его туманах, то раскаляются знойным солнцем полуденным и освещаются яркими лучами. Поэт обнял все пространство родного края и в своенрав-

ных играх своей музы показывает его нам то с той, то с другой стороны: является нам на хладных берегах балтийских — и вдруг потом раскидывает шатер под палящим небом Кавказа или резвится на цветущих долинах киевских».

Декабристское понимание романтической поэмы вполне своеобразно. Н. Остолопов в «Словаре древней и новой поэзии» (1821) выразил традиционное представление об этом жанре: «Поэма романтическая есть стихотворческое повествование о каком-либо происшествии рыцарском, составляющем смесь любви, храбрости, благочестия и основанном на действиях чудесных». Декабристский романтизм не имеет никакого отношения к культуре средневековья. Декабристские романтики всегда имели в виду актуальную современность.

Краски местные, «разные облики, нравы и обычаи» в новой романтической поэме, в поэмах Пушкина прежде всего, составляют общую описательную раму, а в центре сюжета — личность автора, чувства и мысли молодого поколения, субъективно-лирическое повествование. Пушкинская романтическая поэма отвечала основным принципам декабристского романтизма. Не случайно декабристы были первыми отзывчивыми читателями и вдумчивыми ценителями пушкинских «южных» поэм. Опыт Пушкина был подхвачен поэтами-декабристами, которые в своей стране ищут для себя поэтических тем и местных красок, отказываясь, в отличие от Байрона, от поисков поэтического материала вне пределов своей страны.

Декабристам и очень близкому к ним по своим взглядам Сомову был чужд узко археологический подход к проблеме «местного колорита». Фольклорно-этнографический и исторический материал поэты-декабристы использовали для выражения идеи гражданского патриотизма. Широкое привлечение памятников старины как исторического, так и фольклорно-этнографического содержания помогало воссозданию образа могучей России и ее героических традиций. Рылеев в «думах», Бестужев в исторических повестях и Сомов в своем теоретическом трактате восстанавливали образ великой родины, ее героическое прошлое. Это была одна общая борьба за национально-самобытную и вместе с тем гражданскую тему. В статье Сомова отмечена и эта вторая существенная

сторона декабристского романтизма — его *национальная героика*. Именно Сомов противопоставил поэзии элегической, где только и видим «унылые мечты, желание неизвестного, утомление жизнью», поэзию гражданского мужества, значительную по своему общественному содержанию. «Можем ли мы думать, — спрашивал Сомов, — чтобы тоскливые, немцеобразные рапсодии нынешних наших томительных тружеников во Аполлоне понравились и заронились в память русскому народу, живому и пылкому, одаренному чувствительностью естественною, не-притворною?» На этот вопрос Сомов дает замечательный ответ: «Вместе с сим намерение мое было показать, что народу русскому, славному воинскими и гражданскими добродетелями, грозному силой и великодушному в победах, населяющему царство обширнейшее в мире, богатое природою и воспоминаниями, — необходимо иметь свою народную поэзию, не подражательную и независимую от преданий чуждых. Герои русские утвердили славу отчизны на полях брани, мужи твердого духа ознаменовали ее летописи доблестями гражданскими; пусть же певцы русские станут на чреде великих певцов древности и времен позднейших не заимствованными, новыми красотами поэзии! Пусть в их песнях высоких отсвечиваются, как в чистом потоке, дух народа и свойства языка богатого и великолепного, способного в самых звуках передавать и грома победы, и борение стихии, и пылкие порывы страстей необузданных, и молчаливое томление любви безнадежной, и клики радости, и унылые отзвуки скорби». ¹

* * *

Очерки Сомова явились в конечном итоге манифестом передовых русских романтиков, но это не значит, что в них были решены все проблемы декабристской литературной теории. В частности, в трактате Ореста Со-

¹ По инициативе «Вольного общества любителей российской словесности» очерки «О романтической поэзии» Сомова в 1823 году вышли отдельной книжкой. Предварительно они печатались в «Соревнователе просвещения и благотворения». Цит. по «Соревнователю...», 1823, ч. 24, стр. 146—147.

мова не нашла достаточно полного отражения проблема гражданской миссии поэта. Сомов говорил главным образом о высокой патриотической поэзии, о поэзии неподражаемой, способной передавать «доблести гражданские». Для декабристов только этого было недостаточно. История в свете декабристской романтической концепции имеет подчиненное значение. Основное содержание декабристского романтизма — современная Россия.

Поэзия должна воспроизводить героическую действительность, прошлую и настоящую, она должна также способствовать идеальному преобразованию жизни. В декабристской эстетике мы видим культ поэзии политической, увлекающей на борьбу с самодержавием. Между героическим делом и высокой поэзией существуют самые тесные отношения. Жизнь далека от поэтических идеалов, и слиться с ней — дело труда и борьбы. Поэт и гражданин, борец и певец свободы должны быть неразрывно связаны, и только тот поэт, кто видит назначение поэзии в борьбе за лучшее будущее человечества, в борьбе с тиранией, невежеством и произволом. Отсюда формула Рылеева. «Я не поэт, а гражданин». В послании к А. А. Бестужеву Рылеев прекрасно выразил свой взгляд на миссию поэта.

Моя душа до гроба сохранит
Высоких дум кипящую отвагу;
Мой друг! недаром в юноше горит
Любовь к общественному благу!

Декабристская концепция высокого искусства противоположна идеалистической теории Карамзина и Жуковского. Н. М. Карамзин в предисловии ко второй книжке альманаха «Аониды» (1797) писал о назначении поэта: «Молодому питомцу муз лучше изображать в стихах первые впечатления любви, дружбы, нежных красот природы, нежели разрушение мира, всеобщий пожар природы и прочее в сем роде. Не надобно думать, что одни великие предметы могут воспламенять стихотворца и служить доказательством дарований его: напротив, истинный поэт находит в самых обыкновенных вещах поэтическую сторону». В декабристской эстетике вопрос шел о возвышении над «событиями ежедневными», о «великих предметах». Но эта теория «возвышенного предмета» не имеет ничего общего с идеалистическим учением прекрасного,

с эстетикой Карамзина и Жуковского. Карамзин тоже говорил о «высоких предметах», но понимал под ними «остроумную мысль, нежные чувства», способность «украшать выражением» природу и дружбу. Справедливо указывает академик В. В. Виноградов: «Эстетическая теория возвышенного предмета могла иметь очень разнородные, почти диаметрально противоположные общественно-идеологические корни и основы (напр[имер] революционные, либеральные и официально-реакционные). Поэтому и стили, формировавшиеся на основе этой теории, были разнородны. На всех них лежал очень осязательный отпечаток риторики, которая могла быть как революционной (у Рылеева, у В. Ф. Раевского и др.), так и охранительно-правительственной».¹

Декабристы «возвышенное» понимали по-своему. Декабристское понимание «возвышенного предмета» достаточно ясно сформулировано в законоположении Союза Благоденствия. «Зеленая книга» вменяла в обязанность убеждать, что «сила и прелесть стихотворений не состоит ни в созвучии слов, ни в высокопарности мыслей, ни в непонятности изложения, но в живости описаний, в приличии выражений, а более всего в непритворном изложении чувств высоких и к добру увлекающих» (§ 49, кн. 4). По «Отделу распространения познаний» предписывалось «изыскать средства, изящным искусствам дать надлежащее направление, состоящее не в изгнании чувств, но в укреплении, облагородствовании и возвышении нравственного существа нашего». Законоположение Союза Благоденствия учитывало необходимость монументальных форм поэзии, способных выражать высокие гражданские мысли и чувства. Основные мысли и даже выражения «Зеленой книги», этого программного декабристского документа, становятся боевыми литературными лозунгами.

В декабристской публицистике шла напряженная борьба за осуществление этих лозунгов. Член Союза Благоденствия Н. И. Кутузов в статье «Аполлон в семействе», появившейся в 1821 году в «Сыне отечества» и заключающий в себе отзыв о пушкинской поэме «Руслан

¹ В. В. Виноградов. *Стиль Пушкина*. Гослитиздат, М., 1941, стр. 44.

и Людмила», об общественном назначении поэзии говорит словами «Зеленой книги»: «Не одна звучность и плавность слога, не одна отработка картин отдельных составляют достоинство творения; не сему мы удивляемся: но возвышенности предмета, поражающего душу, но благородству чувств, питающих сердце, но приятности поведения, не истребляющего добродетель, но сострадания к бедствиям человечества, утешающему страждущих». ¹ Образцом высокого искусства Кутузов считает «Слово о полку Игореве», которое, по его словам, «дышит величием души, наполненной благородными чувствами, пораженной великими предметами», и поэзию Пушкина, с тем только замечанием, что в его поэме «Руслан и Людмила» обнаружены и «прелестные дарования» и «великие заблуждения». Обращение к Пушкину особенно замечательно: «Станем надеяться, будем просить Пушкина, дабы перестроил лиру свою для его славы и славы земли родной. Ибо все исчезает в мире: звук оружия замирает на полях славы, клики победные заглушаются полетом времени: одни произведения ума, переживая веки, передают потомству дела величия народов, возвышенность чувств и понятий наших». Декабристские писатели боролись за Пушкина, они желали видеть в нем гражданского поэта, а не ученика Жуковского, поэта-элегика. Если в 1821 году в «Сыне отечества» Н. И. Кутузов обращался к певцу «Руслана и Людмилы» с призывом «перестроить лиру свою», «передавать потомству дела величия народов» и «возвышенность чувств и понятий», то в 1825 году в том же «Сыне отечества» некто Ж. К. в «Письмах на Кавказ», отражая мнение декабристской литературной критики, прямо заявлял, что «Жуковский не первый поэт нашего века. Выше, гораздо выше его Пушкин...»

В декабристской эстетике, как это видно из законоположения Союза Благоденствия и ряда статей, написанных под влиянием этого программного документа, на первом плане стоял вопрос о миссии поэтов, о значении литературы в общественно-освободительной борьбе. Миссия поэтов — врачевать, исправлять, проповедовать, служить гражданскому делу и высоким помыслам. К такому

¹ «Сын отечества», 1821, ч. 67, стр. 208—210.

выводу пришел Кюхельбекер в статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнем десятилетии». Тоскующие мечтатели и беспечные эпикурейцы, по мнению Кюхельбекера, не достойны называться лирическими поэтами. Настоящий поэт-лирик становится мстителем за поруганные идеалы, публичным оратором, носителем высоких истин. Элегические стихотворцы говорят «о своих скорбях и наслаждениях», их поэзия ограничивается узким миром личных переживаний. Кюхельбекер отнюдь не против интимно-личной поэзии, но он считает, что «чистая лирика» не должна составлять главного направления в современной литературе, мотивы личных скорбей и радостей не должны заслонять более важного, общественно значительного. «Кто слишком восторженно радуется собственному счастью — смешон», а кто передает векам «подвиги героев и славу отечества» — возвышен. Кюхельбекер иронически отзывается о тех поэтах, которые пережевывают тоску и преждевременно становятся стариками: «Все мы взапуски тоскуем о своей погибшей молодости: до бесконечности жуем и пережевываем эту тоску и наперерыв щеголяем своим малодушием в периодических изданиях...» Почувствовав узость карамзинских жанров — элегий и дружеских посланий, — Кюхельбекер в 1824 году писал в «Мнемозине»: «Трудно не скучать, когда Иван и Сидор напевают нам о своих несчастьях; еще труднее не заснуть, перечитывая, как они иногда в трехстах трехстопных стихах друг другу рассказывают, что, слава богу, здоровы и страх как жалеют, что так давно не видались!» Между Кюхельбекером и Рылевым не было расхождений в понимании роли поэта; в современном обществе поэт должен быть пророком, учителем и борцом, не утешать и не убаюкивать, а будить, держать общественное мнение в напряжении, поэт должен быть воинствующим и страстным.

Понятно, что поэзия высокая, пропагандистско-проповедническая не могла быть слишком сладкозвучной и гладкой, текучей и плавной, она должна быть такой, где все «парит, гремит, блещет, поражает слух и душу читателя».

Несмотря на некоторые преувеличения, свойственные Кюхельбекеру, его критические статьи, в частности блестящий трактат «О направлении нашей поэзии, особенно

лирической, в последнее десятилетие», являются серьезным вкладом в декабристскую эстетику и литературную критику. В статьях Кюхельбекера содержится развернутое и глубокое обоснование основных особенностей декабристского романтизма, как романтизма вполне самостоятельного, основанного на единстве народности и гражданственности. Кюхельбекер резко критикует поэтическую систему карамзинистов, переоценивает достижения Жуковского и вполне отчетливо формулирует новые эстетические принципы. «Будем благодарны Жуковскому, — писал Кюхельбекер в статье «О направлении нашей поэзии», — что он освободил нас из-под ига французской словесности и от управления нами по законам Лагарпова Лицея и Баттеева курса: но не позволим ни ему, ни кому другому, если бы он владел и вдесятеро большим перед ним дарованием, наложить на нас оковы немецкого или английского владычества! — Всего лучше иметь поэзию народную». «Свобода, изобретение и новизна», по словам Кюхельбекера, составляют главные преимущества романтической поэзии... Кюхельбекер высказывает твердую уверенность, что писатели «сбросят с себя цепи немецкие и захотят быть русскими». Для этого необходимо покончить с «меланхолией и малодушием», с перепадами одних и тех же элегических настроений, и обратиться к источникам самобытной литературы. «Да создастся для славы России поэзия истинно русская; да будет святая Русь не только в гражданском, но и в нравственном мире первою державою во вселенной! Вера праотцев, нравы отечественные, летописи, песни и сказания народные — лучшие, чистейшие, вернейшие источники для нашей словесности». Это знаменитое высказывание Кюхельбекера нужно правильно понимать. «Быть самобытными» — значит рассматривать поэзию как служение обществу, как подвиг. Кюхельбекер идет дальше Сомова. Он дает обоснование необходимости иметь поэзию не только самобытную, но и гражданскую, поэзию высокого стиля и высоких идеалов, в которой не должно быть места изнеженности, притворным чувствам, меланхолическим переживаниям.

Дискуссию о романтической и классической поэзии фактически закончил Рылеев, напечатав в 1825 году в «Сыне отечества» статью «Несколько мыслей о поэ-

зии». Рылеев тут-то и заявил, что формам поэзии у нас придают «слишком много важности», тогда как «на самом деле нет ни классической, ни романтической поэзии, а была, есть и будет истинная самобытная поэзия». И Рылеев против «слепого подражания». Он говорит о формах и духе древней поэзии: «Формы древней драмы, точно как формы древних республик, нам не впору...» Подражать античности, как это делают представители французского классицизма, просто бесцельно, так как «подражатели никогда не могли сравниться с образцами». По Рылееву, каждый народ должен стремиться создавать поэзию самобытную. Национально-историческое своеобразие искусства зависит от духа времени, степени просвещения и местности той страны, где это искусство появляется и развивается. Законы искусства зависят от общественного развития, поэзия — не исключение. Рылеев ставит поэзию и политику рядом. «Многолюдность и неизмеримость государств новых, степень просвещения народов, дух времени, словом, — утверждает Рылеев, — все физические и нравственные обстоятельства нового мира определяют и в политике и в поэзии поприще более обширное». Прямую связь законов искусства с законами общественного развития Рылеев показывает на примере античной драматургии. Закон трех единств — не выдумка Аристотеля, он обусловлен социальным строем древних республик. В Афинах и в Спарте, по словам Рылеева, было «чистое народоправление», в котором «все граждане без изъятия могли участвовать». Именно этим историческим своеобразием древнего мира объясняется классический закон трех единств: «Все почти деяния происходили тогда в одном городе или в одном месте; это самое определяло и быстроту и единство действия».¹ В новых общественных условиях, когда нет и не может быть «чистого народоправления», подобный закон не является естественным, он стесняет «свободу гения» и противоречит законам действительности, — новая поэзия ищет «поприща более обширного». Рылеев приветствует поэтов «оригинальных», прокладывающих себе «новый путь», проповедующих «собственные идеалы». Затянувшийся спор о классической и романтической поэзии —

¹ «Сын отечества», 1825, ч. 104, стр. 151.

спор схоластический. Важно, чтобы были поэты самобытные, не носящие на себе «вериги чужих мнений» и идущие в авангарде передового общественного движения. Призывая оставить бесполезный спор о классицизме и романтизме, Рылеев определяет задачи новой поэзии в следующих словах: «Будем стараться уничтожить в себе дух рабского подражания и, обратясь к источнику истинной поэзии, употребим все усилия осуществить в своих писаниях идеалы высоких чувств, мыслей и вечных истин, всегда близких человеку и всегда не довольно ему известных».

В борьбе за самобытную гражданскую литературу самое непосредственное участие принимала декабристская публицистика и критика. Вопрос шел о создании национальной литературы, основанной на исторических традициях русского народа.

ЕЩЕ О ПОЛИТИЧЕСКОМ КРАСНОРЕЧИИ И ДЕКАБРИСТСКИХ ВОЗЗВАНИЯХ

*
*

В одном из очерков нашей работы мы говорили о политическом красноречии кишиневских декабристов и Пушкина. Проблема красноречия становится одной из важнейших проблем декабристской эстетики, декабристской литературы в целом. «Невский зритель», в котором сотрудничали поэты-декабристы, а Рылеев собирался стать «сотоварищем» Сниткина по изданию этого журнала, еще в 1820 году на первом месте поместил статью «Об ораторах и политическом красноречии вообще, и особенно новейшем во Франции». В этой статье миссия политического оратора приравнивалась к миссии поэта-гражданина и борца. Судьба оратора трагична, но судьба гражданских поэтов — тоже трагична. И все же поприще красноречия, политического и поэтического, почетно и завидно, оно возвышенно и благородно. «Поприще красноречия, — говорилось в «Невском зрителе», — исполнено опасностей; герои его, как герои брани, победу свою частично запечатлевают собственной кровью. Антифон был умерщвлен тридцатью тиранами в Афинах; и Сократ был допущен умереть голодной смертью; Эсхил предан суду; Демосфен, чтоб избежать наказания, принужден был отравить себя ядом; Гиперид умер на пытке; Тиберий и Кай Гракх были на площади разорваны лошадьми; Катон растерзал себе внутренности; голова и руки Цицерона пригвсждены к месту заседания оратора». Красноречивым оратором был Мирабо: «Мирабо возвысился до высоты Демосфена: он давал законы Собранию, двору и

целой Франции; речи его всегда красноречивы, иногда превосходны». ¹

Большое значение проблеме красноречия придавали в «Вольном обществе любителей российской словесности». Достаточно хотя бы напомнить страстную речь Н. И. Гнедича, направленную против реакционной речи В. Н. Каразина. На заседаниях «ученой республики» читались и обсуждались специальные трактаты о красноречии античных ораторов. А. М. Замятин в 1825 году читал «соревнователям» статью «Особенное достоинство речей, говоренных греками и римлянами» (из Блекволя). В качестве примера истинного красноречия в статье Замятина приводилась речь Перикла в честь храбрых воинов, павших на поле битвы. Перикл «превозносил умерших, чтобы тем побудить оставшихся в живых последовать их примеру, и сильными убеждениями потрясал души своих слушателей». После Перикловых речей, говорится в статье Замятина, «каждый сын отечества и добрый гражданин считал за счастье жертвовать жизнью для сохранения прав сих, если уже не для себя, то для позднейшего потомства своего». Речи «великих мужей в Греции и в Риме» «весьма высоки и изящны», они «могут возбуждать мысли высокие» и «заслуживают тщательного изучения и подражания». ² В «Соревнователе просвещения и благотворения», вслед за статьей А. М. Замятина, была помещена статья Е. Б. Фукса «О военном красноречии». И в этой статье, независимо от субъективных намерений ее автора, красноречие определено как «искусство вдыхать в сердце чувство соревнования и храбрости, возбуждать к чести и славе». В Греции и в Риме, где «борьба республиканского духа с монархическим» создала «мужей необыкновенных» и открыла обширное поле военному и гражданскому красноречию, «ораторы воспламеняли любовь к отечеству, очаровывали своим вдохновением» и «сотворяли героев». В статье Фукса излагались правила красноречия: если оратор обращается к солдатам, то «надобно говорить языком внятным, солдатским», речь в таком случае должна быть «кратка

¹ «Невский зритель», 1820, ч. 3, стр. 215—216, 241.

² «Соревнователь просвещения и благотворения», 1825, ч. 29, стр. 118—119.

и быстра», необходимо, чтобы оратор «имел любовь и доверенность к себе войск», тогда он сможет «воспламенить умы», и воины пойдут за своими начальниками. В условиях подготовки к декабрьским событиям эти правила пропагандировали не просто классическое красноречие, в декабристской среде они воспринимались шире. Независимо от того, как понимал эти правила историк Фуке, Рылеев и Александр Бестужев, подписывавшие статью к печати, думали о вполне определенной цели: декабристы учились красноречию, чтобы в случае восстания вести за собой солдат.

Известно, какое огромное значение в формировании декабристской идеологии имело изучение античной истории и какое сильное впечатление на декабристов производили речи древних полководцев и ораторов: Демосфена, Перикла, Цезаря, Цицерона и Катона. Якушкин рассказывает в своих «Записках»: «В то время мы страстно любили древних: Плутарх, Тит Ливий, Цицерон, Тацит и другие были у каждого из нас почти настольными книгами». Якушкин изучал древних историков и ораторов для того, чтобы и самому стать оратором, овладеть искусством убеждать словом. Однажды увидев, что полковник П. Х. Граббе, человек «отличный во всех отношениях», собираясь по необходимости на прием к гр. Аракчееву, одевает на себя гусарскую куртку с меховой опушкой, Якушкин берет со стола книгу и начинает ему читать письма Брута к Цицерону, в которых римский республиканец «упрекает последнего в малодушии». «При этом чтении Граббе, — рассказывает Якушкин, — видимо воспламенился и сказал своему человеку, что он не поедет со двора, и мы с ним обедали вместе; потом он уже никогда не бывал у Аракчеева, несмотря на то, что до него доходили слухи через приближенных Аракчеева, что граф на него сердится и повторил несколько раз. Граббе этот, видно, возгордился, что ко мне не едет. Вскоре после этого Фонвизин принял Граббе в члены тайного общества».

Гражданин в сознании декабристов — это публицист-трибун, красноречивый оратор, горячо доказывающий прелесть свободы и нетерпимость рабства. Проблема красноречия разрешалась практически и теоретически: освещались классические традиции ораторского искус-

ства, изучались правила красноречия, «речи великих людей в Греции и в Риме», но все это делалось с целью собственного воспитания, в целях декабристской пропаганды. Не случайно Александр Бестужев 3 февраля 1823 года записал в свою «Памятную книжку»: «Учил наизусть из Шекспира речь Брута». Через год он и сам уподобился Бруту. 18 февраля 1824 года Александр Бестужев выступал на заседании «ученой республики» с чтением небольшого отрывка «Оратор» (из Смоллета). Ораторское красноречие расценивалось Бестужевым как надежное и веками проверенное средство агитации. Без красноречия нельзя было увлечь сограждан на борьбу, нельзя было достичь успеха в общественном мнении. Речи древних ораторов убеждали, что этим средством пропаганды нельзя пренебрегать. «Представьте себе, — говорил Бестужев, — Демосфена, говорящего знаменитейшему в целом мире собранию о деле, от которого зависит судьба знаменитейшего из народов!.. Молния красноречия сплавляет всех в одно целое. Все собрание, двинутое одним и тем же чувством, становится одним лицом, одним голосом: общие восклицания раздаются: пойдем против Филиппа: сразимся за свободу, победим или умрем!»¹ Этот лозунг — «сразимся за свободу, победим или умрем» — прозвучит с новой силой накануне 14-го декабря 1825 года в квартире Рылеева.

* * *

Декабристы не ограничиваются политическим красноречием в узком кругу; они пытаются создать воззвания, обращенные к солдатам. Эти воззвания понимаются как *разговор* декабриста-офицера с солдатом, они строятся на вопросах и ответах, на ритме политических речей. Декабристы желали, чтобы их речи-воззвания были понятны простому народу. В своих воззваниях они чуждались салонной изысканности речи, условных намеков, доступных только для избранных, они боялись высокопарности, схоластической отвлеченности и гиперболизма, так характерного для речей шишковистов. Хотя дека-

¹ «Соревнователь просвещения и благотворения», 1824, ч. 25, стр. 302—303.

бристы в деле пропаганды и не достигли желаемой простоты и ясности, но они всячески стремились к этому. В поисках речи высокой, патетической, исходящей из общепризнанных представлений и символов, декабристы обращались к библии и священному писанию — они искали подобия речи с амвона. Библейской символикой были проникнуты речи вождей буржуазной революции XVII века. «Кромвель и английский народ, — указывал К. Маркс, — воспользовались для своей буржуазной революции языком, страстями и иллюзиями, заимствованными из Ветхого завета».¹ Декабристы были глубоко чужды пуританскому пафосу и пуританской приверженности к священному писанию, они обращались к этому источнику ради стилистических целей; кроме того, церковная книга была тогда едва ли не единственной книгой, известной и доступной народу, и вот декабристы стремились придать своим ораторским речам торжественность и принудительность религиозных предписаний. Даже в прокламации, обнаруженной в Петербурге после восстания в Семеновском полку, написанной неизвестным «Единоземцем» и обращенной к войскам, содержалась ссылка на повеление господ бога: «Но я советую, призвав бога в помощь, учинить следующее...» Далее в прокламации говорилось о необходимости «арестовать всех начальников, дабы тем прекратить вредную их власть», и «выбрать по регулу надлежащий комплект начальников из своего брата — солдата».

Доводами священного писания пробовал воспользоваться Никита Муравьев. Его катехизис, известный под названием «Любопытный разговор», также защищал естественное право человека на свободу, ибо бог «даровал человеку свободу». «*Вопрос.* А если кто будет притеснять? *Ответ.* Это будет тебе насилие, противу коего ты имеешь право сопротивляться». В свой катехизис Н. Муравьев включил рассуждение о преимуществах конституционного строя над самовластной формой правления, а также напоминание о существовании в древней Руси «управления без самодержавия», о вечевом строе и пр. Катехизис Никиты Муравьева был написан после ликвидации Союза Благоденствия, в годы начального форми-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. VIII, стр. 393.

рования Северного общества (1822), и представлял собой первый вариант будущего конституционного проекта.

Как бы предчувствуя, что найдутся «люди злонамеренные», которые извлекут из библии «тексты противу монархической власти», Каразин в 1820 году предложил графу Кочубею свой политический катехизис, состоящий из «приличных текстов». «Осмелюсь спросить, — писал Каразин, — какие бы следствия, кроме самых лучших, имело распространение в российском народе следующего или подобного ему политического катехизиса, взятого из природы и из религии:

«§ 1. На свете невозможно быть всем равным. И бог нас таковыми не производит. Одним словом, он одним дает больше силы, другим больше здоровья или ума... Да и вообще ничего нет совершенно равного в мире между вещами одинакового рода. Звезда звезды, лист листа больше и меньше.

«§ 2. Следовательно, между людьми на земле непременно надобно, чтобы были старшие и младшие, богатые и бедные, начальники и подчиненные. Этого нельзя избежать. Если б, например, каким-нибудь чудом случилось, чтобы всех уравнили, то на другой день уже опять стало бы возвращаться неравенство», и т. д.¹

Само собой разумеется, что «катехизис» Каразина прямо противоположен декабристским «катехизисам». Если не знать, что Каразин писал свои записки в 1820 году, то можно подумать, что он полемизировал с С. Муравьевым-Апостолом и Никитой Муравьевым.

Увлечение библейской символикой, стремление превратить библейского бога в участника земных политических замыслов в конечном итоге свидетельствуют не о силе, а о слабости декабристской пропаганды. Если они надеялись найти таким образом общий язык с народом, то это был мнимый общий язык, обращение не к народному разуму, но к народным предрассудкам. Иногда здесь было нечто большее, чем простая фразеология: это были собственные религиозные предрассудки самих декабристов. В уставе Союза Благоденствия прямо говорилось, что «человек не иначе как с помощью веры может

¹ В. Н. Каразин. Собрание бумаг и писем. Харьков, 1910, стр. 148—150.

преодолеть свои страсти, противостоять неприязненным обстоятельствам и, таким образом, шествовать по пути добродетелей». Бывали случаи, когда все эти «библейзмы» получали свое поэтическое определение — когда в библейские образы и символы вкладывалось глубоко современное содержание, преодолевавшее их, уничтожавшее в них религиозный смысл, сохранявшее только лишь их эмоциональную силу и внушительность. Так образ поэта-пророка, которого гонит «черная судьба», противостоял в лирике Кюхельбекера и Грибоедова образу поэта-эпикурейца, закреплённому поэтической практикой карамзинистов. В псалмодическом стихотворении Кюхельбекера «Пророчество» о «пророке свободы» говорилось в тонах, весьма сходных с воззванием Бестужева-Рюмина:

Восстань, восстань, пророк свободы,
Воспрянь, взвести, что я вешал!

В известной степени эта проникнутость светским содержанием, обличительным и бунтарским, свойственна также и громозвучной, витийственной «священной поэзии» Федора Глинки.

В. Н. Григорьев в своих воспоминаниях рассказывает, что Федор Глинка часто и с большим одушевлением читал свои «духовные» стихотворения. «Два стиха, произнесенные им с такой торжественностью, из одного длинного стихотворения библейского содержания до сего времени остались в моей памяти:

Господь на небе почивал,
А на земле грехи кипели».¹

Григорьеву запомнились строки из стихотворения «Горе и благодать», которое читалось в «ученой республике» и было напечатано в «Полярной звезде на 1824 год». По началу этого элегического псалма можно судить об ораторском, проповедническом пафосе «священной поэзии» Федора Глинки:

Господь как будто почивал,
А на земле грехи кипели,
Оковы и мечи звенели,
И сильный слабого терзал.

¹ «Современник», 1925, январь, стр. 131. См. статью Н. К. Писанова.

Не стало дел, ни прав священных,
Молчал обиженный закон:
И востекал от притесненных
Глухой протяжный тяжкий стон.

Это был образец той особой одической поэзии, по поводу которой Кюхельбекер писал: «Сверх того в оде поэт бескорыстен: он не ничтожным событиям собственной жизни радуется, не об них сетует; он вещает правду и суд промысла, торжествует о величии родимого края, мещет перуны в супостата, блажит праведников, клянет изверга».¹

О том, что для декабристов связь с массами подчас представлялась, как связь со «словом Божиим», что до народа они надеялись дойти, опираясь на священные тексты, об этом свидетельствуют многие подробности их пропаганды.

Рылеев в Петербурге, в ночь на 14 декабря 1825 года, а Сергей Муравьев-Апостол на юге, в Василькове, в ночь с 30 на 31 декабря, думали об одном и том же: они размышляли о способах и приемах агитации среди солдат. Рылеев хотел «сроднить солдата с поселянином в первом действии их взаимной свободы»; Муравьев-Апостол, готовясь к восстанию, дописывал свой «Православный катехизис», предназначенный для солдат Черниговского полка. С. Муравьев-Апостол уверял, что бог создал человека свободными счастливым, а земным деспотам пришла «подлая мысль» господствовать, чем и были нарушены человеческие права, дарованные самим богом:

«*Вопрос.* Для чего же русский народ и русское воинство несчастно?»

«*Ответ.* Оттого, что цари похитили у них свободу.»

«*Вопрос.* Стало быть, цари поступают вопреки воле Божией?»

«*Ответ.* Да, конечно. Бог наш рек: «Воля в вас да будет вам слуга». А цари тиранят только народ.»

Республиканец Сергей Муравьев-Апостол советовал «взять оружие и, низложив неправду и несчастье тиранства, восстановить правление, сходное с законом Божиим», он убеждал членов тайного общества «действовать на русских солдат религией» и, ссылаясь на биб-

¹ «Мнемозина», 1824, ч. 2, стр. 31.

лию, «внушить им ненависть к правительству», дабы русский солдат, опираясь на «повеление божие», не колебался «поднять оружие против своего государя».¹

«Православный катехизис» в ночь на 31 декабря 1825 года переписывался писарями Черниговского полка под диктовку С. И. Муравьева-Апостола и М. П. Бестужева-Рюмина, а потом, днем 31 декабря, этот катехизис торжественно читался на городской площади. Одновременно с «Православным катехизисом» Сергея Муравьева-Апостола было написано Михаилом Бестужевым-Рюминым воззвание к войскам, которое не получило распространения. И это воззвание начиналось ссылкой на бога: «Бог умилосердился над Россией — послал смерть тирану нашему».

Если Сергей Муравьев-Апостол на юге, в Василькове, ссылками на Библию хотел найти доступ к солдатскому уму и сердцу, то в Петербурге Рылеев мечтал выйти на Сенатскую площадь в русском кафтане. Декабрист-поэт, готовившийся выйти на Сенатскую площадь в русском кафтане и постоянно одевавший своих героев в костюмы предков, и декабрист-публицист, обращающийся к священному писанию как к одному из источников политической пропаганды, опирающийся на ораторское искусство ветхозаветных пророков, — явления почти тождественные, в одинаковой мере романтические.

* * *

Нужно только представить себе декабристские диспуты, речи на заседаниях тайного общества, политические сходки в квартире Рыльева накануне 14 декабря 1825 года. Пушкин в X главе «Евгения Онегина» очень метко подметил склонность декабристов к «витийству», к ораторскому искусству:

Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У вдохновенного Никиты,
У осторожного Ильи.

¹ «Восстание декабристов», т. 4, стр. 254—255. См. также П. Е. Щеголев. «Декабристы», ГИЗ, М.—Л., 1926, стр. 241—256.

Сам Пушкин прекрасно владел политическим красноречием, он произносил смелые речи за столом у Инзова, постоянно спорил в квартире Орлова, среди кишиневских декабристов диспуты и красноречие пользовались большим успехом. Петербургские декабристы донесли ораторский пафос до Сенатской площади, они окончательно сблизили политическое красноречие с практическими задачами подготовляемого декабрьского восстания.

На квартире Рылеева ораторское искусство теряло свой академический характер, слово становилось действием или предвосхищением действия. В речах, полных высокого энтузиазма, проходили бессонные ночи накануне 14 декабря. Рылеев, Александр и Николай Бестужевы втроем решили написать «прокламации к войску и тайно разбросать их по казармам, но после, признав это неудобным, изорвали несколько написанных уже листов и решились все трое идти ночью по городу, останавливать каждого солдата, останавливаться у каждого часового и передавать им словесно, что их обманули, не показав завещания покойного царя, в котором дана свобода крестьянам и убавлена до 15 лет солдатская служба». Н. Бестужев рассказывает в воспоминаниях о Рылееве, что устной пропагандой они желали «готовить дух войска для всякого случая, могшего представиться впоследствии». «Нельзя представить жадности, — продолжает Н. Бестужев, — с какой слушали нас солдаты, нельзя изъяснить быстроты, с какой разнеслись наши слова по войскам».

Накануне 14 декабря Рылеев и братья Бестужевы решили идти договариваться с солдатами об их совместной борьбе. Это был самый решительный и правильный шаг, но сделанный слишком поздно. Трудно было в одну ночь наверстать все упущенное, разрушить стену, отделявшую от народа дворянских революционеров. Собираясь на Сенатскую площадь, Рылеев говорил своим друзьям: «Итак, с богом! Судьба наша решена! К сомнениям нашим теперь, конечно, прибавятся все препятствия. Но мы начнем. Я уверен, что погибнем, но пример останется. Принесем собою жертву для будущей свободы отечества». Так звучала одна из последних речей Кондратия Рылеева, отрывок из которой запомнил и сохранил для потомства Николай Бестужев. Рылеев всегда воодушевлял словом

своих друзей и соратников. Среди петербургских декабристов он был первым трибуном. «Рылеев, — пишет Николай Бестужев, — был красноречив и овладевал другими не тонкостью риторики или силою силлогизма, но жаром простого и иногда несвязного разговора, который в отрывистых выражениях изображал всю силу мысли, всегда прекрасной, всегда правдивой, всегда увлекательной». Рылеев объединял в себе поэтическое дарование с дарованием пламенного оратора, и сама рылеевская поэзия есть особый род ораторства, обращенного к широкой аудитории, эмоционального и побуждающего к политическому действию. Высшего подъема поэтическое красноречие декабристов достигло в рылеевской оде «Гражданин», в этом написанном стихами воззвании. Ораторская речь в прямом ее смысле питала и поэзию декабристов и их художественную прозу, — что позднейшему поколению в прозе Марлинского казалось праздной риторикой, то на деле было отблеском практического пафоса речей и слов декабристов, выливавшихся в их революционную деятельность или предварявших ее.

Сохранился текст речи Михаила Бестужева-Рюмина, произнесенной 12 или 13 сентября 1825 года на собрании членов «Общества соединенных славян» в местечке Лещине.¹ Речь Бестужева-Рюмина — речь страстная, взволнованная, сильная, простая и ясная, понятная каждому солдату. «Век славы военной кончился с Наполеоном», — так начинает свою речь декабристский оратор. Далее мы видим типичную декабристскую политическую инвективу: «Взгляните на народ, как он угнетен». После очень вдумчивой, хотя и краткой, характеристики аракчеевской России, где «торговля упала», «промышленности почти нет», «войско все ропщет», бедному крестьянину «нечем платить не только подати, но даже недоимки», Бестужев-Рюмин сильными выражениями призывает к борьбе с самодержавием. «Великое дело свершится, и нас провозгласят героями века!» Стиль и пафос этой речи рылеевский, как в «думах» и в одах Рылеева. Речь Михаила Бестужева-Рюмина произвела огромное впечатление. Слушатели в местечке Лещине, члены «Общества

¹ Текст этой речи был восстановлен самим Бестужевым-Рюминым по памяти в апрельских показаниях Следственному комитету.

соединенных славян», дали клятву умереть за свободу, возглашая при этом: «Да здравствует конституция! Да здравствует республика! Да здравствует народ! Да погибнет различие сословий! Да погибнет дворянство вместе с царским саном!»

14 декабря 1825 года Александр Бестужев речью воодушевлял солдат гвардейского Московского полка на восстание. В показаниях Следственному комитету он признавался: «Я говорил сильно, меня слушали жадно».

Так ораторское слово декабристов до конца было действенным словом, оно звучало в самый решительный для движения день в том городе, где совершилось восстание, и перед теми, кто был призван совершить его.

Часть вторая



Т В О Р Ч Е С Т В О
АЛЕКСАНДРА
БЕСТУЖЕВА
/МАРЛИНСКОГО/



БЕСТУЖЕВ-КРИТИК

* * *

Одним из самых замечательных завоеваний декабризма в литературе следует считать критическую деятельность Александра Бестужева. Без критических статей и рецензий Бестужева трудно представить себе литературную жизнь первой четверти XIX века. Непременный участник журнальных споров, острый и принципиальный критик и полемист, живо отзывавшийся на все значительные литературные события эпохи и столь же горячо отстаивавший интересы передовой русской литературы как общественного дела, — таков Бестужев, основоположник декабристской критики, предшественник Белинского.

Союз Благоденствия был непосредственно озабочен вопросами литературной критики; 51 параграф законоположения Союза гласит: «Объяснять потребность отечественной словесности, защищать хорошие произведения и показывать недостатки худых...» Под «хорошими произведениями» устав Союза Благоденствия подразумевал те произведения, в которых «чувства высокие и к добру увлекающие» выражены «в непритворном изложении». ¹ Бестужев и был тем публицистом и критиком, который боролся за литературное прошлое и современную литературу с декабристских позиций и отстаивал в своих статьях основные принципы декабристской эстетики. В его лице на редкость удачно сочетались теоретик лите-

¹ Об этом пишет Н. Л. Степанов в статье «Критика и журналистика декабристского движения» — см. «Очерки по истории русской журналистики и критики», изд. ЛГУ им. А. А. Жданова, 1950, т. I, стр. 197.

ратуры, историк литературы, критик и журналист. Для Бестужева не было двух самостоятельных, независимых друг от друга областей — истории литературы и критики; в своих статьях и рецензиях о прошлом русской литературы Бестужев писал в свете современных задач литературного движения; с другой стороны, он современную литературу, литературу десятых-двадцатых годов XIX века, рассматривал под историческим углом зрения, считая ее тоже историей, живой и творящейся. Поэтому Бестужев мог правильно определить главные черты литературного процесса в России, показать историческую преемственность между передовой литературой прошлого и современной декабристской литературой. Статьи Бестужева имели большое влияние на развитие русской литературы двадцатых годов, и они не были забыты после 1825 года.

Белинскому пришлось по душе полемическая направленность литературных обозрений декабриста-критика. Ему было ясно, что Бестужев боролся в своих статьях за передовые идеи и смело выступал против устаревших норм и правил, против «тогдашних литературных староверов». «Полемические статейки Марлинского, — говорит Белинский, — были его журнальными схватками с тогдашними литературными староверами и отличаются верностью взгляда на предметы, остроумием и живостью». О литературно-критических обозрениях Бестужева Белинский отзывался вполне доброжелательно: «От этих обозрений сыры-боры разгорались, поднимались страшные чернильные войны; обозрения давали жизнь литературе, — в них принимала жаркое участие даже и публика, не только сами литераторы». Конечно, Белинский здесь имел в виду прежде всего знаменитые бестужевские литературные обозрения, печатавшиеся в течение трех лет в «Полярной звезде».

Нужно сказать, что творчество Александра Бестужева в отличие от других декабристских писателей было незаслуженно забыто советскими литературоведами. В частности, Бестужев-критик до сих пор не нашел должной оценки, о его литературно-критических статьях писали мало и не всегда правильно. Совсем недавно К. Пигарев, автор содержательной книги о Рылееве, почему-то предпочел повторить избитую характеристику Бестужева,

сводящую многостороннее содержание бестужевских статей к афоризмам и парадоксам. Касаясь известных бестужевских обзоров в «Полярной звезде», К. Пигарев пишет: «Игривый, тревожный и неглубокий ум Бестужева менее всего был склонен к критическому анализу. Падкий на эффекты, Бестужев в своих статьях проявляет чрезмерное влечение к стилистическим выкрутасам. Местами его обзоры представляются сплошными нагромождениями сравнений, метафор и афоризмов, почти всегда вычурных». Далее К. Пигарев без всяких оснований утверждает, что мысли Бестужева о литературе и общих законах литературного процесса «на поверку трезвого ума оказываются шаткими и неосновательными».¹

Критические выступления Бестужева нашли достойную оценку в исследовании В. А. Архипова «А. А. Бестужев-критик и литературная борьба 20-х годов начала XIX века». Оспаривая распространенное мнение, будто Бестужев начал критическую деятельность на путях карамзинизма, В. А. Архипов доказывает, что уже первые рецензии будущего декабристского критика были воинственны, публицистичны и предвосхищали некоторые важные положения декабристской литературной теории.

Таким наступательным характером отличались рецензии Бестужева на катенинский перевод «Эсфири» Расина и на комедию Шаховского «Липецкие воды», появившиеся в 1819 году на страницах «Сына отечества» (№ 3, стр. 107—124 и № 6, стр. 252—257). Карамзинисты резко осуждали комедию Шаховского «Липецкие воды», в которой в образе «балладника Фиалкина» был высмеян Жуковский. Бестужев тоже осуждал комедию Шаховского. Н. И. Мордовченко писал по поводу бестужевской рецензии: «Это было продолжение арзамасской борьбы с направлением «Беседы любителей русского слова» и Шаховским как представителем этого направления».² В. А. Архипов доказал, что автор рецензии о «Липецких водах» нанес «удар по политической концепции пьес Шаховского, утверждавшего, будто победа в войне 1812 года была победой «вельмож», составляющих соль русской

¹ К. Пигарев. Жизнь Рыльева. М., 1947, стр. 174.

² См. А. А. Бестужев-Марлинский. Собрание стихотворений. Библиотека поэта. Большая серия, 1948. Вступ. статья, стр. VIII.

нации. Вполне понятно, что карамзинисты держались того же мнения и оспаривать эту идею Шаховского не собирались. Только Бестужев выступил против фальшивой дворянской концепции войны 1812 года. Его удар пришелся и по карамзинистам: сравнение пьесы Шаховского «Липецкие воды» по содержанию с литературной продукцией карамзинистов показывает их полное родство». ¹ Бестужев не нашел в комедии Шаховского ни «разительных характеров», ни «единства в изображении главных лиц», ни «достижения нравственной цели».

В своих ранних статьях и рецензиях Бестужев не отрицает заслуг Жуковского и Карамзина перед русской литературой, он даже защищает Жуковского от нападок Катенина и Сомова, с похвалой отзывается об «Истории государства Российского» Карамзина. Но это еще не значит, что Бестужев до 1823 года был законченным последователем Карамзина. Литературно-эстетические взгляды молодого Бестужева, как и всех других писателей-декабристов, складывались под сильнейшим влиянием современных событий, в первую очередь освободительной Отечественной войны 1812 года. Карамзинисты не извлекли должных уроков из героической борьбы русского народа за свою независимость. И после Отечественной войны 1812 года и заграничных походов Карамзин и его приверженцы отгораживали литературу от передового общественного движения; они не замечали народа и не ценили народной героики, чуждались народного языка. Все передовое литературное движение двадцатых годов находилось под сильнейшим впечатлением 1812 года, когда, по словам Федора Глинки, «внезапный гром войны пробудил дух великого народа». Декабристы-литераторы не сумели подняться до пушкинского понимания народности, но они вместе с Пушкиным выступали против карамзинской подражательности, приветствовали самобытный характер искусства, всемерно поощряли истинный патриотизм и героику в литературе.

¹ В. А. Архипов. А. А. Бестужев-критик и литературная борьба 20-х годов XIX века (1818—1825). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Московский ордена Ленина Государственный университет им. М. В. Ломоносова. Филологический факультет. М., 1950, стр. 9

Александр Бестужев не оставался в стороне и в 1819 году в «Сыне отечества», в рецензии «Опыт происхождения зла» писал: «Как не пожалеть, что некоторые... по незнанию ли отечественного языка или из тщеславия быть известным в чужих краях пишут на языке французском! Это в первом случае не извинительно. А во втором — слишком для русского униженно: Державин не имел надобности писать по-китайски, но ода «Бог» переведена на китайский язык». ¹

Конечно, значение ранних бестужевских рецензий не следует преувеличивать, автором их был начинающий литератор, еще не связанный непосредственно с декабристским направлением в литературе. Но В. А. Архипов прав в своих основных выводах: и тогда, в 1818—1819 годах, Бестужев шел не по карамзинскому пути. Особенно следует отметить те статьи и рецензии Бестужева, в которых будущий декабристский критик настойчиво защищал национальную самобытность русского языка.

Состоя членом «Вольного общества любителей российской словесности» и исполняя должность библиографа «Соревнователя просвещения и благотворения», Бестужев в 1821 году напечатал в этом журнале статью о публичном чтении в Российской Академии. Восторженно отозвавшись о выступлении Гнедича, читавшем свой перевод «Илиады» («Гнедич, бесспорно, заслуживает признательности современников и дань похвалы от потомства за верную передачу в стихах своих красот Омера») и похвалив Карамзина за IX том «Истории государства российского» («С каким живым участием все слушали подвиги предков своих!»), рецензент «Вольного общества» очень сдержанно отозвался о Шишкове, выступавшем с речью «О древности и превосходстве русского языка перед другими в звукоподражательном и логическом отношениях». Предупредив, что для суждения о речи президента Российской Академии «нужна долговременная опытность и обширные знания наречий иностранных», Бестужев, подписавшийся неполным именем («Ал. Бес...жев»), все же сделал несколько существенных критических замечаний и даже возражений. ¹

¹ «Сын отечества», 1819, ч. 54, № 21, стр. 68.

В 1821 году Бестужев воспользовался речью А. С. Шишкова, чтобы продолжить спор о русском литературном языке.

Отказываясь видеть в старославянском наречии главный источник русского языка, Бестужев, в противоположность Шишкову, утверждает, что язык всегда был «верным истолкователем понятий и нравов народа» и дело писателей способствовать развитию языка, доводить его до «рубежа образованности». Отсюда и напоминание о том, что русский язык «гремел в песнях Боянов», «парил с Ломоносовым», «изумлял в Державине», расцветал «под пером Карамзина». ¹ Шишков ответил Бестужеву «Письмом к издателям», подписавшись «Ваш покорный слуга, один из ваших почитателей». «Таковы ошибочные суды,— писал автор «Письма», — не должныствовали бы иметь места в книгах, издаваемых от общества». В кратких словах Шишков воспроизвел свое мнение о русском языке и подчеркнул ту мысль, что чем общество становится образованнее, тем сильнее чувствуется порча «богатого, сильного, великолепного языка», языка предков, знавших единое старославянское наречие. Шишков считал, что «язык русский» и «язык писателей» — «два различных между собою предмета». ² Бестужев ответил на возражения «неизвестного» новой заметкой в «Соревнователе просвещения и благотворения». В ответном письме Бестужев, хорошо понимая, с кем имеет дело, зная, что под «вашим покорным слугою» скрывается А. С. Шишков, в осторожных выражениях указывал, что «по обязанности библиографа общества написал краткое известие, а не диссертацию и не критику (как думает г. возражатель) о заседании» и что «всякий имеет право смотреть на предметы то с той, то с другой стороны». Далее Бестужев повторил свои суждения с той стороны, с которой они казались ему справедливыми. Он еще раз подчеркнул, что проблему литературного языка нельзя решать изолированно от языка эпохи, что русский литературный язык ждет своего реформатора, и таким реформатором, подобно Ломоносову в XVIII столетии, будет великий русский пи-

¹ «Соревнователь просвещения и благотворения», 1821, ч. 13, стр. 307.

² Там же, ч. 14, стр. 92 и 98.

сатель, который усовершенствует язык самого народа. «Я думаю,— писал Бестужев,— что писатели суть творцы языка (без коего нельзя и сочинять), а язык доставляет бессмертие времени и народу... И так этот плод веков и народов может иногда рождаться в одно десятилетие от одного человека». ¹ Указывая на заслуги Карамзина, Бестужев не считал, что Карамзин создал такой язык, который принадлежит «времени и народу»,— «творец языка» еще не пришел, но он придет. Таким «творцом языка» и будет Пушкин. Бестужев в основном правильно решил проблему современного литературного языка. В отличие от карамзинистов, он поставил вопрос о необходимости «языка философского» и «номенклатуры ученой». Под «номенклатурой ученой» автор двух заметок в «Соревнователе просвещения и благотворения» подразумевал не «легкий» язык карамзинистов, а язык «ученых упражнений» и высокой поэзии. Не случайно в своих заметках он отсылает к Ломоносову, Державину, Лейбницу, Бюффону и Цицерону.

Через год после спора с Шишковым Бестужев в «Сыне отечества» напечатал свои замечания на книгу Н. И. Греча «Опыты краткой истории русской литературы». Н. И. Греч полагал, что «язык церковный был долгое время исключительно книжным». Бестужев возражает Гречу и ссылается на «Русскую Правду» и «Слово о полку Игореве». «Русская Правда издана Ярославом около 1019 года, но она,— замечает Бестужев,— писана не по-славянски. Песнь о полку Игореве принадлежит к XII веку, но весьма далека от языка церковного». ² «В Слове о полку Игореве,— продолжает Бестужев,— язык и слог совершенно отличны от церковного и скорее походят на язык и слог Новгородской летописи издаека, а ближе Русской Правды, судя по особому их словосочинению, особому выражению». Русский язык отделился от языка церковного значительно раньше, нежели думает Греч. Об этом и говорит Александр Бестужев в своей полемической статье «Почему?».

Спор о языке в двадцатых годах нельзя сводить к полемике между шишковистами и карамзинистами; были

¹ «Соревнователь просвещения и благотворения», ч. 14, стр. 217—218.

² «Сын отечества», 1822, ч. 77, № 18, стр. 153

еще декабристы, которые ратовали за развитие современного литературного языка на общенародной основе и имели свой взгляд на язык древней Руси.

Бестужеву пришлось выступать и против Катенина, оказавшегося союзником Греча. Спор с Катениным имел свою историю. Еще в 1819 году в «Сыне отечества» (№ 3) Бестужев напечатал разбор катенинского перевода трагедии Расина «Эсфирь». Бестужев осуждал Катенина за чрезмерное употребление архаизмов и злоупотребление старославянским наречием. Критик указывал, что Катенин в своем переводе весьма неосторожно перемешивал «самые неупотребительные, заржавелые славянщизмы... с простыми русскими словами». В 1820 году Бестужев насмешливо отозвался о стихотворении Катенина «Песнь о Мстиславе Мстиславовиче» («Сын отечества», 1820, № 12). Теперь, в 1822 году, Бестужев критиковал Катенина за попытку односторонне решить проблему национального языка и пренебрежительное отношение к памятникам отечественной старины. Поводом к новой полемике послужила статья Катенина об «Опыте краткой истории русской литературы» Греча. Катенин отзывался о языке «Слова о полку Игореве» и русских летописей совсем не в духе того гражданского патриотизма, которому были призваны служить передовые литераторы. «В какой старинной книге находите вы именно язык русский?» — спрашивал Катенин. И тут же отвечал: «Слово о полку Игореве» написано белорусским наречием, летописи — почти все варварским языком». Только Ломоносов русский язык «очистил и сделал почти таким, каков он теперь. Чем же он достиг своей цели? Приближением к языку славянскому и церковному», — писал Катенин издателю «Сына отечества» (1822, ч. 76, № 13, стр. 249—261). Бестужев не спорил о Ломоносове, но отзыв Катенина о языке «Слова о полку Игореве» и русских летописей заслуживал самого решительного протеста. В своих «Замечаниях на критику, помещенную в 13-м № «Сына отечества», касательно «Опыта краткой истории русской литературы», Бестужев отвечал Катенину: «Напрасно г. Катенин сомневается в существовании собственно русского языка. Когда и как составился он... того никто определить не может; но что это было и было гораздо прежде XII в., доказывается Русскою Правдою и Сло-

вом о полку Игоре. Многие грамоты XIII — XIV веков писаны по-русски. Особенно русским слогом отличается договор смоленского князя Мстислава Давидовича с Ригю и Готским берегом...» Катенин неосторожно утверждал, что летописи написаны «почти варварским языком». Александр Бестужев иронически замечал: «Я не грек и не француз, а потому... в темных местах скорее обвиняю собственное неведение и время, чем летописцев в варварском слого и невежестве... в летописях стану искать выражений, слов и прихотей родного языка». Дальше еще раз подчеркивал: «Не отступлюсь от языка предков моих, на котором они радовались и горевали, пели и совещались».¹

Таким образом, в полемике с Шишковым, Гречем и Катениным Бестужев отстаивал живую разговорную речь, он призывал более осторожно и осмысленно пользоваться церковно-славянскими и ставил в пример Ломоносова, который удачно сочетал элементы старославянского языка с языком народным. Не отрицая, что старославянский язык является одним из источников современного литературного языка, Бестужев по-декабристски обосновал необходимость обращения к отдельным славянским словам в современной поэзии. Из старославянского языка нужно брать только «звучные слова», способные придавать поэтической речи возвышенность и громкость. «Язык славянский, — пишет Бестужев, — служит теперь для нас арсеналом: берем оттуда меч и шлем, но уже под кольчугой не одеваем героев своих бычачьею кожей; а в охабни рядимся только в маскарад. Употребляем звучные слова: *вертоград, ланиты, десница*, но оставляем червям старины: *семо и овамо, говяда* и тому подобные». ² Бестужев приветствовал торжественные обороты книжно-славянской речи, соответствующие агитационному тону декабристской поэзии. Церковно-славянская фразеология, взятая в общем контексте современной действительности, человеческой практики и политических идей, часто приобретала отвлеченно свободолюбивый характер. Напомним, что и Пушкин в борьбе с салонным языком карамзинистов был не прочь опереться на церковно-славянские

¹ «Сын отечества», 1822, ч. 77, № 20, стр. 253—269.

² Там же, стр. 263.

и превращал их в острое орудие политического воздействия. В письме к князю Вяземскому Пушкин признавался: «Я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность. Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристала». Декабристы и в прозе и в поэзии удачно использовали старославянские «звучные слова» и библейские сюжеты для выражения свободолобивых настроений. Глинка, Кюхельбекер и частично Рылеев обращались к славянизмам, а также к поэтическому языку Ломоносова и Державина, но все это они делали в целях воскрешения декламационно-возвышенного стиха и ораторского пафоса. Глинка, например, называл свои элегические псалмы «голосистыми» и тем самым подчеркивал свою установку на громкость и торжественность. Библейская символика и торжественные обороты книжно-славянской речи служили для поэтов-декабристов одним из источников гражданской патетики и возвышенных мотивов, взятых в общем контексте современной действительности, человеческой практики и политических идей. Но особенно охотно поэты-декабристы пользовались языком патриотической прокламации, языком политически заостренным и агитационно убедительным. Их не удовлетворяла ни изысканная речь, смысл которой был доступен только посвященным, ни игра на специфической догадливости читателя, которую так любили карамзинисты. Декабристы искали яркого, выразительного слова, которое бы придавало поэзии политический и государственный пафос.

Бестужев сказал об отношении декабристов к старославянскому языку: «Язык славянский служит теперь для нас арсеналом». Но Бестужеву было ясно и то, что писатели должны обращаться не к избранному кругу, а к широким слоям, поэтому они в своей языковой практике должны опираться на язык народа. В рецензии «Русская антология, или образчики русских поэтов Джона Боуринга» он с гордостью заявлял, что в русском народе «есть чувства, и мысли, и поэзия, коими каждый европеец мог бы гордиться». И в дальнейших своих критических обзорах, напечатанных в «Полярной звезде», Бестужев постоянно возвращается к проблеме языка и каждый

раз призывает писателей разрабатывать «неразработанные сокровища» русского языка и решительно бороться против иностранного засилия. Во «Взгляде на старую и новую словесность в России» Бестужев говорит об односторонности русской литературы, которая происходит в значительной степени «от употребления одного французского и переводов с сего языка». «Век галлицизмов настал в царствование Елисаветы, и теперь только начинает язык наш отрясать с себя пыль древности и гремушки чуждых ему наречий». Но просветление умов происходит все еще медленно, и «гремушки чуждых наречий» мешают развитию русского литературного языка. «Обладая неразработанными сокровищами слова, мы,— продолжает критик,— подобно первобытным американцам меняем золото оною на блестящие заморские безделки». Во «Взгляде на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов» Бестужев снова возвращается к той мысли, что «к довершению несчастья, мы выросли на одной французской литературе, вовсе несходной с нравом русского народа, ни с духом русского языка». В итоге критик делал вывод: русские писатели имеют все возможности для создания литературы еще более самостоятельной, русским писателям не зачем путешествовать в чужие края, они имеют в своей стране богатейший язык, народную поэзию, героическое прошлое и современность, ознаменованную войной 1812 года.

В полемике о современном русском языке декабристы не разделяли крайностей, они выступали и против Шишкова и против Карамзина. Русский язык следует «обогащать и очищать», но не возвращать его к языку церковных книг и не превращать в жаргон, в язык дворянского салона. В уставе Союза Благоденствия рекомендовалось при сочинениях и переводах «обращать особое внимание на обогащение и очищение языка». Н. И. Кутузов выражал мнение Союза Благоденствия, когда в статье «О причинах благоденствия и величия народов» утверждал, что «народы для знаменитости и могущества должны заботиться о господстве языка природного». «Язык заключает в себе то, — писал Н. И. Кутузов, — что соединяет человека с обществом; самые малейшие его оттенки говорят сердцу патриота и чужды рабу иноземного. Язык сближает чувства людей, совокупляет понятия воедино, рождает благородное сореживание, дает силы Греции бо-

роться с Персиею и способы преодолеть ее... Совершенством языка познается величие народное... Незнание богатства языка своего и пренебрежение оным есть знак самого грубого невежества». ¹

* * *

К обозрению литературы прошлого Бестужев приступил одновременно с князем Цертелевым. В 1823 году в «Полярной звезде» была опубликована его первая статья под названием «Взгляд на старую и новую словесность в России», которая полностью отвечала декабристским историческим воззрениям. В отличие от незавершенной «Исторической картины» Цертелева, безидейной и эмпирической в своей основе, бестужевское обозрение имело наступательный, воинственный характер, оно было написано в защиту народности и *гражданственности*, в защиту того наследия, которое декабристы должны знать и на которое им следует опираться в своей литературной практике и в своей борьбе за самобытную литературу. Бестужева особенно интересовала проблема красноречия в поэзии, проблема героического начала в искусстве. В России «гений красноречия» исторически обусловлен; сама история русского народа такова, что поэзия не могла не быть ораторской, красноречивой, высокой и героической. «Чувства и страсти, — пишет Бестужев, — свойственны каждому; но страсть к славе в народе воинственном необходимо требует одушевляющих песней, и славяне на берегах Дуная, Днепра и Волхова оглашали дебри гимнами победными». Правда, до XII века не сохранилось письменных памятников русской поэзии, но «Слово о полку Игореве» и былевая поэзия, русские летописи, среди которых занимает первое место Несторова, а также «Русская Правда» — все эти памятники писаны языком «кратким и сильным». «Слово о полку Игореве» — классический памятник русского красноречия, «возвышенного песнопения старины русской». «Безыменный певец вдохнул русскую боевую душу в язык юный, но и самую странностию привлекательный; он украсил его

¹ «Сын отечества», 1820, ч. 59, № 1, стр. 10—11.

цветами мечты, вымыслом народной мифологии, разительными сравнениями и чувствами глубокими. Непреклонный, славолубивый дух народа дышит в каждой строке». Но это был самый начальный период в развитии русской поэзии. В дальнейшем русская словесность, в том числе и народная, не была столь героична, имя соловья Бояна «отгрянуло в потомстве, но его творения канули в бездну веков». Бестужев рассматривает историю русской литературы в связи с историей русского народа и устанавливает определенные закономерности в развитии национального поэтического сознания. Если поход Игоря, князя Северского, на половцев был «красным веком» для поэзии, то в эпоху междоусобной борьбы удельных князей, когда князья «непрестанно ковали кромолы друг на друга» и «разоренное отечество вековало на бранях против домашних врагов», возвышенное песнопение стало постепенно угасать, народные певцы не желали славить междоусобную борьбу князей. Народ жил воспоминанием о прежней славе, песнопениями старины, а новых героических песен не создавал. Только в годы национального подъема, в годы борьбы русского народа с иноземными захватчиками народная муза стала петь по-новому. Так, в XV веке была создана «Песня о битве Донской». В ней хотя и нет того огня, той силы, которыми отличалась песня о походе Игоря, но все же можно «найти черты русского народа и тем дать настоящую физиогномию языку». Бестужев, конечно, обеднял древнерусскую литературу, сводя ее к «Слову о полку Игореве» и к песне о Куликовской битве. В данном случае он повторил популярную в начале XIX века версию (Востоков, Карамзин, Грамматин, Цертелев), согласно которой в эпоху татарского нашествия русский народ безмолвствовал и ранее созданная народная поэзия подвергалась искажениям. Однако Бестужев пошел значительно дальше своих современников, ученых специалистов по древнерусской литературе, ставя вопрос о народных певцах.

Бестужевская точка зрения отвечала литературной и научной практике «Вольного общества любителей российской словесности», где поэты и публицисты постоянно касались проблемы народных песнопевцев. Сама тема о народных песнопевцах была очень близка гражданской поэ-

зии, она возбуждала интерес и со стороны местного колорита и со стороны героического прошлого. Проявив огромное внимание к поэзии тех народов, которые прославились героической борьбой за свою национальную независимость, передовые романтики использовали образ народного песнопевца, закрепленный фольклорной и литературной традицией, в целях дальнейшей пропаганды гражданских идей и понятий. Песнопевец в сознании Рылеева и Бестужева был прежде всего мужественным борцом, а его песни — образцом высокой патриотической поэзии. Декабристские писатели дали принципиально новую характеристику песен Оссиана — Макферсона. Раньше (до «оссиановских» стихотворений Гнедича) в поэзии легендарного шотландского барда обычно находили «нежнейшую тоску» и «священную меланхолию», «плачевную судьбу всего полуденного» (песни Оссиана, по словам Карамзина, «настраивают нас к печальным песнопеньям, но скорбь сия мила и сладостна душе». «Поэзия», 1787). Романтики-декабристы, следуя за Гнедичем, ценили в песнях «древнейшего барда» воинственные мотивы и драматизм событий; сильным страстям и переживаниям в песнях Оссиана внутренне соответствовал мрачный, но величавый пейзаж. Именно так решалась тема об умирающем барде (близкая к рылеевской теме погибающего борца) в «Соревнователе просвещения и благотворения» и в «Сыне отечества», в творчестве поэтов «ученой республики». В стихотворении «Калмар и Орля» (вольный перевод из сочинений Байрона) рано умерший поэт Загорский, находившийся под сильнейшим влиянием Рылеева, свое отношение к поэзии бардов и скальдов выразил в следующих словах: «И барды песнь, хвалу героям, воспевают».¹ Но особенно показательно, что Кюхельбекер в известном стихотворении «Поэты» включил Оссиана в «священный союз друзей». Оссиан оказался вполне современным песнопевцем, поэтом «сильных»:

Он душу погружает в даль
Пространств унылых, замогильных!

¹ Стихотворения Загорского до сих пор не собраны и не изучены. между тем в его лице мы имеем одного из видных поэтов-рылеевцев. Стихотворение «Калмар и Орля» появилось в «Соревнователе просвещения и благотворения» в 1823 году, ч. 23, стр. 49.

Но раздается резкий звук:
Он славит копий бранный стук
И шлет отвагу в сердце сильных.

Можно еще сослаться на стихотворение А. Мансурова, появившееся в «Сыне отечества», как на пример декабристского оссианизма («Сын отечества», 1823). Стихотворение «Умиравший бард» имеет следующий сюжет: юный бард, будучи ранен в сражении, просит товарищей своих воспеть ему славу отечества; вместе с юными бардами смерть храброго песнопевца оплакивает престарелый Оссиан:

Да встретим смерть с завидной славой,
Да слышу песнь про край родной!

Насколько поэзия Оссиана была популярна среди членов «Вольного общества», свидетельствуют также выступления А. А. Никитина с переводами и подражаниями: «Песнь утешителей. Из Оссиана», «Картон. Из Оссиана» и др. Образ Оссиана и других песнопевцев был настолько приближен к современности, что расстояние в веках исчезло, и барды превратились в «сотоварищей». В стихотворении Никитина «Песнь на могиле павших за отечество» бард становится соучастником «ученой дружины», и сама тема о песнопевце осмысливается как тема о поэте-гражданине:

И барды в песнях вековых
Тиранов прославлять не будут.

На заседании 23 мая 1821 года, когда Н. Бестужев читал свои «Записки о Голландии», А. Ф. Рихтер знакомил слушателей с рассуждениями «О бардах, скальдах и стихотворцах средних веков». Поэзия их — поэзия героическая, мужественная. Песни Орфея «прославляли мужество греков», галльские песнопевцы своими песнями «одушевляли мужество воинов» и внушали «ненависть к деспотизму». «Из опасения, чтобы они не воспламенили духа народа к мужеству, к прежней независимости и не внушили ему ненависти к деспотизму», «жестокий Эдуард», покоривший Галлию, велел в 1284 году, по словам А. Ф. Рихтера, предать смерти песнопевца. Скандинавские скальды не были столь свободолюбивыми, они воспевали великие происшествия и маловажные обстоятельства, проповедовали учение о природе и таинстве веры, но преимущественно воздавали хвалу трем боже-

ствам: «любви, храбрости и славе». Особенно блистательной была школа русских песнопевцев, во главе которой стоит автор «Слова о полку Игореве». Песни русских песнопевцев — героические и вольнолюбивые. «Бояны, — говорил Рихтер, — любили блистательный век Владимира, который, может быть, им покровительствовал или которого царствование представляло для поэзии всегда новые и приятные предметы. В сие время Россия славилась великолепными пирами, где чара зелена вина и турий рог меду сладкого услаждали гостей. Могучие богатыри, привлеченные ко двору ласковостью государя, часто с ним пировали, или испытывали свою силу и ловкость, или на поле ратном поражали несметные полки неприятельские. Из уцелевших отрывков от поэзии наших предков можно заметить, что Бояны, так сказать, образовались в одной школе, ибо они всегда придерживались одних и тех же выражений, одних эпитетов и прославляли своевольство и буйство богатырей, выставляя их какими-то гигантами». ¹ Отсюда следовало, что не только «Слово о полку Игореве», но и русские былины, прославляющие могучих богатырей, относились к тому роду поэзии, которая создавалась народными песнопевцами «одной школы».

Стремление сохранить память о «поэзии наших предков» сделало легендарное имя песнопевца Бояна популярным в поэзии и в живописи десятых-двадцатых годов. Боян слушает поющего соловья и старается подражать ему на лире — обычная поэтическая формула, идущая от карамзинистов. Не так у декабристов Боян в их понимании — это соучастник военных походов и пиршеств, он неразлучен с могучими богатырями, с героями былевой поэзии. Народный песнопевец ставится в один ряд с гражданскими поэтами, и с него поэты-декабристы ведут свою родословную. В свете декабристского почитания русских песнопевцев следует рассматривать одну из первых «дум» Рылеева, посвященную национальной героине, а именно «думу» «Боян». Рылеевская «дума» появилась в «Соревнователе просвещения и благотворения» (1822, ч. 17, кн 3) с важным примечанием автора: «Мне каза-

¹ «Соревнователь просвещения и благотворения», 1821, ч. 16, стр. 158—170.

лось правдоподобнее представить Бояна певцом подвигов великого Владимира». Замечание Рылеева, как и сама попытка воспеть «песни звучные Бояна-соловья», имеет прямое отношение к той пропаганде песнопевцев, как праотцев гражданской поэзии, которая велась «ученой республикой». Жанровая структура рылеевских «дум» в значительной мере была predeterminedена русской народно-песенной эпической традицией. В «Ответе» на критику «Полярной звезды», помещенную в 4, 5, 6 и 7 номерах «Русского инвалида» за 1823 год, А. Бестужев прямо указывал, что цель рылеевских «дум» — «возбуждать доблести сограждан подвигами предков». ¹ Если в «Русском инвалиде» утверждалось, что «думы» есть особый род поэзии, взятый из польской литературы, то Бестужев в своем «Ответе», не отрицая влияния Немцевича, считал необходимым отметить влияние национально-фольклорной традиции. «Думы», по его словам, суть общее достояние племен славянских. Русские песни о Владимире, о Добрыне и других богатырях, о взятии Казани; у малороссиян — о Мазепе, о Хмельницком, о Сагайдачном; у богемцев — вся Краледворская рукопись; да и сама песня о походе Игоря не есть ли дума?» ² Рылееву незачем было заимствовать поэтическую форму у Немцевича, так как и сам Немцевич заимствовал ее у народной поэзии.

Александр Бестужев использовал в своем «Взгляде на старую и новую словесность в России» опыт «ученой республики», разрабатывавшей в научном и литературном плане тему о народных песнопевцах, но вслед за Рылеевым он эту тему пытался разрешить прежде всего на национальном материале, всегда обращался к «Слову о полку Игореве», которое и было самым высоким образцом народного поэтического красноречия. В объяснении причин, способствовавших исчезновению высокого песнопения, Бестужев тоже не следовал за Карамзиным и за Цертелевым, хотя и разделял некоторые их положения относительно русской культуры в эпоху татарского нашествия. По Бестужеву, крепостное право вытеснило высокую героическую песню и создало почву для унылых

¹ «Взгляд на старую и новую словесность в России».

² «Сын отечества», 1823, ч. 33, стр. 183—184.

эмоциональных тем в народной лирике. В этом главная причина перемены, которая произошла в национальной поэзии, приобретшей печальный характер. Бестужев упреждал и другие причины: внутренние «междоусобия», политика удельных князей, раздиравших русскую землю на клочья, ковавших «крамолы друг против друга», жертвовавших общественными интересами во имя своих корыстных целей, а также «ужасы междуцарствия, злодеяния самозванцев», беды отечества. Развитие отечественной литературы, по мнению Бестужева, прямым образом зависит от внутреннего состояния государства. «Туманное его небо» — это, конечно, намек на народные бедствия.

Кратко охарактеризовав древнерусскую литературу, отметив такие замечательные памятники, как «Слово о полку Игореве», «Русская Правда» и русские летописи, Бестужев «одним шагом» переступил пять столетий прямо в «эпоху красноречия», в XVIII век. В XVIII веке критик стремится выделить все наиболее прогрессивное и национально-самобытное. «Остроумный» Кантемир «хотя unsuccessfully ввел французский вялый силлабический размер, хотя писал слогом неровным, жестким, хотя сдружил нас с европейскими мыслями на языке народном, еще необработанном, — но, как философ, как верный живописец нравов и обычаев века, будет жить славою в дальнем потомстве!» С большим воодушевлением писал Бестужев о Ломоносове: гений Ломоносова, подобно северному сиянию, «озарил полночь»; пробиваясь «сквозь препоны обстоятельств», он «отыскивал в прахе старины материал для русского слова, созидал, творил — и целым веком двинул вперед словесность нашу. Русский язык обязан ему правилами, стихотворчество и красноречие формами, тот и другие образцами. Дряхлейший слог наш оюнел под пером Ломоносова». Подражательные элементы составляют самые «малые пятна в таланте поэта», что касается «величия мыслей, и роскоши картин, и самого языка поэзии лирической», то во всем этом Ломоносов шел своим путем, двигая нашу словесность на целое столетие вперед.

Бестужев резко и неправильно отзывался о Тредьяковском, отмечая только «трудолюбие и безвкусие». Но о Сумарокове он писал очень метко и именно как декабристский историк литературы. Если в Ломоносове Бесту-

же видел своего предшественника, то слава Сумарокова постепенно «вянет и облетает», для потомства он не может служить образцом, из всех крупных писателей XVIII века Сумароков самый подражательный. в его трагедиях ориентация на французский классицизм дает себя ясно чувствовать, отсюда «всегдашние его пороки»: «совершенное отсутствие местности, бесхарактерность лиц, холодность страстей и сложность плана». Хотя Сумарокова и принято было считать создателем русского театра, но он, по мнению Бестужева, мало оригинален, в его трагедиях влияние французского классицизма подавило самобытность. Отвлеченный схематизм и надутость показательны не только для трагедий, но и для идиллий Сумарокова. Нужно сказать, что Бестужев во многом опередил позднейших историков литературы, которые всю русскую литературу XVIII века именовали одним словом «ложноклассицизм», вкладывая в это понятие прямую зависимость русской поэзии и драматургии от французского классицизма. Для Бестужева таким классиком был Сумароков; Кантемир, Ломоносов, Фонвизин, Державин — отнюдь не подражатели, они отмечены печатью самобытности, они представители национального «классицизма», в котором есть много неподражаемого, предромантического и предреалистического.

Очень сдержанно Бестужев пишет о Хераскове, который по своему времени «писал плавными стихами, хотя кудревато и пространно». Богдановича, «поэта милого и добродушного», который писал «слогом легким, сердечным, замысловатым», критик-декабрист тоже не жалуется. С легкой иронией Бестужев отзывается о предшественниках Карамзина, о представителях дворянского сентиментализма. Зато он расточает похвалы одической, высокой поэзии. Одописец Петров куда больше нравится Бестужеву, по крайней мере его высокая лирика исполнена «ярких мыслей, пламенных, смелых оборотов, быстро набросанных картин». Ломоносов, Петров и Державин, поэты одические, разрабатывавшие формы государственной, общественно значительной поэзии, считались достойными изучения и пропаганды. Для декабристов особенно были дороги Фонвизин и Державин. Первый в своих комедиях, в «Бригадире» и «Недоросле», «в высочайшей степени умел схватить черты народности»

и изобличить «мелкие страсти деревенского дворянства»; его комедии, по словам Бестужева, «будут драгоценными для потомства». В оценке Державина Бестужев полностью сходится с Рылеевым и Сомовым, — это «поэт вдохновенный, неподражаемый». «Лирик-философ, он нашел искусство говорить царям истины, открыл тайну возвышать души, пленять сердца и увлекать их то порывами чувств, то смелостью выражений, то великолепием описаний. Его слог неуловим, как молния, роскошен, как природа».

В блестящей характеристике писателей XVIII века пропущен Радищев! Пушкин был недоволен тем, что Бестужев в своем обзоре не вспомнил автора знаменитого «Путешествия из Петербурга в Москву». В письме от 13 июня 1823 года Пушкин писал Бестужёву: «Как можно в статье о русской словесности забыть Радищева. Кого же мы будем помнить. Это умолчание не прощительно ни тебе, ни Гречу — а от тебя его не ожидал». Отсутствие Радищева в статье Бестужева мы объясняем исключительно цензурными соображениями. Во «Взгляде на старую и новую словесность в России» Радищев не назван по имени, но влияние его сказывается в самой характеристике суждений о литературе XVIII столетия, и прежде всего во взгляде на Ломоносова, а особенно — в отзыве о народных песнях: «Русский поэт за трудом и на досуге, в печали и в радости, и многие песни его отличаются свежестью чувств, сердечною теплотою, нежностью оборотов; но беды отечества и туманное его небо проливают на них какое-то уныние, и вообще в них редко встречаются пылкие страсти и обилие мыслей».

Бестужев писал «Взгляд», а не просто обозрение. Характеристики отдельных писателей были продуманы в свете декабристской теории поэтического красноречия.

Русская поэзия XVIII века, ломоносовско-державинская поэзия прежде всего, свидетельствовала, что поэтическое слово способно «двигать политические пружины государства, сердца слушателей и читателей». Бестужев очень высоко ставил ораторское искусство XVIII века, начатое Феофаном Прокоповичем, «одаренным умом обширным», продолженное Ломоносовым и завершенное Державиным, любимым поэтом декабристов. Критик-

декабрист как бы восстанавливал родословную высокой гражданской поэзии, начиная со «Слова»; одическая поэзия XVIII века — тоже оратория, своеобразное «слово», обращенное к широкой аудитории. В одической поэзии Ломоносова, Петрова, Державина, затем в сатире Фонвизина всего более сказалось своеобразие национального гения XVIII века.

Ломоносов, Державин и даже Петров — основоположники поэзии ораторской, «пламенной, смелой», возвышенной; Кантемир и Фонвизин — представители сатирического направления, которое потом перейдет к Грибоедову. Капнист тоже важен для потомства, он оставил после себя и «колкую сатиру», комедию «Ябеда», и оды, которые дышат «благородством мысли». Наконец, Костров из XVIII века переходит в XIX как переводчик возвышенных песен Оссиана и «Илиады»; Н. И. Гнедич продолжит несовершенные опыты Кострова, Оссиан и Гомер вместе с русским Бояном войдут в двадцатых годах в «священный союз» высоких песнопевцев; им декабристы отведут почетное место.

Многое в XVIII столетии Бестужев не понял, он недооценил Тредьяковского, остался во власти дворянской легенды об Екатерине II, которая якобы одобряла просвещение, не вспомнил о Новикове и Радищеве, правда не по своей вине. И все же, несмотря на эти упущения, взгляд Бестужева на литературу XVIII века был свежим и во многих отношениях верным. Это был взгляд литературного критика, устанавливающего определенную преемственность между прошлым и настоящим. Доказывая прямую зависимость отечественной литературы от общественного движения и просвещения, подчеркивая при этом органическую связь высоких песнопений с национально-освободительной борьбой русского народа и передовыми идеями русской государственности (Петр I), Бестужев тем самым как бы подготавливал сознание читателей к восприятию литературы, которая своими лучшими именами и произведениями обязана героической эпопее 1812 года.

Прежде чем перейти к характеристике писателей, прославившихся или проявивших себя в первом пятидесятилетии XIX века, то есть до окончания Отечественной войны и заграничных походов, Бестужев говорит

ó карамзинском периоде в русской литературе, говорит о нем как о чем-то не слишком существенном, не заслуживающем долгих рассуждений. Правда, о самом Карамзине сказано во «Взгляде» с должным уважением, отмечены его заслуги в преобразовании книжного русского языка, отягченного «в руках бесталанных писателей и невежд-переводчиков»: «Время рассудит Карамзина как историка; но долг правды и благодарности современников венчает сего красноречивого писателя, который своим прелестным, цветущим слогом сделал решительный переворот в русском языке на лучшее». Но эта на первый взгляд очень положительная характеристика таит в себе сдержанное отношение к «красноречивому писателю» — он сделал поворот в русском языке «на лучшее» — это значит, что он улучшил русский литературный язык, но не решил языковой проблемы окончательно. Подобной двусмысленностью пронизана вся характеристика. Слава Карамзина-писателя напоминает Бестужеву скоро проходящую радугу («блеснул Карамзин на горизонте прозы, словно радуга после потопа»; Карамзин только «блеснул» — похвала небольшая). О Карамзине-историке говорится осторожно и неопределенно («время рассудит Карамзина как историка»). О Карамзине-поэте сказано тоже довольно туманно: «легкие стихотворения Карамзина ознаменованы чувством: они извлекают невольный вздох и слезу из тех, которые все испытали». Если Карамзина в 1823 году Бестужев несколько шадил, то об его подражателях — Нелединском-Мелецком, графе Салтыкове, князе Шаликове, Подшивалове, П. Сумарокове, А. Измайлове — Бестужев пишет совсем иронически, не находит нужным о них распространяться, настолько безлики и бездарны эти поэты. Нелединский-Мелецкий по преимуществу дамский поэт, он «нежными своими песнями... нежно ласкает слух и так сладостно проникает в сердце»; ему «удачно подражает» граф Салтыков; муза князя Шаликова «игрива, но нарумянена»; Сумароков «отличен развязною шутливостью в стихах своих, не всегда гладких, но всегда замысловатых» и т. д. Карамзинисты у Бестужева не в почете, о них сказано мало, но ясно — «муза игрива, но нарумянена». Бестужеву дороже и ближе представители ломоносовско-державинского направления в русской ли-

тературе. Даже адмирала Шишкова Бестужев похвалил за то, что он «сильно и справедливо» восстает против слезливых «полурусских иеремиад» и не без пользы занимается «родословной русских наречий». Поэтам-карамзинистам Бестужев противопоставляет вдумчивого экспериментатора стиха и ученого филолога Востокова, поэта-радищевца Пнина, соединившего поэтическое дарование с «высокими чувствами», и даже драматурга Озерова, которому нельзя отказать в «чувствах глубоких и воображении пламенном». Отсюда следовало, что не карамзинисты создают современную литературу, а их антагонисты, продолжающие гражданские и просветительские традиции XVIII века.

Характеристику «особ, прославившихся или появившихся в течение последнего пятнадцатилетия», Бестужев начинает с Крылова, Жуковского и Батюшкова. Не с Карамзина и его подражателей следует, по Бестужеву, вести историю русской литературы, а именно с Крылова, который «возвел русскую басню в оригинальное классическое достоинство» и добился подлинной народности в языке («в каждом его стихе виден русский здравый ум»), с Жуковского и Батюшкова, ибо с них «начинается новая школа нашей поэзии». Через Крылова Бестужев подходит к проблеме народности, поэзию Жуковского он использует для постановки вопроса о романтизме. В оценке Крылова критик-декабрист предвосхитил Белинского, который в 1840 году скажет, что Крылов в своих баснях вполне выразил «целую сторону русского национального духа». Много верного содержит характеристика Жуковского и Батюшкова. Оба они «постигли тайну величественного, гармонического языка русского» и нанесли сильнейший удар по обветшавшей эстетике классицизма. Жуковский — большой поэт, его достижения бесспорны, особенно они касаются «благозвучия и гибкости» поэтического языка. К тому же Жуковский — «певец 1812 года», его «Песнь во стане русских воинов» «дышит огнем боев». Но уже тогда, в 1823 году, Бестужеву было понятно, что поэзия Жуковского по своему идейному содержанию не отвечает задачам современности, ей недостает «вещественных знаков для выражения», она слишком туманна и неопределенна. Жуковский «дал многим из своих творений германский колорит, сходя-

ший иногда в мистику...»¹ Поэзии Батюшкова недостает политического содержания. Большому поэту недостаточно иметь тонкий эстетический вкус и быть «соперником Анакреона и Парни», недостаточно славить наслаждение жизнью и личный уют, «томную негу и страстное упоение любви». Батюшков подарил русской поэзии «Умиряющего Тасса» и заслужил того, чтобы о нем сказать: «образцовый поэт без укора». Но «укор» все же Бестужев делал: Батюшкову слишком легко давалась победа, он превзошел своих предшественников в «волшебстве гармонии, игривости слога и выборе счастливых выражений». Но он бесконечно отстал от развития общественного движения и гражданственности, от прогрессивного романтизма. «Поэтический триумvirат» составляют Жуковский, Батюшков и молодой Пушкин, уже далеко обогнавший своих учителей; ему принадлежит первое место в современной поэзии. Отзыв о Пушкине, находившемся тогда в ссылке, поражает своей приподнятостью, чувством глубочайшего признания. «Еще в младенчестве, — пишет Бестужев о Пушкине, — он изумил мужеством своего слога, и в первой юности дался ему клад русского языка, открылись чары поэзии. Новый Прометей, он похитил небесный огонь и, обладая оным, своенравно играет сердцами». Такая возвышенная характеристика пушкинской поэзии вполне соответствовала декабристскому отношению к Пушкину и декабристскому пониманию современной поэзии и роли поэта. То, что отсутствовало в поэзии Жуковского и Батюшкова, с избытком пришло с поэзией Пушкина. У Жуковского — «сладостные звуки», «таинственный идеал чего-то прекрасного, но неосязаемого», «чувство унылого», «наклонность к чудесному», «германский колорит, сходящий иногда в мистику», в общем «мечтательная поэзия»; у Батюшкова — «нежная нега и страстное упоение любви», «игривость слога и выбор счастливых выражений»; у Пушкина — «мужество», везде «оригинальность», мысли поэта «остры, смелы, огнисты», «язык светел и правилен», вместе с тем «роскошь

¹ В письме к Н. Полевому от 23 апреля 1831 года Бестужев писал: «...я был горячим ненавистником немецкого космополитизма, убивающего всякое благородное чувство отечественности, народности» («Русский вестник», 1861, т. 32, март, стр. 295).

воображения» и «местные краски природы». Бестужев подчеркивает новаторство Пушкина, мужественный и самообытный характер его поэзии. Он не называет Пушкина родоначальником русской новой литературы, но подходит к этому определению. Вслед за Пушкиным идут во «Взгляде на старую и новую словесность в России» ближайшие соратники декабристов на поэтическом поприще (Вяземский, Гнедич, Баратынский, Милонов) и сами поэты-декабристы (Рылеев, Кюхельбекер, Глинка). Вся эта группа передовых современных поэтов получает положительную оценку, по-декабристски субъективную: «Остроумный князь *Вяземский* щедро сыплет сравнения и насмешки. Почти каждый стих его может служить половицей, ибо каждый заключает в себе мысль... В *Гнедиче* виден дух творческий и душа воспламеняемая, доступная всему высокому... В сочинениях *Ф. Глинки* отсвечивается ясно его душа. Стихи сего поэта благоухают нравственностью... *Баратынский*, по гармонии стихов и меткому употреблению стиха, может стать наряду с Пушкиным. *Милонов* поэт сильный в сатирах и чувствительный в элегиях. В его стихах слышится голос тоски неизлечимой... *Рылеев*, сочинитель дум или гимнов исторических, пробил новую тропу в русском стихотворстве, избрав целью возбуждать доблести сограждан подвижами предков... *Кюхельбекер* одарен летучим воображением и мечтательностью». Не был забыт Бестужевым даже такой незаметный писатель, но видный член Союза Благоденствия, как Н. И. Кутузов. О нем сказано: «В статьях Н. Кутузова видны цель и дух благородной души; но слог несколько пышен для избранных предметов».

Именно Пушкин и эта группа поэтов, близких Союзу Благоденствия и «Вольному обществу любителей российской словесности», образуют «созвездие Северной Лиры». О поэтах, которые «сверкнув, исчезли, подобно кометам» или продолжают мелькать «воздушными огнями в эфемерных журналах», критик говорит скороговоркой и без всякого личного энтузиазма. Критик проводит различие между возвышенными песнопевцами («душа воспламененная», «ясная его душа», «дух благородной души») и «беспечными певцами красоты и забав». Говоря о Плетневе, Дельвиге, Козлове, Воейкове,

Мерзлякове, Панаеве и многих других современных поэтах, Бестужев не касается их нравственного облика, он ограничивается довольно скупыми замечаниями о достоинствах и недостатках их поэтического творчества. Некоторое исключение представляет поэт-партизан Денис Давыдов. Он умеет разговаривать «откровенным наречием воина», с «улыбкою рыщет по полю смерти», слог его «быстр, картинен, внезапен». На фоне поэтов «сильных» и «решительных» как по слогу, так и по мыслям Плетнев и Дельвиг, не говоря уже о явно вялых элегиках вроде Панаева, Александра Крылова, Александра Писарева, Родзянко и Анны Буниной, выглядят слишком «миловидными», ушедшими в мир личных утех. Бестужев судит о современных писателях по их успехам в развитии национальной поэзии. Самобытность и гражданственность — вот основные критерии Бестужева. Не только в литературе, но и на русской сцене он желает видеть национальные характеры и самобытный «слог разговорный». Бестужев протестует против засилья переводных драм и водевилей, в которых иногда «видны легкость и острота, но мало оригинального». «Для трагедии, — пишет критик, — ни один из живых европейских языков не может быть склоннее русского: отсутствие членов и умолчание глаголов вспомогательных творят его плавным, разнообразным и вместе сжатым. Высокость речений славянских, важность и богатство звуков придают ему все мужество, необходимое для выражения чувств нежных или суровых. Со всем тем у нас не существует народной трагедии и, кроме Озерова, не было трагиков; но и тот, покорствуя временности, заковал своего гения в академические формы и в рифмованные стихи». Если театр напоминает Бестужеву «бесплодное поле», то русская проза — «степь».

Изобразив бедное состояние русской прозы («...почти вовсе нет прозаиков»), Бестужев переходит к объяснению причин, замедляющих развитие современной русской словесности. Эти причины заключены во внутреннем состоянии России: замедленное распространение просвещения, недостаток «хороших учителей» и «отечественных книг для образования юношества», патриархальная замкнутость русской провинции, «феодалные умонаклонности многих дворян», предпочитающих увле-

каться псовой охотой, нежели правильным воспитанием и образованием своих детей, «рассеяние и страсть к мелочам» в столицах, недостаток «усовершенствования слова» среди самих писателей, жажда «золотой посредственности», равнодушие «женского пола» к отечественной словесности, и, наконец, «главнейшая причина есть изгнание родного языка из общества». Все эти обстоятельства пагубным образом сказываются на росте талантов. «Поэт, романтик, ученый» в аракчеевской России не в почете, он «видит труды свои гибнущими в книжной лавке, и безмолвие, встречающее его в обществе... вместо наград он слышит одни насмешки». Это типично декабристская рефлексия, осуждение тех общественных условий и той крепостнической среды, в которых приходится русскому писателю работать и трудиться на благо отдаленного будущего. «Наши богачи не слишком учены, а ученые вовсе не богаты», — заключает Бестужев свое горестное рассуждение о современном состоянии словесности. Все надежды Бестужев возлагает на «новое поколение людей», в частности на молодых офицеров, которые в сравнении с другими более «основательно учатся». «Новое поколение людей, — признается Бестужев во «Взгляде на старую и новую словесность в России», — начинает чувствовать прелесть языка родного и в себе силу образовать его. Время невидимо сеет просвещение, и туман, лежащий теперь на поле русской словесности, хотя мешает побегу, но дает большую твердость колосьям и обещает богатую жатву».



В следующей своей статье «Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года» Бестужев возвращается к обсуждению текущей литературы в связи с причинами, замедляющими ход ее развития, и на этот раз дает удивительно стройную и продуманную концепцию новой русской литературы, целиком совпадающую с декабристским пониманием прошлого и настоящего России. Началом новой русской литературы является 1812 год. Именно Отечественная война 1812 года и «гром от-

даленных сражений» пробудили «праздное внимание читателей» и «одушевили слог авторов». «Наполеон обрушился на нас — и все страсти, все выгоды пришли в волнение; взоры всех обратились на поле битвы, где полсвета боролись с Россией и целый свет ждал своей участи. Тогда слова *Отечество* и *слава* электризовали каждого. Каждый листок, где было что-нибудь отечественное, перелетал из рук в руки с восхищением». Сравнивая недавнее героическое прошлое с современным состоянием аракчеевской России, Бестужев приходит к неутешительному выводу: «Но политическая буря утихла; укротился и энтузиазм».

Критические статьи Бестужева — своеобразный род агитационной декабристской публицистики. Обращаясь к эпохе Отечественной войны 1812 года, Бестужев рисует идеальное положение в литературе и в обществе: «Гром отдаленных сражений одушевляет слог авторов и пробуждает праздное внимание читателей; газеты превращаются в журналы и журналы в книги; любопытство растет, воображение, недовольное сущностью, алчет вымыслов, и под политической печатью словесность кружится в обществе». В годы Отечественной войны были заложены основы гражданской словесности, декабристы берегут эти основы и призывают развивать их дальше. Бестужев выступает с критикой и тех, кто сражался с Наполеоном и возвратился в свое отечество «с лаврами на челе, но с французскими фразами на устах». Пренебрежение к родному языку, страсть к галлицизмам — одна из причин оцепенения словесности в 1823 году, бедном оригинальными произведениями.

Появление новой статьи Бестужева в «Полярной звезде на 1824 год» было более чем своевременно, оно совпало с пробуждением к новой деятельности тайного общества декабристов. Рылеев и Александр Бестужев тогда уже состояли в Северном тайном обществе, и прежде всего они отвечали за состояние отечественной словесности. «Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года» — не просто критическая статья. Статья Бестужева имеет тот же прицел, что и «думы» Рылеева, она ставит своей целью пробудить патриотизм и вольнолюбивые настроения, мобилизовать словесность на борьбу с самодержавием и крепостничеством. Постоян-

ные напоминания об Отечественной войне 1812 года были вполне уместны, без них не могло быть и бестужевской концепции, бестужевского взгляда на русскую словесность. Декабристы считали себя детьми 1812 года, передовая русская литература — тоже детище 1812 года. Эпоха 1812 года выдвинула «новое поколение людей». Прямая цель бестужевской статьи возбудить «соревнование между молодыми писателями».

Руководители Северного общества не отказывались от идейного влияния на литературу, в частности они не отказались от руководства «Вольным обществом любителей российской словесности», оставшимся в наследство от Союза Благоденствия. Рылеев и Бестужев, начиная с 1822 года, фактически возглавили это литературное «Вольное общество» и много сделали, чтобы приблизить бывший филиал Союза Благоденствия к задачам и целям Северного общества. Во «Взгляде на русскую словесность в течение 1823 года» Бестужев ссылается на годовое собрание в Российской Академии, где Карамзин читал отрывки из X тома «Истории государства Российского» об убийстве царевича Дмитрия, Жуковский — перевод из «Энеиды», князь Шаховской — отрывок из «высокой» комедии своей «Аристофан». Но едва ли Российскую Академию имел в виду Бестужев, когда писал, что «чтения публичные в литературных обществах, возбуждая соревнование между молодыми писателями, развивают в публике вкус к родной словесности. Нередко те, которые приезжают туда, чтобы других посмотреть и показать себя, возвращаются домой с новыми понятиями и с полезнейшею охотою». Так было и с самим Александром Бестужевым, который, возвращаясь домой с заседания «Вольного общества любителей российской словесности» вместе с Рылеевым, мечтал о политическом поприще.

В «Полярной звезде на 1824 год» Бестужев как бы призывал последовать его примеру, он приглашал писателей сблизиться на поприще соревнования и напоминал о существовании «Вольного общества любителей российской словесности», где «ученые упражнения» могут увлечь слушателей. «Общество соревнователей благотворения и просвещения», — продолжает Бестужев, — имело тоже одно публичное заседание, где разнообразие

предметов шло наравне с занимательностью их и любопытством слушателей». Публичное собрание «соревнователей» состоялось 22 мая 1823 года в доме Державина, в той самой великолепной «храмине», где в свое время собиравлась «Беседа любителей русского слова». Теперь в этом зале распоряжались литераторы-декабристы, они и были организаторами «особенного собрания». На собрании присутствовало свыше пятидесяти человек, среди них: К. Ф. Рылеев, А. А. Бестужев, Н. А. Бестужев, А. О. Корнилович, Н. И. Кутузов, В. И. Туманский, О. М. Сомов, Н. И. Греч, Д. М. Княжевич, А. А. Никитин, И. К. Аничков, И. Д. Боровков, Д. В. Сахаров, П. А. Плетнев, Ф. П. Толстой и др. Федор Глинка не явился по болезни, а Кюхельбекер тогда не проживал в Петербурге. Именно на этом собрании в доме Державина декабристы одержали блестящую победу над реакционной партией Цертелева — Федорова.

Бестужев воспользовался обзорением русской словесности за 1823 год не столько для того, чтобы отметить несколько оригинальных книг, вышедших в свет («Новейшие известия о Кавказе» С. Броневского, «Путешествие по Тавриде» Муравьева-Апостола, «Записки об Испании» Булгарина и др.), сколько для того, чтобы снова поговорить о причинах, замедляющих развитие отечественной литературы, и призвать русских писателей возвыситься над неблагоприятными обстоятельствами и смело продолжать те замечательные традиции, которые обнаружили в русской литературе в эпоху Отечественной войны 1812 года. Правительственная реакция, охватившая Россию после победы над Наполеоном, не должна сломить дух вольнолюбия. «Бесстрастному отношению некоторых соотечественников» к судьбе своей родины Бестужев резко противопоставляет декабристское понимание современной действительности. Не «отдохновение после сильных ощущений», не охлаждение и не оцепенение, а новый энтузиазм, новая «политическая буря» нужны теперь, чтобы вывести Россию из «бездейственного покоя» на путь новой славы и добра.

Подлинно декабристским пониманием задач современной литературы отмечен «Взгляд на русскую литературу в течение 1824 и начале 1825 годов». Об этом обзоре Рылеев писал в письме к Пушкину: «Уверен заранее, что тебе понравится первая половина взгляда Бестужева на словесность нашу. Он в первый раз судит так основательно и глубокомысленно». В этой статье Бестужев теоретически обосновывает свою давнишнюю идею о необходимости иметь в России самобытную литературу, освобожденную от чужеземных цепей. Снова возвращаясь к вопросу о причинах, замедляющих развитие отечественной литературы, Бестужев невольно повторяет свои прежние положения. Он считает самым большим несчастьем «безнародность и удивление только к чужому», «страсть к подражанию» иностранным образцам, которые вовсе не сходны ни «с нравом русского народа, ни с духом русского языка». В этой статье Бестужев не шадит ни Жуковского, ни Батюшкова, ни Карамзина. Это они «невпопад вздыхали по-стерновски, потом любезничали по-французски, теперь залетели в тридевятую даль по-немецки». Рылееву, вероятно, особенно понравилось следующее суждение: «Когда же попадем мы в свою колею? Когда будем писать прямо по-русски? Бог весть! До сих пор, по крайней мере, наша Муза остается невестою-невидимкою. Конечно, можно утешиться тем, что мало потери, так или сяк пишут сотни чужестранных и междоусобных подражателей; но я говорю для людей с талантом, которые позволяют себя водить на помочах. Оглядываясь назад, можно век назад остаться, ибо время с каждой минутой разводит нас с образцами. Притом все образованные дарования носят на себе отпечаток не только народа, но века и места, где жили они; следовательно, подражать им рабски в других обстоятельствах — невозможно и неуместно».

Истинный писатель непременно должен иметь национальную физиономию, нести на себе отпечаток родной страны и эпохи, в которой он живет и действует, не говоря уже о народности, без которой вообще невозможны «образцовые дарования». В критике современной литературы Бестужев руководствовался исключительно

чувством национальной гордости, чувством «народной гордости». Бестужев протестовал против стремления «унизить даже и то, что есть». Его интересовала сама возможность «возбудить рвение сотворить то, чего у нас нет». «У нас нет литературы», — это сказано в том смысле, что современная отечественная литература еще плохо служит обществу, что она недостаточно самобытна и народна.

Не обойдены в этом трактате задачи литературной критики. Критика, по словам Бестужева, должна иметь «взор более общий, правила более стихийные», не «личностями» и «частностями» заниматься, а изучать «стихии», то есть общие тенденции, служить обществу, воспитывать эстетический вкус и т. п. «Лица и случайности проходят, но народы и стихии остаются вечно». В этой четкой формуле чувствуется предшественник Белинского. Замечательно также дальнейшее развитие мысли о народе и «стихиях», как исторически вечных категориях. Они не познаются «ощупью». Жизнь требует активного вмешательства литературы в окружающую действительность. Бестужев прямо заявляет, что писатель, «не занятый политикою», естественно кидается в «кумовство и пересуды», отстает от движения самой действительности. «Жизнь необходимо требует движения, а развивающийся ум дела; он хочет шевелиться, когда не может летать, но не занятый политикою — весьма естественно, что деятельность его хватается за все, что попадется, а как источники нашего ума очень мелки для занятий важнейших, мудрено ли, что он кинулся в кумовство и пересуды! Я говорю не об одной словесности: все наши общества заражены тою же болезнью».

За самобытное искусство ратовали в своих статьях Глинка, Вяземский, Сомов — таков был общий лозунг прогрессивных романтиков. Рылеев, Кюхельбекер и Бестужев не ограничивались этим требованием, они говорили о политических предметах, о революционной героике, о союзе революционного слова и дела.

О декабристском романтизме недостаточно сказать, что это был романтизм национальной ориентации; декабристский романтизм был полон революционной настроенности, социальной активности и критического отношения к феодально-крепостнической действительности.

Бестужев-критик прекрасно выразил эту основную особенность декабристского романтизма. Его обзоры, особенно статью 1825 года, по праву можно назвать теоретическими трактатами по декабристскому романтизму. Страстно желая видеть в общественной жизни и в литературе конкретное воплощение декабристских идеалов, в своем «Взгляде на русскую словесность в течение 1824 года и начале 1825 годов» Бестужев посылает упрек в адрес молодого поколения и в адрес русских писателей, которые должны воспитывать «новое поколение людей». Упрек был настолько сильным, что его можно сравнить с рылеевским упреком, с обличительными тирадами знаменитого «Гражданина». Ограничимся одним примером:

«У нас юноша с учебного гулянья спешит на бал; а едва придет истинный возраст ума и учения, он уже в службе, уж он деловой — и вот все его умственные и жизненные силы убиты в цвету ранним напряжением, и он целый век остается гордым учеником оттого, что учеником в свое время не был. Сколько людей, которые бы могли прославить делом или словом свое отечество, гибнут, дремля душой в вихре модного ничтожества, мелькают по земле, как пролетная тень облака. Да и что в прозаическом нашем быту, на безлюдье сильных характеров может разбудить душу? Что заставит себя почувствовать?»

Бестужев провозглашает своего положительного героя, способного «прославить делом или словом свое отечество». «Сильные характеры» не нуждаются в покровительстве со стороны правительства, они создаются и развиваются в напряженной борьбе с безликой светской «толпой». Если во «Взгляде на русскую словесность в течение 1823 года» Бестужев считал одной из причин оцепенения словесности отсутствие «ободрения», разумея под ним не меценатство и не монаршьи великодушные, а общественное внимание, внимание своих соотечественников («Так гаснет лампада без течения воздуха, так заглушается дарованье без ободрений!»), то во «Взгляде на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов» он значительно уточняет вопрос об «ободрении», лишая его всякой двусмысленности. Вопрос остается прежним: «отчего у нас нет гениев и мало талантов литературных?» «Предслышу ответ многих: от недостатка ободрения! Так, — говорит Бестужев, — его

нет, и слава богу! — Ободрение может оперить только обыкновенные дарования: згонь очага требует хворосту и мехов, чтобы разгореться, — но когда молния просила людской помощи, чтобы вспыхнуть и реять в небе!» «Ласки меценатов всегда корыстны», свет допускает поэта «в свой круг не иначе, как с условием носить на себе клеймо подобного отрадного ему ничтожества». Настоящий поэт должен стыдиться подобного «ободрения». Бестужев повторяет свой упрек, направляя его непосредственно в адрес писателей: «Иногда недостает собственной решимости вырваться из бисерных сетей света». На страницах «Полярной звезды» Бестужев не мог открыто писать о значении литературы в революционной борьбе, о ее миссии в связи с тайными замыслами декабристов. Но как это позволяли цензурные условия, он определил роль передовой литературы в условиях крепостнической России. Действие литературы подобно действию пороха, сжатого в железе. «Порох на воздухе дает только вспышки, но, сжатый в железе, он рвется выстрелом и движет и рушит громады...» Это, конечно, метафора, но метафора явно декабристского происхождения. В год решительной борьбы с самодержавием такая метафора могла растолковываться вполне социально, как призыв соединить слово с оружием. Бестужев окончательно сближает образ поэта с образом гражданина, он отказывается от самого термина «ободрение», как не соответствующего высокой независимой роли поэта. Настоящая поэзия требует не светского «ободрения» и тем более не «корыстной ласки меценатов», а суровой гражданской прививки. Столкновения между истинным поэтом и светским обществом неизбежны, поэт обязан пренебречь «богатствами и связями», он выше «толпы». Свобода творчества и независимость писателя — таков лозунг Бестужева. Горячими защитниками подобной концепции были Кюхельбекер и Рылеев. Если даже поэта стережет «черная судьба» и его преследуют «свирепые законы», поэт не должен поступиться своей независимостью. Бестужев ставит в пример «гениев всех веков и народов»: «Гомер, нищенствуя, пел свои бессмертные песни; Шекспир под лубочным навесом возвеличил трагедию; Мольер из платы смешил толпу; Торквато из сумасшедшего дома шагнул в Капи-

толий; даже Вольтер лучшую свою поэму написал углем на стенах Бастилии. Гении всех веков и народов; я вызываю вас!» Почти одновременно с Бестужевым о трагической судьбе великих поэтов писал Кюхельбекер. Интересно, что Кюхельбекер иллюстрировал свою мысль теми же «гениальными несчастливцами». Одни и те же имена проходят и через статьи Бестужева и через стихотворения Кюхельбекера, образуя единый план исторических и литературных аналогий. «Участь поэтов» — так называется одно из стихотворений Кюхельбекера, продолжающее основной мотив программного стихотворения «Поэты».

Пророков гонит черная Судьба;
Их стерегут свирепые печали;
Они влачат по мукам дни свои,
И в их сердца впиваются змии...

Но поэт не только мученик — он пророк и труженик; борьба с низкой, неблагополучной действительностью требует страдания и подвига, напряжения и сил. По Кюхельбекеру, высокий поэт есть избранник, однако избранничество не есть аристократизм; по отношению только к светскому обществу поэт держится особняком, он не ласкает и не пестует это общество. Отсюда через всю поэзию Кюхельбекера проходит тема «толпы», которая «безумна и слепа». «Толпа» — не народ, о котором Кюхельбекер всегда отзывается с уважением. «Толпа» — понятие, равноценное пушкинской «черни». Это — официальная светская «чернь», с ее мелкими страстями и бездушным эгоизмом, и такой «толпе» противостоит поэзия больших страстей и бурных порывов. Александр Бестужев целиком разделяет концепцию Кюхельбекера.

Поэты, презирающие все «заманки большого света», живут для народной славы, но эта слава не легко дается, она не всегда идет «об руку с гением». Бестужев пишет о жизненном пути великих поэтов, называя их «просветителями народов»: «Нет! в тиши затворничества зреют их думы. Терновою стезею лишений пробивались они к совершенству. Конечно, слава не всегда летит об руку с гением; часто современники гнали, не понимая их; но звезда будущей славы согревала рвение и озаряла для них мрак минувшего, которое вопрошали они, дабы разгадать современное и научить потомство».

В свете декабристской гражданской морали и декабристского понимания искусства, искусства высокого, носителями которого могут быть «сильные характеры» и самобытные дарования, Бестужев просматривает отечественную литературу и журналистику 1824 и начала 1825 годов, выделяя все наиболее значительное и поощряя тех авторов, которые несут в своих произведениях отпечаток народности, возвышаются над мелкими страстями светского общества и «кипят благородными порывами человека, чувствующего себя человеком». Второй раздел «Взгляда на русскую словесность» начинается с обозрения «изящной прозы». Не входя в рассмотрение исторических достоинств и идейной концепции «Истории государства Российского» Карамзина, Бестужев отмечает вышедшие в свет X и XI томы «Истории», находя в труде почетного историографа «свежесть и силу слога, заманчивость рассказа и разнообразие в складе и звучности оборотов языка, столь послушного под рукою истинного дарования». Из переводов, по словам Бестужева, заслуживают внимания «Записки полковника Вутье о войне греков, переданные со всею силою, со всею военною искренностью г. Сомовым, который приложил введение, полное жизни и замечаний справедливых». И «История» Карамзина и «Записки» Вутье представляли несомненный интерес. Об отношении декабристов к историческому труду Карамзина хорошо известно, декабристы и спорили с историографом и хвалили его за изображение некоторых исторических картин, за добытые материалы. «Записки» Вутье использовались в декабристской пропаганде. В 29 части «Соревнователя» за 1825 год сообщалось, что «поступила в продажу очень любопытная книга, особенно по нынешним обстоятельствам, под названием «Записки полковника Вутье». Накануне декабрьских событий «Записки Вутье» Д. И. Завалишин давал читать братьям Беляевым, мичманам гвардейского экипажа, чтобы воспламенить в них дух гражданского мужества. П. П. Беляев 14 декабря «ходил по ротам и, отклоняя нижних чинов от присяги, возбуждал их к неповиновению». На площади он «был виден впереди, кричал ура! и ободрял солдат».¹

¹ «Восстание декабристов», т. VIII, стр. 48.

Рассказывая Следственной комиссии о методах декабристской пропаганды, Завалишин свидетельствовал: «Об Греции я им (Беляевым. — В. Б.) ничего не рассказывал, а давал читать «Записки Вутье».¹ Завалишин использовал в своей пропаганде «Записки» в переводе Сомова, но за Сомовым опять-таки мог стоять Рылеев. 30 апреля 1826 года Завалишин разъяснял, что он имел в виду «Записки полковника Вутье, здесь напечатанные», и что все книги, которые он сам читал и давал читать братьям Беляевым, «покупал их сам или брал оные у Рылеева».² Завалишин давал «Записки Вутье» читать приятелям, преследуя определенно агитационные цели, пропагандируя опыт борьбы греков за свою независимость, а Бестужев хвалил эти «Записки» в «Полярной звезде».

В центре обозрения русской поэзии за протекшие 15 месяцев стоит Пушкин. О новой поэме Пушкина «Бахчисарайский фонтан», уже расхваленной критикой, в частности князем Вяземским, Бестужеву оставалось только сказать, что она «пленительна и своенравна, как красавица Юга». Более значительным явлением Бестужеву казалась первая глава романа в стихах «Евгений Онегин». Критик-декабрист воспринял начало пушкинского романа как злую сатиру против светского общества, он увидел в первой главе «одушевленную картину неодушевленного нашего света». «Везде, где говорит чувство, везде, где мечта уносит поэта из прозы описываемого общества, — стихи загораются поэтическим жаром и звучней текут в душу». В «Разговоре книгопродавца с поэтом» Бестужеву особенно понравились стихи:

Блажен, кто про себя таил
Души высокие созданья
И от людей, как от могил,
Не ждал за чувства воздаянья!

Пушкин как бы присоединялся к декабристской версии о высоком назначении поэта. Поэт не желает дружить со светской «толпой» и про себя таит «души высокие созданья»: «Кипит благородными порывами человека, чувствующего себя человеком», — по словам

¹ «Восстание декабристов», т. III, стр. 290.

² Там же, стр. 310.

Бестужева. Пушкинская поэма «Цыганы» была известна тогда в рукописи. Критик «Полярной звезды» эту неопубликованную поэму включил в разряд лучших произведений 1825 года. Бестужев отметил и подлинную народность, безыскусственность и величественную простоту, и те сильные характеры и глубокие страсти, «молнийные очерки вольной жизни», которые полностью соответствовали декабристскому пониманию романтизма. Вот что писал Бестужев за несколько месяцев до 14 декабря 1825 года о «Цыганах»:

«Если можно говорить о том, что не принадлежит еще печати, хотя принадлежит словесности, то это произведение далеко оставило за собой все, что он писал прежде. В нем-то гений его, откинув всякое подражание, восстал в первородной красоте и простоте величественной. В нем-то сверкают молнийные очерки вольной жизни и глубоких страстей и усталого ума в борьбе с дикою природой. И все это, выраженное на деле, а не на словах, видимое не из витиеватых рассуждений, а из речей безыскусственных. Куда не достигнет отныне Пушкин с этой высокой точки опоры?»

Отношение к ссыльному Пушкину показательно. Рылеев и Бестужев постоянно напоминают о Пушкине, желая, чтобы он был «консулом литературной республики». Декабристы не мыслили свою гражданскую литературу без Пушкина. Рядом с Пушкиным в критическом обозрении Бестужева стоит Грибоедов. Бестужева не смущает тот факт, что грибоедовская комедия не появилась в печати; он надеется, что «предрассудки рассеются и будущее оценит сию комедию и поставит ее в число первых творений народных». В данном случае Бестужев выступал не только как литературный критик, но и как деятель тайного общества, которому было хорошо известно отношение декабристов к грибоедовской комедии. Мало распространять эту комедию в списках, что и делали декабристы, — нужно было еще дать ей должное истолкование, определить ее значение. Это и сделал Бестужев в своей статье. «Горе от ума», — писал Бестужев, — феномен, какого не видали мы от времен «Недоросля». Толпа характеров обрисована смело и резко, живая картина московских нравов, душа в чувствованиях, ум и остроумие в речах, невиданная доселе

беглость и природа разговорного русского языка в стихах. Все это завлекает, поражает, приковывает внимание. Человек с сердцем не прочтет ее не смеявшись, не тронувшись до слез». Когда в конце 1825 года М. Дмитриев обрушился на грибоедовскую комедию в «Вестнике Европы» (№ 6), на защиту Грибоедова поднялся Орест Сомов, ближайший соратник Рылеева и Бестужева.¹ Сомов признается, что он знаком с «ходом целой комедии до самой развязки», но говорить о всей грибоедовской комедии не решается, так как подробный разбор может завести «слишком далеко». М. Дмитриев нападает на Чацкого, называя его «сумасбродом». Сомов высказывает декабристское отношение к грибоедовскому герою, видит в нем человека «с чувствами благородными и душою возвышенной». Чацкий, по словам Сомова, говорит «языком не книжным, не элегическим, но языком истинной страсти, в словах его отсвечивается душа пылкая: они, так сказать, жгут своим жаром». Сомов увидел в Чацком черты, которые роднили его с лучшими представителями молодого поколения двадцатых годов: «Любовь к родине, уважение к народу, и только сердится и негодует на грубую закостенелость, мелкие предрассудки и смешную страсть подражания чужеземным».²

Не следует забывать, что статья Сомова о Грибоедове писалась в комнате Александра Бестужева и, может быть, не без ведома последнего. Грибоедов присутствовал на «русских завтраках» у Рылеева. В конце 1824 года он был избран действительным членом «Вольного общества любителей российской словесности» и настолько сошелся с декабристами, что Рылеев решил непременно завербовать его в Северное общество. Александр Бестужев признавался в своих показаниях, что вместе с Грибоедовым «нередко мечтал о преобразовании России». Ясно, что у Бестужева и у Сомова похвалы комедии Грибоедова были глубоко продуманными. Их отзывы связаны со всей литературной программой декабристов, с принципами их литературной политики.

¹ В 1825 году грибоедовская комедия была известна по отрывкам, появившимся в альманахе «Русская Галия».

² «Сын отечества», 1825, ч. 101, стр. 177—190.

Статья Бестужева была написана в защиту той отечественной литературы, которая помогала декабристам в их борьбе с социальной несправедливостью и в воспитании подрастающего поколения в духе декабристского мировоззрения. О «приятных безделках» Н. Языкова, И. Козлова, Писарева, Нечаева, о «печатной, но не игровой комедии» Федорова «Громилов» и о прологе И. Дмитриева «Торжество муз» Бестужев пишет: «Приятные безделки» не входят в «итог нашей поэзии». А итог был не мал: Н. И. Гнедич недавно издал «сильный и верный свой перевод (с новогреческого языка) песен клефтов, с приложением весьма любопытного предисловия»; вышли отдельным изданием «Думы» Рылеева и его же поэма «Войнаровский». Однако «скромность» не позволяет Бестужеву высказаться до конца («скромность заграждает мне уста на похвалу»). Главное в «Войнаровском» Бестужев отмечает в двух словах: «высокие чувства». «Большое достоинство» имеют сцены из трагедии «Аргивяне» Кюхельбекера. Из альманахов отмечается «Русская старина», изданная Корниловичем и Сухоруковым. В этом альманаше Корнилович «описал век и быт Петра Великого», а Сухоруков — «нравы и обычаи поэтического своего народа — казаков». «Оба рассказа, — замечает Бестужев, — любопытны, живы, занимательны. Сердце радуется, видя, как проза и поэзия скидывают свое безличие и обращаются к родным старинным источникам». Действительно, у Бестужева «сердце радовалось», когда он писал в своем «Взгляде на русскую словесность в течение 1824 года и начале 1825 годов» о литературе декабристской. Из всех русских писателей он в 1825 году выделяет именно тех, которые идут в ногу с декабристами. Список довольно показательный: *Пушкин, Грибоедов, Гнедич, Рылеев, Сомов, Корнилович Кюхельбекер, Сухоруков*. Выше всего Бестужев ценил героическое и сатирическое направление в русской литературе. В своих эстетических взглядах Бестужев руководствовался потребностями русской действительности, задачами освободительной борьбы. В свете политической борьбы он рассматривал литературные явления и выносил оценки.

В статье «О духе поэзии», напечатанной в 1825 году в «Сыне отечества», Александр Бестужев с «горьким

сожалением» отмечал, что народ «оставался вне литературы». «Да и сама литература, — писал Бестужев, — была академическая, которой двойной характер состоял только в педантском подражании и церемонии этикета. Теперь и нравы, и мысли, и порядок вещей другие: мнения в политике и в словесности разделились. И сия последняя в нерешимости».¹ Эти слова об отставании литературы от полигики («сия последняя в нерешимости») были произнесены в тот самый момент, когда декабристы готовились к вооруженному восстанию. В этот исторический час Александр Бестужев еще раз напоминал о необходимости поднять современную русскую литературу на новый уровень гражданских требований; он заявлял, что литература прямым образом должна служить революционному делу.

¹ «Сын отечества», 1825, ч. 102, № 15, стр. 397.

ПУТЕШЕСТВИЕ В РЕВЕЛЬ

* * *

Раннее творчество Александра Бестужева, предшествующее 14 декабря 1825 года, органически связано с декабристским литературным движением. Если Рылеев в своих «думах» и поэмах создавал поэтические биографии отечественных героев, «знаменитых мужей России», не претендуя на историческую точность, но всегда памятуя о гражданских доблестях и героических подвигах предков, то Бестужев в своих исторических повестях избрал темой «описание земель и народов». Здесь мы должны напомнить о литературной программе «Вольного общества любителей российской словесности». Наряду с жизнеописанием отечественных героев «ученая республика» ставила перед собой цель создать нечто наподобие «славяно-русского Анахарсиса, путешествующего из края в край еще не разделенной России». «Соревнователь просвещения и благотворения» в 1818 году (№ 10) сообщал о своем намерении иметь следующие разделы: «Словесность древняя и новая. Исследования о свойствах языков. Древности. *Описание земель и народов. Исторические отрывки и биографии знаменитых мужей. Ученые путешествия.* Разные рассуждения, речи и вообще все любопытное по части наук и художеств». В проекте «Исторического словаря» также предусматривалось изображение «достопамятных мест и деяний». Для примера сообщалось несколько исторических картин или «достопамятных мест»: Кивач, воспетый Державиным, вид хижины Петра I, описание Илецкой защиты. Первая книжка «Соревнователя» за 1819 год открывалась жизнеописанием «великого мужа» Богдана

Хмельницкого. Украинская повесть Глинки — первая декабристская «биография великого мужа», «Поездка в Ревель» Александра Бестужева — первое декабристское «ученое путешествие». Свое «Путешествие в Ревель» Александр Бестужев в 1821 году читал на заседаниях «ученой республики» (17 и 21 января, 7 февраля и 22 ноября).

Исследователи творчества Бестужева (Т. Роболи, Н. Степанов, Н. Мордовченко) безоговорочно включали «Поездку в Ревель» в общий поток «сентиментальных путешествий». Н. И. Мордовченко в 1948 году, почти дословно повторяя Т. Роболи, писал о бестужевском «путешествии»: «Поездка в Ревель» была обработана в стернианской манере, с обилием каламбуров, сравнений и с тем острословием, которое составляло отличительную особенность критики и полемики Бестужева. Продолжив традицию жанра путешествий дюпати-карамзинского типа, Бестужев обновил этот жанр вводом стихов, включенных в прозаический текст без всякой особой мотивировки». ¹

То, что Бестужев включал свои стихи в прозаический текст «без всякой мотивировки», подтверждают цитируемые им же стихи из дневника гвардейского офицера. Но, вообще говоря, трудно себе представить обновление жанра путем «ввода стихов». Карамзинист Вл. Измайлов тоже водил стихи в «Путешествие», но вялые, полные утешительной гармонии и самолюбования, эти стихи не улучшали и не ухудшали сентиментальную литературу «путешествий», они только дополняли и уточняли образ путешественника. Бестужеву незачем было «обновлять» традиционный жанр карамзинистов своими стихами, это было сделано без него и до него. Что касается отношения Бестужева к «стернианской манере» и к «жанру путешествия дюпати-карамзинского типа», то в данном случае нет необходимости спорить и доказывать. Правильнее всего сослаться на мнение самого Бестужева. Вспоминая о ложной чувствительности и о том пагубном влиянии, которое Карамзин имел на русскую лите-

¹ Вступительная статья к «Собранию стихотворений» А. А. Бестужева-Марлинского. «Библиотека поэта», Большая серия. «Советский писатель», 1948, стр. V.

ратуру, Бестужев писал в 1833 году в статье «О романе Н. Полевого «Клятва при гробе господнем»: «Карамзин привез из-за границы полный запас сердечности, и его «Бедная Лиза», его чувствительное путешествие, в котором он так неудачно подражал Стерну, вскружили всем головы. Все завздыхали до обморока, все ринулись ронять алмазные слезы на ландыши, над горшком палевого молока, топиться в луже. Все заговорили о матери-природе, они, которые видели природу только спросонка из окна кареты! — и слова «чувствительность», «несчастливая любовь» стали шиболетом, лозунгом для входа во все общества». ¹

Такую резкую характеристику «чувствительных путешествий» Бестужев набросал пятнадцать лет спустя после поездки в Ревель. Отсюда встает вопрос: может быть, в 1820 году Бестужев придерживался иных позиций и не судил так строго о карамзинистах? Но и здесь не следует гадать. «Поездка в Ревель» не имеет ничего общего с карамзинистской литературой «путешествий». Правда, карамзинисты путешествовали не по Ливонии, а разъезжали по России, Белоруссии, Украине, Крыму и Молдавии, и везде они оставались беспечными путешественниками, приторными сентименталистами. Карамзинисты, по словам Бестужева, «вздыхали до обморока», «роняли слезы на ландыши»; мир реальный, народ, нация, история края не интересовали «сентиментальных путешественников», они проходили мимо ужасов феодализма и были безразличны к героическим традициям прошлого. В карамзинистской литературе «путешествий» нет специального «путешествия» в Ливонию. Однако в начале XIX века Ливонию посетил Александр I, «кочующий деспот» — по выражению Пушкина. Полковник Т. Е. Бок, кончивший свою жизнь в Шлиссельбургской крепости, писал об императорском путешествии в Ригу в «Записке, которая должна быть представлена и прочтена собранию лифляндского дворянства» (1818): «Император приехал, пожурил губернатора за тряску, которую он испытал по дороге, переночевал в замке, за-

¹ Здесь и в дальнейшем цитирую статьи и повести А. Бестужева по Полному собранию сочинений Марлинского (А. А. Бестужева). Изд. А. А. Каспари, СПб.

тем изругал целую дивизию, отдал приказ, выставивший его в смешном свете перед всей Европой, сказал несколько слов, одинаково незначительных для заслуженных людей и разбойников с большой дороги, глупцов и ученых, обедал, узнал за жарким, что новый тариф лишен здравого смысла, сел в карету со своим лакеем, загнал несколько дюжин почтовых лошадей и написал маркизу Паулуччи, что он нашел Лифляндию в цветущем состоянии. Бедные лошади!»¹



Наивно думать, что Бестужев, блестящий гвардейский офицер, путешествуя по Ливонии, гнушался светских знакомств и дружеских встреч, острословия и каламбуров. И все же Бестужев-путешественник не «ветренный кавалерист» и не эпигон Карамзина, его нельзя равнять с князем Шаликовым и Вл. Измайловым. Бестужев перед собой ставил серьезные познавательные цели, и его путешествие в Ревель было подготовлено предварительными размышлениями о стране, недавно сбросившей с себя цепи феодализма. Писатель-гвардеец поехал в Ревель не в качестве праздношатающегося гуляки, он не признавал бесполезного путешествия, ему было скучно и неинтересно путешествовать ради занимательной прогулки; путешествие праздному Бестужев противопоставляет путешествие целенаправленное, отсюда его признание: «Надобно учиться, чтоб с пользой путешествовать».

Еще в 1818 году Бестужев познакомился с историей Прибалтики и тогда же в «Сыне отечества» опубликовал свой перевод из сочинения графа Франца Габриэля фон Брая «Опыты критической истории Лифляндии с картинами нынешнего состояния сей области» (1817). Бестужев избрал для «Сына отечества» отрывок из третьего тома «Опытов», где изложение далекого прошлого Ливонии сменялось обзором «нынешнего нравственного и физического состояния лифляндских и эстляндских крестьян». В бестужевский перевод вошли этнографиче-

¹ Сборник «Декабристы и их время», М.—Л., 1951, стр. 199. Публикация А. В. Предтеченского.

ские страницы из сочинения баварского дипломата графа фон Брая, в которых говорилось о внешнем виде эстляндских крестьян, об их одежде, о крестьянском жилище, деревенских обычаях и обрядах, о народных праздниках, сопровождаемых танцами и пением национальных песен. Сам по себе этот труд о ливах и эстах находился под влиянием эпохи идей просвещения и отмечал отрицательные стороны феодализма. Окончание Бестужевского перевода «Опытов» в «Сыне отечества» так и не появилось; цензура не пропустила к печати те главы из истории Лифляндии, в которых говорилось о крепостном праве.

В архиве Бестужевых сохранился «Отрывок из бумаг Гр...» под названием «Краткая история латышей и всеобщее описание их» с пометкой в самом конце рукописи «С немецкого VIII+1+—». Возможно, что этот отрывок написан самим Бестужевым и предназначался для «Сына отечества». Но, так или иначе, Бестужев серьезно занимался изучением истории Ливонии, и в самое ближайшее время он совершит поездку в Ревель с целью углубления познаний в этой области. Если даже «Отрывок из бумаг Гр...» есть перевод неизвестного нам исторического труда, а не сочинение самого Бестужева, в котором действительный автор огорчился ссылкой на неизвестный источник, то и тогда эта статья характеризует Бестужева, его отношение к латышскому крестьянству. Сам по себе этот отрывок — яркая страница из прогрессивной историографии Прибалтики. В нем опровергается мнение реакционных немецко-прибалтийских составителей хроник, смотревших на Ливонию как на страну, не знавшую просвещения и культуры до появления немецко-шведских феодалов. На основе сохранившихся народных песен и летописей автор отрывка утверждает, что латыши и эсты «находились в той точке, с которой могли бы достигнуть большего просвещения, коль скоро другой народ дружественным своим обращением способствовал тому». Однако их «горестный жребий пал иначе». Немецкие рыцари-феодалы лишили латышей и эстов «всех прав человечества». «Так они приехали, эти ласковые, приятные чужестранцы, но уже не так, как миролюбивые купцы, а как кровожадные разбойники, выжегшие пашни и разогнавшие стада их. Они привезли с собой

покрытых латами воинов и, что всего злее, — лукавых попов». В результате немецко-шведского разбоя латыши и эсты были «низвергнуты в нижайшее состояние». Оглядываясь на беды порабощенного народа, автор отрывка с горечью восклицает: «Внемли меланхолическую историю Лифляндии и оплакивай в ней состояние человечества!» Но особенно замечательна та часть «Краткой истории латышей», где говорится об участи угнетенных крестьян:

«Жилища крестьян в Лифляндии рассеяны в густоте лесов, а часто и совсем отдалены друг от друга. Обыкновенно состоят они из гумна или соломою крытой хижины без труб и окон и с такою низкою дверью, что только наклонившись можно войти в нее. Там в избе, наполненной дымом, теснятся хозяин со своею семьею, работники, куры, свиньи, собаки вокруг воткнутой в щель горящей лучины; взрослые в разорванных кафтанах, дети же летом и зимою в одних только рубашках: притом все босы. Но одеяние не выражает всей бедности — посмотрите им в лицо! В искаженных, мрачных чертах их видны: голод, бесчувствие и дух невольничества. Люди, которые составляют богатство и силу земли, приобретениями коих обжираются дворянство и духовенство, сии люди должны *летом*, запустив собственные свои пашни, обрабатывать поля своих тиранов; *осенью* платить им тяжелые подати; *зимою* делать без удовлетворения частые поездки от 70 до 300 верст для провозу господского дохода; а *весною* испрашивать тщетно взаймы хлеба от тех, которых они питают, чтоб в первую жатву заплатить каждое зернышко с лихвою. Скот их, подобно им изнуренный голодом, отказывает им в молоке и часто утучняет поля их своими трупами. Они или не имеют времени для собирания корму скотине, или принуждены бывают отдать его за бесценнок для удовлетворения других, сильнейших нужд.

«Присовокупи к сим бедствиям и то, что они состоят совершенно под деспотическою властью, которая предписывает или переменяет даже домашние их учреждения, обхождение с женою и детьми и хозяйственные промыслы, определяет им все роды наказаний; присовокупи, что всякое другое состояние взирает на них с презрением, что нет никакого способа, даже при высочайшей

честности, искусстве и деятельности, не только переменить судьбу свою или достигнуть другого, высшего состояния, но ниже уменьшить угнетение или хотя один только день быть уверена во владении своею хижинною; тогда узнаешь, что необходимое следствие такого положения их — тупость чувств и всякой душевной силы, сонливость, безрассудная склонность, которая им только представится, отвращение от всех наук и самое *мрачное* неведение и суеверие». ¹

* * *

Через полтора года после выступления в «Сыне отечества» с отрывками из сочинения фон Брая Бестужев отправился в Ревель. Первое письмо из Ревеля датируется 20 декабря 1820 года. В конце октября Бестужев еще был в Петербурге: в октябре он посещал участников восстания в Семеновском полку и 15 ноября был избран в действительные члены «Вольного общества любителей российской словесности». Таким образом в Эстонию Бестужев поехал с запасом политических впечатлений и с мыслями о родине, об ужасах собственного феодализма.

Во время своей поездки в Ревель путешественник многому научился. Об этом красноречиво свидетельствует шестое письмо к другу, представляющее собой краткий конспект по истории Ливонии. Из этого письма видно, что Бестужев познакомился с работами пастора Христиана Кельха, с его «Лифляндской историей». «Кельх, — замечает Бестужев, — сохранил нам описание одного постного обеда, ревельским епископом на турнире данного: он и состоял из пятидесяти различных блюд». В «Поездке в Ревель» имеется прямое указание на знакомство с «Хроникой Ливонии» Бальтазара Руссова». ²

Показателен сам факт обращения Бестужева к историческому прошлому Ливонии. Совершенно аналогичное

¹ Институт русской литературы АН СССР. Бумаги Бестужевых, арх. № 1 (5567).

² Бальтазар Руссов (1542—1602), уроженец Ревеля, и его последователь Христиан Кельх (1657—1710) являлись представителями передовой прибалтийской историографии.

отношение к исторической теме мы видим в «думах» Рылеева. Рылеев и Бестужев, первый — на отечественном материале, используя «Историю» Карамзина и народное историческое предание, второй — на материале ливонских хроник, оба решают одну и ту же проблему: они не слепо следуют за источником, но имеют свой взгляд на события и извлекают из прошлого уроки для современности. Бестужев отбирает из ливонских хроник те исторические события, которые доказывают справедливость и разумность борьбы эстов и ливов с немецко-шведскими поработителями, и в своих окончательных выводах он совершенно самостоятелен и отнюдь не доверяет историческим хроникам, видя в них определенную политическую тенденцию. В хронике Руссова Бестужева особенно поразили картины, отражающие бесправное положение ливонских крестьян и произвол немецких рыцарей и местных феодалов. В то же самое время в ливонских хрониках, в трудах немецко-прибалтийских историографов было много тенденциозного и просто реакционного, оскорбительного для эстонского народа. Бестужев не мог не знать о существовании так называемой старшей ливонской «Рифмованной хроники» и «Хроники Ливонии» Генриха Латыша, где идеология меченосцев, немецких крестоносцев сказалась особенно отчетливо. Авторы упомянутых хроник прославляли кровавые подвиги немецких завоевателей, затушевывали социальные противоречия и выдавали рыцарей за носителей высшей культуры, избранных самим богом. Следуя в изложении описываемых событий за Руссовым, Бестужев своей «Поездкой в Ревель» и ливонскими повестями резко возражает немецко-прибалтийским историкам, изрядно потрудившимся над искажением исторического прошлого Ливонии.

В ливонских хрониках, авторами которых чаще всего являлись идеологи остзейских немцев, угнетателей Ливонии, а также в придворной рыцарской поэзии, воспевавшей завоевательные подвиги меченосцев, не могло быть «исторической истины». «Историческая истина», по словам Бестужева, заключена в «народных преданиях»; даже «баснословные вымыслы» ближе к истине, нежели некоторые хроники, низводящие эстов и ливов к грубым и непросвещенным «туземцам». В «Поездке в Ревель»

Бестужев стремится понять историю народа и без «пиитических прикрас» сообщает краткую историю Ревеля, начиная с XIII века, то есть с момента захвата эстонской земли немцами и датчанами. Знакомясь с историей Ревеля, Бестужев фактически изучал историю феодализма и феодальных отношений, принесенных немцами в Прибалтику в самых жестоких и грубых формах. В оценке немецко-бюргерского феодализма будущий декабрист обнаруживает удивительную зрелость исторических и социальных суждений. Завоевание Ливонии немецко-датскими и шведскими феодальными рыцарями принесло, по словам Бестужева, «совершенное рабство всех ливонцев». Если «Рифмованная хроника» и «Хроника Ливонии» Генриха Латыша изображала рыцарей ордена идеальными героями, поборниками чести и справедливости, то Бестужев их называет «хищниками-завоевателями». Под видом борьбы с язычеством и под девизом просвещения крестоносцы грабили эстов и ливов, «украшали жен своих перлами и дорогими алмазами, а сами охотнее наряжались в золотые цепи, нежели в стальной кирас». «Блеск золотых парчей и сияние роскоши,— пишет Бестужев,— не осветили умом рыцарей, дворян и духовных, погрязших в грубом невежестве. Они расточались на лошадей, соколов, собак и даже в церковь ходили с сими последними. Повесив меч и крест на стену, рыцари с кружками в руках подвизались на поприще разврата и напрасно в заморских винах искали мужества предков своих. Буйством встречали дни, в питье провожали ночи... По роду жизни дворян и рыцарей можно судить о разврате их нравов».

В хрониках, написанных остзейскими немцами, совершенно игнорировалось национальное своеобразие эстов и ливов, в полном пренебрежении оставались народная этнография и фольклор, народный быт и народные нравы. Даже хроника Руссова не сообщала достаточных сведений о внутренней жизни прибалтийских народов, хотя в ней и содержалась специальная «этнографическая» глава о старом времени в Ливонии. Бестужев в своих путевых письмах указывает на односторонность ливонских хроник: «На вопрос о нравах жителей револьских в особенности летопись Ливонии безответна». Недостаточно и тенденциозно ливонские хроники сообщали

о народных движениях, о национально-освободительной борьбе и крепостном состоянии крестьян. Только у Руссова Бестужев мог почерпнуть необходимые ему сведения и факты.

В «Поездке в Ревель» путешественник сообщает об одном из ярких эпизодов крестьянской войны в Эстонии: «В 1243 году эстонцы, раздраженные угнетением новых своих владельцев, подняли знамя свободы, мстительное железо их обагрилось кровью немецкою. Около двух тысяч дворян и рыцарей заплатили головами за жестокость свою... Эстонцы решили умереть с мечом в руке и легли все до одного, неподалеку от Ревеля. Их было 10 000». Здесь допущена явная опечатка или описка. Бестужев рассказывает не о событиях 1243 года, а о самом крупном крестьянском волнении 1343—1345 годов, известном под названием «Юрьевой ночи». Эстонские крестьяне не только сожгли дворянские усадьбы, но и, как сообщает об этом хроника Руссова, «выбрали они себе четырех эстонских крестьян королями». Бестужев называет эстонских крестьян «инсургентами», то есть приравнивает национально-освободительное движение в Эстонии к общеевропейскому революционному движению. Для него поражение «инсургентов» и продажа Эстонии тевтонскому ордену — большая народно-национальная драма. Героическое восстание эстонских крестьян было жестоко подавлено. «Совершенное рабство всех ливонцев было следствием сего благородного поступка, достойного Спарты и Гельвеции», — пишет Бестужев в «Поездке в Ревель».

Из ливонских хроник будущий декабрист выбирает все наиболее существенное, социально значительное, касающееся народных движений и социальных столкновений. Изобразив знаменитую «Юрьеву ночь», автор «Поездки в Ревель» обращает внимание на одно из происшествий XVI века, всколыхнувшее все ливонское дворянство. Ревельцы казнили знатного дворянина Иоанна Укселя фон Ризенберга за то, что он убил своего крестьянина. Видимо, этот сюжет понравился Бестужеву, если он целиком включил его в свои письма. Хроника Руссова сообщает о ревельской истории 1535 года: «В 1535 г. в должности ливонского магистра следовал Герман фон Брюнгеней, иначе называемый Газенкамп,

во время которого магистр знатный дворянин, по имени Иоанн Уксель фон Ризенберг, был заключен в Ревеле в тюрьму за то, что убил до смерти своего собственного крестьянина. И когда друзья убитого крестьянина заперли в городе свиту (проводящих) этого дворянина и он все-таки осмелился явиться в Ревель, тогда пошли к нему многие из его добрых друзей и граждан города, и предостерегали его, и усердно уговаривали быть особенно осторожным, потому что ему предстоит большая опасность. Он пренебрег таким предостережением и совершенно не думал, чтобы его преследовали из-за его крестьянина, а еще менее того, чтобы его схватили и приговорили к смерти. Недолго спустя приходит Бот Шредер, городской фохт, берет его под арест и ведет в тюрьму. И когда он увидел серьезность суда, то охотно желал бы видеть дело иначе; и хотя он и предлагал за себя довольно денег и добра, но ему это несколько не помогло. Наконец его казнили мечом между городскими воротами 7 мая 1535 г., что причинило большое неудовольствие всему ливонскому дворянству, и казалось дворянам большим чудом, что такой богатый и знатный человек из дворян был осужден на смертную казнь из-за крестьянина. Этим было взволновано все дворянство, преимущественно в Гарриене и Вирланде». ¹

Бестужев передает этот эпизод своими словами и еще более подчеркивает социальный конфликт: «Во время феодальной власти рыцарей над Эстонией жизнь и смерть подданных заключалась в воле владельцев. Между сими последними Иксуль, владетель Рейзенберга, отличался жестокостью к вассалам своим. Не было границ его тиранству, но были они для терпения человеческого. Должно заметить, что Ревель, в силу законов, им сохраненных, имел право каждое убийство, на городской земле совершенное, отмщевать смертью убийцы. Иксуль не знал или не хотел знать этого и в самых стенах города замучил на смерть одного из своих вассалов. Бургомистры сведали о том, и молчали, боясь в лице его оскорбить дворян. «Wo keine Klage ist, da ist kein Richter», ² — говорили они.

¹ Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края, т. II. Рига, 1879, стр. 308.

² Где нет жалобы, нет и судьи (нем.).

«Но жалобы не замедлили. Старшины поместьев Иксулевых и родственники убитого, опираясь на ревельские права, гласно требовали рассуды и, наконец, получили ее: магистр позволил им задержать преступника. Враги ждали его, друзья уведомили об опасности; он презрел тех и других, насмеялся над ратсгерами и шумным поездом въехал в Ревель. Надежда на богатство ослепила Иксуля: он был схвачен, и суд, несмотря на выкуп, за него предложенный, произнес смертный приговор.

«Приспел день казни. Раздраженные дворяне поклялись вырвать из рук правосудия собрата своего; с оружием столпились под стенами Ревеля, в надежде, что Иксуля поведут за город, но обманулись. Его подвели под Кузнецкие ворота; бесславная секира сверкнула, и голова преступника скатилась к ногам трепетных граждан (в 1535 году). Дворяне неистовствовали, но не могли копьями разбить неприступные ворота; угрозы их не поколебали башен ревельских».

Бестужева потому и заинтересовала хроника Руссова, что в ней содержалась критика феодализма, дворянских привилегий крепостного права в Ливонии, отмечались заслуги ревельских купцов перед отечеством. Все симпатии передового русского писателя были на стороне угнетенных эстонских крестьян, отсюда и общий вывод при взгляде на прошлое Ливонии: «Вечные праздники царствовали в городах и замках, вечные слезы — в деревнях».

В «Поездке в Ревель» сказался опыт боевой русской публицистики, опыт Радищева, опыт 1812 года. К делам Ливонии Бестужев отнесся как декабрист, защитник свободы, друг угнетенных наций, и в этом состоит его заслуга и главное отличие от прибалтийско-немецких историографов, сглаживавших противоречия между отдельными сословиями и решавших социальные конфликты не в пользу эстонского народа. Ясно, что «Поездка в Ревель» не может притязать на значение научного трактата, она не может соперничать с историческими хрониками. Вопрос идет о литературе «путешествий». В этом жанре Бестужев достиг многого. В его записках о Ревеле отсутствует приукрашенное изображение ливонской старины. В этом смысле «Поездка в Ревель» полемически направлена против тех историографов, которые считали Ливо-

нию феодального времени «земным раем». Взгляд Бестужева на Ливонию, страдавшую под игом немецко-шведского деспотизма, был для своего времени прогрессивным, он отвечал интересам передового русского общества и интересам эстонцев и латышей, находившихся всегда в дружественных отношениях с русским народом. Немецко-прибалтийские историографы извращенно толковали исторические события, подтверждающие союз эстов и ливов с русским народом, скрепленный совместной борьбой еще при Александре Невском против немецких и датских захватчиков. Эстония с давних пор была связана культурными и экономическими отношениями с древним Новгородом. В 1217 году Новгород совершил ряд походов в Прибалтику, и эсты всегда обращались за помощью к новгородцам, которые никогда не отказывались помогать эстонскому народу в борьбе с агрессором. Более 300 лет Ливония находилась под гнетом завоевателей, под гнетом немецких епископских государств. Только Ливонская война 1558—1561 годов привела к распаду ливонского ордена, к ликвидации немецкого владычества. В этой войне не малую роль сыграл Иван IV.¹

Бестужев в «Поездке в Ревель» дает в основном верную историческую картину Эстонии и, в отличие от немецко-прибалтийских историографов, правильно освещает русско-эстонские взаимоотношения. Присоединение Эстляндии и Лифляндии Петром I к России он считает исторически справедливым актом. «С тех пор Эстония, — замечает Бестужев, — наслаждается нерушимым спокойствием, и Ревель не видел дыма вражеского на полях окруженных». Эстония и Латвия были избавлены от немецко-шведской интервенции.

* * *

Поездка в Ревель совпала с отменой крепостного права в Прибалтике (в 1816 году в Эстляндии и в 1819 году в Лифляндии). Передовые русские люди привет-

¹ См. отчет объединенной сессии, посвященной истории Прибалтики периода феодализма, в «Известиях Отделения истории и философии АН СССР», 1952, т. IX, № 6, стр. 90—91. Краткое изложение докладов Я. Я. Зутиса и А. Л. Монгайта.

ствовали освобождение прибалтийских крестьян от крепостной зависимости и желали видеть подобные же социальные преобразования у себя на родине. В записке «Нечто о крепостном состоянии в России» Н. И. Тургенев, надеясь повлиять на правительство и дворянство, с горечью писал, что в России крепостные крестьяне «не имеют даже и прав человеческих» и «невинность страдает от беззащитности». Призывая к улучшению состояния крестьян, которое должно «нисходить от правительства», Тургенев напоминал, что «в остзейских губерниях сами помещики подали первый повод к улучшению участи своих крестьян». Освобождение крестьян в Эстляндии, в Курляндии и в Лифляндии автор записки «Нечто о крепостном состоянии в России» приравнивал к «славнейшим происшествиям в бытописаниях человечества». Значительно позже декабристы поняли, что освобождение прибалтийских крестьян не означало свободы: крестьяне были освобождены «на таких условиях, при которых положение освобожденных стало несравненно хуже прежнего». ¹ Но об этом писал И. Д. Якушкин в своих «Записках» несколько десятилетий спустя после декабрьских событий 1825 года. В двадцатые годы приветствовался сам факт освобождения ливонских крестьян.

Создавая «достопамятную хронику столицы эстонской», Бестужев понимал, что эта хроника, без сомнения, «заслуживает место в летописях нашего отечества, ибо имела сильное влияние на судьбу северных его областей».

На обратном пути из Ревеля Бестужев продолжает свои дорожные записки. В Нарве он еще раз вспоминает о прошлом Эстонии, о феодализме и феодальных рыцарях: «Гордые, жестокие рыцари мучили, как илотов, крестьян своих; враги отнимали у них, что могли, владельцы — что хотели, а они хотели всего». Долго Эстония стонала под игом немецко-шведских рыцарей и помещиков, поля господ орошались «кровавыми слезами» крестьян. Теперь рыцарские замки разрушены, бойницы поросли мхом, «феодализм лежит под их развалинами». Эстония «мало-помалу собирает силы, истощенные

¹ «Записки И. Д. Якушкина», изд. 2-е, М., 1905, стр. 20.

сими вековыми бедствиями». Но русский путешественник не желает больше думать о немецком феодализме, он едет по русской земле, и мысли его обращены в далекое национальное прошлое. Он вспоминает Игоря, бежавшего из половецкого плена, и неведомого певца, сложившего «Слово о полку Игореве». О положении крестьян в России, о русском феодализме Бестужев не говорит прямо, но об этой опущенной странице путешествия можно сказать словами автора дорожных записок: «Однако если пять человек из сотни читающих рассудят о вещи, как должно, намерение выполнено».

НОВГОРОДСКАЯ ПОВЕСТЬ

* *
* *

Не изучив должным образом историю Ливонии, нельзя было приступить к созданию исторического повествования о древнем Новгороде и Пскове. Между тем Бестужев готовился «погрузиться в тьму летописей» и приняться за «Историю Новгорода». Рассказывая о своих незавершенных замыслах, он писал в письме к Н. А. Полевому от 12 февраля 1831 года: «Когда-то замышлял я сесть на борзого... писать Историю Новгорода, моей родины... но и тогда не иначе бы принялся за труд, как проверив на месте все подробности и долго, пристально погрузясь в тьму летописей, с фонарем критики». ¹ Декабристы любили напоминать о прежней славе древнерусских республик и с восхищением отзывались о новгородском народоправстве. Рылеев в письме к Пушкину в январе 1825 года советовал ссыльному поэту воспеть новгородско-псковскую землю, «этот настоящий край вдохновения», где были «задушены последние вспышки русской свободы». Культ древнего Новгорода разделялся всеми декабристами. Пестель говорил в своих показаниях: «История великого Новгорода меня также убеждала в республиканском образе мыслей». ² 13 марта 1822 года Александр Бестужев в «ученой республике» читал свой «Отрывок из дневника гвардейского офицера», в котором воспоминание о Ледовом побоище и великом муже Александре Невском было соединено с памятью о Новгороде и Пскове.

¹ «Русский вестник», 1861, т. 32, март, стр. 295.

² «Восстание декабристов», т. IV, стр. 91.

Из Ревеля в Петербург Бестужев вернулся в самом начале 1821 года, последнее его ревельское письмо датировано 9 января. Весной 1821 года гвардия была направлена в поход в западные губернии. Бестужеву было в то время не до «Истории Новгорода». Но и в походе он не забывал о Новгороде и Пскове. Следуя вместе с армией в западные губернии, Бестужев нашел время посетить Чудское озеро, где Александр Невский в 1242 году одержал победу над немецко-литовскими рыцарями. Гвардейский офицер продолжал свой дневник. «Листок из дневника гвардейского офицера» начинается сценой встречи «путешественника» с новгородскими и псковскими рыбаками, которые «в вере держатся раскола попа Филиппа» («филипповцы»). Путешественник с любопытством посещает рыбацкий «берестяный домик», «дымный шатер», где помещается двенадцать человек: только «одна работа спасает их от заразных болезней».

В «Листке» имеются вводные стихи и бестужевские каламбуры. Это стихи особые, ничем не вяжущиеся с духом и стилем «чувствительных путешествий», которым столь резко противостоял в своих путевых записках автор «Листка»:

Он любит с пламенной мечтой
В тумане древности носиться,
И вот она, покинув глеч,
Былою жизнью оживится,
И вспять течет река времен,
И снова край отчизны зрится,
Богатырями населен.
И озеро с природой в бое
Мне кажет поле боевое.
В жужанье ветра слышу я
Свист стрел, ломание копья,
Булата звонкое крушенье
И ратных клик, и битвы гром,
И вновь в ударе роковом
Коней и всадников паденье.

Сами стихи говорят за себя. В них — энергия и мужество, «пламенная мечта» и «край отчизны», русские богатыри, боевое поле, «свист стрел, ломание копья», воспоминание о героическом прошлом родины. Такие стихи писали и Рылеев и Раевский; Бестужев-поэт — их соратник, он вводит декабристские стихи в прозу, поэтиче-

ским словом возвышает прозаическое повествование. Подобным стихам не было места в «сентиментальных путешествиях» карамзинистов.

Бестужев для того и поехал к берегам Чудского озера, чтобы собственными глазами посмотреть на псковскую землю, где в XIII веке совершилось знаменитое событие, посмотреть и запечатлеть историческое место, «начертать похвалу герою» Александру Невскому и описать битву, известную под именем «Ледового побоища». Немецкие псы-рыцари завладели Псковом, они «жгли поля и жильё, отгоняли стада, губили беззащитных», но и русские «не оставались в долгу» Александр Невский со своей дружиной «ударил на них, выбил из Пскова, с уроном прогнал восвояси».

* * *

«Историю Новгорода» Бестужев так и не написал, ему было недосуг заниматься историческим трудом в походе, но в 1823 году в «Полярной звезде» он опубликовал новгородскую повесть «Роман и Ольга», ручаясь за точность в описании нравов и обычаев новгородских, за верность простому «русскому рассказу». «Все исторические происшествия, в ней упоминаемые, — писал Бестужев о новгородской повести, — представлены с неотступною точностью, а нравы, предрассудки и обычаи изобразил я по соображению и из оставшихся памятников языка. Я старался приблизиться к простому настоящему русскому рассказу и могу поручиться, что слова, которые многим покажутся странными, не вымышлены, а взяты мною из старинных летописей, песен и сказок».

Исторический источник новгородской повести неясен. Ко времени Бестужева была дважды опубликована первая новгородская летопись («Синодальный список»), известна была и никоновская летопись, изданная Шлецером в конце XVIII века. Кроме «старинных летописей», Бестужев указывает и на другой источник: «песни и сказки». В изображении новгородского быта и народной героики Бестужев действительно придерживался

фольклорной традиции, он писал свою повесть по новгородским былинам и историческим песням. Увлечение фольклорными мотивами сказывается в эпиграфах к отдельным главам повести. Три эпиграфа в его повести взяты из народной песни.

Влияние новгородских былин о Василии Буслаеве сказывается в описании кулачного боя. «Буславич» бьется с немецким рыцарем Айфалом на торговой площади. «Вот удар, и великан Айфал сгорел от руки Буславича». Наряду с мотивами былинного эпоса в повествование вкраплены элементы народных причитаний. Во время разлуки с Романом Ольга уныло смотрит на сверкающий вдали Волхов и в тоске заливается горячими слезами: «Прости в последний раз все, что семнадцать лет меня радовало! Простите, добрые милые родители!» Сам образ Романа несет на себе отпечаток былевой поэзии, прославляющей богатырские подвиги и любовь к родине. Роман — отважный воин, и он же — песнопевец. Под звонкие гусли Роман поет «повести богатырские», то есть былины. Народными песнями навеян образ разбойничьего атамана Беркута. Этот представитель новгородской вольницы в повести Бестужева играет немаловажную роль. Благородство и демократизм новгородского ушкуйника достаточно ясно сказываются при встрече с Романом. Роман «не в худые руки попал». Убедившись, что Роман является посланцем «великого Новгорода», Беркут отпускает его с таким напутствием: «Вот твои письма, — говорил он, — и твое золото: оно невреждено. Спешу, куда зовет тебя долг гражданина, и знай, что даже и в разбойнике может таиться новгородская душа. Новгородцы лишили меня счастья в жизни и спасения в небе, но я люблю их, люблю свое отечество». В атамане Беркуте воплощалась внутренняя оппозиция социальных низов Новгорода. Этот бестужевский атаман всего более обязан фольклорной традиции, разбойничьим песням и былинам о Василии Буслаеве. Беркут нужен автору повести затем, чтобы осветить противоречия Новгорода со стороны, с позиций более демократических. Бестужев не скрывает социального антагонизма между отдельными «концами», между боярами, посадскими, торговыми людьми и ушкуйниками; он отмечает в самих новгородцах «дух раздора», наличие

в Новгороде немецко-литовской партии, действующей не в интересах новгородской республики.

События, изображаемые в повести «Роман и Ольга», приурочены непосредственно к концу XVI века, когда отношения между Москвой и Новгородом стали особенно напряженными. В преклонении перед новгородским народоправством Бестужев утрачивал чувство исторической перспективы, явно преувеличивал степень новгородской «вольности» и недооценивал прогрессивную роль московского государства. Этого преувеличения не избежала вся декабристская историография, строившая свою концепцию русского исторического процесса с учетом республиканских традиций древнего Новгорода. В повести «Роман и Ольга» Бестужев всего ближе подошел к декабристским политическим мечтаниям. На новгородской площади решаются важные государственные дела, речи новгородца Романа полны свободолюбия и высокого патриотизма. Патетические речи Роман приносит на площади и в темнице, когда Евстафий Сыта, бывший княжий наместник, предлагает ему изменить Новгороду. «Если б я принял твое предложение бывши на воле, то я стал бы изменником, но теперь сделался бы презренным трусом!.. Нет, Евстафий, мне, видно, одна невеста — смерть, и одной милости прошу от князя: не морить, а уморить меня поскорее». Бестужев любит веское, убеждающее слово, суровые фабулы и массовые сцены, где проявляется народный патриотизм. Если бестужевский герой одинок, то не по своей вине: он не перестает бороться даже в темнице.

* *
*

«Листок из дневника гвардейского офицера» и повесть «Роман и Ольга» в какой-то степени восстанавливают взгляд Бестужева на историю Новгорода и Пскова.

Декабристы имели на некоторые периоды русской истории свою собственную точку зрения. Так, Никита Муравьев горячо «выговаривал Карамзину за его похвалы самодержавию, за монархический дух его исто-

рии». ¹ «История принадлежит царю», — писал Карамзин. «История принадлежит народам», — возражал ему Муравьев. М. А. Фонвизин в «Обзрении проявлений политической жизни в России» замечал, что историки, особенно Карамзин, были скупы на такого рода подробности, как устройство земской думы; они «говорили о них слегка или вовсе пропускали появление в России политической свободы и те учреждения, которые ей благоприятствовали». М. А. Фонвизин писал свое «Обозрение» после 1825 года, но в нем нельзя не почувствовать прежних декабристских исторических взглядов. Декабристы считали, что народная поговорка «Великий Новгород — государь наш!» не есть фикция, что в средние века русские были «на высокой степени гражданственности» и «наслаждались политической свободой». Декабристы восторженно отзывались о новгородском вече, по приговору которого «изгонялись сами князья и на место их призывались другие на княжение». ² Прославлением древних республик деятели Северного общества думали подтвердить свои взгляды, оправдать свою политическую программу, как завещанную предками, исторически обоснованную. В этом отношении особенно показателен «Катехизис» Никиты Муравьева. Отвечая на вопрос Следственного комитета 12 января 1826 года, Н. Муравьев признавался: «Катехизис, писанный мною, имеет только цель доказать необходимость ограничения властей и пользу представительных собраний. Он приводил в доказательства веча, существовавшие в Киеве, Владимире и Москве при великих князьях российских и под их председательством». набросок «Катехизиса» заключал следующий «любопытный разговор»:

«Вопр. Что значит вече?

«Отв. Собрание народа. В каждом городе, при звуке вечевого колокола, собирался народ или выборные, они совещали об общих всем делах; предлагали требования, постановляли законы, назначали, сколько где брать рат-

¹ Извлечения из рассуждения Н. И. Муравьева об «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина напечатаны в книге М. Погодина. «Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников», ч. 2. М., 1866, стр. 199—203.

² «Общественное движение в России в первой половине XIX века», т. I. СПб., 1905, стр. 102—103.

ников, устанавливали сами с общего согласия налоги; передавали на суд свой наместников, когда сии грабили или притесняли жителей. Таковы вечи были в Киеве на Подоле, в Новгороде, во Пскове, Владимире, Суздале и Москве». ¹

«Поездка в Ревель» и новгородская повесть Бестужева, а также сама попытка взяться за «Историю Новгорода» свидетельствуют, что Александр Бестужев был не только зачинателем подлинно декабристской прозы и публицистики, но и одним из первых декабристских политических и исторических писателей. В ответах на вопросные пункты Следственного комитета Бестужев признавался, что «по наклонности века» он «наиболее принадлежал к Истории и Политике». ²

¹ «Любопытный разговор», составленный в начале 1822 года, полностью напечатан в I томе «Восстания декабристов», стр. 321—322.

² «Восстание декабристов», т. I, стр. 230.

ЛИВОНСКИЕ ПОВЕСТИ

* * *

В «Поездке в Ревель» лежит ключ к так называемым рыцарским повестям Бестужева: «Замок Венден», «Замок Нейгаузен», «Ревельский турнир», «Замок Эйзен». Эти повести продолжительное время трактовались литературоведами совершенно неверно. Так, в работе Т. Роболи декабрист Бестужев не только превращен в подражателя Карамзина, но и окончательно заслонен именами иностранных писателей, от Стерна до Анны Редклиф включительно. В странном противоречии с самим собой оказался Н. Л. Степанов: он правильно утверждает, что идейное содержание ливонских повестей связано «с настроениями и мировоззрением декабристов», что в этих повестях звучит протест «против жестокости средневековых феодалов, попирающих человеческие права». Однако это не мешает ему повторять построенное на чисто формальных соображениях утверждение Н. Коварского о влиянии готического романа А. Редклиф на повести Бестужева. Влияние готического романа, по словам Н. Л. Степанова, «сказалось в элементах фантастики, нагромождении ужасов, мелодраматизме сюжетной ситуации и диалогов, в обязательной бутафории средневековых замков». Трудно представить себе, что повесть такого рода, вся построенная на внешних эффектах, могла нести серьезные идеологические задания. Н. И. Мордовченко не только не опровергнул своих предшественников, но и вообще ничего не сказал о декабристском звучании ливонских повестей. По словам Н. И. Мордовченко, в этих повестях Бестужев «был еще связан

с традициями «готического» романа тайн и ужасов, созданного А. Редклиф и очень популярного в начале XIX века». Далее Н. И. Мордовченко говорит о полном отсутствии в бестужевских повестях исторического колорита: «На первом плане здесь выступали археологические и бытовые подробности, исторические названия и имена; что же касается до сюжета и героев — они не имели ничего общего с историческим правдоподобием».¹ Оспаривая мнение Н. И. Мордовченко, В. А. Архипов склонен считать, что романы Редклиф «утверждали принцип господства феодального замка», тогда как в «повестях Бестужева передавалась история уничтожения замка, что является выражением гибели феодализма».² Но В. А. Архипов не принимает во внимание, что А. Редклиф изображает «ужасы» феодальных замков, феодальное бесправие, феодальную тиранию как темное царство, с целью прославить буржуазную современность, в которой, как полагает писательница, окончательно утвердились свобода и свет разума. Феодальный замок у А. Редклиф всего лишь тема и отнюдь не идеал. Не следуя традициям готического романа и не отвергая их, Бестужев создавал свои повести, опираясь на ливонские хроники. В основе этих повестей лежит декабристское отношение к историческому прошлому Ливонии и к феодализму.

Свою первую ливонскую повесть «Замок Венден» Бестужев писал во время походов в западные губернии: повесть была закончена 23 мая 1821 года. Немаловажно отметить, что Никита Муравьев в походе работал над созданием своего конституционного проекта. Это совпадение не случайно не только в Эстонии, но и в Литве, в Белоруссии, во всем своем отечестве декабристы видели на каждом шагу проявление феодальных отношений, сюжеты, подобные ливонским. Через десять дней после окончания повести «Замок Венден», 2 июня 1821 года, Бестужев писал из Витебской губернии в письме к матери: «Жаль только видеть господских

¹ См. «Собрание стихотворений» А. А. Бестужева-Марлинского. «Библиотека поэта» Большая серия. «Советский писатель» 1948, стр. XXXIV.

² В. А. Архипов. А. А. Бестужев-критик и литературная борьба 20-х годов XIX века (1818—1825). Автореферат диссертации М., 1950, стр. 6.

крестьян, латышей и поляков и частично русских, которые здесь все раскольники-филиппоны. Ни на одном нет лица человеческого — бледны, худы, измучены... Можете представить себе их положение». ¹ Таковы были первые впечатления гвардейского офицера во время похода в западные губернии.

В повести «Замок Венден» Бестужев изображает жестокого магистра Рорбаха. Магистр ордена меченосцев, гоняясь за зайцами, «топчет конями хлеб, орошенный кровавым потом», и «казнит подданных за послушание к власти». «Эти получеловеки, — говорит фон Рорбах о крестьянах, — служат, покуда у них рогаки на шее и страх над головою!» Правда, в повести образу тирана-магистра противостоит «благородный рыцарь» Вигберг, защитник угнетенных крестьян, но это не значит, что Бестужев критику феодализма сводил к порицанию деспотии отдельных лиц. Бестужев не щадит феодалов, но и не желает, чтобы социальный конфликт решался волей народа: мстителем за угнетение народа выступает «благородный рыцарь», а не простой эстонский крестьянин. Бестужев ограничивается изображением протеста Вигберга, доводя его до конца, до убийства магистра-тирана. Рыцарь-мститель действует с кинжалом в руках. «Мщение и смерть магистру», — говорит он. Вместо обычного рыцарского турнира — заговор против Рорбаха, убийство феодального тирана. Бестужев не переоценивает поступка Вигберга, он понимает, что такого индивидуалистического бунтарства недостаточно, что убийство одного тирана-магистра еще не трогает основ феодализма: «Не стало магистра, но власть его осталась, и самосудный убийца, растерзанный муками, погиб на колесе». Но такому «самосудному убийце» Бестужев способен простить многое, потому что он убил не личного недруга, а самовластного злодея.

Ливонские феодальные рыцари лишены какого бы то ни было благородства; Вигберг — редкое исключение, он противопоставлен ордену, среде, которая его вскормила. «Рыцарские» повести Бестужева направлены против самого рыцарства. По своей идейной основе они ближе

¹ Сборник «Памяти декабристов», т. I. Л., 1926, стр. 26.

стоят к эстонским эпическим песням («Калевипоэг») и народным преданиям о псах-рыцарях, нежели к рыцарской средневековой поэзии, поэзии трубадуров; в них нет идеализации ордена и средневековой романтики.

* * *

Нравственных основ ливонского рыцарства Бестужев касается в повести «Замок Нейгаузен» (1824). Здесь Бестужев отмечает противоречия в самой рыцарской среде. Действующие лица повести — старый барон Отто и его семья — становятся жертвами бессовестнейшего коварства рыцаря Ромуальда фон Мея, влюбившегося в Эмму, жену сына Отто — Эвальда, и, не встретив взаимности, оклеветавшего ее перед мужем.

Семья старого барона необычна для той исторической обстановки: оставив рыцарские доспехи, Эвальд занимается садоводством и женится не на знатной девице, а на бедной сироте Эмме (впоследствии оказывается, что Эмма — русская девушка Марфа, двухлетней похищенная у родителей немецкими меченосцами во время одного из разбойничьих набегов). В этой семье находит приют пленный новгородец Всеслав, впоследствии вместе со своим другом, тоже пленным новгородцем, Андреем спасший Эвальда из рук Ромуальда фон Мея, готовившего над ним кровавую расправу.

Очень легко свести сюжет этой повести к обычной ссоре из-за женщины двух рыцарей тевтонского ордена и таким образом представить повесть в свете готическом; однако более внимательный ее анализ не позволит сделать такое заключение. В самом деле: вместо прославленной в готическом романе рыцарской дружбы — вероломство, вместо рыцарского обожания женщины — коварство и клевета; «священный тайный суд» — игрушка в руках ливонских феодалов, судьи всегда на стороне сильного и могущественного.

Не случайно Бестужев ввел в повесть новгородцев Всеслава и Андрея: он снова хотел напомнить о том, что между эстонцами и новгородцами возможны самые дружеские отношения, — ведь и история Ливонии, начиная

с XIII века, дает примеры совместной борьбы русских и эстонцев с немецко-шведскими захватчиками. Желая подчеркнуть эти дружеские отношения, Бестужев «поручил» помогать новгородцам в деле спасения Эвальда эстонскому крестьянину, кормщику ладьи, ибо и он также ненавидел «злодея» — рыцаря Ромуальда. Эстонец перевозит новгородцев на остров Эйзель, где томится в темнице ни в чем не повинный Эвальд. Всеслав и Андрей освобождают его из заточения и выбрасывают рыцаря Ромуальда из окна башни, чтобы он «не заражал воздух своим дыханием».

* * *

В рыцарских повестях Бестужева мы видим Ливонию с момента завоевания немцами этого края до ликвидации ордена в русско-ливонской войне 1561 года. В «Ревельском турнире», появившемся в «Полярной звезде» на 1825 год», запечатлен самый последний период существования немецко-ливонского рыцарства. Зерно этой повести находится в «Поездке в Ревель». Рассказывая об исторических памятниках Ревеля, Бестужев останавливается перед бывшим рыцарским замком, сохранившим предание о турнире 1538 года.

Во время турнира, на котором присутствовали все ливонские рыцари и дворяне во главе с гермейстером Бруггенеем, неизвестный рыцарь вызвал на поединок самого лучшего бойца. Это был простой ревельский торговец. В хронике Руссова имеется аналогичный рассказ:

«Когда купеческий приказчик сбил дворянина, то некоторым из дворян это было очень неприятно, что купец одержал победу на арене перед князем-магистром и другими сословиями: в среде дворян послышались недовольные речи, чрез что поднялся такой шум между дворянами и бюргерами с их сторонниками, что все лезли вон из кожи и ничего не было слышно, кроме одних угрожающих криков. Магистр с ратуши усмирал крики рукою и словом, бросил в шумящий народ свою шляпу с головы и хлеб со стола, дабы усмирить толпу; но ничего не помогло. Гильдии и пивные дома были наскоро заперты, чтобы те, которые в них находились, не могли выйти

и усилить тревогу. Наконец это смятение усмирил Фома Фегезак, бургомистр, который был человек значительный».¹

В изображении ревельского турнира Бестужев следует за хроникой Руссова, но еще более оттеняет антагонизм между ревельскими купцами и их противниками — рыцарями и дворянами. Достаточно, например, сказать, что бестужевское описание турнира включает хотя бы такой диалог:

«— А! коли так, бейте черноголовых! — закричали рыцари.

«— Рубите пустоголовых! — восклицали шварценгейптеры, кидаясь к ним навстречу, и вмиг мечи запрыгали по латам, и бой завязался».

Бестужев развертывает исторический эпизод в самостоятельный сюжет, он создает на основе исторического факта художественное повествование, в котором углубляется социальный смысл темы. Сам поединок в изображении Бестужева едва не превращается в открытое сражение между купцами и рыцарями-дворянами.

Ревельский купец не только побеждает в поединке рыцаря Унгерна, но и получает руку царицы турнира Минны, дочери барона Буртнека. Барон Буртнек, тоже рыцарь ливонского ордена, спесивый и высокомерный, сначала не соглашается выдать замуж свою дочь за человека, у которого «родословная в счетной книге, у которого нет герба». Бестужев ставит ревельского купца несравненно выше его противников, выше окружающей его среды. Нравственный облик Эдвина выгодно отличается от вечно пьяных и обжирающихся рыцарей и пустоголовых дворян. Эдвин храбрее рыцаря Унгерна, в нем есть что-то живое и непосредственное, пылкое и искреннее: «Он умел и мечтать и чувствовать, а рыцари ливонские могли только смешить и редко, редко забавлять... Он привык к приличиям светским и образованности, ловкостью далеко превосходил рыцарей Ливонии, которые росли на охоте, а мужали в разбоях, рыцарей, неприветливых с дамами, гордых во всем, заносчивых между собою, предпочитающих напиваться за здоровье красавиц

¹ «Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края», т. II. Рига, 1879, стр. 309.

в своем кругу, чем проводить время в их беседе». О ливонском дворянине Люфте, подражающем во всем немецким рыцарям, Бестужев пишет иронически. «Он сочиняет надгробные надписи и свадебные песни, проекты рыцарям для впадения в землю неприятелей и для свидания с женами приятелей; смотрит в зубы лошадям, сводит купцов и лечит охотничьих собак... Это самая светлая голова изо всего Ревеля».

Повесть «Ревельский турнир» кончается вполне благополучно для купца Эдвина. Победенный в турнире Унгерн уже не мог претендовать на руку и сердце Минны, ее женихом становится Эдвин. Разоряющийся Буртнек находит в лице зятя-купца моральную и материальную поддержку и сменяет гнев на милость, видя в дочери и зяте победителей: «Эдвин и Минна, милые дети мои, пробудитесь для новой жизни!»

Вообще в ливонских повестях много преддекабристского и прямо декабристского. «Ревельский турнир» легко объясняется отношением Бестужева-декабриста к купеческому сословию. Недостаточно было в хронике Руссова найти рассказ о ревельском турнире, не менее важно было изобразить ревельского купца так, чтобы он оказался выше и рыцарей и дворян-феодалов. Здесь, бесспорно, сказались симпатии декабриста к русскому купечеству. И в России Бестужев видел упадок торговли, стеснение купеческого сословия, и фигура ревельского купца, вышедшего из турнира победителем, была весьма кстати. О значении торговли и купеческого сословия в экономическом развитии России Бестужев писал в трактате, представленном на рассмотрение Николая I.

Изображая превосходство ревельского купца над ливонскими рыцарями и дворянами, Бестужев трезво относится и к купечеству как социальной силе: рыцари отжили свой век, они должны потесниться перед новым классом, отвоевывающим свое право на жизнь; ливонское дворянство, выступающее в одном лагере с рыцарями, тоже не является той исторической прогрессивной силой, на которую следует опираться, но и ревельские купцы мечтают стать дворянами, они скоро привыкают к пышности и роскоши, в них тоже сказывается классовый эгоизм и меркантильность духа. В целом Бестужев дает довольно правдивую картину Ливонии XVI века,

раздираемой сословными противоречиями и находящейся на грани кризиса феодализма.

Показательна в «Ревельском турнире» небольшая вставная глава (шестая), к которой Бестужев, прибегая к публицистическому рассуждению, дает такую характеристику ливонской действительности XVI века:

«Между тем купцы, вообще класс самый деятельный, честный и полезный из всех обитателей Ливонии, лестиные легкостью стать дворянами через покупку недвижимостей или подстрекаемые затмить дворян пышностью, кидались в роскошь. Дворяне, чтобы не уступить им и сравниться с рыцарями, истощали недавно приобретенные поместья. Рыцари, в борьбе с ними обоими, закладывали замки, разоряли вконец своих вассалов, и гибельное следствие такого неестественного надмения сословий было неизбежно и недалеко. Раздор царствовал повсюду: слабые подкапывали сильных, а богатые им завидовали».

В этой ливонской повести почти ничего не сказано об эстонских крестьянах. Однако и то, что проскальзывает в одной из реплик Буртнека, заслуживает внимания и может быть расшифровано на основании хроники Русова. В повести промелькнул образ слуги эстонца, который однажды «вбежал и смиренно остановился у притоки с раболепно-восклицательным лицом». Барон Буртнек обозвал его «истуканом» и грозно закричал:

«— Кружка эта пуста, как твоя голова... Куда, несчастное животное, куда?..»

Проводив слугу эстонца презрительным взглядом, барон Буртнек продолжал беседовать с приятелями: «Проклятый народ!.. Скорее медведя выучишь плясать, чем эстонца держаться по-людски. Еще таки в замке они туда и сюда, а в городе — из рук вон; особенно с тех пор, как здешняя дума дерзнула отрубить голову рыцарю Иксулю за то, что он в стенах ревельских повесил часа на два своего вассала».

О казни дворянина Иоанна Укселя фон Ризенберга (Иксуля) мы уже говорили. Бестужев в «Ревельском турнире» вскользь указывает и на народ как на силу, самую смелую и решительную в борьбе с ливонскими рыцарями и дворянами. Но Бестужев не выдвигает эстонских крестьян и ремесленников на подобающее им

место в истории, народ находится как бы за кулисами исторических событий, он не участвует в схватке с угнетателями. В повестях Бестужева дворяне сами сводят счеты друг с другом — в поединках, в дуэлях политического характера; у него оппозиция дворянству обыкновенно возникает в среде самого дворянства и из этой среды не выходит.

В этом отношении выгодно отличается от бестужевских ливонских повестей «эстонская повесть» Кюхельбекера «Адо», появившаяся в первой части «Мнемозины» за 1824 год.

* *
* *

В повести Кюхельбекера изображается замок рыцаря Убальда, символ этого замка — «топор и плаха». «Каждый помещик, не относясь ни к кому, — пишет Кюхельбекер, — мог без всякого суда предавать смерти любого своего подданного, навлекшего на себя его негодование». В оценке немецких «псов-рыцарей» Кюхельбекер руководствуется мнением эстонского народа. Кюхельбекер приводит текст народной песни, которую поет эстонец Нор, плывя вместе с новгородцами по Чудскому озеру. Эта песня прекрасно комментирует сюжет повести «Адо»:

.
Наши нивы тучные
Кони немцев топчут,
Под бичом мучителя
Старцы тщетно ропщут;
Девы обесславлены,
Юноши в неволе,
Кости наших витязей
Тлеют в чистом поле!

Вместе с тем Кюхельбекер показывает героическую борьбу эстонского народа с немецкими рыцарями и помещиками. «Неукротимый сын вольности» Адо, его дочь Мая и юноша Нор — защитники национальных и народных интересов, они «решились снова восстать на немцев, свергнуть иго их или погибнуть». Адо заточен в темницу, он узник Убальда, предлагающего Мае купить свободу отца ценой своей невинности. Тиранин остается тиранином всегда и везде, в отношениях к женщине он тоже

деспот. Но Мая — истинная патриотка и гражданка, она не желает идти ни на какие сделки с тираном и всегда помнит завет своего отца: «Будь тверда! Своим бесславием не спасешь меня: умри свободною, чистою моею дочерью!» В конечном итоге умирает рыцарь Убальд, он погибает под ножом народных мстителей. В лице новгородцев герои эстонского народа находят своих покровителей и союзников. Кюхельбекер в своей «эстонской повести» прославляет национальную, народную героиню, «неукротимых сынов вольности». Это тоже декабристская повесть, хотя она и выросла на эстонском материале и названа Кюхельбекером «эстонской повестью».

* * *

Ливонские повести Кюхельбекера и Бестужева отнюдь не бутафория средневековых замков. В них постоянно присутствуют элементы исторического правдоподобия.

Реалистические принципы исторического повествования нашли отражение в эпиграфе к «Ревельскому турниру»: «Вы привыкли видеть рыцарей сквозь цветные стекла их замков, сквозь туманы старины и поэзии. Теперь я открою вам дверь их жилища, я покажу их вблизи и по правде». Но Пушкин был совершенно прав, когда указывал на «романтические переходы» в исторических повестях Бестужева. «Твой «Турнир», — писал Пушкин в письме к Бестужеву в 1825 году, — напоминает турниры Walter Scotta. Брось этих немцев и обратись к нам, православным; да полно тебе писать *быстрые* повести с романтическими переходами — это хорошо для поэмы байронической. Роман требует *болтовни*; высказывай все начисто». Пушкин требовал от Бестужева подлинного историзма. Приветствуя в бестужевских повестях «необыкновенную живость», Пушкин возражал против условностей романтического стиля и мелодраматических эффектов. Но эти же недостатки Пушкин отмечал и в «думах» Рылеева. Отзыв о бестужевском «Ревельском турнире» не случайно напоминает отзыв Пушкина о «думах» Рылеева. Отсутствие подлинного историзма, некоторый схематизм, «быстрые переходы» действия, патетические монологи, метафорический слог, условность самого сю-

жета — все это показательно и для «дум» Рылеева и для исторических повестей Бестужева.

Главное все же состоит в одинаковой идейной структуре рылеевских «дум» и бестужевских исторических повестей. Рылеев и Бестужев не могли отказаться от «романтических переходов», не могли они и «высказывать все начисто». Для них «высказывать все начисто» означало «начисто» высказывать свои декабристские взгляды и открыто призывать к борьбе с самодержавием. Литература должна воспитывать, убеждать, доказывать. Рылеев в своих «думах» и поэмах не стеснялся в образах и сюжетах далекого прошлого изображать самого себя и декабристскую действительность. Этого требовала историческая минута, декабристская пропаганда, конечная политическая цель. Бестужев в своих исторических повестях не расходился с Рылеевым. Он ставил историю на «театральные ходули» в том смысле, что сближал ее с современностью.¹

¹ Подобный «романтический маскарад» отсутствует в ливонской повести Николая Бестужева «Гуго фон Брахт». В ней тоже изображаются ливонские средневековые замки, морские сцены, рыцарские набеги, похищение красавиц, месть и кровопролития. Но Н. Бестужев не превращает свою повесть в своеобразную политическую аллегория. Для него рыцарь есть прежде всего рыцарь, фигура историческая. Ливонский рыцарь Гуго Брахт убивает юного датского рыцаря Генриха и его жену Иду, но и сам он был жертвой вероломного Келлера. Рыцари ссорятся между собою, но все они рыцари-разбойники, и Н. Бестужев не желает их превращать в героев XIX века, он не ищет среди рыцарей их же антагонистов: рыцарей-тиранов и рыцарей-тираноубийц.

ПОВЕСТЬ «ЗАМОК ЭЙЗЕН» («КРОВЬ ЗА КРОВЬ»)

* * *

В своей последней ливонской повести Бестужев дает окончательную и, нужно сказать, блестящую характеристику феодальных рыцарей: «Однако и рыцари,— пишет Бестужев,— были не промахи. Как строили чужими руками замки, так и говорили: это для обороны от чужих; а как выстроили да засели в них, словно в орлиные гнезда, так и вышло, что для грабежа чужой земли. Таким-то побытом владел этим замком барон Бруно фон Эйзен». Немецкие и шведские бароны принесли в Прибалтику огонь и меч, а не культуру, о чем разглагольствовала немецкая и реакционная латышско-эстонская националистическая историография. Барон Бруно — рыцарь-бандит, а его оруженосцы — «страшные, оборванные, однако при шпаге, и железный картуз набекрень». Эти разбойники разгуливали «по хижинам эстонцев, поколачивая их для препровождения времени, ласкали их дочек и брали контрибуцию с жен чем бог послал». Под видом борьбы с язычеством и распространения христианства барон Бруно свирепо и бесчеловечно угнетал эстонский народ, не отставая в угнетении «от своих сотоварищей» и даже в некоторых отношениях превзойдя их.

«Вот подоплет, бывало, барон с соседями, да и расходится индюком: «Я ли не я ль?» По плечу себе никого не приберет, он-то всех храбрее, он-то всех благороднее! А чуть-чуть кто покосился, он и в ссору да в брань, а там долго ли до железа? Кончится, бывало, тем, что гость приедет верхом, а вынесут его на носилках, еще за милость, коли без уха или без носу, а то часто навеки от зубной боли вылечивался. Этого мало: разгневался на

соседа — на конь с своей дворней и псарней и пошел топтать чужие нивы, палить чужие леса. Упаси боже повстречать его в такой черный час! Завидел эстонца — и скачет к нему с поднятым тесачищем: «Читай *Верую во единого*, бездельник!» — и тот и обомлеет на коленях, ведь по-немецки ни слова. — «Эй мойста!»¹ — «Читай, говорю!» — «Эй мойста». — «А! так ты упрямышься в своем язычестве, животное!.. Я же тебя окрещу!» — Бац, и голова бедняги прыгала по земле кегельным шаром, а барон с хохотом скакал далее, проговоря: «*Absolvo te!*», т. е. разрешаю тебя, — затем, что они, как духовные рыцари, могли вместе губить тело и спасти душу. Таково было чужим, каково же своим-то было? Понравился конь у крестьянина. «Пергала! Меняй свою лошадь на мою кривую собачку!» — «Батюшка барон! Мое ли дело охотиться, а без коня куда я гожусь?» — «На виселицу, бездельник! Ты должен быть доволен тем, что я позволю тебе усыновить от нее щенков и что жена твоя будет выкармливать двух для меня своей грудью!..» — Зальется бедняга горячими, да и пойдет в холодную избу за пустую чашку. Не то еще бьют, да и плакать не велят.

Это уже не только реальный портрет ливонского барона, но и вообще портрет крепостника, не знающего границ в своем самодурстве.

И в этой повести Бестужев ссылается на ливонскую хронику: «Нравы и случаи сей повести извлечены из ливонских хроник». Однако на этот раз ссылка на ливонские хроники не имела существенного значения, она была сделана для отвода глаз цензуры. Бестужев затушевывал подлинный смысл своей повести и реальный ее источник. Упоминая о ливонской хронике, он отсылал также «к одному из наших капитанов, известному охотнику до исторических былей и старых небылиц», который якобы пересказал ему все, что узнал от пастора. Таким охотником до разных исторических былей и небылиц и был сам Бестужев. Среди ливонских рыцарей тевтонского ордена не встречается барон Бруно фон Эйзен. Владелец замка Эйзен — вымышленное лицо, но в своих основных чертах чрезвычайно типичное, исторически правдоподобное. Вместе с тем Бестужев рассказывает

¹ Не понимаю. — *Примечание А. Бестужева.*

о немецком феодале так, будто речь идет не только о нем, но и о русском помещике. Да и весь колорит повести столь же ливонский, сколько и русский. Не случайно Бестужев в этой повести широко привлекает образы и мотивы русских сказок и при помощи их перекрашивает ливонский сюжет, настраивает его на русский лад. Начало этой повести напоминает типично сказочный зачин: «Этому уж очень давно, стоял здесь замок по имени Эйзен, т. е. железный. И по всей правде он был так крепок, что ни в сказке сказать, ни пером описать; все говорили, что ему по шерсти дано имя». Состязание в стрельбе из лука, посещение бароном Бруно избушки на курьих ножках, образ старой колдуньи и описание ее колдовства — все эти эпизоды встречаются в русских народных сказках. Характеристики Регинальда, племянника Бруно, и его невесты Луизы тоже сделаны по-народному, в духе «старинных небылиц»: «Молодец был он статный, красивый; ну вот и приглянись ему дочь одного барона, по имени, дай бог памяти, кажется, Луиза... Девушка она была пышная, как маков цвет, а белизною чище белого снега...» «Сказывая» в русской манере о делах Прибалтики, Бестужев внушает читателю, что эти дела не так далеки, что они творились не где-нибудь за тридевять земель. Эта манера русского «сказа» создает впечатление, что жизнь и быт Прибалтики лежат в одном измерении с жизнью и бытом русской империи; быть может, то впечатление, что прибалтийские дела есть *часть* русских дел. Свет критики феодализма распространяется и на ближайшую с Эстляндией страну, на Россию, где есть свои феодалы, свои помещики-крепостники и с русскими и с немецкими фамилиями.

В ливонских повестях, с их рыцарскими замками и средневековым феодальным бытом, постоянно выделялась действительность более близкая, узнавались характеры более современные. Сюжеты местные, ливонские выходили за пределы одной страны, одного края, они приобретали более широкий смысл. Это не значит, что ливонские повести — шифр, иносказательные описания, аллегории. Бестужев изображал прежде всего Ливонию, ливонский феодализм, но нельзя отрицать и того, что в них, кроме изображения конкретно-исторических событий и фактов, характеризующих феодально-рыцарские отношения в Прибалтике, кроме критики немецко-ливон-

ского феодализма, содержались идеи и обобщения, связанные непосредственно с антифеодальным мировоззрением декабристов.

Бестужев обошел современную русскую действительность, однако «сведения о статистическом состоянии России с разных сторон» у него были собраны, материал для повести о современной России у него имелся, и он был не мал. Но и его ливонские повести выходят за пределы одной страны, ливонские феодалы имеют много общего с русскими помещиками, и те и другие — прежде всего изверги, угнетающие человечество. Да и сама тема о немецко-ливонских баронах, об остзейском дворянстве в двадцатые годы XIX века была по-своему темой русской, близкой русской действительности, так как Прибалтика была частью России, — это были российские губернии. Остзейская аристократия занимала в Петербурге ответственные государственные посты, настойчиво добивалась власти и имела сильное влияние на реакционную политику Александра I. «Предпочтение немецких фамилий перед русскими, — писал Бестужев из Петропавловской крепости, — обижало народную гордость. Тогда-то стали говорить военные: для того ли освободили мы Европу, чтобы наложить ее цепи на себя». Напомним также, что Рылеев и А. Бестужев являются авторами популярной среди декабристов песни «Царь наш, немец прусский»:

Царь наш, немец прусский,
Носит мундир узкий...

Царствует он где же?
Целый день в манеже...

Прижимает локти,
Забирает в когти...

Судьи все жандармы,
Школы все казармы...

Аналогия между средневековой Ливонией, где немецкие рыцари-феодалы в течение многих столетий угнетали эстов и ливов, и александровской Россией, где самодержец преклонялся перед всем прусским и старался превратить страну в казарму прусского образца, была доступна сознанию тогдашнего читателя. О содержании ливонских повестей можно сказать словами самого Бесту-

жева: «Политика, устраняя лица, смотрит только на факты». А факты, о которых рассказывал Бестужев в своих ливонских повестях, характеризовали не только Ливонию, но и Россию, сквозь ливонское прошлое просвечивала современная крепостническая действительность.

Феодал Бруно был хозяином железного замка в Эстонии, но и русские помещики ему были под стать. Основной конфликт повести «Замок Эйзен» в одинаковой степени характеризует и феодальную Ливонию и крепостническую Россию. Подобный же сюжет, но уже чисто русский, мы видим в «Дубровском» Пушкина. «Замок Эйзен» и «Дубровский» — повести одного социального плана. Пушкин не закончил своей повести, не рассказал о поединке Дубровского с Троекуровым. Но это сделал задолго до Пушкина Бестужев, прикрыв тираноборческий сюжет ссылками на ливонскую хронику и одев своих героев в рыцарские доспехи. В своей последней ливонской повести Бестужев пошел на прямое сближение рыцарских сюжетов с декабристской политической моралью, с декабристской идеей социального мщения. Барон Бруно находит справедливого мстителя в лице своего племянника:

«— Теперь ты в моих руках, злодей! — говорит Регинальд, привязывая его к дереву... — Пришел конец твой. От меня, брат, не проси и не жди пощады, ты сам никому не давал ее».

В повести «Замок Эйзен» отсутствует мотив наказания «самосудного убийцы»: «самосудному убийце» нельзя «отказать в сострадании», но есть еще некий метафизический закон правосудия, и этот закон ведет Вигберга («Замок Венден») на колесо. Развертывая тираноборческий сюжет, переходя от падения к падению, от одного тирана к другому, Бестужев в своей последней ливонской повести ничего не говорит об обратной стороне правосудия, о наказании «самосудного убийцы». Традиционный вопрос остается: «Да только правы ли убийцы?» Но теперь, в 1825 году, Бестужев отвечает без всякой рефлексии, он приветствует справедливое возмездие: «Бруно погиб, и дельно: он был виноват». Регинальд осуждается только за то, что убил тирана «невольной», руководствуясь страстью личной мести. Нужно было, по словам Бестужева, «восстать против него явно». Регинальд «малый благородный, добрый», но и он нуждается

в критике. Совсем недавно Регинальд «ходил с дядей на разбой». — «Конечно, — пишет Бестужев, — он делал это невольно; да зачем же не ставало у него воли от этого отказаться решительно или восстать против него явно? И в самосуде — одна сторона права, а другая виновата. Так нет, он не заступался за угнетенных до тех пор, пока его лично не обидели, он восстал только для спасения своей жизни, а может быть, и для выгод своей жизни!» Это уже полемика с Регинальдом, с методом его борьбы. Но и то, что совершил племянник Бруно, заслуживает поощрения: он «избавил околоток от злодея».

Важно, что Регинальд оправдан самим народом. Регинальд действовал из личных побуждений, у него не было социальной цели, но следствия соделанного им отвечали интересам угнетенных крестьян. Смерть барона Бруно вызвала всеобщее одобрение и даже ликование: «Наконец увидели, и радость пошла по околице. Все обнимались и целовались, словно мы, русские, о святой неделе». Правда, во время венчания Регинальда и Луизы в церкви появляется брат Бруно, черный латник на вороном коне, в белой с крестом мантии, и он, мстя за погубленного брата, увозит Регинальда и Луизу на кладбище, где заживо предает их погребению. Но и эта балладно-романтическая развязка не снимает основного социального конфликта, тираноборческий сюжет остается. Бестужев отводит внимание в сторону, так как без того тенденция повести слишком обнажалась бы. Заключительный эпизод, пристегнутый к основному повествованию, не заслоняет социальной основы повести, не ликвидирует ее основной идеи. «Бруно погиб — и дельно», — в этих словах слышится подлинное отношение автора декабриста к событиям, им описанным.

* * *

Повесть «Замок Эйзен» писалась в год подготовки декабрьского восстания и уже была сдана в набор для предполагавшейся «Звездочки» (так Рылеев и Бестужев решили назвать свой альманах на 1826 год).¹

¹ Эта повесть под названием «Замок Эйзен» увидела свет только в 1827 году в «Невском альманахе».

Повесть имела второе, знаменательное заглавие: «Кровь за кровь», как бы отзывающееся духом реальных событий, которые тогда надвигались. Некоторым реальным комментарием к «социальной дуэли», описанной в этой повести Бестужевым, может служить один петербургский эпизод, связанный с декабристами. Когда декабристы узнали о смерти подпоручика Семеновского полка Константина Чернова, который, защищая свою честь, был убит на дуэли аристократом Новосильцевым, они организовали в Петербурге политическую демонстрацию, желая выразить общую идею, которую, по словам Е. П. Оболенского, «всякий сознавал и сознательно и бессознательно: защиту слабого против сильного, скромного против гордого». По случаю этой дуэли Рылеевым были написаны революционные стихи:

Клянемся честью и Черновым:
Вражда и брань временщикам,
Царей трепещущим рабам,
Тиранам, нас угнеть готовы!

Бестужев тоже принимал участие в этой демонстрации и собственноручно записал предсмертное письмо Чернова: «Пусть паду я, но пусть падет и он, в пример жалким гордецам, и чтобы золото и знатный род не насмеялись над невинностью и благородством души». ¹

¹ Наввно думать, что Бестужев в ливонской повести «Замок Эйзен» («Кровь за кровь») изображал традиционный рыцарский турнир. Дуэль между «благородным» Регинальдом и жестоким деспотом Бруно имеет определенный социальный оттенок, и подобные дуэли Бестужев приветствовал. Нужно представить себе и самого Бестужева в осенние месяцы 1825 года. Он тоже был блестящим дуэлянтом, и на поединки у него была своя собственная точка зрения. Вспоминая о своем знакомстве с Александром Бестужевым, Федор Глинка, который всегда придерживался «миролюбивых правил», писал в своих ответах на вопросы Следственного комитета: «Александр Бестужев человек с головой романтической... Я ходил задумавшись, а он — рыцарским шагом и, встретясь, говорил мне: «Воевать! Воевать!» Я всегда отвечал: «Полно рыцарствовать! Живите смиреннее!» И впоследствии всегда почти прослышывалось, что где-нибудь была дуэль и он был секундантом или участником». Именно Глинка, отличавшийся политической умеренностью, уговаривал накануне 14 декабря Рылеева и Александра Бестужева не делать никаких насилий и обходиться «без крови». Бестужев дает своей повести второе название «Кровь за кровь».

Сохранилось письмо поэта Нечаева к Александру Бестужеву от 9 ноября 1825 года, дающее любопытные параллели к ливонской повести «Кровь за кровь», причем параллели эти тоже реального характера. «С нетерпением ждем твоих повестей. Давыдов догадывается,— писал Нечаев,— что «Кровь за кровь» родом с Кавказа. Якубович был твоею Музою. Пожми за меня богатырскую его руку».¹ Кое-что в повести «Кровь за кровь» могло быть подсказано фигурой хорошо известного в среде декабристов Якубовича, его повадками и поведением. Служивший на Кавказе Якубович славился своей храбростью и отвагой, как дуэлянт он был окружен легендой. Он был известен своей неприязнью к Александру I и готовностью в любое время отважиться на цареубийство. С. П. Трубецкой вспоминал в своих «Записках»: «В столицу приехал из Грузии Якубович; он был не раз оскорблен по службе; отличная репутация его в Кавказском корпусе не привлекла на него внимания государя. Якубович если не в сердце, то на словах питал к нему сильную ненависть и часто, в сообществе с военными, говорил о непременном намерении отомстить за претерпленные оскорбления. Были члены, которые изъявили мысль, что если Якубович исполнит свое намерение, то общество должно последствиями воспользоваться. Другие, также приняв слова Якубовича за истину, говорили, что надобно воспрепятствовать ему в исполнении».² В своих показаниях Следственному комитету Бестужев неоднократно касался Якубовича, называя его «своим приятелем». Вспоминая о встрече с Якубовичем в 1825 году в Москве, Бестужев говорил членам комитета: «Он по всему замечательное лицо — и мы сошлись в приятни... Либеральничали вместе — но друг другу совсем еще не открылись... В этих мыслях возвратился я назад, и следом за мной приехал и Якубович».³ Осенью 1825 года (4 сентября) Бестужев писал в одном из писем к сестрам: «П приятель мой Якубович, которого режут и жгут всякую неделю, подарил мне славную

¹ «Русская старина», 1889, февраль, стр. 320.

² С. П. Трубецкой. Записки, СПб., 1906, стр. 25.

³ «Восстание декабристов», т. I, стр. 434.

саблю, думая в день Александра, что я именинник». ¹ Через Бестужева с Якубовичем в Петербурге близко по-дружились Рылеев и Александр Одоевский и «сказали ему об обществе, а он признавался нам, — свидетельствовал Бестужев в своих показаниях Следственному комитету, — что приехал с твердым намерением убить государя из личной мести». «Я не хочу принадлежать никакому обществу, — говорил он (Якубович. — В. Б.), — чтоб не плясать по чужой дудке, — я сделаю свое, а вы пользуйтесь этим как хотите. Коли удастся после этого увлечь солдат, то я разовью знамя свободы, а то истреблюсь: мне наскучила жизнь». ² Рылеев и Бестужев были согласны на цареубийство, но им нужен был обдуманый политический акт, а не вспышка личного темперамента, действие по личным мотивам. Поэтому Рылеев уговаривал Якубовича отложить свое намерение «хоть на месяц или два». Рылеев мало верил в успех Якубовича именно потому, что дальше личных мотивов тот не шел. А о том, что Рылеев и Бестужев в принципе допускали цареубийство, говорил сам Якубович на следствии: по его словам, Бестужев не видел «других средств дать конституцию России, как истребив покойного государя, царствующего императора и великого князя Михаила Павловича». ³ Бестужев делал исключение для вдовствующих императриц, он заявлял членам Следственного комитета, несколько бравируя: «Я имею слишком рыцарский характер, чтобы дать голос на убийство женщин». ⁴ В действительности же Бестужев накануне восстания вполне принимал истребление всей царской фамилии, если интересы политической борьбы этого требуют.

Рылеев и Александр Бестужев рассчитывали на Якубовича как на действительного своего пособника; перед восстанием они вели с ним переговоры, и «Якубович обещал увлечь Измайловский полк». Бестужев признавался, что руководители Северного общества «полагали на его красноречие и фигуру большие надежды». ⁵ В показаниях от 28 января 1826 года Бестужев писал об

¹ Сборник «Памяти декабристов», т. I, Л., 1926, стр. 53

² «Восстание декабристов», т. I, стр. 434.

³ Там же, стр. 464.

⁴ Там же, стр. 451.

⁵ Там же, стр. 436.

этом: «Приезд и намерение Якубовича зажгли потухшую искру — начать действие». ¹ Здесь же Бестужев отмечал, что Якубович, когда дошло до дела, не оправдал надежд: в самый день восстания он сослался на головную боль и удалился с площади. «Якубович хотя и не был членом общества, но обо всех мерах его узнал с 27 ноября и все это время говорил с жаром в нашем смысле и воспламенял колеблющихся. Однако же по странному его поведению в день 14 декабря, — продолжал Бестужев, — я имею причину думать, что в нем было более хвастовства, нежели храбрости. Он встретил Московский полк у Красного моста, потом был на площади и, сказав мне, что у него болит голова, исчез». ²

Тень Якубовича в повести «Кровь за кровь» мелькает довольно явственно. Единоборство с политическим противником, дуэль своего рода, дуэль, ставшая политическим деянием, — именно эти замыслы декабристов, связанные с Якубовичем, получили свой отклик в истории Регинальда, один на один поборовшего тирана. Разумеется, герой повести Бестужева никак не двойник, не копия Якубовича. Если здесь и намек на него, то Бестужев одновременно и приветствует и осуждает. Отважный Регинальд убил крепостника Бруно; но это была личная месть — Регинальд не был способен восстать «явно». «Не заступаться за угнетенных до тех пор, пока его лично не обидели» — так рассуждал этот «благородный, добрый» малый. Бестужев придерживался другого правила: «заступаться за угнетенных», если даже «лично не обидят». Поединок может стать прозой карающей силой, если его очистить от примеси эгоцентризма, позерства и самохвальства и приложить к нему чувство социального мщения.



В повести «Изменник», написанной в том же 1825 году и появившейся в последней книжке «Полярной звезды», Бестужев клеймит позором изменника князя Владимира. В смутное время, когда поляки захватили Москву и «вор

¹ «Восстание декабристов», т. I, стр. 444.

² Там же, стр. 446.

Сапега обложил Троицу», князь переяславского воеводства Владимир Ситский оказался в стане врагов и изменил пражданской чести и родине. Два брата — Владимир и Михаил — погибают во время сражения. Владимир гибнет как злодей, даже поляки, в стан которых он переметнулся, относятся к нему с презрением. О нем если и вспомнит будущее потомство, то только как о предателе и братоубийце. Смерть Михаила — смерть героическая, завидная: «Завидна смерть за родину, и честно будет погребение храброму от храбрых!» Исторический сюжет снова оказался злостным. Накануне 14 декабря стоило напомнить о судьбе изменника и снова бросить клич: «Завидна смерть за родину!..»

В осенние месяцы 1825 года Александр Бестужев доказал свою приверженность родине и декабризму. Литературные герои остались позади, пришло время и самому стать на их место и воспеть славу прошлого. Принятый весной 1824 года в Северное общество, Бестужев вместе с Рылевым возглавил наиболее радикальное крыло тайного общества и в дни подготовки вооруженного восстания действовал мужественно и энергично. На решающем заседании 12 декабря 1825 года в квартире Рылева он произнес знаменитые слова: «Переступлю за Рубикон; а Рубикон — значит руби все, что попало». В день восстания А. Бестужев «возбуждал нижних чинов к убийству и к уклонению от присяги». Убедившись в провале восстания, он вместе с братом Николаем уходит с площади, ведя за собой «несколько десятков человек, чтобы в случае натиска конницы сделать отпор и защитить отступление». В своих показаниях Следственному комитету А. Бестужев называл себя «солдатом», который привык действовать, а не рассуждать. Князь С. П. Трубецкой характеризовал Александра Бестужева как человека «запальчивого» и приписывал ему слова, произнесенные на одном из заседаний Северного общества: «Можно забраться во дворец». ¹ В письме к Николаю I из Алексеевского рavelина Бестужев смело заявил, что если бы к декабристам «присоединился Измайловский полк, он бы принял команду и решился на попытку атаки, которой в голове вертелся уже и план».

¹ «Восстание декабристов», т. I, стр. 62.

В этом же письме из Алексеевского рavelина Бестужев дал блестящую характеристику внутреннего состояния России и отчетливо изложил причины, понудившие лучших представителей русского дворянства выступить против самодержавия. Бестужев писал:

«Люди с дарованиями жаловались, что им заграждают дорогу по службе, требуя лишь безмолвной покорности, ученые — на то, что им не дают учить молодежь, на препятствия в учении. Словом, во всех углах виделись недовольные лица, на улицах пожимали плечами, везде шептались — все говорили: к чему это приведет?.. Все элементы были в брожении. Одно лишь правительство беззаботно дремало над вулканом, одни судебные места блаженствовали, ибо только для них Россия была обетованною землею. Лихоимство их возшло до неслыханной степени бесстыдства».¹

По приговору Верховного уголовного суда Бестужев был приговорен к каторжным работам на двадцать лет; затем срок был сокращен до пятнадцати. В обвинительном заключении о Бестужеве было сказано:

«По собственному признанию: умышлял на цареубийство и истребление царской фамилии; возбуждал к тому других; соглашался также и на лишение свободы царской фамилии. Участвовал в умысле бунта привлечением товарищей и сочинением возмутительных стихов и песен. Лично действовал в мятеже и возбуждал к оному нижних чинов».²

Вместе с Александром Бестужевым в декабрьском восстании принимали участие три его брата — Николай, Михаил и Петр. Михаил Бестужев в очерке «Мои тюрьмы» писал: «Нас было пять братьев, и все пятеро погибли в водвороте 14 декабря».³ Николай и Михаил Бестужевы были сосланы Николаем I на каторгу в Сибирь. Петр Бестужев, четвертый из братьев, мичман

¹ «Мемуары декабристов». Под ред. М. В. Довнар-Запольского, Киев, 1906, стр. 175.

² «Восстание декабристов», т. 1, стр. 412—413.

³ В 1951 году в издательстве АН СССР вышло новое и самое полное издание воспоминаний и писем братьев Бестужевых — см. «Воспоминания Бестужевых». Редакция, статья и комментарии М. К. Азадовского. В дальнейшем воспоминания Николая и Михаила Бестужевых цитирую по этому изданию.

27 флотского экипажа, за участие в декабрьском восстании был лишен чинов и разжалован в солдаты. Он не вынес жестокости аракчеевской службы и сошел с ума, находясь в рядах Кавказского отдельного корпуса. И Павел Бестужев, самый младший из братьев, юнкер артиллерийского училища, оказался в числе гонимых самодержавием. Спустя несколько месяцев после 14 декабря 1825 года великий князь Михаил Павлович обнаружил у юнкера Бестужева, произведенного в прапорщики полевой артиллерии, «Полярную звезду на 1825 год». В этой книжке были опубликованы «Исповедь Наливайко» Рылеева и повесть «Изменник» А. Бестужева. Около года Павла Бестужева продержали в Бобруйской крепости, а затем сослали на Кавказ, где служил Петр Бестужев и куда через несколько лет был переведен Александр Бестужев. Такова судьба братьев Бестужевых.

ТВОРЧЕСТВО ВЕСТУЖЕВЫХ В ГОДЫ СИБИРСКОЙ ССЫЛКИ

* * *

Декабризм как явление русской литературной жизни гораздо шире, чем это обыкновенно представляется историкам литературы. После 14 декабря 1825 года декабризм не прекратил свое существование как общественно-литературное движение. После этой роковой даты он остался жить в умах, в духовной жизни, в литературе. Декабристы в тюрьмах, в местах ссылки и поселения продолжали литературную работу в прежнем направлении — духовно не сломленные, убежденные в правоте своих идей. Часто они разрабатывали те замыслы и предположения, которые до 14 декабря были только намечены и отодвинуты другими задачами, имевшими более злободневное значение. Из этого не следует, будто эти замыслы не были существенны для мировоззрения декабристов. И вот на вынужденном досуге, в изгнании декабристы возвращаются к оставленным или в свое время прерванным направлениям своей литературной работы и завершают, приводят в систему недовершенное, бывшее всего лишь эскизом в более ранние дни. Эта литература декабристов после 14 декабря полна глубокого интереса даже и в тех случаях, когда она не увидела света, не дошла до современников через печать. Она рассказывает нам, какой была литературная деятельность декабристов в их боевые годы, накануне восстания, — и уже в этом одном ее ценность для историка. К тому же декабристская литература в годы каторги и ссылки обогащается новыми мотивами, явившимися в результате пережитой декабрьской трагедии, неудавшегося восста-

ния и последовавшей за ним поры новых впечатлений и житейского опыта.

Тюрьма и ссылка — тоже школа, школа суровая, которая не могла не наложить отпечаток на взгляды декабристов. Хозяйственная и культурная деятельность ссыльных декабристов исключительно разнообразна. Ссыльные декабристы положили основание историко-этнографического и естественно-научного познания и описания Сибири. С глубоким чувством ответственности перед родной страной декабристы на каторге и в ссылке начинают собирать материал, которого «ждут знатоки дела»: Шаховской исследует мхи и водоросли Туруханского края, Борисовы — насекомых, птиц, растения Забайкалья, Александр Бестужев — песни и сказки якутов, Николай — экономику, быт и народное творчество бурят, Митьков, Борисовы, Якушкин, Муравьев-Апостол, Беляевы, Якубович и тот же Николай Бестужев — климат. «В сущности, — замечает Л. Чуковская, — это естественное продолжение той работы, какую до 14 декабря вели будущие декабристы, работы по изучению природных богатств нашей родины, ее производственных возможностей, ее торговых путей, военного могущества, истории... После катастрофы 14 декабря силы их оказались поневоле сосредоточенными не на изучении всей страны, а лишь одной ее части — Сибири».¹

Забываясь о лучшей будущности Сибири, ссыльные декабристы искренне желали участвовать в просвещении местного населения. Бестужевы учили крестьянских ребят в Селенгинске, Завалишин — в Чите, Беляевы — в Минусинске, Муравьев-Апостол — в Вилюйске, Раевский — в Олонках, Пушкин и Якушкин — в Ялуторовске. И все это они делали вопреки политике царского правительства, с риском для себя, во имя любви к народу. На каторге и в ссылке декабристы в меру своих сил и возможностей продолжали заниматься культурно-просветительской деятельностью, как бы памятуя завет Пестеля, писавшего в «Русской Правде» о необходимости просвещения кочевых народов Сибири: «Да сделаются они нашими братьями и перестанут коснеть в жалостном их

¹ Лидия Чуковская. Декабристы — исследователи Сибири. Гос. изд. географической литературы, М., 1951, стр. 99—100.

положении». А. Поджио имел право сказать «наша Сибирь»: ссыльные декабристы много потрудились для Сибири и оставили после себя хорошую память.

Деятельность декабристов в Сибири далеко выходит за пределы краеведческих занятий и культурно-просветительской работы. Ссыльные декабристы выдвинули из своих рядов крупнейших писателей, которые продолжали литературное дело Рылеева, вписали в историю декабристской литературы новую и вполне оригинальную главу, доведя декабристскую тему до ее органического конца, до изображения вооруженного восстания 14 декабря 1825 года, последовавшей расправы над декабристами и наступившей политической ссылки. Декабристская Сибирь дала литературе поэта Александра Одоевского, певца декабристских радостей и скорбей. В тюрьмах и на поселении Кюхельбекер создал свои наиболее значительные поэтические произведения и свои воспоминания; творчество Кюхельбекера легко подразделяется на два периода: додекабрьский и последекабрьский. В этот второй период Кюхельбекер оставался верен декабристской традиции, он завершал незаконченные на воле литературные замыслы, продолжал незавершенные сюжеты. Декабристскую поэзию невозможно изучать, минуя этот важнейший этап — поэзию эпохи следствия, суда и ссылки. Декабристская проза тоже нуждается в историческом рассмотрении. Основной раздел декабристской прозы был создан после 14 декабря 1825 года. Это многочисленные мемуары (свыше двадцати семи воспоминаний и записок, среди которых воспоминания и записки Николая Бестужева и Якушкина, имеющие исторический и литературно-художественный интерес) и знаменитые повести *Бестужева-Марлинского*.

* * *

Исследователи декабристской литературы закономерно выделяют воспоминания Николая Бестужева, как произведение больших литературных достоинств и общественного значения. Эти воспоминания писались вскоре после неудавшегося декабрьского восстания, в них отра-

жены недавние и самые непосредственные чувства и переживания, действительность совсем близкая, только что пережитая, не ставшая еще историческим преданием, не затемненная временем и новыми фактами. Важно, что эти воспоминания написаны активным участником декабристского движения, в них не остыла кровь недавнего сражения, не отзвучали промкие декабристские речи и не стерлись образы вчерашнего дня. Н. Бестужев не случайно посвятил свои записки Рылееву, назвав их «Воспоминание о Рылееве». Никогда еще в декабристской литературе проблема положительного героя не была так отчетливо разрешена на *современном материале*, как в «Воспоминании о Рылееве». Декабристы и раньше (прежде всего сам Рылеев) постоянно думали о жизнеописаниях отечественных героев, но как правило эти жизнеописания они доводили до XVIII столетия и 1812 года (Державин, Суворов, Румянцев, Кутузов). Николай Бестужев довел эти жизнеописания до декабристской современности, он рассказал о Рылееве — революционере, гражданине, человеке, ораторе и поэте, и рассказал с огромным воодушевлением и взволнованностью. Героем бестужевских записок является дворянский революционер, несколько романтизированный Рылеев, погибший в неравной борьбе с самодержавием. Чтобы подчеркнуть «высокие чувствования, любовь к отечеству и истине» как отличительные черты рылеевского характера, Бестужев восстанавливает в своей памяти домашние разговоры, дружеские беседы, речи Рылеева. Показателен в этом отношении разговор Рылеева с матерью, горячо любящей сына и с болью в сердце думающей о его дальнейшей судьбе, о возможной беде, о «важных последствиях». Вот что говорил Кондратий Рылеев в ответ на сомнения матери, желая и ей сообщить «свой энтузиазм»:

«Нет, матушка, ныне наступил век гражданского мужества, я чувствую, что мое призвание выше,— я буду лить кровь свою, но за свободу отечества, за счастье соотечичей, для исторжения из рук самовластия железного скипетра, для приобретения законных прав угнетенному человечеству — вот будут мои дела. Если я успею, вы не можете сомневаться в награде за них: счастье россиян будет лучшим для меня отличием. Если же паду в борьбе

законного права со властью, ежели современники не будут уметь понять и оценить меня — вы будете знать чистоту и святость моих намерений; может быть, потомство отдаст мне справедливость, а история запишет имя мое вместе с именами великих людей, погибших за человечество. В ней имя Брута стоит выше Цезарева — итак, благословите меня!»

«Я никогда,— замечает Н. Бестужев,— не видел Рылеева столь красноречивым: глаза его сверкали, лицо горело каким-то необыкновенным для него румянцем».

Здесь, как и во всех остальных сценах, Рылеев равнозначен своим литературным героям, он становится на их место. Николай Бестужев, как автор «Воспоминания о Рылееве», продолжает по существу незавершенную галерею декабристских положительных героев, начатую Рылеевым в его исторических «думах» и романтических поэмах. Бестужевское жизнеописание Рылеева как бы завершает декабристские биографии великих мужей России, доводя эти жизнеописания до 14 декабря 1825 года. Автор «Воспоминания о Рылееве» желает, чтобы потомство судило о декабристах и о Рылееве не по официальной версии, не по материалам Следственного комитета и разным непроверенным слухам, а по его очерку, где содержится реальный портрет Рылеева, этого пламенного дворянского революционера, которому следует подражать.

Ссылные декабристы собирались создать целый цикл подобных биографий или жизнеописаний. «Равно у нас с ним,— пишет Михаил Бестужев, отвечая на вопрос М. И. Семевского: «не было ли продолжения, равно подобных воспоминаний о других друзьях ваших?»,— было намерение составить по возможности полные биографии всех наших товарищей». ¹ Это интересное намерение братьев Бестужевых не было выполнено, но Николай Бестужев, кроме «Воспоминания о Рылееве», написал автобиографический рассказ «Шлиссельбургская станция» («Отчего я не женат»), в котором дал обобщающий образ декабристского положительного героя. В рас-

¹ Будучи прекрасным живописцем, Николай Бестужев выполнил это намерение, создав целую портретную галерею своих «союзников».

сказе «Шлиссельбургская станция» Бестужев на первый взгляд касается частного вопроса, отвечая, как об этом свидетельствует его брат Михаил, на вопрос жен декабристов: «Почему он не женат?» Но бестужевский «ответ» выходит за пределы личной темы. Автор использует традиционный жанр литературы «путешествий» в целях обсуждения новой проблемы, подчиняя его новому декабристскому замыслу. В доме шлиссельбургского стационарного зрителя, в ожидании лошадей, путешественник раскрывает «Сентиментальное путешествие» Стерна и, «как нарочно, открывает то место, где Стерн говорит о Бастилии». Однако не «Сентиментальное путешествие» Стерна, рисующее узника в темнице, в конечном итоге подсказывает русскому путешественнику сюжет рассказа «Шлиссельбургская станция». Ссылка на «Сентиментальное путешествие» — литературный прием, а главное составляет своеобразное «путешествие» по России, взгляд автора на историю царской тюрьмы и его мысли о судьбе передовых русских людей, о судьбе русских революционеров. Путешественник не просто читает Стерна, но и делает свои замечания. На самом верху листа было написано: «Узник Стерна еще ужаснее для того, кто читает его здесь, в Шлиссельбурге. Воображение этого писателя ничего не значит перед страшною истиною этих мрачных башен и подземелий!» Эти мрачные башни Шлиссельбургского замка, говорящие «о вечном заключении несчастных жертв деспотизма», служат поводом к разговору путешественника со стационарным зрителем и его женой о русских тюрьмах и арестантах.

«Что же у вас говорят, как живут арестанты?» — спрашивает путешественник. На этот вопрос отвечают зритель и его жена:

«— Что говорят, родимый! И бог весть каких страстей ни рассказывают, а все мы досконально не знаем. Съезжают оттуда солдаты, да редко; и на тех человечья виденья нет: худы, да тощи, да бедны, — и они, бедняжки, там на затворе. Спросим, ничего не говорят; а станем пытаться, так я не раз видела, как иного дрожь возьмет, а все до толку не добьешься. Видно, что страшно.

«— Ваше высокоблагородие, — начал, закашляв, зритель, — это... — но жена не дала ему кончить и пре-

рвала снова, но почти шопотом: — Говорят, что там тюрьмы как колодцы: ни свету божьего, ни земли, ни воздуху; душно, как в могиле; каждый сам по себе, и ни встать, ни сесть, ни лечь. Есть подают в окошечко, и бедняжечка не слышит никогда ни голоса, не видит ни лица человечьего: только он да часовые кругом.

«— Стало быть, их мучат, их убивают прежде времени?»

«— Нет, батюшка, мучить не мучат и убивать не убивают, а говорят: что уж коли надобно кого сжить со бела света, так закопают по уши в землю, да и оставят умирать *своею смертию*».

Сама тема об узниках Шлиссельбургской крепости была социально острой, она распространяла свет и на Радищева, и на Новикова, и на узников-декабристов, на пребывание декабристов в Шлиссельбургской крепости, на сибирскую каторгу, на всю николаевскую Россию, где «мучают» и «убивают прежде времени». Но в рассказе «Шлиссельбургская станция» Бестужев не отходит в сторону от основного вопроса: *отчего я не женат?* Бестужев не против личного счастья, он не был пуританином, отвергающим радость жизни и семейное счастье. Но революционная борьба требует суровой прививки, отказа от личных утех и даже от любимой женщины; революционеры постоянно стерегут расправы и тюрьмы, и он не имеет морального права связывать свою жизнь с любимой женщиной, ибо он не желает делать ее несчастной, обреченной на вечную разлуку и горе. Это и драматично и героично, и Бестужев не желает скрывать той личной драмы, которую приходится переживать политическому деятелю. Вот признание Бестужева по этому поводу:

«Мне никогда не было страшно собственное несчастье; свое горе я всегда переносил с твердостью — но чужих страданий не могу видеть: когда я их знаю, они становятся моими. Пусть делают со мною, что хотят, пусть бросают меня на край света, в самый темный угол на земле, но так как в этом мире нельзя сыскать такого места, где бы не было бога, где можно было отнять мою совесть, — я буду спокоен сам за себя. Если же за мной останется какое-нибудь существо, чье счастье связано будет с моим, если я буду думать, что мое несчастье сделалось его злополучием: горесть его ляжет на

мою душу, на совесть, и потому, нося в груди тайну, готовясь с разгадкой ее к новым несчастьям, я не могу — я не должен искать никакой взаимности в этом мире. Мне надобно отказаться от всякого счастья!..»¹

Это особое отношение к темам личным, к темам личного счастья в декабристской литературе было впервые выражено Владимиром Раевским в его посланиях из Тираспольской крепости. В послании «Певец в темнице» Раевский заявлял:

Я неги не любил душой,
Не знал любви, как страсти нежной,
Не знал друзей, и разум мой
Встревожен мыслию мятежной.

Раевский этим как бы хотел сказать: до любви, до нежности, до счастья я не дошел; мне было недосуг отдать им, силы мои были заняты другим. «Не любил», «не знал друзей» — это не в том смысле сказано, что не хотел любви, не хотел друзей, эти строки надо понимать иначе. Гражданское призвание вытеснило личную жизнь с ее домашними делами и утехами. Раевский созна-

¹ Н. Бестужеву принадлежит повесть «Русский в Париже 1814 года». В этой повести изумительно тонко, с большим художественным тактом и знанием человеческой души рассказывается о любовных переживаниях русского офицера Глинского и молодой графини де Серваль. Роман влюбленных заканчивается вполне благополучно, и автор повести оправдывает поведение героя и героини, видя в отношениях между ними выражения простых и ясных человеческих чувств. Но Н. Бестужев не мог этот благополучный любовный сюжет распространить на себя и на своих политических единомышленников, избравших путь профессиональных революционеров. Безмятежному счастью Глинского Бестужев в рассказе «Шлиссельбургская станция» противопоставил свое решение вопроса — суровую фабулу, суровое самоотречение. «Русский в Париже 1814 года» (в оглавлении: «Русские в Париже 1814 года») — патриотическая повесть, хотя главное содержание ее составляет история знакомства русского офицера с парижанкой. Офицер Глинский, участник Отечественной войны 1812 года, был призван своим поведением показать истинное лицо русского человека, воспитанного, благородного и образованного, и тем самым разуверить «в предубеждении, которое вообще все французы имели против русских». Русский офицер оказался на высоте положения, его отношение к людям, любовь к искусству, высокий ум и отзывчивый характер, остроумие и красноречие произвели огромное впечатление на французскую семью и покорили графиню Эмилию.

тельно отказывается петь о любви и в послании «К друзьям в Кишинев» ультимативно утверждает:

Любовь ли петь, где брызжет кровь,
Где пламя чуждое с улыбкой
Терзает нас кровавой пыткой...

Лучшим комментарием к стиху «Любовь ли петь, где брызжет кровь» может служить черновой набросок Раевского, дополняющий его знаменитое рассуждение о рабстве в России, где о том же сказано страстной ораторской речью: «Любовь есть страсть минутная, влекущая за собой раскаяние. Но патриотизм, сей светильник жизни Гражданской, сия таинственная сила управляет мною. Могу ли видеть порабощение народа, моих сограждан, печальные ризы сынов отечества, всеобщий ропот, боязнь и слезы слабых, бурное негодование и ожесточение сильных — и не сострадать им?..» В рассказе Николая Бестужева «Шлиссельбургская станция» и в гражданской поэзии Раевского мы видим проklamирование одной и той же декабристской морали.

* * *

Повесть Н. Бестужева под названием «Отчего я не женат» и без упоминания ее автора впервые была опубликована в 1860 году в сборнике «Рассказы и повести старого моряка» с многочисленными искажениями, сделанными из цензурных соображений. В настоящее время эта повесть напечатана М. К. Азадовским в «Воспоминаниях Бестужевых» (1951 г.) по подлинной рукописи. Однако и в издании 1860 года основной мотив повести — «мне надобно отказаться от всякого счастья» — оставался нетронутым, его не могла совсем заглушить цензура. Трудно сказать, читал ли повесть «Отчего я не женат» Н. Г. Чернышевский, но в романе «Что делать?», написанном в Петропавловской крепости, он поставил ту же самую проблему («мне надобно отказаться от всякого счастья») в связи с характеристикой социально-психологического облика «особенного человека» Рахметова.

Роман «Что делать?» — не одинокое произведение в русской литературе. У Чернышевского-беллетриста

были свои предшественники и последователи. Б. И. Бурсов правильно замечает, что проблема нового человека разрабатывалась Чернышевским на материале всей русской литературы, и все же генетическую связь «новых людей» Чернышевского с положительным героем предшествующей литературы Б. И. Бурсов прослеживает слишком суммарно, в общих чертах. Он напоминает о Петре I у Ломоносова, о радишевском положительном герое, который по существу является революционером, говорит о Пугачеве в изображении Пушкина. Не принято говорить о прямом влиянии декабристских писателей на Чернышевского; однако вопрос о литературной традиции в связи с проблемой положительного героя в эстетике Чернышевского нельзя ограничивать сферой непосредственных влияний. Важно другое: на каждом этапе освободительного движения русская литература выдвигала своего положительного героя. Передовые писатели отражали объективные законы движения революционной действительности. Предшественниками Чернышевского в постановке этой проблемы, в поисках положительного героя как революционера-борца были, безусловно, декабристы. И в общественном движении и в художественной литературе мы видим представителей трех поколений русских революционеров. Все эти поколения «новых людей» имеют свои отличия, неповторимые черты, но за всеми особенностями и отличиями стоит тот передовой деятель освободительного движения России, биография которого найдет окончательное завершение в романе Чернышевского.

Если не знать, что повесть «Отчего я не женат» была написана декабристом в годы сибирской каторги, то легко подумать, что автором ее являлся кто-либо из революционных разночинцев 60-х годов. Едва ли в русской литературе XIX века найдется еще более близкий Рахметову образ, нежели образ бестужевского «путешественника», отвергающего личное счастье во имя революционной борьбы. Рахметов был тоже ригористом, ригористом особого типа; говоря о себе: «...ведь и я тоже не отвлеченная идея, а человек, которому хотелось бы жить», Рахметов сознательно ограничивал себя в личных чувствах. В напряженной обстановке революционной борьбы он не считал возможным «связы-

вать чью-нибудь судьбу с своею». Напомним ответ Рахметова «умной, порядочной женщине», которую он спас, остановив на ходу шарабан: «...я должен подавить в себе любовь: любовь к вам связала бы мне руки, они и так не скоро развяжутся у меня, — уж связаны. Но развяжу. Я не должен любить». Этот ответ Рахметова удивительно напоминает слова самого Чернышевского. Из «Дневника» Чернышевского мы узнаем о замечательном разговоре, состоявшемся между ним, 26-летним учителем саратовской гимназии, и его невестой Ольгой Сокоратовной Васильевой. «С моей стороны, — говорил Чернышевский, — было бы низостью, подлостью связывать с своей жизнью еще чью-нибудь и потому, что я не уверен в том, долго ли я буду пользоваться жизнью и свободой. У меня такой образ мыслей, что я должен с минуты на минуту ждать, что явятся жандармы, отвезут меня в Петербург и посадят меня в крепость бог знает на сколько времени». Поэтому «я, — продолжает Чернышевский, — не могу соединить ни чьей участи со своей».

«Не могу», «не должен любить» — это почти как в повести Бестужева и в рассуждении о рабстве крестьян Раевского, которого Пушкин называл «спартанцем». «Не могу» — не в смысле не хочу, а не имею права, не должен любить. Историческая минута требует самопожертвования, отречения от личных утех. Обстоятельства жизни делали Рахметова аскетом, борьба мешала ему заняться личной жизнью. Если бы не это, так «я бы, может быть, — признавался Рахметов, — целый день шутил, да хохотал, да пел, да плясал». После победы революции Рахметову незачем будет спать на гвоздях и отказываться от любимой женщины. Тогда Рахметов «не будет уже казаться «титаническим существом», станет, как и дама в трауре, человеком «мирного свойства», победа позволит раскрыться всему богатству чувств, которые в трудное время решающих битв приходится подчинить одной великой цели».¹

Роман «Что делать?» нельзя изолировать от всего предшествующего опыта передовой русской литературы, революционного движения в России и на Западе. Мы

¹ Б. Рюриков. Послесловие к роману «Что делать?». М., ГИХЛ, 1951, стр. 475.

напомнили об «особенном человеке» Рахметове вовсе не для того, чтобы протянуть прямую линию от Радищева и декабристов к Чернышевскому. Обращая внимание на общность самой проблемы и некоторые принципиальные совпадения в трактовке положительного героя, снимая перегородку между первым и вторым поколениями русских художников-революционеров, искусственно поставленные буржуазными историками литературы, было бы неверно проходить мимо тех важных различий, которые резко отличают революционных демократов от дворянских революционеров. Оторванность декабристов от народа сказывалась и в тактике социальной борьбы, и в политических проектах, и в творческой практике декабристских писателей. Декабристы признавали за народом решающую роль в национально-освободительной борьбе, они понимали, что история принадлежит народу, но в борьбе с самодержавием, в современной классовый борьбе и в своих окончательных социальных преобразованиях дворянские революционеры не выходили за пределы своей идеологии, они боялись народной революции и не желали в последнем акте борьбы опираться на народные массы. Для Чернышевского народ был единственно реальной силой, способной разрушить феодально-крепостнический строй и создать новый общественный порядок. Отсюда понятно, почему в эстетике Чернышевского проблема положительного героя неразрывно слита с проблемой народности. «Особенные люди» должны служить народу, жить его интересами, вести народ за собой. «Новые люди» не рождаются «особенными», они ими становятся в процессе борьбы и под влиянием самого народа, народной жизни и народного мировоззрения. В образе Рахметова отражены главнейшие, самые существенные социально-политические, нравственные и психологические искания революционно-демократической молодежи 60-х годов, и эти искания доведены до превращения бывшего дворянина Рахметова в мужицкого демократа, в революционера с головы до ног. Рахметов занимается тяжелым физическим трудом, возит воду, таскает дрова, кует железо, становится чернорабочим, пахарем, плотником и грузчиком не для того, чтобы «раздворяниться», загладить свое дворянское происхождение и внешним образом «онародиться». Рахметов не

просто опрощается, а воспитывает в себе необходимые профессиональному революционеру политические и нравственные качества и привычки. Те принципы, которых придерживался Рахметов и в умственной и в материальной жизни, означали преодоление не только дворянских принципов, но и половинчатой теории «разумного эгоизма» Лопухова и Кирсанова, окончательное освобождение личного «я» для революционной борьбы. Для Рахметова недостаточно быть «разумным эгоистом»: революционер должен целиком и без остатка отдаться общенародному делу. Рахметов способен полностью отказаться от личного счастья, вернее — для него высшее личное счастье состоит в счастье народа, которое не приходит само, а завоевывается вместе с народом в революционной борьбе. Во имя гражданского долга и революционного идеала Рахметов готов на все ограничения собственного «я». Вера Павловна имела полное основание говорить: «Рахметовы — это другая порода; они сливаются с общим делом так, что оно для них необходимость, наполняющая их жизнь; для них оно даже заменяет личную жизнь».

Когда петербургские знакомые называли Рахметова «ригористом», он принимал это прозвище с «легкою улыбкою мрачного удовольствия», но когда его именовали Никитушкой Ломовым, он «улыбался широко и сладко и имел на то справедливое основание, потому что не получил от природы, а приобрел твердостью воли право носить это славное между миллионами имя». Стать вровень с волжским бурлаком Никитушкой Ломовым, обладавшим геркулесовой силой, это значит сравняться с народом и в физическом, и в нравственном, и в духовном отношении, быть по-народному «особенным человеком». Непомерная сила нужна была для борьбы, для того, чтобы легче было найти доступ к уму и сердцу народа; она могла пригодиться в случае поражения крестьянской революции, в тюрьме и на каторге, в тяжелых испытаниях судьбы. «Так нужно, — говорил Рахметов, — это дает уважение и любовь простых людей. Это полезно, может пригодиться».

Исключительно большую роль в формировании взглядов и личности Рахметова сыграли путешествия по России. Рахметов «мало бывал дома, все ходил и

разъезжал, больше ходил». Особенно показательно рахметовское путешествие по Волге. «Он сел просто пассажиром, подружившись с артелью, стал помогать тянуть лямку и через неделю запрегся в нее, как следует настоящему рабочему; скоро заметили, как он тянет, начали пробовать силу, — он перетягивал троих, даже четверых самых здоровых своих товарищей; тогда ему было 20 лет, и товарищи его по лямке окрестили его Никитушкой Ломовым, по памяти героя, уже сошедшего тогда со сцены». Бурлачество — не чудачество, не личная причуда «особенного человека». Рахметов начинал свою революционную деятельность в Петербургском университете. В романе не говорится подробно о студенческом кружке, в котором состоял Рахметов. Но между строк можно прочесть, что такой кружок существовал и Рахметов в нем играл первую роль. В комнате Рахметова «беспрерывно бывали люди»; если Рахметов отсутствовал, то вместо него «принимал посетителей один из его приятелей, преданный ему душою и телом и молчаливый, как могила». Из студенческих кружков (петербургского, московского, харьковского, казанского) обычно комплектовались революционные агитаторы. Чернышевский не случайно находит своих героев в Медицинской академии и в Петербургском университете. Именно здесь существовали революционно-студенческие кружки. В студенческих кружках, начиная с московских «вертепников», много внимания уделялось демократическому народознанию, путешествиям по России с целью изучения народного быта и народной поэзии. Достаточно хотя бы напомнить о путешествиях Михайлова, Якушкина, Рыбникова, Худякова, Ефименко и Свириденко, чтобы понять внутреннюю связь путешествий Рахметова с общей программой революционного студенческого движения. Нужно сказать, что исследователи народного быта и народной словесности, вышедшие из студенческих кружков, не ограничивались собиранием произведений народного творчества и этнографических материалов, они же выступали в качестве своеобразных революционных агитаторов и пропагандистов, переодевшихся в крестьянскую поддевку или в красную рубаху. Рахметов тоже занимался изучением народного быта. Он путешествовал по России, потом посетил Европу, где «сближался со

всеми классами, в каждой земле оставался по столько, чтобы достаточно узнать понятия, нравы, образ жизни, бытовые учреждения, степень благосостояния всех главных составных частей населения, жил для этого и в городах и в селах, ходил пешком из деревни в деревню...» Легко представить себе путешествующего Рахметова революционным агитатором, распространяющим революционные воззвания и разговаривающим с народом на языке прокламаций «К барским крестьянам» и «Молодая Россия». Рахметов безусловно был революционным агитатором. *Такого путешественника еще не знала литература «путешествий».*

Декабристские писатели тоже постоянно думали о судьбе русского народа и в своем художественном творчестве пытались решить проблему народности. Вся литературная и научная деятельность декабристов в Сибири проходит под знаком изучения народного быта и обычаев.

* * *

Показательно и то, что эпиграфом к рассказу «Шлиссельбургская станция» Николай Бестужев берет народную пословицу:

Одна голова не бедна,
А и бедна, так одна.

С другой стороны, Н. Бестужев выступает обличителем народных суеверий и предрассудков, о чем свидетельствует вставленный в рассказ «Шлиссельбургская станция» эпизод с домовым. Вообще следует сказать, что для Бестужевых в годы ссылки показателен повышенный интерес к народной жизни и народной поэзии. Братья Бестужевы — Николай, Александр и Михаил — оказались одними из первых исследователей этнографии, культуры и экономики Сибири. Николай Бестужев прочно вошел в русскую этнографическую науку и фольклористику как автор большой статьи «Гусиное озеро». ¹ На

¹ Статья «Гусиное озеро» была напечатана впервые без подписи автора в 1854 году в журнале «Вестник естественных наук». В сноске сообщалось, что «статья, предлагаемая нами, составлена автором, проживающим более тридцати лет в Забайкалье».

этнографическую ценность «Гусиного озера» обратили внимание советские исследователи (М. К. Азадовский, Л. К. Чуковская), причислившие эту статью к числу «важнейших явлений сибирской краеведческой литературы и к самым крупным произведениям краеведческого характера, вышедшим из декабристской среды». Зная, что у бурят «нет никакой письменной истории, да и самые предания не восходят у них далее отца или — много — деда», Н. Бестужев решил создать первое историко-этнографическое и естественно-научное описание Бурятии. В «Гусином озере» описание горных пород края, фауны и флоры, хозяйства и экономики, народных обычаев и обрядов сделано вдумчиво, точно и живо, как в записках истинного натуралиста и этнографа. Бестужев обращает внимание на хозяйственные и бытовые «мелочи», ибо «эти мелочи обрисовывают дух народа», помогают понять прошлую и настоящую жизнь бурят. В этнографической части очерка не упущены даже такие детали, как способы кормления ребенка, устройство люльки и юрты, детские игры, свадебный обряд, конские скачки, характеристика хозяйственной деятельности, в частности рыбной ловли и кузнечного ремесла.¹ Николай Бестужев был первым собирателем бурятского фольклора: в «Гусином озере» приведены в его записях и переводах три бурятских песни и три народных сказки, сообщены интересные сведения о сказочниках и их манере исполнения. Изучая быт и нравы бурятского народа, Н. Бестужев всегда отличал подлинную народность от наносных и пережиточных моментов, которые явились следствием религиозного дурмана. Он прекрасно понимал, что кроме простого народа есть еще ламы, священнослужители ламаитской религии. Ламы, тайши, зайсаны — священнослужители и бурятские старшины — стоят над народом и угнетают его. «Ламское сословие есть язва бурятского племени», — заявляет Бестужев. Путунто он сообщает народное предание о буряте Марке

¹ В описании Бурятии сказалась многосторонняя личная одаренность Н. Бестужева — беллетриста, историка, экономиста и этнографа. К тому же Н. Бестужев серьезно занимался естественными науками, работал над усовершенствованием хронометров, писал статьи об электричестве, был хорошим мастеровым — токарем, столяром, сапожником, слесарем и ювелиром.

богатом: стоило ему захворать и пролежать пять месяцев, чтобы сделаться совсем нищим. «Налетело множество лам, как воронов; надобно было совершать с утра до вечера моления, отгонять злого духа бубнами, трубами и прочею варварскою музыкою. Надобно было обкладывать больного то коровьими, то бараньими внутренностями, по усмотрению лам-врачей; натурально, что требуха доставалась на долю больного, а мясо ламам; сверх того надобно было платить и за службу, и за дружбу, и за труды, так что к концу болезни Марко богатый стал Марко нищий. Тогда ламы оставили его на произвол природы, которая не преминула в свою очередь без всякой платы поставить его на ноги, а те отправились искать новых жертв». Николай Бестужев разоблачает ламаизм и всемерно ратует за просвещение, за союз бурят с русскими, с передовыми представителями России. Ссылный декабрист и был тем русским просветителем, который трезво посмотрел на жизнь бурятского народа, полную нищеты и лишений. Н. Бестужев не скрывает теневых сторон в нравственности и в быту бурят, находившихся тогда на самой низшей стадии развития, но в суждениях его нет и тени дворянского высокомерия. Он отмечает в простом бурятском народе склонность к поэзии, гостеприимство, сметливость и наблюдательность. Ссылный декабрист как бы желает пробудить бурятский народ к новой жизни, он верит в его силу, в его богатые возможности. «Несмотря на все стесняющие обстоятельства, — пишет в заключение Н. Бестужев, — бурят сметлив и на все способен, потому что наблюдательность развита в нем в высшей степени... Что же касается до умственных способностей бурят, то, по моему мнению, они идут наравне со всеми лучшими племенами человеческого рода». По следам братьев Бестужевых в шестидесятых — семидесятых годах XIX века пойдут политические ссылки Худяков и Прыжов: Худяков вслед за Александром Бестужевым продолжит изучение якутского языка и фольклора, Прыжов внесет большой вклад в исследование истории и этнографии Бурятии.

Отнюдь не все участники декабристского движения остались верными революционному прошлому, было среди них немало и отступников, вспоминавших о прой-

денном пути с усталостью и разочарованием, были просто ренегаты, отказавшиеся от своей славной молодости и примирившиеся с николаевской действительностью. Но Горбачевский, братья Борисовы, Раевский, Лунин, братья Бестужевы, Одоевский, Кюхельбекер, Якушкин и некоторые другие ссыльные декабристы находились во власти недавно пережитого, думали о судьбе родины и не желали отказываться от своих идей; неудавшееся декабрьское восстание не прошло для них бесследно. Лучшие, наиболее стойкие и революционно настроенные декабристы после 14 декабря 1825 года все чаще и чаще стали размышлять о причинах поражения их движения, и в конечном итоге для них самих становилось ясно, что в свое время они, дворянские революционеры, недооценивали народную силу, не отводили народу должного места в историческом процессе. Стремление некоторых ссыльных декабристов сблизиться с народом, понять его жизнь и психологию объясняется не просто судьбой, поставившей бывших деятелей тайных обществ в положение кандалников. Эта встреча с народом произошла в ряде случаев из глубоко принципиальных соображений. В частности, о Николае Бестужеве можно сказать, что он сознательно искал этой встречи, и изучение народной жизни, народных типов и характеров входило в его программу, составляя ее ближайшую и важнейшую цель.

* * *

Вскоре после прибытия на Петровский завод, в 1831 или в 1832 году, Николай Бестужев закончил трактат «О свободе торговли и вообще промышленности». Трактат начинался следующим важным признанием: «Странно, что, по какому-то естественному ходу человеческих понятий, самые простые и ощутительные истины открываются после, нежели многосложные и мудреные проблемы, которыми человек сам загораживает себе дорогу на пути к этим истинам». ¹ Такой «простой и ощутительной истиной», показывающей путь к другим «мно-

¹ Трактат Н. Бестужева цитирую по сборнику «Статьи и письма», М., 1933

госложным и мудреным проблемам», была проблема народа, которую декабристы недостаточно учитывали. «До сих пор,— продолжает Н. Бестужев,— история писала только о царях и героях; политика принимала в рассуждение выгоды одних кабинетов; науки государственные относились только к управлению и умножению финансов, но о народе, его нуждах, о его счастьях или бедствиях мы ничего не ведали, и потому наружный блеск дворов мы принимали за истинное счастье государств, обширность торговли, богатство купечества и банков за благосостояние целого народа; но ныне требуют иных сведений: нынешний только век понял, что сила государств составляется из народа, что его благосостояние есть богатство государственное и что без его благосостояния богатство и пышность других сословий есть только язва, влекущая за собой общественное расстройство».

Н. Бестужев руководствуется именно этой идеей, когда он ратует за развитие торговли и промышленности, которые бы способствовали «благосостоянию целого народа» и «истинному счастью государств», понимая под словом государство «не несколько лиц, управляющих оным, не несколько сословий, находящих выгоду в стеснении прочих, но вообще народ как в массе, так и в частности».¹ Трактат «О свободе торговли и вообще про-

¹ В дальнейшем Н. Бестужев поясняет свой взгляд на «политическое бытие государства»: «До сих пор во всех государствах Европы, даже не исключая тех, которые пользуются наилучшими конституциями, правительства не составляют одностихийного тела с остальной массой народа. В государствах деспотических глава правительства составляет все: его желания, воля суть законы; его нужды суть нужды государства; прочие сословия суть только колеса огромной машины, которой дает движение и направление пружина — деспот. Влечение человечества необходимо склоняется время от времени к свободе, то по такому же естественному побуждению деспотические правители стараются сохранить и свою неограниченность: следственно, выгоды народа, будучи противоположны выгодам главы государства, не соединяют того и другого в одно политическое нераздельное тело. В государствах конституционных также не постигли еще сего единства, и хотя главною основою всех конституций служит правило: что все члены государства без исключения равны пред законом, но вместе с сим везде дают каждому сословию оною особенные права». В качестве примера конституционного государства Н. Бестужев ссылается на английский парламент, где составляются мнения «по известному правилу, что *сердце человека всегда там, где его имущество*». «Если скажут,— говорится далее в трактате,— что в государствах

мышленности» в какой-то степени является продолжением его ранних «Опытов истории российского флота». Если в «Опытах» история отечественного мореплавания и торговли доведена до эпохи Петра I, то в трактате рассматривается «настоящее положение» торговых отношений, земледелия и промышленности. Обзор современного состояния торговли Бестужев начинает с Англии, которая значительно возвысилась над другими государствами торговлей, мореходством и промышленностью. Однако благополучие Англии — благополучие мнимое. Страна, где «народ ее бедствует, а промышленность находится в опасном кризисе», не может служить образцом экономического прогресса и «благополучия всех классов». «Если монополисты,— замечает Бестужев,— поддерживали своими деньгами правительство для поддержания монополий, если, наконец, столько благоприятных обстоятельств для коммерции послужили к тому, чтобы одна половина нации осталась без хлеба, а другая в затруднительном положении, то, конечно, такое состояние Англии должно приписать дурному направлению ее коммерции». Россия не должна стать страной крупных монополистов, симпатии Бестужева на стороне мелких и средних товаропроизводителей. Россия — страна земледельческая. И этого не следует забывать: «Земледелие должно процветать в России», земледелие — «главный источник народного богатства и внешней торговли». Но земледелие «не могло процветать в России под ярмом рабства и находится в самом жалком положении». «Сему малому успеху в земледелии,— по словам автора трактата,— существуют две причины: первая — рабство, которое, делая человека неуверенным в своей собственности, заставляет его нерадеть об улучшении оной и пре-

конституционных министры ответственны перед законом, то на это легко возразить: что ответственность сомнительна там, где судии, т. е. парламентские члены, или подкуплены, или имеют выгоду в безнаказанности министров, способствующих своим управлением наживе большей части своих судий, и если вопли народные когда-нибудь возбуждают в благонамеренных людях желание спросить этой ответственности, то выходит почти всегда, как сказано в басне Крылова «Ручей и река», что:

Напрасно им искать себе управы там,
Где делится большой с меньшими пополам».

небрегать усовершенствованием своих работ, вторая и важная есть недостаток сбыта, ибо ежели бы первая и не существовала, то достаточно одной последней, чтобы уронить хлебопашество». Необходимым условием успешного развития земледелия, промышленности и торговли в России является уничтожение крепостничества, ибо в условиях феодально-крепостнических отношений, по словам Бестужева, «крестьяне, бедные дворяне, сельское духовенство и множество других сословий по селам и маленьким городкам, составляющих многочисленный класс народа, не могут быть потребителями сих произведений...» Вторую причину — «недостаток сбыта» — Н. Бестужев объясняет социально-политическими условиями жизни русского крестьянина, нищетою и бедностью, постоянной его зависимостью от помещичьего произвола. «Если в России крестьянин,— продолжает развивать свои мысли Бестужев,— употребляет мало покупных товаров, то не менее он платит за них своему помещику, которому пошлинные товары по образу его жизни необходимы и который лишние издержки в расходах доправляет с мужика, и потому смело можно сказать, что пошлины, наложенные даже на предметы чистой роскоши, падают и на поселянина не только в России, но и во всяком другом государстве, ибо налог на одну какую-нибудь статью привозных товаров непременно возвышает цену и на другие и сим самым заставляет платить большую часть людей за то, чего они не употребляют, хотя и говорят все, что пошлину, наложенную на какой-нибудь предмет, платит только тот, кто может пользоваться сим предметом». Итак, в своем трактате «О свободе торговли и вообще промышленности» Н. Бестужев не только разоблачает английскую искусственную систему монополий и тарифов, выгодную крупным землевладельцам и капиталистам, но и указывает на своеобразие России, где следует прежде всего уничтожить крепостное право, которое является помехой в развитии торговли и промышленности. Свободная торговля и фабрики необходимы, но земледелие должно главенствовать, и развитие земледелия требует скорейшего уничтожения рабства. Столь же показательны суждения Н. Бестужева о государственном правлении. Деспотическое правительство не в состоянии уничтожить крепостничества, ибо оно на нем держится.

В государствах конституционных (в частности, в Англии) самое правительство зависит от «богачей», в них «народные капиталы переходят в немногие руки». Н. Бестужев не имеет ясного представления о будущих судьбах России, в положительной части его трактат мало оригинален. Но его замечания о Франции 1830 года («Во Франции надлежало сделать народную революцию и ниспровергнуть династию, чтоб отдать под суд министров...») следует принимать во внимание. Это не значит, что Н. Бестужев приветствовал «народную революцию» и понимал ее движущие силы; однако было бы неверно не заметить и не подчеркнуть главной цели бестужевского трактата: «Сила государств составляется из народа». Трактат Н. Бестужева — достойное завершение декабристских писаний по вопросам политической экономии. В этом трактате учтены и ранние декабристские доктрины, и теория Сисмонди, и, наконец, опыт декабристского движения и современного состояния буржуазных стран — та «простая и ощутительная истина», которая стала особенно понятна и ясна после неудавшегося декабрьского восстания. «История писала о царях и героях», — это тоже слова Н. Бестужева. Карамзин в своей «Истории» писал главным образом о царях, для него история России — это история русских монархов. Декабристы не разделяли исторической концепции Карамзина, они желали (и в этом направлении много сделали), чтоб «история писала» о героях, об их патриотических и гражданских деяниях. В своем трактате Н. Бестужев выдвигает новый тезис: «благосостояние целого народа». В своих исторических и экономических построениях Н. Бестужев развивал самые лучшие стороны декабристской политической экономии и, в отличие от своих предшественников, более определенно говорил о значении народа в общественной и государственной жизни.

* * *

Михаил Бестужев тоже был незаурядным писателем-мемуаристом и знатоком народного быта. Воспоминания Михаила Бестужева, известные под названием «Мои тюрьмы», и остальные его записки (ответы на вопросы

М. И. Семевского) проникнуты глубокой симпатией к простым людям. Этот демократический отпечаток сказывается и в описаниях 14 декабря 1825 года и в картинах, изображающих сибирскую каторгу и ссылку. Михаил Бестужев изучал своеобразную «тюремную» этнографию, был кандалыников, психологию преступлений и в ответах на вопросы М. И. Семевского пришел к тому выводу, что «большая часть преступлений была вынуждена порочным устройством нашего общества: то были жертвы бесчеловечия помещиков или начальников, то отчаяния оскорбленного отца, мужа или жениха, то случайного разгула русской природы и еще чаще — произвола нашего бессовестного и бестолкового суда». Ссылные декабристы оказались как бы приравненными к простым кандалыникам, они имели возможность еще раз убедиться в несправедливости русского народа и на этот раз вступить с ним в более тесные отношения, пренебечь сословными предрассудками. В своих воспоминаниях Михаил Бестужев рисует потрясающие картины подневольной каторжной работы и особенно отмечает тяжелое положение приписных крестьян и горнозаводских служителей. «А отверженное племя крестьян и горнозаводских служителей обречено с колыбели до совершенного истощения сил оставаться или угольщиком, или дровосеком, или кузнецом, и участь его тем более горестна, чем он трудолюбивее и прилежней на работе. Я видел собственными глазами, как 75-летний седой старик (Старченко), слесарь, умер или, точнее, угас, работая у своих тисков». Михаил Бестужев замышлял написать рассказ о ссылном крестьянине Трофиме (настоящее имя и фамилия — Федот Шаблин). Вот план предполагаемого рассказа в записи М. И. Семевского. «Начать рассказ его биографии, как он был крепостным, на охоте на собак променяли, как попал [пропуск], что женат на хорош[ей] женщине, барин отбил, [в] солдаты отдал; что он претерпел в солдатстве, как он голодал, сделал преступление, схватили его и т. п., заключают в [тюрьму]. Что всего более удивительно, что этот человек честнее и лучше всех, начиная с ген[ерал]-губернатора и до последнего чиновника в Иркутске».

К сожалению, о произведениях Михаила Бестужева мы знаем слишком мало, чтобы говорить о его художе-

ственном наследии. Он писал и до 14 декабря 1825 года, но из его ранних опытов до нас ничего не дошло. О замыслах и начинаниях Михаила Бестужева можно судить только из ответов на вопросы М. И. Семевского.

«Когда появление поэм Байрона вскружило всем головы, — признавался Михаил Бестужев, — я много написал пиес в подражание ему: тут были и замки, и ливонские рыцари, и девы, и новгородцы. Но когда я читал их брату Николаю, он мне постоянно повторял: «Поменьше кудреватости, побольше простоты, а главное — побольше мысли. Помни, что ни один порядочный человек не одевается московским франтом; побрякушки и разноцветные банты на его галстухе никак не заменят отсутствия ума». Хотя мои литературные произведения с каждым разом ближе и ближе подходили к требованиям брата, хотя некоторые из них уже заслуживали одобрение брата Александра и благосклонно проходили его цензуру, но я всегда предпочитал держаться цензуры брата Николая и не решался отдаваться на суд публики».

О незаурядном поэтическом даровании Михаила Бестужева свидетельствует прекрасная песня «Что ни ветер шумит во сыром бору», посвященная черниговцам и Муравьеву. Эта песня была написана в подражание популярной народной песни «Уж как пал туман на сине море». О «музыкальном чутье русского народа» Михаил Бестужев отзывался с восхищением: «Сойдутся пять-шесть человек русских из разных концов России — запюют песню — прелесть!..»

* * *

Если Николай и Михаил Бестужевы были декабристскими литераторами и в истории декабристской литературы они должны найти свое место, то Александр Бестужев-Марлинский среди декабристов был выдающимся писателем, и его последекабрьское творчество заслуживает самого пристального изучения. В Сибири и особенно на Кавказе Бестужев-Марлинский постоянно интересовался этнографией и фольклором, и это положительно сказалось непосредственно на его художественном творчестве.

История Сибири и Кавказа, народный быт, народные обычаи и поверья становятся одним из основных источников, откуда черпает ссыльный декабрист сюжеты и образы для своих романтических повестей. «Без книг, без библиотек, без архивов», но с прежним интересом к «местному колориту», к новым географическим горизонтам Бестужев продолжает свое литературное творчество, и чем ближе он соприкасается с народом, тем больше и больше в его повестях появляются местные мотивы, тем сильнее становится власть народного предания. Еще в финляндской крепости Форт Слава (1826—1827) Бестужев задумал и частично написал историческую повесть в стихах «Андрей, князь Переяславский». Эта поэма, или повесть в стихах, осталась незаконченной, но, судя по первым главам (из пяти глав были написаны только две), Бестужев собирался написать нечто вроде «Василько» Одоевского. В качестве героя он облюбовал сына Владимира Мономаха, который, в отличие от киевского князя Всеслава, по своей природе деспота и эгоиста, был более «народным», он был любим народом и дорожил этой любовью. Тема о борьбе двух начал в государственной жизни древней Руси — деспотического и более демократического, вечевого по своей форме — интересовала в свое время Рылеева и Раевского, а теперь, в годы каторги и ссылки, эта тема волнует Александра Одоевского и Александра Бестужева. Удельный князь Андрей, борющийся за национальное единство древней Руси, произносит патриотические речи, он полон решимости и веры, хотя и понимает относительность всякой славы. О прошлом князь Андрей рассуждает весьма сходно с героями рылеевских «дум»:

Скажи мне: кто такие были
Вожди бестрепетных славян,
Когда они с полночных стран
Пределы римские громили?
Где имя их? Где силы рьяны?
Где слава жажды боевой?

Порой Бестужев говорит как будто о своих друзьях, потерпевших поражение на Сенатской площади. Но говорит о них с величайшим уважением и в надежде, что героические современники его не пропадут в неизвестности, не останутся в «пепеле забвенья»:

Но пусть живые песнопенья
Иль темный летописей глас
Заронят в пепеле забвенья
Хоть искру памяти о нас...

Или, например, князь Андрей говорит Роману:

Я не исчез в бездонной мгле,
Но, сединой веков юнея,
Раскинусь благом по земле,
Воспламеняя и светлея!

Вообще, две первые главы поэмы, написанные в финляндской крепости, поражают своей бодростью, отсутствием всякой рефлексии и уныния.

Бестужев не закончил своей поэмы и был крайне удивлен, когда узнал, что стихотворная повесть «Андрей, князь Переяславский» безо всякого согласия автора в 1828 году появилась в печати. В письме к матери и сестрам он с раздражением писал об издателях:

«Я, право, не знаю, в каком веке мы живем? Печатать вещь, полную исторических и всяких ошибок, недоконченную, неполную, во многих местах без связи, одним словом, материал чего-то, а не сочинение — значит смеяться над сочинителем и обманывать публику. Если это спекуляция, то она самая презрительная и вредная; если же услуга неудачных доброхотов, то к ней прекрасно применить стих Крылова: «Услужливый дурак опаснее врага».¹

В Якутии Бестужев продолжает писать стихи («Саатырь», «Череп», «Финляндия», «Тост», «Осень», «Шебутуй», «Разлука», «Часы», «Сон», «К облаку» и др.), но стихи ему все же плохо даются.

В лирику якутского ссыльного врывается тоска; особенно драматично стихотворение «Сон», в нем содержится и образ разбушевавшейся пучины и образ «убо-

¹ Сборник «Памяти декабристов», т. II. Л., 1926, стр. 205. Не следует забывать, что эта повесть в стихах писалась в финляндской крепости, где у Бестужева «не было ни одной книги». В письме к Кс. Полевому Бестужев писал из Дербента 12 февраля 1831 года: «Писалась она в Финляндии, где у меня не было ни одной книги: написана она была жестяным обломком, на котором я зубами сделал расщел, и на табачной обертке, по ночам. Чернилами служил толченый уголь. Можете судить об отделке и вдохновении» («Русский вестник», 1861, т. 32, стр. 293).

гого челна»; аналогичные мотивы мы встречаем в поэзии ссыльного Глинки и поэта-каторжанина Одоевского.

Очнулся я от страшной грезы,
Но вся душа тоски полна,
И мнилось, гнут меня железы
К веслу убогого челна.

И все же Бестужев сумел подняться над бедной и однообразной поэзией личных скорбей обращением к фольклорно-этнографическому материалу. Местная тема оказалась столь привлекательной, потому что она была для ссыльного декабриста живым и конкретным проявлением волнующей его темы о родине.

Якутская баллада «Саатырь» свидетельствует, что и Бестужев дорожил локальным элементом в поэзии. Он сам подчеркнул этот элемент: «Содержание этой баллады взято из якутской сказки». Автор баллады довольно точно следует за местным сказочным сюжетом, художественно-этнографический элемент сказывается в поэтическом языке. Бестужев сознательно вводит местные слова и обороты. Баллада оказалась настолько наполненной этнографическими деталями и обрядовыми сценами, что потребовались особые примечания, и Бестужев делает их. Саатырь говорит своему мужу перед смертью:

Не вешай мой гроб на лесной вышине,
Духам, непогодам забавой;
На родимой земле рой могилу ты мне
И кровлей замкни величавой.

Затемненные этнографическими деталями, эти стихи пояснены в примечаниях: «В старину якуты вешали гробы свои на деревьях или ставили их на подрубленных пнях». Подобные «народные» баллады писали Катенин и Кюхельбекер, Бестужев — их последователь. Вот стихи, где этнография и поэзия находятся в полном согласии:

И падают звезды, и прыщёт огонь...
Испуганный адскою ловлей,
Храпит и пугается бешеный конь.
На кровлю — и рухнула кровля!

Вдали огласился раздавленный стон...
Погибли. Но тень Саатыри
Доныне пугает изменчивых жен
По тундрам Восточной Сибири.

Одновременно с Александром Бестужевым якутский фольклор использовал в своем творчестве ссыльный поэт-декабрист Н. Чижев. В своих якутских балладах «Нуча» и «Воздушная дева» Чижев воспроизводит народное предание о русском юноше, который не боялся ни духов, ни шаманов. Он же переложил в стихи якутское поверие о девушке, унесенной ветром на луну. И этот ссыльный поэт не желает, чтобы Якутия в дальнейшем слыла страной «пустой», «дикой» и «страшной», страной шаманов и злых духов. Отсюда в балладе противопоставление «собранию духов» смелого юноши Нучи:

Нуча был не таков!
Презирал он духов!
Он бесстрашно бродил
Вкруг шаманских могил,
Где властительный прах
Схоронен на дровах.

Презирать духов — это не значит чуждаться народности, не понимать народных обрядов и обычаев, держаться среди якутов спесивым одиночкой. В стихотворении Чижева содержится яркое и отнюдь не отрицательное описание праздника «исых». «Так называется, — замечает Чижев в примечаниях к балладе, — празднество якутов, бывающее летом, в то время, когда поспевают кумыс. Собравшись на лугу, они раскидывают огонь, делают возлияние духам, поют и пляшут. Иногда тут же бывают конские скачки, бегание, борьба и проч.». Исых — праздник народный, хозяйственно-утилитарный, он заслуживает внимания и может быть приравнен к народной поэзии.

Александр Бестужев настойчиво искал в Якутии такие местные предания, которые позволили бы написать поэму или повесть самобытную и вместе с тем близкую недавно пережитому и созвучную настроением декабристской ссылки. В 1823 году, когда Рылеев читал отрывки из поэмы «Ссыльный» (так первоначально называлась поэма «Войнаровский»), Бестужев, разумеется, не думал, что через несколько лет он и сам окажется в Якутии на правах политического ссыльного. Живя в Якутске и памятуя о рылеевской поэме, полной раздумий и предчувствий, ссыльный декабрист разыскивает материалы о Войнаровском и о графине А. Г. Бестужевой, сослан-

ной императрицей Елизаветой в Якутск и здесь умершей. В письме к братьям Николаю и Михаилу якутский поселенец писал в августе 1828 года: «Я отыскал могилу графини Анны Гавриловны Бестужевой, сестры графа Головкина, которая здесь кончила изгнанническую жизнь свою, быв сослана из ревности императрицей Елизаветой, высечена кнутом и с урезанным языком. Ее помнила одна старуха и рассказывала, что она была хорошо собой, ходила всегда под покрывалом и едва слышно говорила. Делала много добра. Я было нашел след ее бумагам и бумагам ее брата, но застал их (о вандалы!) на стене под краской: так-то здесь гибнут следы древности. О Войнарковском нашел предание, но не открыл могилы».¹

Историческая повесть об якутских изгнанниках Бестужевой и Войнарковском требовала дополнительных изысканий и времени, а к поэзии Бестужев совсем охладел. «Я не столь страстен к поэзии,— признавался он в письме к братьям 25 декабря 1828 года,— чтобы писать для червей и мышей, и не готовлю сухой прозы на оклейку стен. Мир мой ограничивается собственной головой, в которой рождаются и гибнут сыны мечтаний».² Жизнь в Якутске (с 31 декабря 1827 по июнь 1829 года) была скучна и однообразна, никогда еще Бестужев не писал так мало, хотя сама мысль о литературной деятельности, об издании своих сочинений его не покидала ни на минуту. Он даже помышлял об альманахе, похожем «на мать всех нынешних альманахов — «Полярную звезду».³ Но планы оставались планами. Попытка Елены Бестужевой переиздать сочинения брата закончилась в 1828 году полной неудачей. А. Х. Бенкендорф полагал, что имя Александра Бестужева «пребывает еще у всех в столь свежей памяти», что «может произвести неблагоприятное влияние в публике».

Не желая писать «сентиментальных статей», а для серьезных не имея «довольно источников и оснований»,⁴ ссыльный декабрист решил попробовать свои силы

¹ «Русский вестник», 1870, т. 87, май, стр. 240.

² Там же, стр. 248.

³ Письма А. А. Бестужева из Якутска к матери и сестрам опубликованы Г. В. Прохоровым в сборнике «Памяти декабристов», т. I. Л., 1926, стр. 189—226.

⁴ Письмо А. Бестужева к братьям от 25 января 1829 года — «Русский вестник», 1870, т. 87, май, стр. 260.

в краеведческих занятиях, в изучении Якутии и Сибири. Такое изучение было тем более необходимо, что иностранные ученые неверно и тенденциозно писали о Сибири. «Притом же мне больно видеть, — писал Бестужев в «Рассказах о Сибири», — что многие русские и даже сибиряки повторяют набожно ошибки чужестранных профессоров потому только, что они иностранные». Ссылный декабрист создает первое научное описание Колымы, он подробно рассказывает о жизни и быте тунгусов, рисует картины сибирской природы, сообщает ценнейшие географические и этнографические сведения о мало изученном крае. Бестужев близко сходитя с местным населением и в своих рассказах касается национального своеобразия народов крайнего Севера. Для Бестужева «бедный» тунгус, находящийся на стадии первобытной дикости, есть прежде всего человек, ценный по своим нравственным качествам. Бестужев не стесняется назвать его своим «братом»: «тунгус беден, но честен и гостеприимен». Между ссылкой декабристом, представителем просвещенной России, и диким тунгусом существуют отношения дружбы, взаимного уважения. Жизнь тунгуса полна лишений и опасности, она трагична в своей основе, но и в этой жизни есть своя романтика, первобытно красивая и героическая. В своих описаниях Бестужев скуп на похвалы, он не идеализирует «детей природы», видит неустроенность примитивного быта, власть природы над человеком, стихийные бедствия. Однажды Бестужев посетил зимовье тунгусского охотника, человека сильного по своей натуре, но беспомощного в единоборстве с условиями жизни. Вот эта драматическая сцена из жизни тунгуса:

«Приближаюсь, нет дыма. Это что бы значило? Вхожу, у меня замерло сердце! Жена его оледенела над грудным младенцем, который лежал у ней на коленях и умер, не находя молока в истощенной груди. Старшая дочь лежала ногами на погасшем очаге, желая, конечно, погреться на углях, которых не могла раздуть от слабости. Мальчик лет двенадцати закован, грызя ремень обуви. Судорожная тоска видна была на всех лицах и во всех членах, особенно в поднятых к небу глазах матери. Должно быть, ужасное происшествие случилось месяца два назад, потому что ветром наваяло в трубу много иня и мертвецы сверкали им. Хозяин, я полагаю, погиб

от метели на ловле, а семья — дома от голода, и тем вероятнее, что мы нашли подле очага сырые лоскутья шкуры с собаки, которая, без сомнения, одна воротилась назад и была съедена за недостатком иной пищи».

В «Сибирских рассказах» рассыпано много таких наблюдений, которые дают основание считать Бестужева и этнографом и краеведом. Патриотизм декабриста, любящего Россию и желающего ей всяческих благ, сказывается в описаниях Сибири, которая поражает своим богатством и одновременно бедностью. Бестужев отмечает несоответствие между экономическими и природными возможностями Сибири и той заброшенностью, отсталостью, которая царит в этом многообещающем крае русского государства. Отсюда какая-то сыновья забота и любовь к Сибири, дельные советы, целая программа возможного преобразования. Бестужев говорит о необходимости развития судостроения, путей сообщения и торговли, об использовании полезных ископаемых, покоящихся в недрах земли. «Сама природа, — пишет он, — указала Сибири средства существования и ключи промышленности. Схороня в горах ее множество металла и цветных камней, дав ей обилие вод и лесов, но между тем заградив ее от Европы, она явно дает знать, что Сибирь должна быть страной фабрик и заводов».

В «Рассказы о Сибири» Бестужев включает описание однообразного Якутска и живописной Лены. Рылеев был первым русским поэтом, воспевшим заснеженную Якутию, место ссылки Войнаровского. Бестужев как бы завершает этнографическую рамку рылеевской поэмы. В свое время Бестужев написал жизнеописание Войнаровского, которое было приложено к одноименной поэме Рылеева (1825 год). Теперь, когда он, подобно Войнаровскому, влачил безрадостные дни ссылки в Якутии, образы прошлого сливались с настоящим. «Теперь я брожу нередко около города, до сих пор не нашел гробов Войнаровского и несчастной родственницы нашей, Бестужевой, которая умерла здесь», — сообщает он в одном из писем из Якутска к Елене Александровне. Может быть, не без воспоминаний о рылеевской поэме Бестужев писал об Якутии: «Но вот мы близко к Якутску. Колокольни церквей и башни деревянного замка уже видны, и разлитая верст на пятнадцать Лена, подобно огром-

ному проливу, катится между затопленных островов, заметных только вершинами тальника... Взору не на чем отдохнуть в пустом отдалении; ни один цветок не манит руки — все грустно, все дико».

«Рассказы о Сибири» Бестужев снабдил специальным комментарием, поясняющим местные слова и выражения, сообщая дополнительные сведения по истории и этнографии Сибири. Пример подобного комментария был дан Рылеевым в «Войнаровском», затем Федором Глинкой, приложившим к своим карельским поэмам («Карелия», «Дева карельских лесов») подробнейшие примечания, почти справочники по истории местного края. Декабристы еще до 14 декабря 1825 года призывали всесторонне изучать окраины России. В Сибири Бестужев становится краеведом, и эти его занятия вполне соответствуют одному из пунктов литературной и научной программы декабристов. В примечаниях к «Рассказам о Сибири» можно найти самые разнообразные сведения краеведческого характера.

Бестужеву довелось поработать на Сибирь, хотя повод к этой работе был подневольный. Ссыланные декабристы внутри своей страны ищут поэтических тем и местных красок, отказываясь от путешествий в чужие края. Еще в 1823 году в трактате Сомова «О романтической поэзии» своего рода поэтическая география родной страны была возведена в один из важнейших принципов романтической программы. Сомов приглашал русских писателей «окинуть взором края России», в частности «многообразные племена Сибири». Сибирская тема в годы ссылки оказалась столь привлекательной, что Бестужев с воодушевлением взялся за эту местную тему. Вдуматься в прошлое и настоящее Сибири, проникнуться характером страны, сжиться с ее пейзажем значило для декабристов войти в общение еще с одним уголком родной земли.

Следует отметить этнографический очерк Александра Бестужева «Сибирские нравы. Исых». В этом очерке содержится подробное описание якутского весеннего праздника. Александр Бестужев касается всех элементов обряда в озаглавление «начатка кумыса», он не пропускает ни мельчайшей обрядовой детали, документально точно воспроизводит внешнюю и внутреннюю обстановку праздника: вид якутской юрты, описание самого обряда,

появление шамана, заклинание, произносимое над белой кобылицей, песни, пляски и игры, всевозможные виды состязаний мужчин в силе, потчевание кумысом, обычай состязания объедал и опивал («проба объедал») и т. д. Насколько Бестужев сдружился с Сибирью и насколько глубоко интересовался историей и этнографией этого края свидетельствует его «Письмо к доктору Эрману», начатое в Сибири и законченное на Кавказе. Рассказывая о своем странствовании из Сибири на Кавказ, Бестужев в «Письме к доктору Эрману» просит сообщать ему сведения об обитателях Камчатки, о коряках, чукчах, камчадалах, алеутах, спрашивает о «горящих вулканах» и сибирской демонологии, со своей стороны он сообщает о «чудесах и удальстве, о приворотях и порчах колымских и камчатских волшебниц», о якутской «хиромантии», предсказывающей урожай брусники и падеж скота.

Живя в Якутии, Бестужев внимательно следил за событиями на Кавказе. Два его брата — Петр и Павел — сражались с турками, Александр завидовал их участи и сам стремился попасть в действующую армию, отличиться в войне и хотя бы ценою крови вернуть свободу. Письма Бестужева к Петру и Павлу полны военной романтики, в них он то и дело сравнивает свое одинокое существование с шумным воинским станом, куда рвется его душа. «Ты, как мне пишут, резался на улицах Карсу! Меня, — признается он в письме к брату Петру от 10 ноября 1828 года, — зависть берет, когда я глотаю чад вместо порохового дыма, воображаю ваши подвиги. Хоть бы из-за угла поглядеть. Хоть бы навязать на арфу свою струн с луков курдистанцев. А то вдохновение отмораживает здесь крылья, и солнце не зажигает даже трубки, не только воображения поэта. Не могли участвовать ни делом, ни словом в битвах с неверными, сделай одолжение, сверни хоть из этого листка пару боевых патронов и пусти их за меня к неприятелю». В письме от 9 января 1829 года Бестужев просит Петра подробнее писать о Кавказе и сражениях: «Напиши, сделай милость, какое впечатление на тебя произвела горная природа, и первое сражение, и первый приступ. Я стараюсь изучать человека во всех положениях и надеюсь на искренность твою более, чем на рассказы романистов, хочу поверить мнению самим делом». О себе Александр

Бестужев заявляет как истинный романтик: «Я устарел опытом, но еще юн сердцем и жизнь еще кипит в жилах от одного воображения». Письмо к младшему брату Павлу, прапорщику 21-й артиллерийской бригады, датированное 10 апреля 1828 года, совсем переносит якутского ссыльного на Кавказ. В нем Александр Бестужев развертывает целую программу кавказоведения, которой он и сам будет придерживаться, когда окажется на Кавказе и посвятит себя изучению этого края.

Вот совет Александра Бестужева своему брату: «Надеюсь, что занятия службы не помешают тебе учиться, и учиться основательно. Науки помогли мне перенести много тяжкого, и если находили на меня часы прусты и нетерпения, то они приходили оттого, что я или недоучился, или худо понял то, чему выучился. Около тебя народы дикие — наблюдай их нравы; страсти везде одинаковы, хотя цель и выражение их различны; потому-то приучись глядеть на них в первобытной наготе и искренности, ты будешь угадывать людей и сквозь светский покров образованности. Читай много (память есть житница на зиму несчастий), не всему верь, не для того, чтобы во всем сомневаться, но чтобы все обсудить. Свой ум лучше чужого остроумия, но не доверяй и ему с первого раза — пускай время будет ситом твоих мыслей».¹

Александр Бестужев настойчиво хлопотал о переводе на Кавказ, и он получил разрешение. Отправляя Бестужева под пули, на явную смерть, Николай I твердо наказывал главнокомандующему отдельным Кавказским корпусом графу Паскевичу, чтобы ссыльного декабриста не представляли к повышению в чине, держали строго и бдительно следили за его поведением. Управляющий Главным штабом граф А. И. Чернышев писал 13 апреля 1829 года к Паскевичу: «Сосланного в Сибирь на поселение определить на службу в один из действующих против неприятеля полков Кавказского отдельного корпуса по усмотрению вашего сиятельства, с тем однакоже, что,

¹ Письма Александра Бестужева из Якутска к братьям Павлу и Петру опубликованы Г. В. Прохоровым — см. «Былое», 1925, № 5, стр. 117—119. Цит. по автографам, сохранившимся среди бумаг Бестужевых. Институт русской литературы АН СССР, арх. № 5 (5514), лл. 3—8.

в случае оказанного им отличия против неприятеля, не был он представлен к повышению, а доносить только на высочайшее благоволение, какое именно отличие будет им сделано». Одновременно предписывалось: «...иметь за ним тайный бдительный надзор... и доносить немедленно, коль скоро усмотрено будет в поведении Бестужева какое-либо отступление от порядка». ¹

¹ «Былое», 1906, ноябрь, стр. 305—306.

**ПОВЕСТИ О ЛЮДЯХ И СТРАСТЯХ.
НАРОДНАЯ ФАНТАСТИКА В ПОВЕСТЯХ
БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО**

* *
* *

В годы кавказской жизни (1829—1837) творчество Бестужева получило новый, еще небывалый размах. Бестужев вернулся в литературу под псевдонимом Марлинского и завоевал громкую литературную славу. В 1830 году за подписью «А. М.» в «Сыне отечества» была напечатана повесть «Испытание», затем за псевдонимом «А. Марлинский» в петербургских и московских журналах стали появляться одна за другой бестужевские повести и военные рассказы: «Лейтенант Белозор» (1831), «Страшное гадание» (1831), «Наезды» (1832), «Латник» (1832), «Фрегат «Надежда» (1832), «Аммалат-Бек» (1832), «Рассказ офицера, бывшего в плену у горцев» (1834), «Путь до города Кубы» (1834), «Мореход Никитин» (1834), «Мулла-Нур» (1836) и другие повести, военные рассказы, кавказские очерки.

Литературная слава Бестужева-Марлинского в тридцатые годы была в своем существе драматична. Марлинского воспринимали с внешней стороны, со стороны «бестужевских блесков»: его метафорический стиль и эксцентричное слово, мелодраматические эффекты и декоративный рисунок фактически заслонили богатое идейное содержание, вполне декабристские бестужевские концепции и тот серьезный смысл, которым полны его произведения. В романтических повестях Бестужева-Марлинского очень часто находили бутафорию, нечто опереточное, увлекательное и красивое, но в них не ощущали

напряженных драматических конфликтов, «подводных течений» и вполне оригинальных воззрений на окружающую действительность. Главная трагедия Бестужева-Марлинского состоит в разладе между идейным замыслом и художественным претворением. По своему замыслу творчество Бестужева-Марлинского в тридцатые годы было скреплено с жизнью и с декабристкой традицией, а по воплощению оно было отдалено от жизни, от реальности.

Бестужевская проза внутренне полемична. «Воевать, воевать!» — это не только житейский лозунг, но и литературный лозунг Бестужева. Выработка вполне оригинальных бестужевских сюжетов, именно сюжетов, а не характеров, которыми не богата проза Бестужева-Марлинского, происходит в тридцатые годы путем пародийно-иронической переоценки ходячих сюжетных схем и литературных шаблонов. Спор идет в первую очередь с Карамзиным и Жуковским, спор по поводу декоративно-романтической поэтики и двух ее планов — таинственного и реального. В самых нарядных повестях спорит Бестужев с Булгариным и Сенковским, с их натурализмом и пустой фантастикой. Бестужев не теряет из виду своих прежних антагонистов и не забывает опыта прошлой литературной борьбы. Катенин и Кюхельбекер в свое время дали бой балладам Жуковского, пользуясь оружием противника, не сходя с «балладной» площадки. Бестужев этот спор переносит в прозу и продолжает его в тридцатые годы. Он обращается к необычным романтическим сюжетам и на первый взгляд занимается чисто декоративными живописаниями. На самом деле фантастические повести Бестужева показательны своим преодолением условно-романтических схем. Под фантастической оболочкой бестужевских повестей очень часто скрывается народно-самобытное содержание, весьма повседневное, отнюдь не авторски-произвольное и эксцентричное. Условно-романтические сюжеты в творчестве Бестужева получают строгое фактическое объяснение, в них преувеличенно отражается действительность, но своеобразный пафос действительности всегда им присущ.

Бестужев-Марлинский был и оставался романтиком. Но история литературы учит, что романтизм романтизму рознь. Романтизм декабриста Бестужева совсем не тот, что у Жуковского или у писателей, близких Жуковскому.

У всякого литературного направления есть своя связь с действительностью, хотя бы минимальная, хотя бы и извращенная. Связь с действительностью присутствует и во всех направлениях романтизма. Но внутри самого романтизма связь эта очень различается по своей степени, по своему внутреннему качеству. У романтика-декабриста Бестужева совсем иные связи с жизнью, чем у элегического, склонного к мистике и созерцательству Жуковского. Бестужев ориентируется, вопреки школе Жуковского, на мужественные волевые явления жизни, открыто заглядывает в лицо всему в реальном мире, что требует отпора и борьбы. Бестужев не ищет так называемого «примирения с действительностью», он бросает вызов всему, что противоречит его идеалам и убеждениям. Пусть борьба с жизнью носит у Бестужева подчас характер химерический, пусть это будет борьба при всем темпераменте, который здесь проявляется, лишенная надежды на успех и победу, но все же это есть борьба, и повести Бестужева воспитывают желание борьбы со злом, с низменными силами жизни. Наконец, мы беремся утверждать, что связи с жизнью в повестях Бестужева гораздо богаче и разностороннее, чем это было у заурядных романтиков.

Цветистый, необыкновенно вычурный, «волшебный» словесный стиль Бестужева-Марлинского заслоняет эти качества его прозы. Однако же у Бестужева нет полного совпадения между его словесным стилем и внутренним замыслом его повестей, их фабульным материалом, отношением к этому материалу самого повествователя. Известная «фразистость» Бестужева-Марлинского, любовь к словесным фейерверкам еще не означает, что его произведения до самой своей глубины являются сплошным авторским измышлением, что все в них мечта и дым. Если несколько отвлечься от словесного стиля Бестужева, то в его повестях можно обнаружить и соприкосновение с подлинной жизнью, и трезвое наблюдение ее, и трезвую реальную мысль. К прозе Бестужева-Марлинского привыкли относиться как к некоему пловучему саду, с сочиненной автором растительностью, произвольно пестрой, без почвы и без корней. Между тем в этой прозе наличествуют связи с жизнью, с ее реальными задачами, с культурой нации и народа. Особенность романтической манеры Бестужева в том, что его проза как бы нарочно

уничтожает следы своего происхождения от объективного мира, от исторической и современной русской жизни. Однако современникам, по крайней мере ближайшим, эти связи с реальностью, пусть и не показанные самим автором, были ясны. Поэтому в прозе Бестужева для них заключалось больше веса, больше объективного содержания, больше подлинной действительности, чем это представлялось последующим поколениям, видевшим в этих повестях одни только бенгальские огни. Задача исследования вернуть этот вес и это содержание, изначально присущие прозе Бестужева, так как без этого нельзя ни понять, ни оценить историческое значение его повестей. Если сдернуть с них покров «красивой фразы», то многое прояснится, многое встанет на свое место, и тогда «нестественный» Бестужев окажется более естественным, жизненным и правдивым.

Историк и литератор С. С. Шашков, постоянно сотрудничавший в журнале «Дело», верно отметил в бестужевской эксцентричности проявление ненормальностей самой действительности. В биографическом очерке о Бестужеве-Марлинском С. С. Шашков писал:

«У нас Жуковский, глава романтиков, сделался проводником самых консервативных идей. Бестужев, как мог видеть читатель из его писем и критических заметок, вовсе не был поборником застоя и смотрел на жизнь довольно реально. Но обстоятельства сложились так, что жизнь разъединила его ум и фантазию. Идеалы были разбиты, ум видел много дурного, но, при данных условиях, молчал, а фантазия летела безудержно и создавала свою действительность, теряя всякое чувство настоящей действительности... Это было явление в высшей степени ненормальное, но его ненормальность была порождена ненормальной действительностью. Это был болезненный полет чувства и воображения, но все-таки полет для поисков чего-то лучшего, все-таки не примирение с «пошлою прозою действительной жизни», как говорилось тогда. Романтизм Марлинского поддержал и даже усилил в массе общества тридцатых годов то отвращение к злой и пошлой жизни, которое потом начало принимать все более и более реальное направление».¹

¹ «Дело», 1880, № 11, стр. 142.

Даже такие свехромантические повести Бестужева-Марлинского, как «Вечер на Кавказских водах в 1824 году» и «Страшное гадание», были своеобразной критикой «ненормальной действительности»; полет чувства и воображения, фантастика и вымысел не заслоняли в них вполне реальной иронии, иронической характеристики светской действительности. Показательно для манеры Бестужева и то, что он обращается к народной фантастике, к фольклорным фабулам и сказовым приемам повествования.

М. А. Васильев, исследовавший фольклорные источники «Вечера на Кавказских водах» и «Страшного гадания», устанавливает, что бестужевские «прекрасные повести» о кладбищенских приключениях и встречах с покойниками находятся в полном соответствии с распространенными народными сказками о мертвецах. Сказочные мотивы проходят в бестужевской повести в разных вариациях:

1. Благородный мертвец платит добром своему благодетелю. Этот сказочный мотив в повести Бестужева связывается то с повешенным, который награждает героя за сочувствие к несчастному, то с блуждающей тенью, которая за внимание, оказанное ей героем, спасает его от смерти. «Этот мотив награды мертвецом своего благодетеля встречается в разных вариациях в наших сказках. Так, например, в сказке № 152 сборника Ончукова герой, оказавший внимание мертвецу, награждается последним самоцветными камнями; в сборнике Афанасьева, № 104, Иван-царевич в благодарность получает богатырского коня. Бестужев воспользовался общей идеей мотива, видоизменив обстановку и место действия применительно к общему стилю своей повести». ¹

2. Притворный мертвец, нападающий на случайно появившихся в часовне разбойников (у Бестужева «мертвец» нападает на появившегося в часовне офицера). И этот мотив хорошо известен русскому сказочному прозаическому эпосу. Притворный мертвец готовится в по-

¹ М. А. Васильев. Декабрист А. Бестужев как писатель-этнограф. «Научно-педагогический сборник». Восточный педагогический институт в Казани. Казань, 1926, вып. 1, стр. 72.

вести Бестужева к нападению на офицера, но офицер предупреждает нападение и расправляется с «мертвецом».

Важно, что бестужевская фантастика берет свое начало в фольклоре, в народной романтической сказке. Рассказывая однажды вечером на Кавказских водах разные истории о мертвецах, бестужевские офицеры знакомили друг друга с перелицованными народными сказками и приключения или приключения ближайших знакомых. Это не значит, что Бестужев механически следовал за фольклорными сюжетами, он перестраивал отдельные сказочные фабулы на свой лад, трактовал их в духе своей эстетики, своего мировоззрения. Главный смысл «Вечера на Кавказских водах» состоит не в реминисценции сказочных мотивов о благородных и притворных мертвецах. Для этого Бестужеву не стоило писать повесть. В народных сказках Бестужев видел не только неистощимый источник фантастики и богатейшие сюжетообразования, его поражало трезвое отношение народа к самым неправдоподобным, таинственным явлениям, стихийный народный материализм. Мертвецы в народной сказке совсем не похожи на балладных мертвецов Жуковского. Это тоже нравилось декабристу-романтику. Бестужевскую манеру переделывать на свой манер народные сказки и предания нельзя равнять со стилизаторскими приемами Вельтмана и Даля, не говоря уже о Жуковском. Отмечая, что Вельтман доказал, «до какой обаятельной прелести может доцвести русская сказка, спрыснутая мыслью», Бестужев писал об авторе «Кощея бессмертного»: Вельтман «выкупал русскую старину в романтизме». О Бестужеве-романтике можно сказать, что он свой декабристский романтизм «выкупал» в народности. Но Вельтман был романтиком «по форме, по изложению», его романтизму нехватало идейного содержания; Бестужев — романтик и по форме и по содержанию своего творчества. Успешно пользуясь фольклорным и этнографическим материалом, готовыми сюжетными схемами и конструкциями, он в то же самое время пытается учесть мнение народа, опереться на народные предания по существу. Проблему народности Бестужев понимал как романтик, но романтик декабристской ориентации. Белинский указывал на ограниченность на-

родности в понимании Бестужева-Марлинского: «Он не виноват ни душой, ни телом в том, что будто бы он своими повестями отворил дверь народности в русскую литературу». И все же отзыв Белинского о мнимой народности Марлинского следует понимать с некоторыми ограничениями. Едва ли можно сказать о Бестужева-Марлинском, что «он народен не больше Карамзина». Верно, что Бестужев в своих исторических и «народных» повестях не реализовал всех программных требований, которые он сам же провозглашал в трактатах о романтизме и народности: повествователь или рассказчик не всегда следовал за критиком и журналистом. Но Белинский был все же не прав, отказывая Бестужева-Марлинскому в самобытном понимании народности и ставя его повести рядом с сентиментальными повестями карамзинистов. В своих повестях Бестужев-Марлинский выгодно отличался не только от Карамзина, но и от Вельтмана и Даля. В основе бестужевской народности лежат не археологические и этимологические домыслы, не внешнее копирование фольклорных сюжетов, не подделывание под язык простолюдинов, но то отношение к народу по существу, то стремление к подлинному народознанию, которое характерно для всего круга писателей-декабристов. В тридцатые годы Бестужев продолжал развивать и доказывать излюбленный декабристский тезис о важности фольклорно-этнографического материала и героического предания в исторических и художественных сочинениях.

Опираясь на сказочные сюжеты и фабулы, Бестужев создает свои фантастические повести, которые составляют определенный полемический этап в развитии русской прозы. История с кирасирским поручиком, рассказанная драгунским капитаном, едва ли не самая страшная повесть о привидениях в заброшенном польском замке, куда случайно забрел русский офицер со своим денщиком. Ночью, при лунном свете, появляется женщина-мертвец и гробовым голосом зовет поручика с собой. Однако и эта история с привидением имеет слишком обыкновенную развязку, она легко объясняется: женщина в белом саване — переодетая жена охотника, сознательно пришедшая в замок, чтобы спасти русского офицера от преследования польских панов, предупредить его о неминуемой

гибели. Если в истории с кирасирским поручиком мелькает тень баллад Жуковского и его подражателей и в поэзии и в прозе, то рассказ гусарского офицера сделан почти по Жуковскому, и против Жуковского он направлен. Ветхая часовня, деревянный крест, окованные железом двери, в часовне гроб, в гробу покойник, покрытый белым покрывалом. Заблудившийся офицер ночует в часовне. «Вся эта сцена была точь-в-точь как в «Светлане» Жуковского, но я, — говорит офицер, — не видал вблизи голубка-хранителя, который мог бы защитить меня от зубов кровопийцы. Однакоже мало-помалу уверенность возвратилась.

Что до мертвых, что до гроба?
Мертвых дом — земли утроба,—

сказал я самому себе и обернулся к стене».

В дальнейшем сюжет разворачивается отнюдь не вслед Жуковскому. Бестужев держится ближе к народной сказке. Оказывается, что мертвец в гробу — простая мистификация. Часовня — разбойничий притон, мертвец — разбойник, за печью «бородатое лицо другого разбойника». Разбойники вздумали играть «комедию мертвецов», чтобы отпугнуть любопытных и заманить на верную гибель отважных. Гусарский офицер рассказывает об этой неожиданной встрече: «Вообразите, какая картина была передо мною: мертвец злобного лица, со сверкающими очами и с ножом в руке, порывался ко мне, между тем как пудель грыз его, ухватя за горло. Кровь ручьем бежала, и он с проклятием и глухим стоном боли боролся с остервенившимся животным, а оно, хотя два раза было поражено ножом, не покидало своего противника». Не «голубок-хранитель», а рукопашный бой и помощь верного пса решают исход поединка. Главный мотив всех рассказов «Вечера на Кавказских водах» есть *мотив испытания храбрости*. И часовня и кладбище — своеобразное поле боя, где привидения теряют свой мистический смысл и становятся мистификаторами или просто разбойниками. О «Вечере на Кавказских водах» можно сказать словами драгунского капитана:

«— Благодарим за честь приветствия и занимательность рассказа, — произнес гвардеец, благодаря гусара от лица всего собрания: — премилая повесть!

«— Тем более что она с романтической завязкой соединяет историческую достоверность, — прибавил драгунский капитан».

Бестужев отделяет фантастику от мистики: фантастику он признает, мистику отрицает. Мертвецы у Бестужева не поучают живых, мертвецы есть мертвецы, нет никаких загробных тайн и таинств в духе Жуковского; если же мертвецы по-живому шевелятся, то это маскарад и балаган, разыгранный живыми.

* * *

Неменьший интерес представляет повесть «Страшное гадание». Эта повесть «страшная» не только по названию: картины реальные, списанные с природы, в ней постоянно переплетаются с картинами фантастическими, вымышленными.

Офицер Северского конногвардейского полка рассказывал о своем увлечении княгиней Полиной Львинской. Развернута светская фабула, со светским героем, с высокими страстями, представленными вполне гиперболически, и здесь же, вместе со светским миром, рядом с ним даны русская деревня, русская тройка, ямщик на облучке, в повесть вводятся песни ямщика, народные предания о русалке, которая сидит на суку и пугает конного и пешего, одним словом приведен в действие целый мир народной мифологии. Этнографические народно-обрядовые описания вытесняют светскую фабулу, они образуют главное содержание повести: светский герой растворяется среди деревенских парней и девушек, он попадает на деревенскую посиделку и на время забывает о своем увлечении, о светском бале, где пир горой и «шампанского — разливное море», куда он так спешил, чтобы встретить Полину. Светскую героиню оттесняют «красные девушки» в разноцветных повязках и молодницы в кокошниках, молодцы в ситцевых рубахах и в суконных кафтанах.

С подробностями Бестужев изображает новогодние посиделки: тут и пущенный в круг петух, и волшебные кольца, спрятанные в кучке овса и ячменя, и подблюд-

ные песни. Участники посиделок рассказывают друг другу про чортов свадебный поезд, про черного ангела, про Эфиопа, который стоит у каждого человека за левым плечом, про мертвеца, который требует отнятый у него саван. «Это целая энциклопедия народной русской демонологии и святочной обрядности. На фоне реально-бытовой картины новогодних посиделок перед читателем проходит весь малый Олимп русской мифологии: русалки, оборотни, лешие, домовые, черти, мертвецы и привидения. И все эти обряды носят строго выдержанный характер народных о них представлений». ¹ Среди деревенских парней находится своеобразный сказитель, хороший рассказчик былей и побывальщин; он оглянулся на дверь, на окно, на лица слушателей, крикнул протяжно, оправил рукою кудри и начал свой рассказ о мертвеце, который пожаловал однажды на деревенские посиделки.

Мы не будем дословно передавать фантастического рассказа о мертвеце, приведем самый конец его: «...дверь со стоном повернулась на пятках, и мертвец шаст в избу!..» ² Светский герой из постороннего наблюдателя становится непосредственным участником деревенских обрядов, он знакомится с гадателем и вместе с ним идет на кладбище заклинать нечистого на воловьей шкуре. Не обойден и сам обряд: гадатель очертил ножом дорожку, окропил ее зельем, собранным в Иванову ночь, задушил красного петуха, еще раз полил окровавленный круг зельем, произнося заклинание.

Спрашивается, зачем потребовалось Бестужеву путешествие на кладбище и столь подробное описание деревенских обрядов? Народные нравы, поверья, обычаи, весь этот фольклорно-этнографический материал был важен сам по себе, он представлял для Бестужева объективную ценность, ценность первоисточника. Народную словесность декабристы-романтики считали «говорящей картиной» национальных нравов, обычаев и образа жизни. Без знания народной словесности трудно было решать

¹ М. А. Васильев. Декабрист А. А. Бестужев как писатель-этнограф, стр. 73.

² М. Е. Васильев указывает, что рассказ, вложенный в уста деревенского краснбая о мертвеце, пришедшем к парню за саваном, очень близко воспроизводит сказку № 205 из сборника Афанасьева.

проблему народности в литературе. Бестужев внимательно изучал деревенские нравы и обычаи, он собственноручно собирал и записывал народные поверия и песни, собственными глазами наблюдал обряды и обычаи. Но он не только наблюдал и воспроизводил народную этнографию: в повестях Бестужева из народной жизни содержится попытка разобраться в сложной мозаике народных верований и преданий, в действительной жизни народа. Далеко не все в жизни русского крестьянина Бестужев приватствует. Обряд заклипания нечистого на воловьей шкуре и сам образ колдуна не восхищают писателя, колдун для него «самый невежественный» человек, «пьяный духовидец». Обрядовая сцена на кладбище кончается тем, что заклинатель смолк, а офицер, лежавший на шкуре, услышал какой-то таинственный шум... «И что ж? полштоф стоял пустой, и рядом с ним храпел мой пьяный духовидец, упав ничком!»

В деревенских посиделках и в подблюдных песнях Бестужев нашел самобытный поэтический быт народа, много поучительного и прекрасного; о заговорах и заклинаниях он отозвался отрицательно, расценив их как явно пережиточные формы народного миропонимания.

Деревенские посиделки, обряды и песни, которые крестьянские девушки поют во время гадания под новый год, — все это праздничная, веселая сторона народной жизни. Но есть и другая, совсем темная, безрадостная, кладбищенская действительность — светская и крестьянская, городская и деревенская. В своих подблюдных песнях Бестужев показывает эту безрадостную действительность и призывает к борьбе с нею. Бестужевские песни явились в процессе пристального взглядывания в народную жизнь и знания народной психологии.

В повести «Страшное гадание» постоянно видятся предметы и чувства совсем реальные. Естественный крестьянский быт и самобытные нравы получают зловещие, темные черты, как только в курной избе появляется колдун, или «незнакомец», мужчина в расписной сибирке, в лаковых сапогах и в бобровой шапке с козырьком особого вида. Таинственный «незнакомец», неожиданно появившийся в деревне, не то преследователь народных обычаев, подосланный официальными властями, не то

«блудный купеческий сын», спаивающий крестьян и разрушающий их «добрые нравы». Бестужев заставил «незнакомца» поведать о «тайнах» окружного дворянства: «тот волочится за предводительшей, та была у нашего майора в гостях под маскою; тот вместо волка наехал с собаками на след соседа и чуть не затравил зверька в спальне у жены своей. Полковник наш поделился столькими-то тысячами с губернатором, чтобы очистить квитанции за постой... Прокурор получил недавно пирог с золотую начинкою за то, чтоб замять дело помещика Ремницина, который засек своего человека, и проч., и проч.». Провинциальное дворянство погрязло в мелких страстях, в сплетнях, в похождениях совсем никчемных, оно закоснело в своем крепостничестве, оно куда ниже простого русского народа.

Фабула «Страшного гадания» не обрывается на деревенской обрядовой сцене, за ней следует еще более таинственная, «романтический» эпизод, возвращающий действие снова на кладбище. Офицер все же спешит на бал, где он встречается с Полиной, потом бежит вместе с нею. За беглецами снаряжается погоня, обманутый муж преследует оболыщенную супругу, заносит руку на оболыстителя, но клинок офицера сражает старого князя, и его труп, падая на склон берега, катится вниз, на лед. Между тем офицер и Полина несутся на иноходце, сани влетают в ограду кладбища, задевают за кресты и останавливаются у воловьей шкуры, на которой недавно совершалось гаданье; седоки стремглав летят на дно свежевырытой могилы, вслед падают глыбы земли и снега. И снова неожиданная развязка: «Где я? Что со мной?.. Холодный пот катился по лицу, все жилки трепетали от ужаса и усилия. Озираюсь, припоминаю минувшее... и медленно возвращаются ко мне чувства. Так, я на кладбище!.. Кругом склоняются кресты; надо мной потухающий месяц; подо мной роковая воловья шкура. Товарищ гаданья лежал ниц в глубоком усыплении. Мало-помалу я уверился, что все виденное мною был только сон, страшный, зловеший сон!»

В «Страшном гадании» все вещи названы своими именами. Кладбищенские ужасы получают трезвое объяснение. Все это лишь страшный сон офицера, уснувшего на кладбище по соседству с «пьяным духовидцем». Повесть

Бестужева только на первый взгляд полна ужасов и кошмаров, мистических привидений и мертвецов. Действие дважды переносится на кладбище, путешествие офицера сопровождается гаданиями, встречами с оборотнями и колдунами, но все это не более как литературный прием, увлекательная фабула. На кладбище как бы проявляется человеческая воля и проверяется сама действительность.

* * *

Повесть «Страшное гадание» включает в себя апологию сильных человеческих страстей, и этим высоким стремлениям в повести противостоят картины низменной повседневной жизни, представленной критически. Герои Бестужева — гвардейский офицер и княгиня Полина Львинская — добровольно не расстаются с жизнью. Но их «неистовые страсти» всего лишь «страшный, злоеущий сон». «Да сон, но как наяву, как на деле», — повторяет Бестужев. В действительности нет и таких страстей, все бледнее и мельче: «незнакомец» в бобровой шапке спаивает и обманывает народ, помещик Ремницин засекает крепостных людей, губернский прокурор берет взятки. Во всем губернском городе нет честного человека, всюду «обманутый муж, обольщенная супруга, опозоренное супружество». Среди прочих «тайных похождения окружного дворянства» тайное похождение гвардейского офицера и княгини Полины, пожалуй, самое чудесное и увлекательное. Это и хотел сказать Бестужев, противопоставляя романтический сон тому, что существует наяву, на деле, в дворянском обществе.

Своими романтическими повестями Бестужев пропагандировал новое понимание человеческих страстей. Лермонтов назвал одну из своих романтических драм «Люди и страсти». Мы бы назвали точно так же повестями о людях и о страстях романтические повести Бестужева. В изображении «ослепительной страсти» гвардейского офицера, который никогда не расставался с «философскими правилами», Бестужев не мог избежать драматических эффектов и нарочитой театральности, не мог он

обойтись без «клокотания крови» и декоративных поз. В кровавых поединках, в мщении, в бурных порывах Бестужев находит поэзию, и он с воодушевлением живописует эти кровавые картины. Его суровые, по-своему мужественные фабулы противостоят элегическим сюжетам, картинам мирным и тихим, балладно-элегическим. Бестужев очень привержен к гиперболе — она нужна ему, чтобы придать особую рельефность эпизодам, рисуящим истступленные страсти, указать на особую ценность этих эпизодов; гиперболы заставляют читателя как бы вдвойне и втройне пережить все рассказанное автором. Глядя на труп «безнравственного злодея», на труп старого князя, бестужевский герой о своей кровавой мести говорит с каким-то физиологическим наслаждением:

«Еще не сытый мстью, в порыве иступленья сбежал я по кровавому следу на озеро, и, опершись на саблю, склонясь над телом убитого, я жадно прислушивался к журчанию крови, которое мнилось мне *признаком* жизни».

Природа наделила этого офицера «неистовыми страстями, которых не могли обуздать ни воспитание, ни навык», в его жилах текла «огненная» кровь, в своих речах и поступках при обиде он не мог «хранить хладную умеренность», он был скор на мщение и беспощаден в защите своей чести.

Это не есть «коцебятина», и это не есть «ложная чувствительность», как думают некоторые исследователи творчества Бестужева-Марлинского. Для Коцебу и Жанлис, по словам Бестужева, автора статьи о романе Н. Полевого «Клятва при гробе господнем», показательны «аханье над пустяками, слезы участия для слабостей любви, именно слабостей — огня страстей, яда они не знали». Бестужев знал «огонь страстей» и даже слишком этим «огнем» злоупотреблял.

У Бестужева мы видим прямое и преувеличенное изображение страсти. Против бестужевской аффектации и мелодраматизма справедливо возражал Белинский. Белинский считал пушкинское изображение человеческих страстей, «простое и сильное», высшим проявлением искусства, а бестужевские кровавые композиции — бутафорией, в которой только иногда реальные и сильные чувства берут верх над театральностью. Пушкинский

Алеко в самую драматическую минуту, после погребения Земфиры и молодого цыгана, не перестает быть человеком, не теряет своей естественности:

Алеко издали смотрел
На все... когда же их закрыли
Последней горстью земной,
Он молча, медленно склонился
И с камня на траву свалился.

Белинский с восторгом писал об этой реалистической картине: «Какое простое и сильное в благородной простоте своей изображение самой лютой, самой безобразной муки!» Декабристам-романтикам Алеко казался слишком прозаическим, по их мнению, пушкинскому герою нехватало романтического пафоса.¹ Рылеев, например, считал, что «характер Алеко несколько унижен» и, по словам Пушкина, «негодовал, зачем Алеко водит медведя и еще собирает деньги с глазеющей публики». Бестужев высказывает все до конца и требует «огня», энергичного действия, он гиперболизирует страсти своих героев. Романтическое изображение — изображение приподнятое, взвинченное, ослепительное. Не случайно Бестужев в «Письме к доктору Эрману» сравнивал классицизм и романтизм с «водой и огнем». Пушкин писал о подобном романтическом изображении человеческих чувств: «Молодые писатели вообще не умеют изображать физические движения страстей. Их герои всегда содрогаются, хохочут дико, скрежещут зубами и проч. Все это смешно, как мелодрама» («Опровержение на критики», 1830).¹ Бестужев не боялся «мелодрамы», но понимал ее возвышенно. Это был романтический маскарад страстей, нача-

¹ См. более подробно в исследовании В. В. Виноградова, «Стиль Пушкина». М., 1941, стр. 68—70. И сам Бестужев становится объектом литературно-стилистической идеологической борьбы, подвергается переоценке прежде всего в прозе Пушкина. Исследователи неоднократно отмечали сюжетную и стилистическую зависимость пушкинского «Выстрела» от повести Бестужева «Вечер на бивуаке», где подполковник Мечин рассказывает историю несостоявшегося выстрела. «Семантика «Выстрела», — замечает В. В. Виноградов, — обвеяна атмосферой военно-романтических повестей в духе Бестужева-Марлинского. Этим способом воспроизводится культурно-бытовой стиль офицерской среды. Но со стиля Марлинского совлечен «театральный», «оперный», искусственный покров литературности, «красивой фразы» («Стиль Пушкина», стр. 577).

тый Рылеевым в «думах» и продолженный Бестужевым в исторических и светских повестях.

Бестужев оправдывает сильные страсти и порывы, даже если они и не одухотворены гражданским пафосом, а проявляются стихийно, он «разбивает все теории о бесстрастном смирении». Подобные сильные страсти и чувства в известных условиях можно было направить совсем в другую сторону, подчинить их разуму, осознанной воле, поставить на службу более благородную, нежели бретерство. Не случайно А. Григорьев ставил знак равенства между народными песнями о мщении «красной девушки» и литературными героями — бестужевским офицером из «Страшного гадания», пушкинским Алеко и лермонтовским Мцыри. А. Григорьев мало сочувствовал этике страстей, динамической направленности души, но в полемике с Хомяковым, пытавшимся доказать пассивно-созерцательный характер русского человека, он вынужден был заявить: «Песня удивительно проясняет, узаконивает жизненные идеалы, не людоедство, конечно, но страстность многих великих поэтов, как Пушкина и Лермонтова, кровавые желания Алеко, лихорадочную жажду крови в «Братьях-разбойниках», зверские инстинкты Мцыри, холодное наслаждение к образам смерти в боярине Орше, и поясняет необузданность, страстность порывов «Страшного гадания» и «Муллы-Нура» Бестужева и вакханалию страстности в Полежаеве, но зато разбивает все теории о бесстрастном смирении».¹

Правильно понял своеобразие бестужевского «внешнего таланта» только Белинский. Герои бестужевских повестей как будто «сбиты на одну колодку», они всегда выражают какую-либо одну «лихорадочную страсть». «Автор, — замечает Белинский, — говорит за свою повесть, а не повесть говорит сама за себя». В статье 1840 года содержится развернутое пояснение самого понятия «лихорадочная страсть». Оказывается, что Бестужев-Марлинский наделен особым «вдохновением»: «это вдохновение, но не то внутреннее вдохновение, которое неожиданно, без воли человека озаряет его разум внезапным откровением истины, вдохновение тихое и кроткое, широкое и глубокое, как море в ясный и безветрен-

¹ «Время», 1861, т. 2, стр. 177.

ный день, — но вдохновение насильственное, мятежное, бурливое, раздражительное, возбужденное волею человека, как бы от приема опиума». Белинский не отвергает подобного «вдохновения», он видит в нем выражение волевого характера, сильных чувств, не «рыбьей природы». В некоторых отношениях такой «внешний талант», скрывающий в себе бурные чувствования, даже импонирует Белинскому. «А между тем, повторяем, — продолжает Белинский, — не только вдохновляться, но и раздражаться не всякий может. Есть разница между рыбьей натурой иного человека, который живет, как дремлет, и кипучую, живую, хотя и неглубокую натурой человека, которого жизнь похожа на водоворот, не переменяющий место, но всегда бурливый и беспокойный. И внешний талант имеет свое достоинство потому, что не всякий может иметь его». Все это Белинский говорит в связи с повестью «Страшное гадание». Белинскому нравится герой повести, способный постоять за себя, нравятся ему и энергичные живописания человеческих страстей — «сильных страстей». «Из повестей Марлинского, изображающих сильные страсти, — пишет критик, — лучшая, без всякого сомнения, — «Страшное гадание...» Целого в «Страшном гадании», как и во всех повестях Марлинского, нет, но есть места истинно поэтические, как бы не в пример всему остальному, написанному тем же автором, — блестящие признаки неподдельного дарования. Поездка героя повести, сцена в крестьянской избе, многие подробности гадания — все это прекрасно и увлекательно». Белинский возражал не против культа сильных страстей, а против основных принципов художественного метода Марлинского: «Повторяем, и страсть имеет свою поэзию и может быть предметом поэтического изображения; но только поэт должен изображать ее как предмет, вне его и сам по себе существующий, а не петь ей гимны, не выдавать ее, с божбою и клятвами, за высший цвет человеческого чувства и не делать из нее апотеоза». Прочитав один из самых патетических монологов в повести («Испытывали ли вы жажду крови?..»), Белинский замечает: «Истинный романтизм, как понимали его у нас назад лет двенадцать!»¹

¹ Цит. по изданию: В. Г. Белинский. Собрание сочинений в трех томах. М., Гослитиздат, 1938.

«Истинный романтизм» — вот формула Белинского, применяемая к творчеству Бестужева-Марлинского. Белинский этот «истинный романтизм» критикует с позиций демократических. Не случайно в статье о Марлинском содержится одно из центральных положений революционно-демократической эстетики: «Простота есть необходимое условие художественного произведения, по своей сущности отрицающее всякое внешнее украшение, всякую изысканность».

Простоты и подлинной народности нехватало декабристам, и нехватало этой простоты Бестужеву-Марлинскому. Декабристские идеи и настроения толкали Марлинского к этому «непростому» стилю. В самых этих идеях не было достаточно уверенности, это были идеи и настроения узкого круга дворянских революционеров, не чувствующих за собой поддержки масс, подлинной связи с массами, а следовательно, и с действительной жизнью. Поэтому идеи эти нуждались в преувеличении, в эмоциональном нагнетании и подхлестывании, в сильных словах, в эффектах фразы. Бестужев-Марлинский был еще влиятельным писателем, влиятельным стилистом в ту пору, когда Белинский писал о нем свою статью. Поэтому Белинский не желал и не мог принять историческую точку зрения, смотреть на прозу Марлинского как на явление прошлого. Отстаивая в литературе демократизм и реализм и неразлучную с ними простоту стиля, Белинский должен был сурово отнестись к литературным приемам Марлинского, тем более что вокруг прозы Марлинского роились ее подражатели, ничего общего не имевшие с декабризмом, с его духовными традициями. Они брали у Марлинского только жест и фразы, они разрабатывали прозу пустую, словесно выпренную, бездумную. Эти подражатели Марлинского в тогдашней литературе были крайне нездоровым явлением, требовавшим энергичного отпора.

СВЕТСКИЕ ПОВЕСТИ

* * *

В творчестве Александра Бестужева постоянно ощущаются элементы ретроспекции, возвращающие читателя к недавнему прошлому. Сама проблема человеческих страстей и воли была связана с практическими идеями декабристов, с декабристской оценкой человеческого характера. Герои «Страшного гадания», гвардейский офицер и княгиня Полина, благородней и лучше помещиков Ремнициных, но они еще далеко не являются положительными героями. В их страстях и порывах много слепого, идущего от инстинкта. Между тем в программных декабристских документах вопрос шел о силе положительного примера, — декабристы не признавали стихийного культа чувства, они выше всего ставили волю к борьбе, способность воспламеняться душой при взгляде на беды отечества. Напомним, что законоположение Союза Благоденствия предписывало «изыскать средства изысканным искусствам дать надлежащее направление, состоящее не в изнеживании, но в укреплении, облагораживании и возвышении нравственного существа нашего». В первом параграфе «Зеленой книги» говорилось, что «добрая нравственность есть твердый оплот благоденствия доблести народной». Союз Благоденствия призывал бороться с «мнимыми удовольствиями» и теми человеческими страстями, которые отвлекают от «исполнения обязанностей касательно ближнего».

Вопрос о воспитании декабристы решали вполне самостоятельно и в какой-то степени полемизируя с Руссо. В педагогике Руссо речь шла о человеке-индивидуалисте, выступающем изолированно, вне исторических и обще-

ственных связей. Положительный герой Руссо общественно равнодушен, он существует исключительно для самого себя, его протест против современного общества не имеет за собой реальной силы. С теорией воспитания Руссо в свое время решительно не соглашался Радищев. Крестецкий дворянин в «Путешествии из Петербурга в Москву» развивал совсем противоположные взгляды на воспитание. Вместо философии бегства и культа отщепенца Радищев на первый план выдвигал героическую личность, человека-гражданина, верного сына своего отечества. Только общественное воспитание, направленное к гражданской цели, может развивать чувства патриотизма и трудолюбия, создавать мужественных и твердых сынов отечества. Писатели-радищевцы — И. М. Борн, В. В. Попугаев, И. П. Пнин — посвятили свои лучшие труды проблеме общественного воспитания. В. В. Попугаев утверждал: «Воспитание есть первая пружина к общественному благосостоянию». Конечный вывод Попугаева таков: «Один деспотизм ищет невежества в народе». Те же самые мысли развивали в своих трактатах А. Ф. Бестужев («Опыт военного воспитания относительно благородного юношества») и И. П. Пнин («Опыт о просвещении относительно к России»). От Радищева и его последователей к декабристам переходит интерес к политическому просвещению и общественному воспитанию. Если Руссо своим воображением создавал идеальные человеческие отношения в условиях несбыточного «золотого века» и рисовал столь же условный образ героя-индивидуалиста, порвавшего всякие связи с общественной средой, вскормившей его, то русские просветители, в том числе и декабристы, проблему воспитания решали более социально, в интересах прямой политической борьбы с существующим порядком вещей. Их прежде всего интересовала возможность подчинить воспитание молодежи задачам и потребностям русского освободительного движения. В этой идее воспитания по характеру своему общественного, вырабатывающего в воспитуемом публичного деятеля, гражданина, сильная сторона декабристов и преимущество их над педагогикой руссоистского толка. Подчас к этим педагогическим идеям декабристов примешивались весьма сомнительные мотивы, и роль воспитания в общей совокупности социальной жизни декабристами

непозволительно преувеличивалась. Важно также, что декабристы связывали задачи воспитания с национальной почвой, с характерными особенностями русского народа, с его историческими традициями.

Бестужевские повести не лишены дидактизма, но это был дидактизм декабристского толка. Бестужев придавал огромное значение воспитанию молодого поколения в духе возвышенных чувств и мыслей. Пожалуй, лучше, чем где-либо, свой взгляд, свои идеи, свою теорию о чести, о нравственном долге и гражданском мужестве Бестужев выразил в одном из писем к брату Павлу, служившему рядовым в Кавказском отдельном корпусе. Павел был еще совсем юным, он принадлежал к поколению детей, которое следовало просвещать, учитывая прежний опыт, годы Отечественной войны и декабристского движения. Павел попал на Кавказ не по своей воле, его сослали за то, что он хранил под подушкой «Полярную звезду» и был родным братом старших Бестужевых. Александр Александрович хотел, чтобы и этот Бестужев, самый младший из братьев, унаследовал декабристские идеи, чтобы он в душе был настоящим Бестужевым, таким же смелым, храбрым и мужественным, какими были Николай, Михаил, Петр, не говоря уже о самом Александре. Советуя непременно учиться, учиться основательно, наблюдать народные нравы, изучать жизнь и ничему не доверять с первого взгляда, Александр Бестужев закончил свое письмо (от 10 апреля 1828 года) следующими знаменательными словами: «В другой раз подолее о нравственности». «В другой раз», 10 января 1829 года, Александр Бестужев посылает Павлу письмо, целиком посвященное проблеме нравственности и гражданских чувств. Письмо, которое мы будем цитировать ниже, выходит за рамки частной переписки: это не просто старший брат обращается к младшему; за Павлом Бестужевым стоит целое поколение, поколение более молодое, нежели сами декабристы, и Александр Бестужев желает, чтобы и младшие братья декабристов, не успевшие принять непосредственного участия в декабристском движении, воспитывали в себе *отвагу, смелость, бесстрашие, мужество*. Важно, что Бестужев отличает *«храбрость безрассудную»* от *мужества*, которое идет от сознания и убеждений.

«Дерзость, т. е. храбрость безрассудная, которая нередко успевает, но никогда почти не удерживает успеха, не имея предвидения и скоро испаряясь. Она может быть доблестью наездника, но не партизана (*налюта*, говоря по-русски), может дать славную смерть, но редко жизнь такую же, ибо эта порывная храбрость по привычке переходит в буйство, а потом в лицемерие, чтобы избежать ответственности. Возьми любого арнаута, и ты еще вернее разглядишь портрет сей. Далее вверх идет *отвага*. Она расчетливей и продолжительнее. Она стойче и полезнее. Она смотрит назад, но зато метит целью вперед, если не всегда побеждает, по крайней мере выгадывает выгоднее погибнуть. Это качества стрелка между солдатами и партизана между офицерами. *Смелость* есть уже черта души — между тем как две первые часто зависят от сложения. Она есть храбрость без запальчивости — она хладнокровие, рассудительная отвага... *Бесстрашие* есть неподвижная храбрость — добродетель строя и крепостных войск. Для нее не нужно ни военного взора, ни пророческого воображения вождей. Одна решимость образует ее, но для возвышения душ в эту высокую степень потребны или чистая нравственность, или твердое убеждение в своем деле, или отчаянные обстоятельства. В двух первых случаях она достойна не только удивления, но и уважения, ибо хранит все доблести рыной, нападательной храбрости, не имея ни одного из ее подстреканий, возвышаясь над смертью и жизнью, играя обеими. Наконец, *мужество*, это незаходимое солнце битв и бед, согревает равно сердца простых воинов и знаменитых вождей, хотя в первых оно может быть только доблестью, но во вторых непременно долгом. Оно укрепляет бессилие и направляет силу. Храбрость решает сражения, мужество ведет [и] кончает войну и нередко утомляет гений врага твердостью своих мер. Оно переносит все ужасы войны терпеливо и пользуется благоразумными выгодами победы...»

Воинскую храбрость и воинское мужество высоко ценили декабристы, сами в большинстве своем храбрые воины, участники Отечественной войны 1812 года. В письме к Павлу сказан был опыт Бестужева-декабриста, возглавлявшего в день восстания Московский полк, который первым прибыл на Сенатскую площадь. В письме

к Ксенофону Полевому (26 января 1833 года) Александр Бестужев, служивший рядовым на Кавказе, имел основание сказать о себе: «Чувствую, что я бы мог быть хорошим генералом при обыкновенном течении дел моих, но к чему служит моя опытность и храбрость теперь? К тому, чтобы ходить в стрелковой цепи наравне с прапорщиком только что из корпуса и быть подстреленным в какой-нибудь дрянной перестрелке, в забытом углу леса? Лестная перспектива!» В письме к Павлу Александровичу Бестужев рассуждал не только как военный стратег, но и как политический борец, для него было ясно, что бесстрашие и мужество столь же необходимы в гражданской жизни, как и на поле брани. Подробный анализ понятий *дерзость, отвага, смелость, бесстрашие, мужество* потребовался Александру Бестужеву для того, чтобы в заключение сказать: «Перенести всех сих людей в гражданский быт: дерзкий станет ослаблять слабых и ползать перед силою. Отважный будет говорить правду с опасностью для себя, но редко с выгодой даже своею. Смелый станет защищать других умно, но *осторожно* и не забывая своей выгоды. Бесстрашный не побоится ничего в деле, которое он сочтет правым, но, не будучи гибок, может стать упорным без пользы, а может быть, и без права. Одно только мужество, озаренное просвещением и согретое великодушием, снесет все для блага других... Одним словом, во всех кругах бедствия, во всех положениях жизни мужество есть главнейшая добродетель мужа». ¹

Здесь сказался опыт предшествовавшей декабристской борьбы и сказался взгляд Бестужева-декабриста на воспитание и человеческую нравственность. В своих показаниях Следственному комитету Бестужев говорил о правилах нравственности, которых должны были придерживаться члены Северного общества: «Член должен быть не запятан ни одним подлым поступком, дознанного бескорыстия, твердого характера, если можно храбр (на войне или на поединке) и даже крепкого здоровья, чтобы мог служить обществу не струсив и не изменив ему, когда попадет». ²

¹ Институт русской литературы АН СССР. Бумаги Бестужева, арх. № 5 (5514), л. 11.

² «Восстание декабристов», т. 1, стр. 441.

Литературная теория декабристского романтизма выростала из практических основ декабризма, она была связана с практикой декабристского движения и на это движение работала. Писатели-декабристы в своем художественном творчестве и в своих программных теоретических манифестах постоянно обращались к национальной героике, ставили в пример «твердый характер», сильную личность, разрабатывали и пропагандировали искусство мужественное и активное, увлекающее к борьбе и призывающее к действию. Александр Бестужев в очерке «О романтизме» говорил именно о таком декабристском романтическом искусстве, сливающим воедино «чувства, ум и волю». «Человек живет чувствами, умом и волею. Слияние их есть мысль, ибо что такое чувство, как не осуществленная мысль? Что такое ум, как не опытность мысли? Что такое воля, как не мысль, переходящая в дело? Потому-то существо, одаренное мыслию, — пишет Бестужев, — стремится чувствовать, познать и действовать».¹

Человеческая психология, по Бестужеву, не только есть нечто цельное, но человек в понимании Бестужева есть действенное существо, и именно в этой действенности человеческой природы все особые силы, свойственные человеку, все отдельные способности его души и находят свою цельность, срастаются воедино под знаком действенности. Это нам объясняет динамизм и драматизм повестей Бестужева. Он вовсе не охотник за фабульностью как таковой, за происшествиями ради происшествий. Напряженная фабульность имеет у него свое внутреннее оправдание, в действенных положениях для Бестужева человек раскрывался вполне, выступал во всей многосторонности своих душевных сил. Полный и цельный образ человека, по Бестужеву, может дать только драматический сюжет, где человек борется, дерзает, спорит с жизнью, укрепляет свою волю и характер. Где есть воля, там и чувство и мысль, там и весь человек.

Исходя из общественного толкования человеческих страстей, Бестужев предлагал в повести «Фрегат «Надежда» произвести следующую классификацию литературных героев: «молодые повесы и полустарые петербург-

¹ «Избранные... произведения декабристов», т. 1, стр. 481.

ские «сплетники», «добрые малые», «лихие малые» и «истинно благородные». О «повесах» и «сплетниках» Бестужев не собирался говорить. Эти люди стоили только лишь порицания и сатирического обличения.

Сложнее «существо, которое в светской книге животных значится под именем «добрый малый» и «лихой малый», — название самого эластического достоинства, как резиновые корсеты; оно для неразборчивого нашего племени заключает в себе всякую всячину, начиная с людей истинно благородных и отличных до игрока, подддерживающего карты, и виртуоза, подслушивающего у дверей, — терпимость истинно христианская, достойная подражания». Подобный «тип доброго малого», одним словом «человек без воли», не годился в герои русской литературы. «Пуускай себе возьятся французы да англичане со своим общим мнением, мы, — замечает Бестужев, — и без этого рогалья живем припеваючи». В общем «добрые малые» и «лихие малые» — «ни то, ни другое, ни третье». «Богат, и в долгах по маковку, и за редкость с рублем в кармане; умен, и вечно делал одни глупости; вольнодумец, и трется в передних без всякой цели; надо всем смеется, а не смеет ничем пренебречь; всех презирает, и все им помыкают; храбрый офицер, и не имеет довольно смелости, чтобы иному мерзавцу сказать «нет»; благороден в душе, и, краснея, бывал употреблен на недостойные поручения, участвовал в постыдных шалостях — одним словом, человек без воли».

Критика светского общества, нравственных пороков этого общества, критика «человека без воли», одновременно основание принципов высокой нравственности и создание положительных волевых характеров — таковы нравственные мотивы декабристской светской повести, повести обличительно-дидактической. Формирование и развитие декабристской идеологии предполагало беспощадную критику русского дворянства, критику крепостного права, светских отношений и провозглашение более разумных, более демократических форм общественной и личной жизни. Дворянские революционеры были обеспокоены положением внутри своего класса, большая часть которого требовала суровой и самой резкой оценки. Подразделяя дворян на три разряда, Бестужев в письме к Николаю I писал, что, кроме «просвещенных», есть

и просто «грамотные» дворяне, которые «или мучат других, как судьи, или сами таскаются по тяжбам», и, наконец, просто «невежды», в большинстве своем мелкопоместные дворяне, которые «мучат бедных крестьян своих нещадно». Бестужев-художник постоянно имел в виду необходимость и разоблачения и просвещения, современная Россия его интересовала всегда, и до и после 14 декабря 1825 года.

* * *

Бестужев посвятил немало повестей светскому обществу, погрязшему в ничтожестве, в холодном эгоизме и мелких страстях, и это современное дворянское общество показано без маски. Декабрист не жалуется свету, светскую толпу, общество аристократическое. Светскому обществу недостает просвещения и истинного патриотизма, оно лениво, безразлично, пустые и никчемные дела и сплетни одолевают светских людей, больших и малых, мужчин и женщин безразлично. Участники войны 1812 года, бестужевские офицеры иронически относятся к нравам большого света, где нет искренности и настоящей дружбы, где все продажно и лицемерно. Подполковник Мечин в «Вечере на бивуаках» (1823) рассказывает своим товарищам историю своей любви к княгине Софье. В этом рассказе в самых общих чертах видится прообраз Софьи Фамусовой. Бестужевская Софья — «жертва света», семьи и воспитания, порочного общества. Отставной майор Владов, «человек с благородными правилами, с пылким характером, но с холодной головой», не раз предупреждал Мечина, любившего Софью «до иступления или отчаяния», что княжне хотя всего 17 лет от роду, но она уже полна «предрассудков от воспитания», она любит «жить в свете и для света». Сам Мечин — из поколения Чацких, и пережитая им драма напоминает грибоедовское «Горе от ума». Восторженный и безгранично влюбленный, только что оправившийся после тяжелого ранения во время дуэли (и все из-за Софьи), подполковник Мечин спешит на свидание. Вот он на лестнице, в передней, в зале. Слух его поражает «громкий смех княжны в гостиной». Перед его глазами почти грибоедов-

ская Софья: «Как! та Софья, которая грустила, если не видала меня два дни, веселится теперь, когда я за нее слег в смертную постелью! Я приостановился у зеркала: послышалось, будто упоминают мое имя, говорят о Дон-Кихоте; вхожу; молодой офицер, склонясь на спинку стула Софии, рассказывал ей что-то вполголоса и, как кажется, весьма дружески. Княжна несколько не смутилась: спросила меня с холодной заботливостью о здоровье, обошлась со мной как со старым знакомцем, но видимо отдала преимущество своему соседу: не хотела понимать ни взглядов, ни намеков моих о прежнем. Я не мог придумать, что это значит, не мог вообразить вины такой обыкновенной холодности — и напрасно искал в ее взорах столь милой досады, делающей сладостным примирение: в них не было уже ни искры, ни тени любви. — Иногда она украдкой бросала на меня взгляды, но в них прочитал я одно любопытство. Гордость зажгла во мне кровь, ревность разорвала сердце. Я кипел, я грыз себе губы и, боясь, чтобы чувства мои не вырвались речью, решился уехать». Вот сцена, действительно очень близкая по своему сюжетному замыслу комедии «Горе от ума». «Вечер на бивуаке» был напечатан в «Полярной звезде на 1823 год». Мы вовсе не собираемся говорить о влиянии Бестужева на Грибоедова или Грибоедова на Бестужева. Вопрос идет о жизненности самой ситуации, о типичности и реальности конфликта. У Бестужева — небольшой рассказ офицера о своей жизни, не имеющей самостоятельного художественного значения, история, каких было много; у Грибоедова подобная же история превращена в самостоятельный сюжет, в комедию-поэму, в гениальное обобщение. В своих воспоминаниях Бестужев рассказывает о том огромном впечатлении, которое произвела на декабристов грибоедовская комедия: «Вольность русского разговорного языка, пронзительное остроумие, оригинальность характера и это благородное негодование ко всему низкому, эта гордая смелость в лице Чацкого проникла в меня до глубины души».¹ Такая комедия полностью соответствовала декабристской эстетике. Декабристская литература была призвана восхвалять гражданские добродетели, «возбуждать доблести сограждан

¹ «Отечественные записки», 1860, № 10, стр. 136—137.

подвигами предков»; она же должна была бичевать пороки, ниспровергать феодально-крепостнические устои, изображать столкновение нового со старым, передового с консервативным, критиковать светское общество. В повести Бестужева намечался обличительный сюжет в духе грибоедовской сатиры: Мечин навсегда покидает дом князя, где избирают в женихи «человека без чести и правил», а Софья, обманутая «звончатыми титулами» и наказанная за свое легкомыслие, вскоре умирает от чахотки. То, чего Бестужев только добивался, того достиг на деле Грибоедов. Грибоедов создал комедию высокой сатиры, комедию характеров и живых картин светского общества. Поэтому декабристы и в первую очередь Бестужев с таким воодушевлением встретили «Горе от ума» и сразу же зачислили грибоедовскую комедию в фонд декабристской художественной пропаганды.

* * *

В морских повестях «Лейтенант Белозор» и «Фрегат «Надежда» Бестужев рассказывает об «истинно благородных» людях, способных постоять за гражданскую честь. В письме из Дербента от 24 декабря 1831 года Бестужев спрашивал своего брата Николая: «Ты, я думаю, читал, милый Ни́колушка, *Белозора*? В ней я пощечился немного твоими рассказами о Голландии». ¹ В письме к матери от 29 декабря 1832 года он сообщал о второй морской повести: «...написал довольно большую повесть, *Фрегат Надежда*. Уверен, что она понравится, потому что писана от сердца». ² Повести эти, написанные почти в одно и то же время, совершенно ясно обнаруживают стремление Бестужева перейти от сюжетов исключительных к сюжетам более реальным, к конфликтам более жизненным, но обязательно героическим. Повестью о лейтенанте Белозоре Бестужев хотел сказать, что сильные люди не обязательно должны иметь «огненный характер», человеческая воля может проявляться в повседневной

¹ «Русский вестник», 1870, т. 87, июнь, стр. 511.

² Там же, стр. 623.

деятельности, в самых простых и естественных отношениях между людьми. В этой повести отсутствуют кровавые сцены и мелодраматические эффекты, но сама проблема героического, проблема волевого характера в ней не снимается, она решается новыми средствами художественного изображения. В лейтенанте Белозоре нет ничего необыкновенного, это был «настоящий моряк доброго, но сурового лица, загоревший от солнца всех климатов и несколько сутуловатый от привычки ходить по палубам», — простой человек, действующий по убеждению, воспитавший в себе «долг чести». «Я рад, — говорит Белозор, — гибнуть там, куда призывает меня *долг чести и человечества*». Во время сильной бури лейтенант Белозор оказывает помощь экипажу одного утопающего корабля, потом спасает голландского купца Саарвайерзена от французских мародеров, разоружает французское судно и с победой возвращается на родной корабль «Не тронь меня». Лейтенант Белозор совершает подвиги за просто, не думая и не говоря о них, его героика не нуждается в прикрашивании. Офицера-моряка окружают простые русские солдаты, голландцы, купец Саарвайерзен, повторяющий кстати и некстати свою любимую пословицу «два аршина с четвертью», и его дочь Жанни. В повести много ярких бытовых, типично голландских сцен, хотя о Голландии Александр Бестужев знал понаслышке и по запискам своего брата Николая.

Часто отхождения между сильными людьми и судьбы этих людей складываются драматично. В этом повинны или внешние обстоятельства, предрассудки светского общества, косность окружающей действительности, или сами «истинно благородные» герои, подчиняющиеся стихийной власти чувств, не способные согласовать личные страсти с общественными обязанностями и долгом. Капитан фрегата «Надежда» Правин и княжна Вера — глубокие и сильные люди, чувства у них возвышенны и благородны, но тем ужаснее, что судьба их складывается трагично.

Капитан Правин и лейтенант Белозор имеют между собой много общего, оба они могут служить примером душевной красоты и настоящего мужества. Правин, подобно Белозору, во время разбушевавшегося шторма спасает утопающего матроса. Он добродетелен и отважен,

когда совершает свои поступки во имя отечества и человечества, язвительен и неприступен, когда речь идет о светском обществе, о сословных привилегиях. В отношении к женщине капитан куда выше окружающей его золотой дворянской молодежи, он отдается чувству «без остатка», не знает преград, у него «девственное сердце» и бьющая через край энергия.

«Лейтенант Белозор» и «Фрегат «Надежда» — две повести из морской жизни, с той только разницей, что в последней из них трагический разлад честных людей с окружающей действительностью обозначен совсем резко, как в грибоедовской комедии «Горе от ума». Не случайно Бестужев снова ссылается на Грибоедова и характеристику светского общества дает со ссылками на его комедию:

«Впрочем, нравственность одна в обеих столицах: посредственность и эгоизм! Никто не заботится о том, что подумают о нас добрые люди: у них лишь то на уме, что станет говорить княгиня Марья Алексеевна. Во всех личность, все частность, везде расчет, ничего общего, ничего высокого».

По-грибоедовски обличается высший свет за пренебрежение национальными обычаями и русским платьем: «Там от собачки до хозяина дома, от плиты тротуара до этрусской вазы — все не русское и в наречии и в приемах».¹ В дворянских гостиных преважно рассуждают о том, «как была одета любовница Ротшильда на последнем рауте в Лондоне», и с увлечением читают «телеграфические депеши о привозе свежих устриц»; но спроси русского помещика-космополита, «чем живет Вологодская губерния?», и он непременно ответит: «У меня нет там поместьев». Здесь тоже чувствуется влияние Грибоедова, грибоедовской сатиры. Важно, что обличительные тирады произносит в повести Бестужева капитан Правин. Правин

¹ «Русское платье и у Грибоедова и у декабристов — пишет М. В. Нечкина, — служило одной цели — сближению с народом, формированию той общности людей, которая именуется нацией. Допрошенный по этому вопросу на следствии по делу декабристов, Грибоедов отвечал: «Русского платья желал я потому, что оно красивее и покойнее фраков и мундиров, а вместе с тем полагал что оно бы снова сблизило нас с простотою отечественных нравов, сердцу моему чрезвычайно любезных» (М. В. Нечкина. А. С. Грибоедов и декабристы. М., Гослитиздат, 1947, стр. 327).

во многом приравнен к Чацкому. Он борется со светскими предрассудками, разоблачает дворянское сословие за пренебрежение к национальным русским обычаям, ратует за передовое общественное сознание, дает понять, что русские помещики угнетают своих крестьян. Правин и княгиня Вера идут на разрыв с фамусовским обществом. Однако их разрыв — не более как бытовая реакция на светскость. Вызов, брошенный Правиним и княгиней Верой, имел бы несомненно больший успех, если бы эти сильные люди в своем личном поведении опирались на гражданские понятия и не шли на поводу стихийных страстей. Бестужев не желает быть дидактиком и резонером, он не поучает Правина и Веру, но показывает драматизм их положения. Может быть, Бестужев частично метил и в Чацкого, желая, чтобы грибоедовский герой не забывал о высоком назначении, не растрачивал себя на светские похождения, постоянно думал об обязанностях гражданина. Капитан Правин из-за пылкой любви к княгине Vere сделал непростительную ошибку: он покинул фрегат, изменил долгу службы, невольно погубил нескольких матросов. Дворянские моралисты непременно превратили бы Правина и княгиню Веру, восставших против светских приличий, в злодеев, безнравственных эгоистов, в нарушителей общественного и семейного порядка. Бестужев берет бунтовщиков против светского этикета под свою защиту хотя и не оправдывает Правина до конца, ибо он нарушил гражданский долг, долг службы, воинскую присягу. Во имя своей личной страсти Правин рисковал жизнью «любимых товарищей, друзей и братьев», из благородного человека он становится носителем «эгоизма страсти». Лейтенант Кокорин, опытный моряк и друг Правина, может быть слишком прямолинейно, но в духе самого Бестужева, в духе декабристских идей о нравственном долге, подчеркнул принципиальную разницу между волей и прихотью:

«— Твоя воля мне закон, но воля, а не прихоть. Не сердись, что я круто говорю тебе правду, я не придворный. Будь муж, Илья! ты уж и то много потерял во мнении товарищей через свою предосудительную связь; ну, да прошлое прошло, бог с ним! распустились — баста! Нет, так давай еще амуриться. Сам посуди, стоит ли рисковать царским фрегатом и жизнью этих добрых людей,

даже собственную славою, для масляных губок какой-нибудь беспутной княгини?»

Бестужевская дидактика — не старческая мораль, это та самая дидактика, которая в нравственном катехизисе Бестужева называлась «воспитанием чувства воли». У Правина «прихоть» победила волю и честь, за свою нравственную слабость он был сурово наказан не столько старым князем-рогоносцем, неожиданно появившимся в спальне своей жены, сколько своей совестью, своим внутренним голосом, который обвинял его «громче любого обвинителя»: «...погубил любимую женщину, обидел друга, запятнал русский флот, утопил шестнадцать человек для насыщения своей прихоти, и я-то думаю жить!»

Бестужев осудил «эгоизм страсти», жертвой которого стал смелый и добрый моряк Правин. И одновременно он зло посмеялся над светским обществом, над нравственными правилами этого общества, попутно не оставив без внимания и Николая I.

В самой первой сцене повести, изображающей петергофский праздник и прогулку «государя с высочайшим семейством» по морю, находится разгадка всего драматического сюжета. На этом празднике присутствовала княгиня Вера, и тогда-то, во время императорского путешествия по морю на фрегате «Надежда», она впервые увидела Правина. Праздник прошел с феерическим блеском: гром пушек и шум фонтанов, попугаи с белыми и черными хохлами на шляпах, перья и цветы на дамах, войска на смотру, прогулка высочайшего семейства на стройном фрегате «Надежда». Однако петергофский праздник и царское путешествие по морю, «красота корабля» и «чудная поэма» — все это показная сторона николаевской действительности, царского двора и высшего света. В письме к своей родственнице княгиня Вера писала об этом празднике: «Напрасно будешь глядеть на черты, не узнаешь век, какому народу, какому мнению принадлежат эти люди. Под улыбкой нет выражения, под слогом не дороешься мысли, под орденами — сердца. Это какая-то картина, покрытая ослепительным лаком: ее дорого ценят по преданию, хотя никто не понял, что она изображает».

Среди сборища «гвардейских болтунов» и чопорных светских кавалеров резко выделялся капитан фрегата

Правин. Это он во время царской прогулки на фрегате «Надежда» бросился с борта в море, чтобы спасти утопающего канонира. В путешествие по Средиземному морю фрегат «Надежда» был снаряжен Николаем I. Об этом тоже писала княгиня Вера: «Я надеюсь, ты слышала, как нынешний государь любит флот? Он воскресил его, он вдохнул в него русскую силу и дал ему чистые лавры под Наварином. Государю угодно было угостить двор и посланников прогулкою по морю; и в самом деле, какое угощение от достойного внука великого Петра могло быть царственнее, величественнее этого?» Однако эта верноподданнейшая тирада в письме княгини Веры на фоне дальнейших событий, развернувшихся на том же корабле «Надежда», приобретает обратный смысл. Бестужев начал свою повесть «за здравие, а кончил за упокой». ¹ В своей повести он нарисовал картину, не покрытую «ослепительным лаком». На фрегате «Надежда», недавно снаряженном Николаем I в морское путешествие, разыгралась трагедия, в которой повинен век и нравы этого века. Через месяц после петергофского праздника на палубе того же корабля была разрушена легенда о «нынешнем государе» как о «достойном внуке великого Петра». Капитан фрегата «Надежда» Правин и княгиня Вера погибли в неравной борьбе с теми, у кого «под улыбкой нет выражения, под словом не дороешься мысли, под орденами — сердца».

* * *

В самом конце своей повести Бестужев пошел на смелый полемический прием, рассчитанный на специальную догадливость читателя. Он сослался на официальную «Северную пчелу», которая якобы в августе 1831 года о трагическом фрегате «Надежда» напечатала следующее сообщение:

¹ Повесть «Замок Эйзен» («Кровь за кровь») Бестужев тоже «свел за упокой». Эта «ливонская» повесть о тиране Бруно, убитом Регинальдом, кончается следующей авторской ремаркой: «Господа! я начал за здравие, а свел за упокой; но в том не моя вина. И в свете часто из шутки выходят дела важные». Так случилось и с повестью «Фрегат «Надежда».

«Кронштадт ... августа. Вчера пришел на здешний рейд из Средиземного моря фрегат «Надежда», под командою флота капитан-лейтенанта Кокорина. Красота корабля, отличный порядок, на нем господствующий, здоровый и бодрый вид людей обратили на себя внимание начальства и всех посетителей фрегата».

В «Северной пчеле» в летние и осенние месяцы 1831 года о фрегате «Надежда» никаких сведений не сообщалось. Не о фрегате «Надежда», а о пароходе «Николай I», вернувшемся из заграничного путешествия, трубила болгаринская газета. В отделе «Внутренние известия» «Северная пчела» сообщала 22 мая: «Пароход «Николай I» прибыл в Кронштадт во вторник, 19-го числа, в 9 часов утра. Он вышел из Транемюнда в четверг, 14-го числа, в 8 часов вечера. Сегодня в четверг, 21-го отправляется он обратно из Кронштадта в Любек». 31 июля 1831 года «Северная пчела» снова сообщала в отделе «Разные известия», что «пароход «Николай I» пришел, 18-го июля н. ст., из Копенгагена в Карлскрону. Адмирал Легербиелке немедленно отправил в Стокгольм курьера, чтобы испросить повелений, каким образом поступить с пароходом». Наконец, в № 174 от 5 августа 1831 года появилось еще одно сообщение: «Пароход «Николай I» выдерживает карантин в Дротнингскоре перед Карлскроною. Все пассажиры на оном здоровы».

Бестужев безусловно читал «Северную пчелу»¹ и читал эти постоянные сообщения о пароходе, носившем имя «вешателя декабристов» — Николая I. Ни о каких других пароходах и фрегатах, находившихся в заграничном путешествии, «Северная пчела», повторяем, не сообщала, все внимание было приковано к пароходу «Николай I». Бестужева особенно поразила в августовском сообщении заключительная строка: «все пассажиры на оном здоровы». На пароходе «Николай I» пассажиры могли быть «здоровы», но по всей России свирепствовала холера. Сведения о числе больных холерой проникали и на страницы болгаринской газеты. Так, 4 августа 1831 года «Северная пчела» сообщала, что «со дня появ-

¹ 25 мая в 115 номере «Северной пчелы» в отделе «Сибирские нравы» за подписью «А. Б.» появился сибирский очерк Бестужева под названием «Исых».

ления болезни по 1-е августа: заболело 8651; умерло — 4429 человек».

В повести «Фрегат «Надежда» Бестужев сделал выпад и против фамусовского общества, и против болгаринской «Северной пчелы», и против всей николаевской действительности. Если «Северная пчела» писала, что на пароходе «Николай I» все пассажиры «здоровы», то Бестужев показывал оборотную сторону николаевской России. На фрегате «Надежда», снаряженном Николаем I в морское путешествие, лучшие люди были больны, и не морской болезнью, а совсем неизлечимой в условиях современного общества болезнью «печоринской». Если в «Страшном гадании» Бестужев-Марлинский как бы шел навстречу Гоголю, гоголевским украинским повестям, парадоксально сочетая фантастику и здоровую реальность, то в светской повести «Фрегат «Надежда» нельзя не заметить того драматического разлада с окружающей действительностью, который переживали герои Лермонтова.

Но есть в морской повести Бестужева-Марлинского совсем скрытый смысл, понятный в тридцатые годы тем, кто помнил историю с кораблем «Эмгетейн». Константин Петрович Торсон, боевой моряк и друг Николая Бестужева, в свое время оборудовал этот корабль по последнему слову техники, и когда «Эмгетейн» был совершенно готов для морского путешествия, его отдали великому князю Николаю для увеселительных семейных прогулок, а Торсон, адъютант начальника Морского штаба, участник кругосветного путешествия под командой Ф. Беллинсгаузена, после 14 декабря 1825 года был вместе с братьями Бестужевыми осужден и сослан на каторгу.

Капитан Правин в некоторых отношениях напоминает Торсона. Вообще, повесть «Фрегат «Надежда» полна недавних впечатлений и драматических воспоминаний. В ней рассказана трагическая история незаурядного русского человека.¹

¹ «Надежда» — название корабля, на котором В. И. Штейнгель в 1805 году плывал в Охотском море.

СПОР С ПУШКИНЫМ

* * *

Приветствуя сатирическую комедию «Горе от ума» и пушкинские южные поэмы с их возвышенной гражданской патетикой, декабристы довольно сдержанно встретили первые главы «Евгения Онегина». В частности, Александр Бестужев не нашел в «Евгении Онегине» ни желчной сатиры, ни героического романтизма и был разочарован. Сохранились далеко не все письма Бестужева к Пушкину, однако характер развернувшейся полемики вокруг первой главы «Евгения Онегина» мы все же можем восстановить по уцелевшим письмам Бестужева, а также по письмам Рылеева и Пушкина. Неизвестно, что Александр Бестужев писал Пушкину в одном из первых своих писем, однако письмо Пушкина к Рылееву от 25 января 1825 года частично восполняет эту утраченную страницу литературной дискуссии. Пушкин писал: «Бестужев пишет мне много об Онегине; скажи ему, что он неправ: ужели хочет он изгнать все легкое и веселое из области поэзии? куда же денутся сатиры и комедии? Картины светской жизни также входят в область поэзии». Бестужев не отказывался от своего мнения и в следующем своем письме спрашивал Пушкина: «Зачем же тебе из пушки стрелять в бабочку?» «Поговорим об Онегине. Ты очень искусно отбиваешь возражения насчет предмета, — писал Бестужев Пушкину 9 марта 1825 года, — но я не убежден в том, будто велика заслуга оплодотворить тощее поле предмета, хотя и соглашаюсь, что тут надобно много искусства и труда... Чем выше предмет, тем более надобно силы, чтобы объять его, его по-

стичь, его одушевить... Что свет можно описывать в поэтических формах — это несомненно, но дал ли ты Онегину поэтические формы, кроме стихов? Поставил ли ты его в контраст со светом, чтобы в резком злословии показать его резкие черты? Я вижу франта, который душой и телом предан моде, вижу человека, которых тысячи встречаю наяву, ибо самая холодность, и мизантропия, и странность теперь в числе туалетных приборов». Бестужев хотел, чтобы Онегин был «сатирическим портретом», резко противопоставленным окружающему светскому обществу. От пушкинского романа декабрист-романтик ждал высокой сатиры или поэзии, выражающей гражданские чувствования, уносящей «из прозы описываемого общества». ¹ Бестужеву пришелся по духу «Разговор книгопродавца с поэтом». В нем он увидел «благородные порывы человека, чувствующего себя человеком». Об этом писал Бестужев в «Полярной звезде».

В годы якутской ссылки Бестужев с нетерпением ждал появления новых глав пушкинского романа. В письме к матери и сестрам из Якутска он постоянно напоминает об «Евгении Онегине», просит прислать ему 3, 4 и 5 главы, вышедшие к тому времени из печати. «Нельзя ли при случае, — пишет он 23 апреля 1828 года, — прислать 3, 4 и 5 главы *Онегина* и все замечательные словесные новинки». В письме к сестре Елене от 25 мая 1828 года он снова напоминает о своей просьбе: «Читал 2-ю главу *Онегина* — нельзя ли остальных 4-х достать?» В следующем письме, датированном 10 июня 1828 года, ссыльный декабрист сообщает свое мнение о первых двух главах пушкинского романа, не находя

¹ Александр Бестужев как декабристский романтик ратовал за создание остро сатирической поэмы или возвышенно романтической, но он недоучитывал возможности создания социально-психологического романа. Пушкин сознательно отказывался от сатирического плана, хотя он и знал цену социальной сатире. В ответном письме к Бестужеву (24 марта 1825 года) Пушкин писал: «Ты сравниваешь первую главу с *Дон-Жуаном*, но в ней нет ничего общего с *Евгением Онегиным*, ты говоришь о сатире англичанина Байрона и сравниваешь с моей, требуешь от меня таковой же! Нет, моя душа, многого хочешь. Где у меня *сатира*? О ней и помину нет в *Евгении Онегине*. У меня бы затрещала набережная, если б коснулся я сатиры. Самое слово *сатирический* не должно бы находиться в предисловии. Дождись других песен...»

в *Онегине* ничего положительного: «Первые 2 главы *Онегина* здесь есть, и я знаю уже их наизусть, хотя вовсе не завидую герою романа. Это какой-то ненатуральный отвар 18-го века с байроновщиною». В этом же письме он делает приписку, адресованную непосредственно сестре Елене, где говорит, что Пушкину недостает «романтического»: «...Пушкин, бог моды настоящего, весьма мало имеет в себе *идеального*, т. е. романтического. Все толкуют, все превозносят романтизм, и никто не дал еще себе труда спросить, что это за зверь!» Действительно, в двадцатые годы о романтизме говорили очень много, но часто в это понятие вкладывалось противоречивое содержание. Романтизм в литературе Бестужев не мыслил вне идеального. Не случайно он обронил такое выражение, как «*идеального*, т. е. романтического». Для Бестужева недостаточно обличать окружающую действительность — не менее важно рисовать положительные идеалы и утверждать разумное начало в жизни. Нравственную целесообразность искусства декабристы видели и в резкой грибоедовской социальной сатире и в субъективно-романтическом изображении передовой личности, благородных поступков и возвышенных чувств. В Якутске Бестужев познакомился с шестью главами «Евгения Онегина». Под впечатлением прочитанных глав Бестужев писал 25 декабря 1828 года братьям: «Мой мир ограничивается собственной головой, в которой рождаются и гибнут сыны мечтаний. Я не пугаю строфами своими даже диких уток, как это делает Пушкин, который, мимоходом сказать, ведет своего Онегина чем далее, тем хуже. В трех последних главах не найти полдюжины поэтических строк. Стихи игривы, но обременены пустяками и нередко небрежны до неопрятности. Характер Евгения просто гадок. Это бесстрастное животное со всеми пороками страстей. Дуэль описана прекрасно, но во всем видна прежняя школа и самая плохая логика».¹ Ясно, что Бестужев в оценке пушкинского романа был неправ, он не понял пушкинского реализма и требовал от Пушкина возвращения к субъективно-романтическому изображению вольнолюбивых страстей и возвышенных характеров. Все эти достоинства романтической поэмы Бестужев в свое время

¹ «Русский вестник», 1870, май, стр. 248—249.

ходил в пушкинских «Цыганах» — «молниеносные очерки» — «глубокие страсти». В «Евгении Онегине» он не нашел того романтического. Между тем, по мнению Бестужева, «Евгений Онегин» мог стать романом сатирическим, а Пушкин — сатирическим писателем вроде Григорьева. Об этой возможности Бестужев писал в частных письмах к Пушкину. Но и этой возможностью пренебрег Пушкин, пойдя своим путем. Бестужев очень ревниво относился к великому современнику, он преклонялся перед пушкинным и одновременно опасался, что Пушкин пойдет не по той дороге, по которой следует идти, окажется в плену у светского общества и у повседневности. Тревогой за Пушкина проникнуто письмо Бестужева к братьям Полевым, написанное в марте 1838 года: «Я готов, право, схватить Пушкина за ворот, поднять его над толпой и сказать ему: стыдись! Тебе ли, как болонке, спать на солнышке перед окном, на пуховой подушке детского успеха? Тебе ли поклоняться золотому тельцу, слитому из женских серег и мужских перстней, — тельцу, которого зовут немцы Маммон, а мы, простаки, — свет?!» Для Бестужева Пушкин был и оставался большим человеком и гениальным поэтом. Но куда он направит свой талант? Не поняв реалистического творчества Пушкина, Бестужев опасался за дальнейшую судьбу поэта и искренно желал, чтобы он не изменил своему веку, не отказался от декабристских традиций, не потопил свой талант в «светской луже».

* *
* *

Дружеский спор с Пушкинным Бестужев перенес из частной переписки в свои повести. Повесть «Испытание» и есть скрытый ответ Бестужева на первые шесть глав «Евгения Онегина». В этой повести Бестужев, с одной стороны, продолжает следовать за грибоедовским сюжетом, начало которого было положено в 1823 году в «Вечере на бивуаке». С другой стороны, Бестужев критически пересматривает онегинскую фабулу, выдвигает свое решение проблемы «молодого человека». В повести «Испытание» постоянно мелькают тени Онегина и Ленского, упоминается сюжетная схема пушкинского романа. Герои

бестужевской повести — эскадронный командир князь Гремин и майор Стрелинский — *друзья-недрузья*. Гремин любит графиню Алину; Стрелинский проверяет чувство верности Алины к Гремину, потом и сам влюбляется в графиню. И тут же, рядом с напоминанием онегинской фабулы, появляется грибоедовский Репетиллов, разносчик новостей, и по фамилии *Репетиллов*. Бестужевский Репетиллов в числе других столичных новостей сообщает Гремину, что графиня Алина Звездич вернулась из-за границы в Петербург. Это была возрожденная к новой жизни Софья из рассказа «Вечер на бивуаке». Графиня Алина — вполне оригинальный бестужевско-грибоедовский образ, призванный осудить светское воспитание, осудить отцов и детей, заклеймить ранние браки, основанные на купле-продаже, на власти денег и предрассудков. Бестужев уходит от онегинской фабулы, но затем снова возвращается к ней.

Изображая обычный любовный роман в трех лицах — она, он и соперник, — Бестужев принимает самый благополучный исход: Стрелинский женится на графине Алине, Гремин становится мужем Ольги, сестры Стрелинского. Но этот благополучный исход дается в напряженной борьбе, он не приходит сам, личное счастье завоевывается. Николай Бестужев в рассказе «Отчего я не женат» предложил свое решение личного счастья: «Мне надобно отказаться от всякого счастья!» Рылеевская мысль о превратности судьбы привела Н. Бестужева к своеобразному декабристскому аскетизму. Страстный жизнелюб, Александр Бестужев не мог согласиться с такой трактовкой личного счастья, с фактическим отрицанием этого счастья. В письме к братьям Николаю и Михаилу от 27 декабря 1830 года из Дербента, жалуясь на свое «бытие» («я еще живу, хотя, по существу, бытие мое бог знает что такое: смертью назвать грешно, а жизнью совестно»), Бестужев одновременно признавался: «Вы очень хорошо знаете, что я от природы весьма веселого характера и самых миролюбивых привычек. Если бы от меня зависело все в свете, то люди плясали бы с утра до вечера». ¹ В повести «Испытание» сказался и этот «весьма веселый характер» Бестужева и его политическая вера, постоянная мечта об усовершен-

¹ «Русский вестник», 1870, т. 87, май, стр. 504.

ствовании человеческого общества, человеческих отношений, о реальном счастье на земле. Этот житейский сюжет бестужевской повести имеет не мирную, элегическую основу, не случайно и повесть называется «Испытание». Герои проходят нравственное испытание, испытание более существенное, связанное с отношением к окружающей действительности, и только после этого трудного искуса они получают право на личное счастье. Сложный путь нравственного совершенствования прошла графиня Алина. Первый брак Алины Бестужев считает выражением самого жестокого произвола над человеческой личностью. В этом повинны родители Алины, их «расчетливость», показная любовь «к живому трупу, к ветхому надгробью человеческого и графского достоинства». Такой брак, брак по расчету, Бестужев отвергает.

Вместо традиционной схемы семейно-бытовой повести, заменяющей отвергнутого старого графа графом более молодым, Бестужев создает свой сюжет, в основе которого лежат не возрастные различия между женихом и невестой, а мотив взаимного понимания смысла жизни, когда «семейное счастье» и «долг гражданина» объединяются, без чего не может быть настоящей любви. Подобная декабристская мораль распространяется на ту и на другую сторону, на женихов и на невест. Во имя настоящей любви графиня Алина отказывается от света и вместе с мужем поселяется в деревне, где и помогает Стрелинскому осуществить его план — «просветить, обогатить крестьян своих». Между тем как приятели считали Стрелинского «только ветреником», на самом деле он думал об «улучшении участи крестьян своих, которые, как большая часть господских, достались ему полуразоренными и полуиспорченными в нравственности. Он скоро убедился, что нельзя чужими руками и наемною головою устроить, просветить, обогатить крестьян своих, и решил уехать в деревню, чтобы упрочить благосостояние нескольких тысяч себе подобных, разоренных барским нерадением, хищностью управителей и собственным невежеством». Здесь начинается спор с Онегиным. Евгений Онегин тоже пытался включиться в эту практическую жизнь передового дворянства:

Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил.

Но Пушкин об этой важной детали в биографии Онегина сказал очень мало, да и Онегин, судя по его дальнейшим похождениям, не годился в серьезные экономисты и реформаторы, хотя он и читал Адама Смита. Онегин, по мнению Бестужева, эгоист, «со всеми пороками страстей», он не способен на разумное дело, на реальный подвиг. В изображении молодого человека двадцатых годов Бестужев не следует за Пушкиным. Его Стрелинский — своеобразный вызов Онегину, критика сибарита и бездельника, противопоставление онегинству, онегинской хандре и сплину практических декабристских идеалов, разумного подвига. Онегин потому и «гадок», что не имеет положительных идеалов, не хочет выполнять гражданского долга. Онегин не ищет и не любит серьезного дела, он так же неполноценен и в любви. Бестужевский герой в этом отношении является прямой противоположностью Онегина. Бестужев находится во власти декабристских иллюзий и продолжает критику Онегина с прежних позиций. Пушкин не поставил Онегина «в контраст со светом». «Я вижу франта, который душой и телом предан моде», — писал Бестужев об Онегине в 1825 году. Бестужев ставит своего Стрелинского «в контраст» и превращает его в общественного деятеля, в освободителя крестьян.

Любовь Стрелинского к Алине не мешает ему заниматься крестьянским вопросом. Составленный Стрелинским проект преобразования поместий — почти докладная записка декабриста о рабстве или выписки из декабристского дневника. Возвращение дворянина в деревню и цели этого возвращения — бороться с «хищностью управителей», «улучшать участь крестьян своих», «просветить, обогатить крестьян своих» — совпадают с основными практическими мероприятиями декабристов. Многие декабристы, в том числе Н. И. Тургенев и И. Д. Якушкин, мечтали о возвращении в поместье, о реформаторской деятельности, об облегчении участи крепостных крестьян. Николай Тургенев еще в 1818 году уничтожил у себя в имении барщину и посадил крестьян на оброк, о чем брат его, Александр, писал князю Вяземскому: «Брат возвратился из деревни и тебе кланяется. Он привел там в действие либерализм свой: уничтожил барщину и посадил на оброк мужиков наших, уменьшил через то доходы

наши. Но поступил справедливо и согласно с нашей пользой».

Стрелинский берется разрешить и вторую очень важную проблему, предусмотренную декабристским нравственным катехизисом. Его пленяла мысль «согласить долг гражданина с семейным счастьем». Намерения его были тверды, и он не собирался от них отступить: «Он чувствовал, какой жертвы требовал; знал, как трудно для молодой, прекрасной и богатой женщины отказаться от света. «Но это будет испытанием ее привязанности, — думал он.— Если ж нет? — Нет! Женщина, которая предпочтет мне светскую жизнь, не знает и не стоит истинной любви». Так думал Стрелинский, готовясь к объяснению с Алиной. Диалог между Стрелинским и графиней Алиной по своему композиционному значению соответствует письму Онегина к Татьяне. Узко личному лирическому «красноречию» Онегина («следить влюбленными глазами») Бестужев в пьесе «Испытание» противопоставляет до конца продуманное признание Стрелинского, в котором личные и гражданские мотивы слитны и выступают нераздельно. «Стрелинский избрал этот час к решительному откровению и, предупредив Алину, что так как дело идет о благополучии их обоих на всю жизнь, то он не хочет прибегать ни к каким околичностям, ни к каким сетям льстивой логики или цветам красноречия, дабы убедить или увлечь ее, но просто изложит свои намерения и просит только одного, чтобы она беспристрастно обсудила их и откровенно сказала на то ответ свой.

« — Во первых, милая Алина, — сказал он, — я решил оставить службу для исполнения других обязанностей отечеству, которые надеюсь выполнить лучше, прямее и полезнее, нежели обязанности воина в мирное время.

«Алина вздохнула и покинула кисточку темляка, которым играла она.

« — Но разве ты, друг мой, не можешь служить отечеству по части гражданской или дипломатической? — произнесла она почти просительным голосом.

« — Я не довольно приготовлен, чтобы стать полезным как судья; службу в департаментах считаю механической, а быть дипломатом не совместно с моими склонностями, ни с моими правилами. Во-вторых, *мы* оставим столицу.

«Алина молчала.

«— В-третьих,— тут Валериан развил перед нею подробный чертеж своих замыслов для устройства имения, для усовершенствования земледелия и заводов, для образования крестьян своих; показал, как благодетелен будет пример его для всего человечества и для окружающих помещиков в особенности».

Для Бестужева, поклонника героической романтики, Онегин слишком безволен и слаб, он не годится на общественное дело, и в личных отношениях он преследует эгоистические цели. Бестужев не желает, чтобы в тридцатые годы судили о «молодом человеке» двадцатых годов по Евгению Онегину. Повесть «Испытание» — это своеобразная попытка Бестужева возвысить декабристского «молодого человека», который не бредит элегиями, не хандрит и не бездельничает, а мужественно завоевывает личное счастье, решает важные жизненные проблемы, старается быть полезным отечеству, размышляет о просвещении, печется о состоянии крестьян. Онегинской хандре нет места в бестужевской повести; Стрелинский — натура деятельная, энергичная, он представитель антионегинских настроений. Политические убеждения не оставляют его и в день свадьбы, он и на семью смотрит по-декабристски, истинная любовь требует жертв. Бестужев-романтик ошибочно полагал, что Пушкину-реалисту недостает «идеального», что в его «Евгении Онегине» отсутствует просвет в лучшую жизнь, что положительные идеалы недостаточно обозначены. Нужно сказать, что Бестужев положительные человеческие характеры понимал слишком рационалистически; в конечном итоге благородные намерения Стрелинского были своеобразным донкихотством, но это не смущало Бестужева, он настойчиво переносил в свои художественные произведения декабристскую мораль, если даже она и была разбита самой жизнью. Его Стрелинский — не более как попытка художника нарисовать положительный образ русского помещика в духе тех нравственных идеалов, которые пропагандировались законоположением Союза Благоденствия. Воспитанные на передовых идеях, на примерах «чистейшего самоотвержения» и «любви к отечеству», герои «Испытания» решают свою судьбу самостоятельно, независимо от светского этикета. Инте-

ресно, что борьба за личное счастье бестужевских героев и героинь проходит в атмосфере политических разговоров и реальной деятельности на благо народа. И Гремин и Стрелинский, пытающийся согласовать «долг гражданина с семейным счастьем», не являются декабристами в прямом смысле слова, но они бесспорно принадлежат к эпохе, создавшей декабристов.¹

Бестужев дает понять, что и «женский вопрос» в условиях аракчеевской России могли правильно решить только Стрелинские, выступавшие с обширными проектами социально-экономического преобразования страны. У Стрелинских счастье личное, счастье семейное во многом зависит от положительного решения основной проблемы, а именно — от «улучшения участи крестьян своих».

Едва ли следует говорить о том, что бестужевская повесть «Испытание» и гениальный пушкинский роман в стихах «Евгений Онегин» по своему художественному и идейному значению — вещи несравнимые. Но этим не снимается вопрос о реальной литературной борьбе, об отрицательном отношении декабристов к Онегину, о споре Бестужева с Пушкиным. Несмотря на принципиальные различия в художественном методе Пушкина и Бестужева, мы все же не считаем начатую нами сравнительную характеристику бестужевской повести и пушкинского романа в стихах напрасной. Именно потому, что Бестужев оставался на прежних позициях, а Пушкин шел вперед, и явилась эта полемика, в которой Бестужев продолжал оборванный в 1825 году разговор с Пушкиным об «Евгении Онегине».

* * *

Называя в письме к своим братьям характер Евгения Онегина «просто гадким», Бестужев отмечал, что дуэль Пушкина «описана прекрасно, но во всем видна прежняя школа и самая плохая логика».

¹ Не случайно Кюхельбекер, тоже отрицательно относившийся к «Евгению Онегину», с «большим удовольствием» прочитал повесть «Испытание» и назвал ее «прекрасной». «В ней столько жизни, ума, движения и чувства,— писал Кюхельбекер в своем дневнике,— что без малейшего сомнения ее должно причислить к лучшим повестям на нашем языке». («Дневник В. К. Кюхельбекера», «Прибой», 1929, стр. 165.)

Бестужев постоянно возвращается к Онегину, уводя своих героев от онегинской фабулы. Сошлемся на характеристику друзей-недругов. Ссора между Греминым и Стрелинским напоминает ссору между Онегиным и Ленским. Узнав о романе Стрелинского и графини Алины, князь Гремин воспылил ревностью и мстостью, он обрушился на прежнего друга желчью негодования. Друзья становятся недругами, бросается перчатка, и вот уже поезд дуэлянтов на второй версте, по дороге в Парголово, дуэлянты, разведенные по разным комнатам, ждут роковой минуты. Бестужев в своей повести не доводит размолвку друзей до дуэли, руководствуясь вполне принципиальными соображениями. Вот разговор секундантов, которые выражают мысли Бестужева:

«— Какие упрямыцы! пускай бы за дело дрались, так и не жаль пороху, а то за женскую прихоть и за свои причуды.

«— Много ли мы видели поединков за правое дело? — А то все за актрис, за карты, за коней или за порцию мороженого.

«— Признаться сказать, все эти дуэли, которых причину трудно или стыдно рассказать, не много делают нам чести».

Едва ли не этот разговор между секундантами несостоявшегося поединка, артиллерийским офицером и кавалеристом-гвардейцем, является ответом Бестужева на «плохую логику» Пушкина. Бестужев считал, что Пушкин в «Евгении Онегине» напрасно довел дружескую ссору из-за пустяка до смертельного поединка. В этом сказалась «плохая логика», «прежняя школа». «Новая школа» не против поединков, если они за правое дело: «пускай бы за дело дрались!» Свой взгляд на поединки Бестужев достаточно ясно выразил в 1825 году в повести «Замок Эйзен» («Кровь за кровь»), изобразив благородного рыцаря Регинальда, убивающего феодального крепостника и тирана Бруно. В повести «Испытание» он воспользовался случаем, чтобы поспорить с Пушкиным о бретерстве и дуэлянтах, вместе с тем и об «Евгении Онегине».

Важно и то, что именно Ольга встала между «кровавыми предрассудками» и рассеяла недоразумение. Она совершила своеобразный подвиг, примирив друзей. Храб-

рый воин, один из любимых эскадронных командиров, князь Гремин, внимая просьбам Ольги, пришел к выводу, что великодушное примирение между друзьями-единомышленниками столь же «высоко и благородно», как и открытая ненависть к врагу, мщение за поруганную честь. Такова новая школа в бретерстве, бестужевская логика, проверенная на личном опыте. О дуэли между Онегиным и Ленским Бестужев говорит словами секундантов: «за женскую прихоть и за свои причуды». Бестужевские герои желают найти лучшее применение своим способностям и силам. Если в пушкинском романе Ольга Ларина явилась причиной ссоры между Ленским и Онегиным, закончившейся дуэлью между ними, то Ольга Стрелинская предупреждает дуэль, выступает в качестве авторитетного советника, с мнением которого нельзя не считаться. «Князь Гремин, энтузиаст всего высокого и благородного, тронутый до глубины души прекрасным самоотвержением Ольги, стоял в восторге, нем и неподвижен. Он поглощал взорами великодушную примирительницу». Но Ольга Стрелинская не просто примирительница, сентиментальная филантропка и нежная сестра своего брата: Бестужев подчеркивает в Ольге внутреннее богатство, ее любовь к историческим преданиям, особенно к преданиям родной земли. Отношение между Ольгой-ученицей и Греминым-учителем напоминают идеальный декабристский педагогический «роман», декабристскую систему воспитания подрастающего поколения. Вспоминая о занятиях с Греминым, Ольга говорила своему брату:

«Ты, я думаю, помнишь, братец, с какой снисходительностью расспрашивал князь о моих уроках, о моих занятиях; как ясно поправлял мои заблуждения и шутя развивал мои мысли, учил доброду, и так просто, так понятно! Я боялась ошибиться перед ним больше, чем перед своими учителями, — зато мне было так весело, когда он хвалил меня! Больше всего я любила слушать исторические его анекдоты — он очень мило их рассказывал. Я плакала, слушая о бедствиях Марии Стюарт! Я привыкла ненавидеть коварную Елизавету, хотя ее и называют доброю и премудрою. Я научилась любить Генриха IV, отца и друга своих подданных, за то, что, будучи добрым царем, он не разучился быть добрым

человеком. Князь заставил меня восхищаться гением нашего великого Петра, скромного в счастье, неколебимого в беде — и всего более под Прутом, когда он пишет указ сенату не слушать его впредь, если он, принужденный турками, повелит что-нибудь недостойное себя или России. Где найдем мы пример чистейшего самоотвержения, высшей любви к отечеству!!»

Культура Ольги, привитая ей с детства Гремным, близка декабристской культуре, сами декабристы воспитывались на исторических примерах «высшей любви к отечеству». Декабристы восхищались гением великого Петра, положительно отзывались о Генрихе IV, видя в нем «друга своих подданных», осуждали «коварную Елизавету», помнили о «бедствиях Марии Стюарт». В характеристике Ольги Бестужев придерживается просветительских и рационалистических принципов, он судит о человеке, исходя из декабристских политических предпосылок. В процессе своего умственного развития бестужевские положительные герои непременно становятся поборниками человеколюбия и правосудия. Любовная интрига включается в сюжет на правах гражданской дидактики, «энтузиаст всего высокого и благородного» князь Гремин находит в лице Ольги достойную супругу-гражданку. Бестужев не знал и не мог догадываться о последних главах пушкинского романа, о конечной судьбе Онегина и Татьяны. Но если бы Бестужев и знал конец пушкинского романа, он все равно не согласился бы с Пушкиным, обязательно желая видеть в Ольге и Татьяне нечто подобное рылеевским героиням. Бестужев спорил с Пушкиным, отстаивая свои прежние романтические принципы. Спор этот принадлежит к эстетическим ошибкам Бестужева, но он любопытен как отголосок запоздалой борьбы за декабристский романтизм. Он свидетельствует также и о том, что Бестужев-романтик до конца своей жизни не понимал Пушкина-реалиста.

ПОВЕСТЬ О ЗАМКЕ НА КАМЕ

* * *

Многие повести Бестужева тридцатых годов («Страшное гадание», «Латник», «Наезды», «Испытание») являются переходными, они относятся в одинаковой степени и к раннему Бестужеву и к позднему Марлинскому, к Бестужеву-ссылному. Если не знать, что эти повести написаны после 14 декабря 1825 года, то можно подумать, что они, как и повесть «Замок Эйзен» («Кровь за кровь»), оставались лежать неопубликованными и через пять лет увидели свет без всякой переделки, в таком виде, в каком они должны были появиться в «Полярной звезде» или в «Звездочке». Повесть «Латник» в этом отношении особенно показательна, она прямым образом связана с циклом ранних ливонских повестей. В свое время прибалтийские сюжеты имели для Бестужева условное значение, за ними скрывались понятия и выводы, выходящие за пределы изображаемой страны. Тема прибалтийская постепенно теряла свою самостоятельность. Не только в Ливонии, но и в Польше и в России существовал феодализм, история польских замков составляла не менее поучительную картину, и Польша шла в сравнение с Россией. В повести «Латник» средневековые рыцарские сюжеты окончательно придвигаются к современности, к 1812 году, к началу декабристского движения в России.

«Латник» — это рассказ партизанского командира, состоящий в свою очередь из ряда вставных рассказов, подслушанных и переданных заново. В этой повести один рассказчик сменяет другого, эпизоды нанизываются один за другим, как бусы на нитку. Бестужев прекрасно

владел приемами устного рассказа, рассказчики у него не сбиваются с альтов на басы, они не более как сам Бестужев, выступающий в разных лицах и с разными повествовательными приемами. Повесть начинается с изображения отступающих французов («Мы гнались за Наполеоном по горячим следам»), потом она неожиданно становится повестью о рыцарских замках. Полкового аудитора Кравченко, принявшего пленного барабанщика француза за Наполеона, сменяет всадник в черных латах на рыжем коне, который так же быстро появляется, как и исчезает. По заброшенной за спину шинели со штаб-офицерскими эполетами можно было догадаться, что это не обычный всадник. В действительности он командир русского летучего отряда, взявшего приступом замок Треполь, родовое поместье князей Глинских: И этот замок хранил воспоминание о романтической истории: русский офицер, командир артиллерийской роты, расположенной в околотке города, любил панну Фелицию, дочь князя Глинского. Все, казалось, благоприятствовало русскому офицеру, но накануне самой свадьбы он вынужден был покинуть замок и уехать к умирающей матери, между тем как родственники принуждают Фелицию выйти замуж за графа Остроленского, человека коварного и низменного. Рассказ о незавершенной любви русского офицера в польском замке переплетается с таинственными происшествиями, где и черный всадник, и кладбище, и смерть графини не то от испуга, не то от поцелуя загадочного всадника, неожиданно появившегося в замке Треполь. И, наконец, обычный бестужевский фабульный прием: таинственный всадник, упомянутый в предании, оказывается вполне реальным лицом. Это и был тот самый командир летучего отряда, который быстро появился и столь же быстро исчез в черных латах и с шинелью, заброшенной за спину. За черными латами скрывался реальный герой, участник Отечественной войны 1812 года.

Бестужев воспользовался условно-романтическим преданием о всаднике и замке, чтобы приоткрыть еще одну страницу из истории чудовищного феодализма. Старый дворецкий, оказавшийся в обществе русских офицеров, дополняет рассказ о таинственном замке реальным воспоминанием о свирепом крепостнике графе Остроленском, владельце этого замка. Слушая рассказ старика дворец-

кого, один из русских офицеров советует «заглянуть в деревни», в «судебные летописи», в семейные хроники, где «можно найти множество разнообразных случаев и происшествий». Это программное требование Бестужева-декабриста, вложенное в уста рядового офицера, обращено непосредственно к русским писателям:

«Как несправедливо жалуются писатели, будто мы живем не в романтическом веке! — сказал я. — Пусть заглянут в деревни, в маленькие городки, где еще не истерлась характерность и особенность с лиц, и они найдут неисчерпаемый источник, ключ прямо русский, самородный, без примеси».

Поручик Зарницкий воспользовался случаем и оживил одно из семейных преданий, где «от слова до слова все — истина». Место происшествия — усадьба Шуран на Каме. Зарницкий вспоминает о своем деде, жестоким крепостнике:

«Князь был, можно сказать, неистового нрава, горд своим родом и богатством в обществе, невыразимый деспот в семействе. Как наибольшая часть воспитанников старого века, он людей считал средствами для своих выгод, детей — куклами для забавы; сохрани бог, чтобы они осмелились думать, не только поступать, иначе, как по его воле, то есть по его прихоти. У него были два сына и дочь. Он успел подавить в первых всякое благородное чувство, всякую вспышку разума, и они зачерствели в своем невольном ничтожестве, в своем вечном ребячестве. Их отправил он служить в столицу. Совсем другое случилось с дочерью. Угнетение, унижение, под которым держали ее, пробудили в ней гордую душу, которая без того никогда бы, может быть, не проснулась. Она почувствовала и уверилась, что правда и добро могли существовать и вне речей, вне поступков отца ее».

Таков отечественный сюжет, «прямо русский, самородный, без примеси».

* * *

Рассказ Зарницкого — не вымысел. Бестужев вложил в уста своего героя устное народное предание о прикамском помещике А. П. Нармацком, прославившемся

своими разбоями и жестокостью. Местное предание частично восстанавливается на основе позднейших воспоминаний и свидетельств старожилов. О замке на Каме и о его владельце, сосланном во второй половине XVIII века за «какие-то преступления» в Сибирь, в 1833 году писал казанский журнал «Заволжский муравей» (т. I, стр. 205—206), но писал очень глухо. В 1869 году село Шуран на Каме посетил археолог П. А. Пономарев, отыскивавший следы болгарских поселений. В свободное от раскопок время П. А. Пономарев встречался со старожилами и расспрашивал о прошлом шуранского замка. Судя по собранным П. А. Пономаревым местным преданиям, в прежние времена в Шуране высился средневековый замок, в нижнем этаже которого находилась тесная и совершенно лишенная света тюрьма с рогатками и железными цепями. Хозяином этого замка был Андрей Петрович Нармацкий, считающий свой род от нормандских герцогов; шуранский помещик держал в страхе Прикамье, ему сходили с рук все преступления. По приказу А. П. Нармацкого крепостных крестьян и мелкий чиновный люд беспощадно секли на конюшне. В бане был насмерть «запарен» один из его родственников. Рассказывали также, что помещик «изнасильничал» свою сестру и за это попал в Сибирь, где его «привязали к бревну, да с крутой горы прямо в реку и скатили».¹

О шуранском замке сохранилось не менее любопытное свидетельство П. П. Суворова, уделившего в своих «Записках о прошлом» (М., 1899, ч. 1) полторы страницы рассказу об отце своей матери, Г. П. Дембровском, бывшем владельце этого замка. Шуранский замок в свое время принадлежал Г. П. Дембровскому, потом он перешел во владение А. П. Нармацкого, приходившегося родственником Дембровских (у Суворова — Петр Андреевич Нармацкий). В «Записках о прошлом» о помещике Нармацком, наводившем страх на окрестное население, приводится следующее предание:

«Мать моей матери видела одно из шуранских подземелий. Оно представляло небольшую комнату с кирпичным полом и наглухо замуравленную. В ней стояло тя-

¹ П. А. Пономарев. Потомок нормандских герцогов на Каме — «Исторический вестник», 1881, т. 4, стр. 623—630.

желое кресло у окна, выходявшего на Каму. К креслу была прикована молодая женщина замечательной красоты, с распущенными косами. При открытии подземелья, когда струя свежего воздуха коснулась чудного призрака, он мгновенно распался. Остались одни кости и волосы. Предание передает, что Нармацкий влюбился в свою прекрасную соседку, Доможирову. Отвергнутый ею, он прибегнул к хитрости. В одну осеннюю темную ночь его дворецкий похитил Доможирову. Нармацкий силой хотел овладеть своею пленницей. Она отвечала пощечиной оскорбителю и за то поплатилась ужасно. Спустя несколько лет Нармацкий был сослан в Сибирь, и его большое состояние по наследству перешло к моей родной бабушке...»

П. П. Суворов, между прочим, впервые отметил, что одно из местных преданий о владельце шуранского замка помещике Нармацком послужило темой для повести Бестужева «Латник».

* * *

Рассказ о шуранском замке полемически направлен против сентиментально-карамзинской литературы. Бестужев продолжает литературную борьбу: «воевать, воевать!» В повести «Латник» повторяется распространенный в сентиментальной прозе мотив похищения девушки из родительского дома, но повторяется он в обратном социальном смысле. В сентиментальных повестях за похищением невесты и венчанием в бедной деревенской церкви непременно следовала картина полного примирения отцов и детей.¹ В результате наступало обоюдное

¹ О борьбе Пушкина с сентиментальной повестью см. В. Гиппиус. «Повести Белкина» — «Литературный критик», 1937, № 2, стр. 19—55; Н. Любич. «Повести Белкина» как полемический этап в развитии пушкинской прозы — «Новый мир», 1937, № 2, стр. 260—274. Исследователи творчества Пушкина обычно противопоставляют пушкинскую прозу прозе Марлинского. На наш взгляд Бестужев-Марлинский не только не антагонист, но и принципиальный союзник великого Пушкина в борьбе с сентиментальной литературой. В то же самое время Пушкин переоценивает бестужевские сюжеты и отменяет его надуманные приемы, противопоставляя им

согласие; побег объяснялся явным недоразумением, молодые люди возвращались в отчий дом, молодой человек бросался к ногам родителей невесты, старики прижимали новобрачных к своему сердцу, затем начиналась идиллия семейной жизни молодых под присмотром старших. Такова сюжетная схема повести Карамзина «Наталья, боярская дочь» и многих других сентиментальных повестей.

Карамзинисты много сделали, чтобы отстранить русскую женщину от передового общественного движения и закрепить за ней права исключительно домашние, права любовницы и хранительницы семейного патриархального очага. Бестужев желает видеть в русской женщине и гражданку и супругу.

В бестужевской повести Лиза, почувствовав в себе силу, уходит из-под власти отца и нанятых им учителей «без выбора и без призора». Пробудиться к новой жизни Лизе помогает учитель Баянов, недавно окончивший университет. Он тоже резко отрицательно настроен против крепостнической среды. Баянов «был очень статный, умный, добрый юноша; дворянин небогатый, но стоящий богатства. Лизе было тогда 15 лет, и он с жаром принялся за ее образование; уроки были наслаждением для обоих: она радовалась познаниям, он — успехам своей ученицы». Вместо традиционного мотива обольщения в повести Бестужева — мотив дружбы и политического образования; Лиза — жертва отца-крепостника, а не злодея обольстителя. Баянов — передовой человек, основная цель его педагогических занятий состоит в том, чтобы «вперять благородные чувства и мысли другим». Это совсем как в декабристской педагогике Орлова — Раевского. Дальнейшее развитие шуранского сюжета в повести Бестужева предвосхищает замечательную повесть

подлинное изображение действительности. Но и здесь не должно быть механического противопоставления Марлинского Пушкину. Повесть «Латник» следует сравнивать не с «Барышней-крестьянкой» («Повести Белкина»), а с «Историей села Горюхина» и «Дубровским».

В «Барышне-крестьянке» Пушкин тоже разоблачает сентиментальную повесть, но иным методом, нежели Бестужев. У Бестужева в «Латнике» — опровержение и разрушение сентиментального сюжета; у Пушкина в «Барышне-крестьянке» — пародийно-ироническая перелицовка сентиментальной повести.

Лескова «Тупейный художник», но социальный конфликт в «Латнике» обозначен более смело.¹

Когда Лизе исполнилось 19 лет, старый князь «сгадал, решил и выбрал в зятя какого-то князька-сидня, весьма ограниченного умом, ничтожного роднею». Лиза почтительно, но твердо сказала отцу, что «считает союз супружеский святынею», что ее сердце отдано Баянову, прибавив при этом, что «никакие убеждения не принудят ее переменить данного обета быть его женою или вечно остаться его невестою». Отвергая все предшествующие литературные схемы, Бестужев остается верен декабристской традиции. Он создает образ крепостника-зверя. С таким отцом не может быть примирения.

«Говорят, князь после этого объяснения несколько минут стоял неподвижен и безмолвен от изумления. Гнев задушил в нем голос. Можно представить себе, что почувствовал человек, привычный к безусловному повиновению от всех, к нему близких, который сроду не слышал слова «нет» и вдруг поражен был им так внезапно, так больно! Вся его гордость, все его выводы и понятия, все замыслы его оборочены были вверх дном, и кем же? девочкою, дочерью!

«Взрыв был ужасен, угрозы и брань полились на несчастную: как смела она иметь свой ум, взята свою волю! Суд короток, он запер ее в темную комнату на хлеб и на воду.

«Учителя Баянова велел он выбросить из замка вместе с его вещами, не позволив показаться на глаза.

¹ Известно, что Н. С. Лесков в своем рассказе использовал предания орловской старины, слышанные от своей бабушки Алферьевой и самой героини — крепостной актрисы, служившей в театре графа Каменского. Между тем шуранский сюжет в повести Бестужева и сюжет «Тупейного художника» имеют между собою много общего, это общее вестями доходит до прямых сюжетных совпадений: побег из-под власти крепостника, венчание в сельской церкви, «конский топот и грозные клики», возвращение в усадьбу, подземелье и потрясающие пытки. У Бестужева выражен более отчетливо антикрепостнический мотив: гибнет Лиза и гибнет Баянов, они погибают от произвола крепостника. В рассказе Лескова критика крепостнического строя снижена мелодраматическими эффектами и крайне надуманной концовкой. В конечном итоге «тупейный художник» хотя и погибает, но не от руки «неслыханного тирана», а от ножа каких-то тайнственных грабителей. Он становится жертвой случайных обстоятельств, жертвой уголовного преступления.

Бешенство его выместилось на всех домашних; и без того все трепетали его голоса, его взгляда, а после этого случая половина слуг разбежались от его жестокости, не знаящей границ, незнакомой с пощадою. Он свирепствовал, как зверь».

Переодетый в кучерское платье, Баянов проникает в темницу, затем следует побег на лихой тройке в ближайшую сельскую церковь. Сентиментальная схема оказывается окончательно разрушенной. Баянов не просто похищает невесту, а вырывает ее из рук отца-изверга, спасает ее из заточения. Жених и невеста не возвращаются благополучно к родителям, на них ополчается грозная облава шуранского помещика. Баянова и Лизу силою разлучили, связали, кинули в телеги порознь и повезли назад в роковой Шуран.

Угрюмый тиран князь Х-й бросил свою дочь в подземелье: «...некоторые из слуг, заглянув украдкой в тюрьму барышни, увидели ее брошенною на соломе, в рубище; на ней не было вида человеческого, так она похудела и почернела. Глаза впали, волосы были всклочены; она лежала, разметав руки, в обмороке». О Баянове ходили слухи, что он был привезен в Шуран и заточен в один из подвалов, где и был «уморен с голоду мстительным князем». Приводили в доказательство рассказы некоторых слуг: «Они клялись, что слышали стоны в подвале и узнавали в них голос учителя, что потом он начал стихать, стихать и, наконец, замер в таком страшном вопле, что от одного рассказа вставали дыбом волосы».

Изображая картины жуткого барского произвола и мучения заживо замурованных по прихоти шуранского помещика людей, Бестужев социально заостряет местное предание. Судя по местным рассказам, шуранский помещик Нармацкий был сослан за свои злодеяния в Сибирь и там погиб в Иртыше. В повести Бестужева восстанавливается одно из характернейших явлений общественной жизни крепостнической России: безнаказанность помещьего произвола. Автор «Латника» рассказывает о позорном судопроизводстве и взяточничестве присяжных, как бы продолжая декабристскую критику судейского произвола. В Шуран из Казани прикатил весь уголовный суд, но ни один из барских слуг не решился быть свидетелем. «Все слуги дрожали осиновым листом, чтоб не попасться

свидетелем по проказам барина: затаскают, заморят по тюрьмам, ни дай, ни вынеси». Члены суда удостоверили, что Лиза «бешеного сумасшествия», «безумна неизлечимо», они даже посоветовали князю «держатъ ее крепче». Скрепив за роскошным завтраком судейское определение и выдав князю формальную бумагу, члены суда во главе с председателем палаты, навеселе и с обозом подарков, отправились обратно в город. «Со всем тем ужас, наведенный князем на соседей, был так глубоко укоренен, сила его в суде и связях так обширна, что ни один человек не посмел пикнуть в обвинение».

Через полтора года после приезда в Шуран судейских чиновников князя Х-го нашли мертвым в постели: «Простолюдины толковали, что его заели нечистые, которым продал он душу, уверяли, что видели на шее следы зубов. Люди умные говорили, что правосудие божие кликнуло его на расправу. Его похороны были праздником не для одних плакальщиц».

В рассказе Бестужева нет счастливых и несчастных, в шуранском поместье все несчастны, только судейские чиновники-взяточники и старый князь, пока его не «заели нечистые», чувствовали себя счастливыми на этой земле. Замученные пытками, гибнут Лиза и Баянов, плачет в страхе перед тираном крепостной народ. Веселились в Шуранах только в день похорон старого князя. В этот день не плакали даже плакальщицы, профессиональные вопленицы.

..Усадьба Шуран на Каме — частица той страшной аракчеевской России, против которой боролись декабристы. В своем рассказе о владельце шуранского замка и о всем том, что делалось за стенами этого замка, Бестужев далеко ушел и от местных исторических преданий и от сентиментальных повестей карамзинистов. Основной источник этого рассказа нами еще не назван. Он находится в известном письме, написанном Бестужевым в Петропавловской крепости и адресованном Николаю I. Это письмо, вернее целый политический трактат, свидетельствует, что Александр Бестужев постоянно думал о судьбе русского народа, прекрасно разбирался во внутреннем положении родины и хорошо знал, что в крепостнической России «все роптали на настоящее, все жаждали будущего...» Материал в руках Бестужева был

настолько велик, что хватило бы не на одну повесть или книгу. «О притеснениях земских чиновников,— говорил Бестужев,— можно написать книгу. Малейший распорядок свыше дает им повод к тысяче насилий и взяток».

В Петербурге «под глазами блюстителей производился явный торг правосудия». «Одним словом,— продолжает Бестужев в своем письме,— в казне, в судах, в комиссариатах, у губернаторов, у генерал-губернаторов, везде, где замешался интерес, кто мог, тот грабил, кто не смел, тот крал. Везде честные люди страдали, а ябедники и плуты радовались».

Если о злоупотреблениях земских чиновников можно было написать целую книгу, то нужно думать, какую бы книгу о «поведении русских дворян» и о положении крепостных крестьян мог написать Бестужев в двадцатые годы. В письме к Николаю I из Петропавловской крепости Бестужев писал о помещиках: «Поведение русских дворян в отношении крестьян ужасно. Негры на плантации счастливее многих помещичьих крестьян. Продавать в розницу семьи, похитить невинность, развратить жен крестьянских считается ни во что и делается явно. Не говорю уже о барщине и оброках, но есть изверги, которые раздадут борзых щенков для выкормления грудью крестьянок». Вот план книги о помещичьей России, книги воображаемой, так ясно представлявшейся Бестужеву. Такая книга фактически уже была написана — «Путешествие из Петербурга в Москву». Книга была уничтожена, и автор ее чуть не погиб на плахе. И все же Бестужев-художник не прошел мимо антикрепостнической темы, хотя и не развернул ее так, как бы мог это сделать. Воспроизведя шуранское предание, Бестужев частично восполнил ранний пробел в своем творчестве, восполнил тем, что написал повесть «Латник», где и рассказал о «поведении русских дворян».

* * *

Есть в этой повести и те люди, на которых декабристы возлагали надежды. Характеристика положительных героев хотя и не развернута Бестужевым, но она все же намечена. Небогатый дворянин Баянов, только что окон-

чивший университет, становится нравственным руководителем молодой девушки и ведет себя исключительно достойно. Он безусловно является тем молодым человеком, который был нужен декабристской России. В гордую и сильную личность, способную к протесту против деспотизма, постепенно вырастает Лиза. Она идет на разрыв с отцом-помещиком и мужественно переносит все мучения, ни на шаг не отступая от своих убеждений. Для декабристов уже стояла тема об «отцах» и «детях», и Бестужев ее частично решает. Трагическая гибель Лизы и Баянова в шуранском заточении не снимает основного конфликта. Лиза не становится героиней революционного дела, она неясно представляет будущее, социальный конфликт ограничивается рамками одной семьи, одной усадьбы. В то же самое время бестужевская героиня не желает идти по пути отцов, она презирует семейный деспотизм, заявляет свое право на иную жизнь, соединяет свою судьбу с учителем Баяновым и в трудную минуту не просит пощады. Среди своих сверстниц Лиза — новая женщина, это не тихая, безмятежная карамзинская Лиза. В шестидесятые годы XIX века подобные героини окончательно порвут с «отцами» и будут практически участвовать в борьбе за социалистические идеалы. Конечно, бестужевской Лизе еще очень далеко до Веры Павловны Чернышевского, но какие-то черты и Лизы и Баянова будут унаследованы молодым поколением новой эпохи. У декабристов — свои «новые люди», у революционных демократов — свои, шагнувшие куда дальше. Но и в этой теме, в теме «новых людей», имеется своя преемственность, отражающая разные этапы в развитии русского революционного движения.

* *
*

Любовная фабула шуранского рассказа — Лиза и Баянов — тоже требует специального комментария. М. А. Васильев, автор ценного исследования «Декабрист А. А. Бестужев, как писатель-этнограф», знавший о существовании местных преданий о шуранском замке по статье П. А. Пономарева в «Историческом вестнике»,

высказывал вполне правдоподобную гипотезу: страшную легенду об ужасах произвола старого барского казанского края Бестужев мог слышать от своего товарища по несчастью, ссыльного декабриста И. П. Жукова, с которым он встретился в Дербенте.¹

Наряду с историческим преданием Жуков мог рассказывать о собственной жизни, в частности о своей любви к Елизавете Шульц, о той драматической истории, которую пережила эта женщина, сохранившая до конца горячую любовь к разжалованному декабристу и во имя этой любви порвавшая со всеми светскими условностями. Напомним, что за принадлежность к Южному обществу и за участие в декабристском движении штабс-ротмистр Жуков был посажен в Петропавловскую крепость, разжалован в солдаты и сослан в Архангельск. В Архангельске у ссыльного декабриста завязался роман с дочерью коменданта, генерала Шульц. «Молодые люди, — рассказывает в своих «Записках» Н. И. Мамаев, — объяснились, признались в взаимной привязанности и поклялись любить друг друга вечно, несмотря ни на какие препятствия». Но отец Лизы, генерал Шульц, наотрез отказал Жукову, решив, что его дочь не может быть парой ссыльному декабристу, разжалованному в солдаты за принадлежность к тайному обществу. «Ввиду этих-то препятствий, положенных отцом, видеться на свободе Жуков, в одном из тайных свиданий, своим мастерским, красноречивым языком представил Елизавете Федоровне, что если люди по своим предрассудкам расстраивают их счастье и не соглашаются на их соединение, то есть бог, который видит их чистые сердца, полные любви друг к другу, и, конечно, в неизреченном милосердии своем благословит их брак, хотя бы и не освященный по обрядам церкви».² Наконец и сам старик Шульц, увлеченный силой любви к дочери, дал согласие на свадьбу. Но в день свадьбы, когда близкие знакомые были приглашены на обед к новобрачным, в квартире Шульца появился фельдъегерь с предписанием архангельскому коменданту «тотчас же, не медля нимало, отправить

¹ «Научно-педагогический сборник», т. I, Казань, 1926, стр. 75.

² «Исторический вестник», 1901, март, стр. 916—917. «Записки Н. И. Мамаева».

Жукова с сим же фельдъегерем к новому месту его служения». В тот же вечер ссыльный декабрист был разлучен с невестой и отправлен на Кавказ. В Дербент он явился прямо «из-под венца», потрясенный только что происшедшими событиями. Бестужев услышал от нового друга и историческое предание о замке на Капе и рассказ о трогательном романе с Лизой. Воспользовавшись сведениями И. П. Жукова о Шуране и выведя своего друга в образе поручика Зарницкого, Бестужев не оставил также без внимания и той драматической истории, которую пережил ссыльный декабрист в Архангельске.¹

Ссыльный декабрист Иван Петрович Жуков в лице Александра Бестужева нашел своего первого друга, они вместе проводили в Дербенте свободное время и вместе сражались с Кази-Муллой. Среди бумаг Бестужевых, сохранившихся в архиве «Русской старины», значится дело под названием «Сборник бумаг, принадлежащих Ивану Петровичу Жукову». В этом рукописном сборнике заключено письмо Жукова к некоему Ивану Минычу, на обратной стороне письма — приписка Александра Бестужева, адресованная тому же Ивану Минычу. Любопытен сам по себе факт коллективного обращения: ссыльные декабристы просят Ивана Миныча быть их посредником и заступником. Жуков пишет от собственного имени: «Вы сами имеете в России родных и потому поверите, что положение их должно быть очень грустно, когда они не получают от вас известия — зная, какими опасностями окружены вы на всяком шагу; мое положение еще тягостнее

¹ И. П. Жукову Бестужев посвятил свою повесть «Наезды». В 1832 году они вместе сражались с войсками Кази-Муллы, охраняя Дербент. В батальон было прислано два георгиевских креста, один из них, по представлению ротных командиров, был присужден рядовому Александру Бестужеву. 29 декабря 1832 года Бестужев писал брату Павлу: «Я заслужил этот крест грудью, а не прописками и желаю его иметь поминкою Кавказа» («Отечественные записки», 1860, май, стр. 160). Николай I отказал Бестужеву в награде. Об этом писал Бестужев в одном из писем к Жукову: «Крест царь отказал — за что?» На Кавказе за проявленную храбрость в борьбе с Кази-Муллой и в связи с ранением в голову И. П. Жуков, по ходатайству главнокомандующего Кавказским корпусом барона Розена, получил чин штабс-капитана и разрешение жить в своем казанском имении, где он встретился с Елизаветой Шульц, счастливо завершив свой незавершенный роман.

вашего, ибо от моего существования зависит жизнь престарелой матери и нежной супруги,— и так надеюсь, любезнейший Иван Миныч, что вы не откажете мне отправить препровождаемые при сем письма по их адресам». В заключение своего письма Жуков жалуется на постоянные гонения некоего Черникова и намекает, что жизнь ссыльных декабристов в Дербенте полна невзгод и лишений. На обороте письма Бестужев делает приписку, прибегая к шифрованному слогу:

«Отец родной Иван Миныч, пугните вы по власти божеской и купно командерской вашего Гембута: есть ли в нем душа христианская? привезли комиссионера с деньгами и транспорт бог ведает с чем, а почты не высылают месяц, по дороге, по которой возят капусту безданно и беспощинно. К нам должны быть книги и письма, да чуть ли и не деньги, которых я взалкал яко пес ко вечеру. Пожалуйста, не дивись слогу: нашел на меня библейский стих. Будьте здоровы, и да взыграется душа ваша. Аз многогрешный бью челом вам и Колоколову и есть раб божий Александр».¹

Таким образом и Жуков и Бестужев просили Ивана Миныча, фамилия которого нам осталась неизвестной, быть посредником в переписке ссыльных декабристов с родственниками и знакомыми. Бестужев так же просит «пугнуть» Гембута, от которого зависело доставление корреспонденции.²

¹ Институт русской литературы АН СССР. Бумаги Бестужева, арх. № 5 (5514), лл. 43 и 44. Письмо датируется 15 сентября (1832 г.).

² Может быть, это и был тот самый Гимбут (у Бестужева — Гембут), против которого в Кишиневе боролись Орлов и Раевский. В 16-й дивизии капитан Гимбут приобрел печальную известность. В своем знаменитом приказе от 6 января 1822 года Орлов клеймил «извергов»: «В Охотском пехотном полку г. майор Вержейский, капитан Гимбут и прапорщик Понаревский жестокостями своими вывели из терпения солдат». О преступлениях Гимбута рассказывал в своих показаниях Раевский. Гимбут в точности исполнял приказания командира 17-й дивизии генерал-лейтенанта Желтухина, а приказания эти были таковы: «Сдери с солдат кожу от затылка до пяток, а офицеров переверни кверху ногами, не бойся ничего, я тебя поддержу». «Гимбут,— говорил Раевский,— приказал испечь хлеб из солдатского провианта. Унтер-офицер пришел ему доложить, что солдаты, находясь в казармах, не имеют вовсе экономии от провианта. Гимбут дал ему за сие объявление 200 или 300 папок». Видимо, и на Кавказе Гимбут измывался над солдатами,

Насколько близко сошлись в Дербенте Жуков и Бестужев, свидетельствует письмо Ксенофонта Полевого от 30 декабря 1832 года. Не имея продолжительное время писем от Бестужева и, сверх того, услышав весть о его гибели в схватке с Кази-Муллой, Полевой обращается прежде всего к Жукову, который только и может сказать о судьбе друга: «Не получая два месяца писем от Александра Александровича и сверх того слыша самые печальные рассказы о нем, я,— пишет Полевой,— решился обратиться к вам с покорнейшей просьбой. Ради всего драгоценного для вас, уведомите: жив ли наш милый Александр? Зная вашу дружбу с ним и доброе ваше расположение ко мне и к брату моему Николаю Алексеичу, я уверен, что вы поспешите успокоить нас приятно вестию или кончить беспокойство наше, сказав всю правду. Говорят, что он убит при поражении Кази-Муллы, что он не существует для нас».¹

О Иване Петровиче Жукове Бестужев постоянно вспоминает в письмах к братьям Полевым. «Прошу прислать мне «Кашея». Странная случайность: я сам хотел избрать его предметом романа, но Иван Петрович отговорил меня. Желая видеть, ту ли идею осуществил Вельтман»,— пишет Бестужев в письме от 2 февраля 1833 года. В письме от 16 марта 1833 года Бестужев сообщает, что «Ивану Петровичу вышла отставка, и он уедет — я останусь на жертву скуке, чтобы не сказать чего-либо более». 18 мая того же года Бестужев пишет Ксенофонту Полевому: «Братец ваш пишет, что И. П. мой ангел-хранитель, что он не делит его со мной. Наверно И. П. похва-

среди которых были ссыльные декабристы. Не случайно Бестужев просил Ивана Миныча «пугнуть» Гимбута (Гембута) и спрашивал: «есть ли в нем душа христианская?» — См. В. Базанов. «В. Ф. Раевский». М.—Л., 1950, стр. 63.

¹ Институт русской литературы АН СССР. Бумаги Бестужевых, арх. № 5 (5514), л. 61. На это письмо Кс. Полевого ответил Александр Бестужев 2 февраля 1833 года: «Странная вещь, что меня ежегодно приносят в жертву Кази-Мулле! Участие это или желание? Ежели последнее, то скажите господам вестовщикам, что они рано меня отпели; что я переживу многих литературных детей их и скончаюсь, положа голову не иначе, как на написанный мною роман, и завернувшись в печатный саван критики; а так как все это случится не скоро, то пусть они позволят дожить мне в покое года два-три; пусть не шевелят моих живых костей в живой моей могиле» («Русский вестник», 1861, март, стр. 431).

стал что-нибудь! Он точно любит меня, но сделать много он не мог для меня ничем, и одолжения наши были взаимны. Он добрый малый и очень не глупый, но он любит парад даже в чувствах... В нем осталась гвардейская привычка выказать больше чем состоятельности». Наконец, 15 июня 1833 года Бестужев снова вспоминает Жукова: «Ж. уехал; будет на горячих и под осень явится домой. Предупреждаю вас, что он очень добрый малый». ¹

В «Сборнике бумаг, принадлежащих Ивану Петровичу Жукову» сохранились письма Бестужева к своему дербентскому товарищу, который в 1833 году был уволен из армии и получил право вернуться к себе на родину, в Казань, где его ждала жена, Елизавета Шульц, и престарелая мать. В своих письмах Бестужев передает поклоны супруге Жукова; он, видимо, хорошо знал ее по рассказам друга, с которым довелось так близко сойтись в годы подневольной жизни в Дербенте. С другой стороны Елизавета Шульц посылает Бестужеву из Казани подарок — кошелек собственноручной работы. В письме от 16 ноября 1833 года Бестужев писал Жукову: «Теперь, надеюсь, ты со своей женой и дома. Дай бог, чтоб нашел ты в них полное счастье. Я живу кое-как. Здоровьем нельзя жаловаться; все еще в Дербенте,— представлен, говорят, перевод — заново. Крест царь отказал — за что? не знаю». В следующем письме, датированном 6 июня 1834 года, Бестужев благодарит жену Жукова за присланный подарок: «Супруге твоей прошу за меня поцеловать ручку, за ее внимательность ко мне. Кошелек, связанный ею для меня, прелесть... я умею ценить подарки, которые идут от души». За несколько дней до своей трагической гибели Бестужев пишет дружески-шутливое письмо (26 ноября 1836 года), в котором просит Жукова высватать в Казани невесту: «Не забудь, пожалуйста, только, чтобы она была ангелом во всех делах — я страх люблю ангелов, особенно с золотыми крыльями». ²

Полагаем, что в основе характеристики бестужевской Лизы лежат не воспоминания о шуранском замке и его

¹ «Русский вестник», 1861, апрель, стр. 431, 437, 444, 445.

² Институт русской литературы АН СССР. Бумаги Бестужевых, арх. № 5 (5514), лл. 18, 21 и 24.

владелец помещике Нармацком, о дочери которого устное предание умалчивает, а более близкое «предание», рассказ Жукова о самом себе и о его невесте Елизавете Шульц. Биография друга подсказывала переработку и развитие исторического предания, дала шуранскому сюжету новый мотив. Бестужев как бы сдружил местное историческое предание с одной из реальных декабристских биографий, с архангельской историей ссыльного декабриста Жукова. Трагическая любовь ссыльного Жукова и Лизы, вмешательство самодержавной власти в их личное счастье — таков второй возможный источник бестужевского рассказа о замке на Каме, не предусмотренный никаким историческим преданием.

ПОВЕСТЬ ОБ АРХАНГЕЛЬСКИХ МОРЕХОДАХ

* * *

Не следует забывать, что Бестужев-Марлинский создавал свои повести в то время, когда в русской литературе хозяйничали Булгарины и Сенжовские, выдававшие себя за «народных» писателей и истинных патриотов. Бестужев презирал репильную литературу и спорил с ней. Свою повесть «Мореход Никитин» он напечатал в «Библиотеке для чтения» и в письме к Ксенофону Полевому заявлял, что не ценит своего «Морехода» и написал его «во вкусе» журнала Сенковского. Бестужев оправдывался перед Полевым, и оправдывался не очень удачно. «Мореход Никитин» безусловно является одной из самых лучших повестей Бестужева, и написана эта повесть отнюдь не во вкусе Сенковского: наоборот, в ней Бестужев нанес сильнейший удар по сенковско-булгаринской псевдонародности. В тех же самых письмах к братьям Полевым Бестужев явно отрицательно отзывался о «братии-краснобаях», о писателях, лишенных всякой национальной самобытности и оригинального дарования. «Знаю я,— пишет Бестужев 22 июля 1832 года,— эту братию-краснобаев: у вас же воруют и крадеными конями хотят обскákat вас же. Когда-нибудь я напишу статью о русских романах и повестях и в ней подарю всем сестрам по серьгам». В письме от 4 января 1833 года Бестужев спрашивает Ксенофонта Полевого о Брамбеусе: «Скажите, что за лицо Брамбеус, от которого вся фамилия «Северной пчелы» в домашнем своем журнале катается с восторгом? То, что читал я, так старо и подснежно!..» «Сенковский зазнался не путем. «Телескоп»

не с того конца почал его: ему должно было доказать, что русская словесность и не думает вертеться от того, что он дует в нее в два свистка; ему надобно было доказать его ничтожность и наглое самохвальство. Ему предрекают, что он *испишется*, — продолжает Бестужев в письме от 28 июля 1834 года, — я говорю, что он уже *исписался*, ибо ворованного станет ненадолго... У него есть смелость, есть манера, недостает безделки — души, и другой безделки — философии. Его определение романтизма — жалость и шалость вместе. Ощиплите его (я могу на свой пай показать, откуда он взял $\frac{3}{4}$ своих шуток и выражений), и вы найдете, что оригинального у него только бесстыдство да наглость».¹

В «Мореходе Никитине» Бестужев, как это позволяли условия журнальной борьбы, «ощипал» Сенковского, и удивительнее всего то, что «ощипал» он его в «Библиотеке для чтения», то есть в журнале самого Сенковского. Досталось в этой повести и другому «краснобаю», еще более наглому, а именно Булгарину, издателю «Северной пчелы», который «катался с восторга» от Сенковского. «Мореход Никитин» — полемическая повесть, в ней сказались лучшие традиции декабристского романтизма и декабристской народности. В «Мореходе Никитине» мы имеем прямое прокламирование принципов народности, открытую защиту простонародного характера в литературе, национальной героики, носителями которой в повести являются архангельские поморы. Прежде чем начать рассказ о путешествии русских мореходов, Бестужев делает развернутое публицистическое вступление; он, как и в пору своей кипучей критической деятельности в «Полярной звезде», громит отечественную литературу за отсутствие здравого смысла, за пренебрежение народностью, за низкопоклонство перед «заморским». С этой целью Бестужев пускается в этимологические изыскания; он спорит с лингвистами, производящими слово «корабль» от «какого-то греческого слова», тогда как «корабль» следует производить от «короба», а короб от «коробить», а коробить от «горбить», а горб от «горы». «Корабль, то есть этот карбас», свидетельствует о «похвальном постоянстве русских к корабельной архитектуре».

¹ «Русский вестник», 1861, март, стр. 330, 427, 460—461.

Полемическая направленность бестужевской повести называется и в преднамеренном подчеркивании чувства национальной гордости («я, как вы изволите видеть, коренной русский, происхожу от русского корня и вырос на русских кореньях») и в резкой критике всего иноземного («за секрет вам скажу, терпеть не могу ничего заморского и ничему иностранному не верю»). Этимологический спор только подкрепляет национальную структуру повести, усиливает ее основную тенденцию.

На первых порах трудно сказать, с кем спорит Бестужев. Но сущность полемики значительно проясняется, когда разговор заходит о сочинителях «темных, пестрых и голубых сказок» и «пламенных статей о бессмертных часах с кукушкою, о влиянии родимых покровов на нравственность и о воспитании виргинского табаку». Литературные враги Бестужева постепенно вырисовываются: это Булгарин, Сенковский, частично Вл. Одоевский, автор «Пестрых сказок».

В 1833 году вышли отдельной книгой «Фантастические путешествия барона Брамбеуса». Барона Брамбеуса Бестужев называет в «Мореходе Никитине» по имени и сравнивает его с журавлем, который считает «лягушку гораздо почетнее людей». «И справедливо: барон Брамбеус хоть вовсе не похож на журавля, а чуть ли не того же мнения.— Лягушек не лягушек, скажет он, а что устриц я всегда предпочту людям». Для барона Брамбеуса «древность происхождения устриц глубже всякой летописи и несомненное Несторовой...» И это ироническое замечание легко объясняется. В данном случае Бестужев имел в виду «Ученое путешествие на медвежий остров», где и содержится рассуждение барона Брамбеуса об устрицах («сначала на земле водились только устрицы и лопушник»). «Ученое путешествие» потребовалось барону Брамбеусу для того, чтобы рассказать о муже, жена которого бежала с любовником во время падения кометы. О народности и говорить не приходится: не народность, а «ситец-самоделка». В своем цветистом «ученом путешествии» барон Брамбеус, он же Сенковский, писал о якутской природе:

«Все, что вселенная, по разным своим уделам, вмещает в себе прекрасного, богатого, пленительного, ужасного, дикого, живописного: снежные хребты гор, веселые

бархатные луга, мрачные пропасти, роскошные долины, прозные утесы, озера с блестящею поверхностью, усеянную красивыми островами, леса, холмы, рощи, поля, потоки, величественные реки и шумные водопады — все собрано здесь в невероятном изобилии, набросано со вкусом или установлено с непостижимым искусством». ¹ Что это, пародия на Якутию? Нет, это «ситцеобразная» проза, где нет ни разумного вымысла, ни реальной этнографической живописи, которой так богаты сибирские рассказы Бестужева.

В общем барона Брамбеуса следует отнести к «сосцепитательным сочинителям, которые всего более любят говорить о том, что они знают наименее».

Булгарин тоже не обойден. Мнимый читатель непременно требует от автора «Морехода Никитина», чтобы герой его повести «беспреданно и бессмысленно плясал перед ним на канате» и походил бы на «наполеоновского пролаза или морского разбойника». В выражении «наполеоновский пролаз» кроется довольно прозрачный намек на биографию Булгарина. «Бессмысленно плясать на канате» — это намек на похождения Выжигина, «выходца из собачьей конуры», по словам Белинского. Нет сомнений, что мнимый читатель ставил в образец плутовской роман Булгарина («Я страх люблю виньетки и мемуары, особенно вроде Видока»). Навязчивый читатель, он же «двуличный» дворянин, не остается без ответа. Бестужев отзывается о Булгарине и Грече откровенно и без всяких скидок на прежнюю дружбу: «Они подслушивают у дверей кабинетов, заползают под изголовья супружеские, втираются в сени палат, подкапываются под гробы, проникают всюду, как золото, впиваются в души, как лезть, и потом милости прошу: все ваши тайны вынесены уж на толкучий». В этой характеристике учитывается ренегатство Булгарина и Греча (хотя Греч и не назван по фамилии), совершенно ясно сказано об их способности к подслушиванию, полицейскому сыску, предательству. ²

¹ Собрание сочинений Сенковского (барона Брамбеуса), т. II, СПб., 1858, стр. 71.

² Бестужев в повести «Мореход Никитин» как бы продолжает полемику, начатую Пушкиным в статьях «О записках Видока» («Литературная газета, 1830) и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем» («Телескоп», 1831). В Видоке Пушкин

Булгарин и Греч — личности темные, до конца скомпрометированные.

Отталкиваясь от официально-благонамеренной литературы, Бестужев в «Мореходе Никитине» провозглашает свои эстетические принципы, он отстаивает независимость художественных и политических убеждений. Отсюда бестужевская метафора — «верхом на пере я вольный казак». Сравнить себя с вольным казаком значит еще раз подчеркивать свою оппозиционность господствующим вкусам, свое нежелание идти на сделку с официальной литературой, Булгариным и Гречем; это самопризнание Бестужева далеко выходит за пределы проблемы литературного стиля, бестужевских «блесток»; на него следует смотреть шире — как на программное выступление, отстаивающее неприкосновенность декабристской эстетики, декабристской литературной теории. Обычно историки литературы цитируют это высказывание Бестужева, говоря о цветистом слоге, и оставляют без внимания главную мысль. Эту главную мысль, отстаивающую в условиях николаевской реакции право художника на свободу творчества, выделим курсивом:

«Вы купили с этим право бранить или хвалить меня, но меня самого вы не купили и не купите, я вас предупреждаю. Перо мое — смычок самовольный, помело ведьмы, конь наездника. Да: верхом на пере я вольный казак, я могу рыскать по бумаге без заповеди, куда глаза глядят. Я так и делаю: бросаю повод и не оглядываюсь назад, не рассчитываю, что впереди. Знать не хочу, заметает ли ветер след мой, прям или узорен след мой. Перепрянул через ограду, переплыл за реку — хорошо; не удалось — тоже хорошо. Я доволен уже тем, что насккался по простору целиком, до устали».

изобразил самого Булгарина и совершенно ясно намекнул на его политические доносы: «Он при сем случае пишет на своих *врагов* доносы, обвиняя их в безнравственности и вольнодумстве...» Если в записках о Видоке Пушкин назвал Булгарина «полицейским сыщиком», а его «нравственные сочинения» — явлением «отвратительным», то в статье «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем» Булгарин назван «пролазом». Бестужев пользуется именно этой пушкинской фразеологией, называя Булгарина «наполеоновским пролазом» и намекая на его принадлежность к полицейскому сыску.

В борьбе с псевдонародной литературой, в противовес болгаринскому плутовскому роману и брамбеусовским «фантастическим путешествиям» возникла бестужевская повесть об архангельских мореходах. Народность этой повести состоит не только в народно-поэтическом языке, но и в самих образах мореходов, в выборе сюжета и в характере замысла.

* * *

Бестужев предупреждает, что его повесть «не выдумка, не «фантастическое путешествие» барона Брамбеуса, не «голубая сказка». Отказавшись от авантурных происшествий, Бестужев ставит своей задачей изобразить «физиономию настоящую северную, русскую»: «одним словом, лицо вместе сметливое и простодушное, беззаботное и решительное». Таким национальным лицом и были четверо архангельских мореходов — Савелий Никитин, дядя Яков, молодой парень Алексей и «неизбежный Иван». «Неизбежный Иван» — фигура особенно символическая; таких Иванов на Руси тысячи, они «принадлежат к бесконечному ряду практических философов, которые разрешают жизнь самым безмятежным образом — работать когда нужно, спать когда можно» Это тот самый сказочный Иван, который из всех трудностей выходит всегда победителем, Иван-дурочок на первый взгляд, а на самом деле — умный и решительный, носитель народной смекалки и народной мудрости, лицо поэтическое. Вместо деревенской печки и поля, где сказочный Иван караулит пшеницу и выслеживает золотогривую кобылицу, в бестужевской повести изображается карбас и Белое море. Карбас плавно плывет по ветру, погода благоприятствует архангельским мореходам, Иван спокойно придерживает шкот, угловую веревку паруса, и меланхолично поплевывает. Иван «поплевывал в воду и любовался, как струя уносила изображение его жизни, и потом запевал «Ох, не одна! эх, не одна!» — и опять поплевывал». Когда наступил «ужасный миг», волна ударила в борт карбаса и «карбас пил смерть», в этот момент не было и намека на растерянность. Иван попрежнему сидел на носовом помосте и спокойно, упершись

ногами в борт, придерживал парус, и «сквозь рев бури и валов слышалась звонкая песня его:

Из-за Волги кума в решете приплыла,
Веретенами гребла, юбкой парусила».

И остальные мореходы, внешне не похожие друг на друга, были люди «испытанной честности, трезвые, деятельные, смысленые». Портреты четырех архангельских мореходов нарисованы Бестужевым с исключительной теплотой и знанием народной души. В архангельских мореходах есть что-то детски-наивное и вместе с тем возвышенное, героическое, в них сама природа заложила богатые возможности, которыми мог бы гордиться любой цивилизованный человек. Бестужев не идеализирует своих героев, не сентиментальничает, не приукрашивает, но и не огрубляет простых людей; он признает за архангельскими мореходами нравственные и умственные способности, всюду отмечает героический характер земляков Ломоносова. Путешествие по морю на карбасе — необычное путешествие. В карбас переселились народная шутка, народные легенды, верования и житейская философия. Здесь не может быть зависти и эгоизма, мелодраматических страстей и изнеженных прихотей, здесь все натурально и естественно: суровая природа и тяжелое морское путешествие, люди борются со стихиями этой природы, в самые драматические минуты мореходов не покидает артельный дух, дружба и поэзия. Беседы мореходов полны народного остроумия и какого-то эпического спокойствия. Дядя Яков, старик лет за пятьдесят, с «благословенной бородищей», олицетворяет собой народную мудрость, он живой хранитель русского народного языка и народной поэзии. Это настоящий народный сказитель, он не говорит, а именно сказывает, речь его пересыпана народными пословицами и поговорками, вышита словесным узором. Между делом, доплетая узел веревки, он рассказывает своим приятелям о Соловках:

«— Молод, брат, ты, Олеша, да вороват! Не свечка, а печка у тебя на уме. Не молиться, а столовать тебя охота разбieraет. Старики недаром сложили пословицу: кто на море не бывал, досыта богу не маливался. Да уж коли здесь мало простору, так в Соловках молись — не хочу. Добрые люди с краю земли пешком туда ходят на

богомолье, а тебе к случаю, без труда, выпала такая благодать — чудотворцам Зосиме и Савватию поклониться, к мошам приложиться, чудесам их подивиться! Ахнешь, брат, как повидишь, из каких громад сложены стены монастырские! Вышины — взглянь, так шапка долой; толшины — десять колесниц рядом проскачут; и каждый камень больше избы. Ведь святым угодникам ангелы помогали: человеку ни вздумать, ни сгадать, не то чтобы руками поднять такое беремья.

«— Аль Соловецкий-то остров утес, дядя Яков?»

«— В том-то и диво, что не утес. Берег как двинский: песок, где-где с подводными валунами. А птицы-то, птицы что там! На заре инда стон стоит! Гусей, лебедей, словно пены: под божьею тенью рай для них. Никто их не бьет, не пугает, сердечных. У самых ворот журавли на одной ножке стоят, дикие утята полощутся и усатые киты играют, со стен подачи дожидаются...»

Бестужев не ограничивается характеристикой внешнего и внутреннего облика архангельских мореходов, он создает героическую фабулу, героическую в народном духе. Архангельские мореходы по своему разумению решают проблему долга и чести, и решают эту проблему с присущим народу патриотическим сознанием. В повести сказался декабристский патриотизм самого Бестужева, его любовь к родине и талантливому русскому народу, вынесшему на своих плечах борьбу с Наполеоном. По своему идейному содержанию бестужевская повесть стоит рядом с рылеевскими «думами», в ней разрабатывается тот же сюжет, что и в «думах» о Якове Долгорукове и Иване Сусанине, хотя и из другой эпохи, еще более близкой декабристам. К концу своей литературной деятельности Бестужев воскресил декабристскую народно-героическую тему; не случайно его архангельская повесть приурочена к 1811 году, к кануну Отечественной войны с Наполеоном. В 1812 году русский народ «ощутил свою силу» в борьбе с иноземными захватчиками. Когда зашло дело о том, быть или не быть России, носить ли «имя народное не краснея — или видеть его сорванным, растоптанным в грязи», русский народ встал на защиту родины и спас судьбу отечества. «Никто не побоялся тогда умереть, — говорит Бестужев в отрывке из романа «Вадимов», — боялись, что трупы наши

не загородят Наполеону дороги к порабощению милой родины».

Эпизод на Белом море 1811 года не может идти ни в какое сравнение с событиями 1812 года, но и в нем проявилось чувство народной героики. Этот местный эпизод Бестужев возводит в степень общенациональной и общесторической значимости. Архангельские мореходы в 1811 году доказали, на что способны простые русские люди, когда дело касается национальной чести и независимости. Услыша с английского куттера грозные возгласы: «Сдавайся, или я перееду и потоплю тебя!», Савелий Никитин «пришел в ярость», и «ретивое вспыхнуло: он схватил заржавелый дробовик и, бац, прямо в борт куттера!» Наконец, когда английские разбойники, снабженные правительством письменным видом и чугунными ядрами, захватили русский карбас и командир куттера, «красный, толстопузый» капитан Турнип, «ограбивши прежде все дочиста», предложил архангельским мореходам забыть родину и выпить английского квасу, Савелий Никитин гордо ответил:

«Ты мне жизнь и квас сделал хуже уксусу. Не потчуй меня такою обглоданною жизнью. Я не собака, чтобы прыгать на цепи и лизать плеть твою. Утопил ты мой карбас, утопи же и меня».

Сцена на английском куттере имеет важное значение в композиции повести. Кюхельбекер в драме «Иван, купецкий сын» и Бестужев в архангельской повести приходят к одному и тому же выводу относительно европейского «просвещения». Бестужев не возражает против достижений буржуазной цивилизации. В отличие от квасных патриотов из «Москвитянина» и «Маяка», он не порочит промышленный век. «Я люблю искусство и промышленность... я люблю газеты и омнибусы», — говорит Бестужев. Но если образованные европейцы под цивилизацией и просвещением разумеют «суп из костей для бедных», а для богатых «бифштекс», «крутой пуддинг» и «мягкие подушки», если под техническим усовершенствованием имеет в виду «гильотина, которая вам снимает голову так легко и скоро, что вы не успеете чихнуть», то от такой цивилизации, от такого комфорта Бестужев считает своим долгом отказаться. Пусть таким «просвещением» пользуются англичане, русский просве-

титель не желает у себя на родине видеть подобные порядки.

Запоминается фигура английского капитана Турнипа, дельца и хищника. Капитан Турнип был неплохой моряк, но и в каюте он был прежде всего спесивым джентльменом и завоевателем. Турнип хорошо разбирался в бутылках и пуховиках и настоялко любил комфорт, что «скорее бы согласился обнищить половину своих сограждан и замучить другую... чем оставить пустыми свои благоустроенные тюрьмы и больницы». Для капитана Турнипа мальчик лет двенадцати, вестовой, не имел даже имени. «*Бой, принеси бутылку. Бой, кликни боцмана!* — и пинок в зад, — и он взлетал по лестнице соколом. Да! пинок есть первая буква английской дисциплины, которой последняя — петля на конце рея».

* * *

Конкретный источник архангельской повести находится в истории местного края. Эпизод, положенный в основу сюжета, не выдуман, он взят из поморской жизни, из местных преданий. Нечто совершенно подобное сообщалось в 1854 году в «Москвитянине». Во «Внутренних известиях» этого журнала говорилось о «морских подвигах» англичан на Белом море: английские пираты захватили возвращавшиеся с промыслов рыбопромышленные суда «Михаил Архангел» и «Святой Николай», но «отважные корабельщики воспользовались первым благоприятным случаем и при попутном ветре ушли от преследования неприятеля и прибыли благополучно в Архангельск, причем Чумичов (шкипер судна «Святой Николай») вместо парусов, взятых у него англичанами, поднял три рогожи». Далее в «Москвитянине» ставился в пример архангельский крестьянин Чухнин: «17-го июня крестьянин Чухнин, смело пройдя под неприятельскими ядрами, доставил благополучно в Архангельск, на своем небольшом судне, снятых им с моржового маяка офицера, команду и осветительные припасы».¹

¹ «Москвитянин», 1854, т. IV, стр. 138. Внутренние известия.

Ясно, что подобные случаи на Белом море, происходившие и раньше, долго хранились в памяти народной. Еще при Петре I, летом 1701 года, служба Николо-Корельского монастыря Иван Рябов и перевозчик мудьюжской караульной роты Дмитрий Борисов, захваченные на взморье в плен шведами, посадили на мель вооруженный шведский фрегат. Петр I, узнав от воеводы об отражении неприятеля вблизи города Архангельска, сказал одному из своих приближенных: «Зело чудесно, что отразили злобнейших шведов».

Бестужев в своей повести ссылается на местное предание об архангельском патриоте Савелии Никитине: «Все кумушки, накинув на плечи епанечки, бегали от ворот к воротам,— время ли на двор заглядывать! — и рассказывали, что их роденька (тут все стали ему роднею), Савелий Никитич, напал на стопушечный английский корабль, рассыпался во все стороны, окружил его своим карбасом, вырвал руль собственными руками и давай тузить англичан направо и налево: принуждены были сдаться, супостаты! Теперь он ведет его сюда на показ! Все ахали, все спрашивали, все рассказывали чепуху; никто не знал правды».

Предание о мореходах Бестужев мог слышать от архангельских солдат, служивших вместе с ссыльными декабристами в Дербенте; это предание мог знать и Жуков, переведенный из Архангельска на службу в Кавказский отдельный корпус и живший в Дербенте в одной комнате с Бестужевым. Подобное предание действительно существовало, и в основе его лежал подлинный исторический факт. Прототипом морехода Савелия Никитина бесспорно является некий Матвей Герасимов, совершивший в 1810 году путешествие из Архангельска в Норвегию на купеческом судне «Евплус Второй». Судно архангельских мореходов, нагруженное хлебом, встретилось с английским трехмачтовым военным кораблем. Архангельские мореходы были захвачены в плен, но не сдались: они забили каюту с английскими матросами, часового сбросили в море и повернули английский корабль к берегам России. В 1849 году в «Морском сборнике» появился рассказ Матвея Герасимова о героическом рейде архангельских мореходов, который мы в отрывках приводим ниже: «Следуя на том корабле в назначенный

путь и не доходя Нордкапа, 19-го ч. августа увидели не в дальнем расстоянии трехмачтовый корабль, который, не доходя до нас, лег на дрейф и пустил шлюпку; она подъехала к нашему кораблю, и с ней кричали нам непонятным языком; почему я принужденным нашелся стать своим кораблем тоже в дрейф. Из приехавших на шлюпке взошли к нам один офицер и пять матросов, без всякого орудия, кои оказались англичанами. Между тем корабль английский подошел к нам еще ближе, который увидели вооруженным пушками. Приехавший к нам офицер с матросами поставил оных на руль и к парусам, и начали управлять нашим кораблем по своей уже воле. Между тем английские матросы грабили у нас вещи и взяли у меня денег ассигнациями 20 и серебром 20 же рублей... Почему сии стесненные обстоятельства вынудили меня либо лишиться вовсе жизни, либо спасти оную и хозяйский живот (имущество.— В. Б.) от пленения: и я, в чаянии на помощь божью, начал соглашать своих остальных при мне четырех матросов к избавлению собственности, кои, по убедительной моей просьбе, согласились на то, исключая штурмана, который не был на то согласен, а более отвлекал и держал сторону, нашему намерению противную,— в пользу неприятеля. Оставя его, согласился я вместе с моими матросами. В 30-й день августа, поутру в 5 часов, избрав удобное время, приступили к начатию предпринятого нами дела. Усмотрев, что офицер и с ним 6 матросов в каюте все спали, то, нимало не мешкав, оставя их спящими, и с ними не соглашавшегося с нами штурмана и больного своего юнгу, заперли каютные двери накрепко, увязали запор и заколотили с оной стороны, а находящегося на корабле английского часового, выдавшего наше действие, бросили с корабля в воду, поворота, при бывшем тогда способном ветре, к норвежским берегам. При управлении рулем и парусами я был сам в пятых. Между тем пассажиры наши, проснувшись в каюте, начали стараться всячески из-под стражи вырваться на свободу: палили оттуда из долот, употребляя при том все силы к взломанию каюты; но при всей их тревоге, более трех суток употребляемой, не могли оттоль освободиться, будучи угрожаемы от нас показыванием им орудия к лишению жизни. Наконец, утомясь,

они просили для утоления своей жажды пить воды, которая, равно и пища, от нас была им подаваема. Находясь в таком странном и отчаянном положении, и сами сделались мы бессильны и с нуждой достигли 6-го сего месяца датских берегов, не осмелясь уже следовать в даль, в Россию, с неприятелями. Приплыв к городу Варгаеву и остановясь тут, я съехал на *гору* (на берег.— В. Б.) и явился к тамошнему коменданту, объявляя причину моего к нему прихода. И он, сколько мог от меня понять, отрядил одного унтер-офицера с 10-ю рядовыми ко мне на корабль, при коих я каютные двери отворил, оттуда сперва вышел английский офицер, который добровольно отдал мне шпагу, кортик и карманный кинжал, а потом за ним вышли поодиночке и матросы его — шесть человек: и все оные люди забраны были датскою командою и увезены в город, куда я вслед представил тех англичан лично коменданту».¹

Бестужев знал о подвиге архангельских мореходов из устного предания: повесть «Мореход Никитин» появилась в «Библиотеке для чтения» за шестнадцать лет до публикации в «Морском сборнике» рассказа, записанного со слов Матвея Герасимова и скрепленного подписями его сотоварищей — боцмана Ивана Васильева, матросов Петра Петунова, Федора Пахомова и Михаила Сулова. На основе устной молвы Бестужев создал вполне оригинальный сюжет, многое заменив собственным вымыслом. Но на этот раз бестужевский вымысел не нарушил исторической правды и подлинной народности. Считая народность основой самобытного романтического искусства, освобожденного от чужеземных влияний и догматической эстетики классицизма, Бестужев всегда с огромным вниманием относился к фольклору и этнографии, он всегда приветствовал проявление народности в литературе, ставя в пример Крылова, который умел изображать «природных русских мужичков». Однако Бестужев в своем художественном творчестве никогда еще так близко не подходил к народной поэзии, к живому народному наречию, никогда он так вдумчиво не

¹ «Морской сборник», 1849, т. 2, стр. 513—537; в 1854 году рассказ Матвея Герасимова был перепечатан в «Архангельских губернских ведомостях» от 10-го апреля, часть неофициальная.

изображал простых русских людей и их мировоззрение, как в архангельской повести «Мореход Никитин». Не случайно в письме к Николаю Полевому Бестужев писал в 1832 году: «Простые люди не простаки, и, право, в ссорах наших мужиков мне случалось находить более поэзии, чем в поэмах наших стихотворцев. Русский слова не скажет без фигур, без сравнений; дело в том, что сила их скрыта в выражении: надобно раскусить эту скорлупу». ¹ В повести «Мореход Никитин» Бестужев раскусил «скорлупу» народности и понял богатырскую силу народа, способную преодолеть любое препятствие.

¹ «Русский вестник», 1861, март, стр. 329.

КАВКАЗСКИЕ ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

* * *

От Пушкина, Грибоедова, Бестужева и Лермонтова идет в русской литературе традиция кавказской темы, развивавшаяся на основе реального интереса русских художников к этому сурово-величественному краю, к жизни, фольклору и этнографии народов Кавказа.

Конечно, Бестужеву-солдату было нелегко заниматься литературной деятельностью; однако и в самых трудных условиях он не расставался с пером, вдумчиво наблюдал жизнь кавказских народов и собирал материал для своих кавказских повестей. В лице Бестужева народы Кавказа увидели представителя декабристской России, не грозного завоевателя, а истинного сына великого русского народа, образованного и культурного человека, ученого и художника, работавшего для сближения России с Кавказом. В годы кавказской жизни у Бестужева были яркие, волнующие встречи. Это встречи с друзьями-декабристами, сосланными на Кавказ, а также встречи с представителями местной интеллигенции, с азербайджанскими просветителями А. К. Бакихановым, по отзыву самого Бестужева — «весьма просвещенным и милым человеком», и М. Ф. Ахундовым, поэму которого «На смерть Пушкина» ссыльный декабрист перевел на русский язык. Бок о бок с азербайджанцами, грузинами и армянами Бестужев боролся с мюридами. Писатель-декабрист стал героем местных легенд и так сроднился с Кавказом, что и сам получил от дербентцев дружескую кличку Искандер-Бек. Проводы его из Дербента в 1834 году, как об этом свидетельствует Я. И. Костенец-

кий, сосланный на Кавказ по делу «Сунгуровского общества», превратились в своеобразную демонстрацию. «Почти все городское население,— пишет Костенецкий,— провожало его и верхом и пешком, верст за 20 от города, до самой реки Самура, стреляя на пути из ружей, пуская ракеты, зажигая факелы; музыканты били в бубны и играли на своих инструментах; другие пели, плясали... и вообще вся толпа старалась всячески выразить свое расположение к любимому своему Искандер-Беку».¹ В письме к своим братьям Бестужев писал 24 декабря 1831 года из Дербента: «О, как бы любили русские этот край, если бы он был их отчиною!»

Кавказ настолько поразил его своим неповторимым своеобразием, что Бестужев сейчас же, не откладывая на дальние сроки, решил изучить этот край, изучить всесторонне, как писатель, историк, этнограф, фольклорист, и не по книгам, не с чужих слов, а самостоятельно, используя самый верный источник для ознакомления — народный быт, местные наречия и этнографический материал.

О Бестужево-кавказоведе и его кавказских повестях существуют самые противоречивые мнения. Автор обширной «Библиографии Дагестанской области» Е. И. Козубский считал, что бестужевские художественные и этнографические описания не могут служить предметом серьезного разбора, так как в них нет ничего, кроме досужих домыслов и неверных сведений. «Очерки Марлинского,— пишет Е. И. Козубский,— равно как и некогда знаменитые повести его из жизни дагестанских горцев («Аммалат-Бек», «Мулла-Нур»), способствовали только распространению ложных понятий о Кавказе вообще и о Дагестане в частности. Марлинский был только в Тарках и в Дербенте; все же почти, что он рассказывает о горцах, составляет плод его воображения. К тому же очерки крайне бессодержательны».² Пренебрежительное отношение буржуазной историографии к кавказоведческим трудам Бестужева было рассеяно только советской наукой. После работ М. П. Алексеева, В. М. Васильева и А. В. Попова едва ли кто решится отрицать заслуги

¹ «Русский вестник», 1900, ноябрь, стр. 455.

² «Памятная книжка Дагестанской области». Темир-Хан-Шура, 1895, Приложение, стр. 38.

Бестужева в изучении быта и этнографии кавказских народов. О значении Бестужева-этнографа справедливо писал М. П. Алексеев в своих «Этюдах о Марлинском»: «Нельзя отрицать прекрасного знакомства с бытом и природой того края, где ему пришлось провести слишком семь лет; осведомленность его в кавказских наречиях и его сильные этнографические интересы — несомненны». ¹ Новейшие исследователи жизни и творчества Бестужева на Кавказе В. М. Васильев и А. В. Попов значительно расширили характеристику этнографических интересов ссыльного декабриста. В результате коллективных усилий советских литературоведов жизнь Бестужева на Кавказе и кавказская тема в его творчестве оказались наиболее изученными. Ни об одном из писателей-декабристов не написано столько работ, сколько о Бестужеве кавказского периода. Отмечая ценность исследований М. П. Алексеева, В. М. Васильева ² и А. В. Попова, ³ мы не считаем вопрос о Бестужеве-кавказоведе и бестужевских кавказских повестях окончательно решенным. Основной недостаток исследований, посвященных кавказскому периоду жизни Бестужева, состоит в ограниченном понимании самой кавказской темы, в изоляции этой темы от общих идейных и художественных взглядов писателя, от всего предшествующего опыта декабристской литературы и раннего опыта самого Бестужева. Все согласны в том, что Бестужев для своего времени был крупным знатоком истории, этнографии и фольклора кавказских народов, что «этнографический груз» в кавказских повестях не кажется лишним. Но, отмечая заслуги Бестужева в области кавказоведения, истории литературы прошли мимо истинных источников столь глубокого интереса ссыльного декабриста к истории и этнографии местного края.

Сказать, что Бестужев хорошо изучил Кавказ и в своих произведениях широко использовал фольклорно-этнографические материалы, на наш взгляд совершенно

¹ М. П. Алексеев. Этюды о Марлинском. Иркутск, 1928, стр. 32.

² В. Васильев. Бестужев-Марлинский на Кавказе. Краснодар, 1939.

³ А. В. Попов. Русские писатели на Кавказе. А. А. Бестужев-Марлинский. Вып. 1, Баку, 1949.

недостаточно: необходимо правильно понять своеобразие бестужевского этнографизма. В русской литературе конца XVIII и первой трети XIX веков совершенно ясно обозначались два типа художественно-этнографической литературы: если у Радищева и декабристов этнографическое изучение всегда подчинено мотивам социального характера, а этнографический и фольклорный материалы зачатую служат раскрытию общего замысла, то у Даля и Нарезного этнографический и фольклорный материалы всего только источник литературной стилизации, не ведущий к познанию общественных отношений и существующий декоративно, как живописание ради живописания, как орнамент в народном вкусе, выполненный по народным образцам. На безидейность и пустоту подобной орнаментальной этнографии указывал Н. Г. Чернышевский в рецензии «Картины из русского быта Владимира Даля»: «У г. Даля нет и никогда не было никакого определенного смысла в понятиях о народе... Из его рассказов ни на волос не узнаешь ничего о русском народе, да и в самих-то рассказах не найдешь ни капли народности».¹

Бестужев — знаток Кавказа (вернее: Бестужев — знаток Дагестана) тем и отличается от Даля, что через фольклор, через этнографию он стремился понять истинную физиономию народа, его потребности, его живую историю. Бестужев не просто писатель-этнограф: он писатель с политической программой, практик декабристского народознания, рассматривающий быт и этнографию Кавказа в свете общих идей декабристов. Декабристы внесли огромный вклад в русскую этнографическую науку и фольклористику, а также в этнографию и фольклористику Якутии, Бурято-Монголии, Кавказа и Карелии. Писатели-декабристы и до и после 14 декабря 1825 года интересовались народной поэзией и этнографией. Эстетические взгляды декабристов, в частности их трактаты о романтизме, отстаивающие самобытный характер русской литературы, в какой-то мере были обязаны изучению русского фольклора и «Слова о полку Игореве», вдумчивому отношению к преданиям и верованиям народ-

¹ Н. Г. Чернышевский. Собрание сочинений, т. VIII. СПб., 1906, стр. 141.

ным, которые, по словам Кюхельбекера, составляли основной источник самобытного искусства. В годы каторги и ссылки декабристы практически работали над фольклором и этнографией, над описанием многоплеменной России. Велики заслуги в этой области Александра Бестужева. В Сибири он изучал сибирские нравы и обычаи, в Якутии — якутские, в Дагестане — дагестанские. И все это делалось не под наитием одного только случая, — Бестужев всюду исходил из единого серьезного общего замысла. Случай привел его в Якутию, и тот же случай привел его в Дагестан. Но изучение национального быта и национальной культуры как внутренне-значительных явлений, имеющих право на самостоятельность и свободу, отнюдь не было для Бестужева случайным занятием: его располагала к нему и к нему его подготавливала идейная программа декабристов.

В кавказской теме у Бестужева был один предшественник, и предшественник великий. Поэма «Кавказский пленник», по словам самого Пушкина, была «обязана своим успехом верному, хотя слегка означенному, изображению Кавказа и горских нравов». Из всей литературы о Кавказе Бестужев выделял только поэму Пушкина — этот этнографический очерк в стихах, в котором был открыт реальный образ Кавказа. «Пушкин приподнял только угол завесы этой величественной картины», — писал Бестужев в дневнике «Часы и зеркало». Что касается «господ других поэтов», то они «сделали из этого великана в ледяном венце и в ризе бурь какой-то миндальный пирог, по которому текут лимонадные ручьи». Не желая умножать «шайку хвастунов», ссыльный декабрист берется за этнографическое изучение Кавказа, особенно Дагестана, где ему приходится постоянно бывать.

* * *

Среди этнографических рассказов Бестужева на первое место следует поставить «Рассказ офицера, бывшего в плену у горцев». Этот рассказ Бестужева без всяких преувеличений можно назвать этнографическим исследованием, написанным рукой талантливого художника и

публициста.¹ Отмечая крайнюю бедность «порядочных» сведений о народах Кавказа, Бестужев говорит о необходимости налаживания культурных связей России и Кавказа. Эти связи еще не налажены, и в этом повинны русские офицеры, не желающие или не умеющие участвовать в изучении Кавказа. Вместо историографического введения Бестужев в своем рассказе дает критику легкомысленного отношения к Кавказу со стороны некоторых русских офицеров.

«Мы жалуемся,— пишет Бестужев в «Рассказе офицера, бывшего в плену у горцев»,— что нет у нас порядочных сведений о народах Кавказа... Да кто же в том виноват, если не мы сами? Тридцать лет владеем всеми выходами из ущелий, тридцать лет опоясываем угория стальной цепью штыков, и до сих пор офицеры наши, вместо полезных или по крайней мере занимательных известий, вывозили с Кавказа одни шашки, ноговицы да пояски под чернью. Самые испытательные выучивались плясать легзинку; но далее этого — ни зерна. В России я встретился с одним заслуженным штаб-офицером, который на все мои расспросы о Грузии, в которой терся он лет двенадцать, умел только отвечать, что там очень дешевы фазаны.

«Признаться, за такими познаниями не стоило ездить далеко».

Прекрасно осведомленный в исторической и этнографической литературе о кавказских народах, Бестужев не видит ни одной статьи, ни одного описания, в которых можно было бы почерпнуть объективные данные и обнаружить знание дела. О Кавказе по преимуществу писали иностранные путешественники, побывавшие кое-где «пролетом». «Краснея должны мы сознаться,— пишет Бестужев,— что сведения о России текут к нам сквозь иностранное решето. Кавказ имел ту же участь». Впрочем, Бестужев выделяет путешествие Клапрота. Но и этот сравнительно «хороший ориенталист» приехал на Кавказ с готовою системою, «езде был пролетом», и это «езде» ограничивалось очень немногими местами. Из русских

¹ Этнографических интересов А. Бестужева касается В. К. Соколов в статье «Взгляды и исследования декабристов в области этнографии и фольклора» — см. «Советская этнография», 1953, кн. 2.

путешественников о Кавказе писал Броневский. Его «Известия о Кавказе» — «книга, полезная для училищ, но не удовлетворяющая потребности мыслителя». В кратком отзыве о Броневском заключена очень важная мысль: этнографическое описание должно удовлетворять «потребности мыслителя» и содержать в себе «историческую критику». Бестужев явно издевается над «этнографическими» описаниями, в которых нет ни прошлого, ни настоящего народа, зато в изобилии содержатся подробнейшие сведения о «божьей коровке».

«Слова нет,— пишет Бестужев в заключение историографического обзора литературы о Кавказе,— чрезвычайно любопытно читать о новооткрытой на Кавказе божьей коровке, о невиданном доселе репейнике, о том, что разумели древние под именем Фаза и Камбиза и отчего взялась басня о золотом руне Колхиды? Все это необходимо в области наук; но для человека самое нужное, самая поучительная статья есть человек, и нам бы хотелось лучше знать настоящие нравы, обычаи, привычки горцев».

Определив этнографию как науку, изучающую народные нравы, обычаи и привычки, Бестужев подчеркивает сложность изучения Кавказа, где каждое племя имеет «отличный язык, особые поверия». Этнически пестрый Кавказ требует от этнографа знания местных наречий: «нет иного средства, как изучить в совершенстве какое-нибудь горское наречие». Таким образом Бестужев один из первых указал на важность языкового материала для этнографических и исторических построений.

Кавказ нуждается в глубоком изучении и в объективной оценке. Вместо того чтобы просиживать свободное время за карточным столом, Бестужев советует офицерам Отдельного кавказского корпуса всматриваться в народную жизнь Кавказа, собирать в «один сноп рассеянные лучи познаний о народах...»

В своем рассуждении о задачах этнографического описания Бестужев преследовал определенную политическую цель, он прекрасно понимал, что «познание Кавказа тесно связано с выгодами нашего отечества». «Тут целью,— замечает Бестужев,— не пустое любопытство, а видимая выгода,— и выгода священная, ибо покорение Кавказа подвинет далеко вперед целое человечество и,

так сказать, сроет этот порог между двумя материками». Продвижение России на Кавказ принесет большие выгоды и России и Кавказу, но эта обоюдно важная проблема не должна решаться методами самодержавного угнетения. Кроме России официальной, России Николая I и Паскевичей, была еще Россия Пушкина и декабристов. И эта вторая Россия желала Кавказу всяческих благ и была готова вместе бороться с самодержавием. Бестужев выражал мнение декабристско-пушкинской России, когда все в том же «Рассказе офицера, бывшего в плену у горцев» писал: «Будьте уверены, что, покуда просвещение не откроет новых средств к довольству и торговля не разольет его поровну во всех ущельях Кавказа, горцев не отучат от разбоев даже трехгранными доказательствами». В глубоком сочувствии кавказским народам, в стремлении развивать культурные связи между Россией и Кавказом сказывалась декабристская позиция Бестужева.

В письме к братьям Полевым от 28 июля 1833 года Бестужев выражал желание противопоставить официальной точке зрения на Кавказ понятия передового русского человека. «В другое время я,— пишет Бестужев,— приведу сколько-нибудь в порядок мысли и заметки мои о виденном мною крае. Последние, впрочем, едва ли могут быть скоро гласны, ибо я вижу Кавказ совсем в другом виде, как воображают его себе власти наши. Трудно вообразить, чтобы, живучи так близко друг с другом, мы могли иметь столь ошибочные понятия о политическом составе управы между горцами и о личности видных между ними людей».¹ Бестужев имел основание сомневаться в возможности сделать свои записи о Кавказе гласными, опубликовать их в печати; и все же ссыльный декабрист сумел довести до читателей все, что он знал о Кавказе, кое-что спрятав между строк и многое недосказав. В одном из своих частных писем Бестужев горько жалуется: «Что сказать вам о состоянии здешнего края? Паскевич, отдав свою доверенность людям, которые всего менее ее заслужили, довел Кавказ до высшей степени расстройства».² Писатель-декабрист прекрасно

¹ «Русское обозрение», 1894, октябрь, стр. 828.

² «Русский вестник», 1861, № 3, стр. 301.

понимал, что одного экономического преобразования Кавказа еще недостаточно: необходимо просвещение, но эту работу нужно передать в верные руки. Кавказцы имеют свои обычаи, свои нравы, с которыми нельзя не считаться. Бестужев настойчиво проводит ту мысль, что исторические и этнические своеобразия Кавказа должны постоянно учитываться, иначе просвещать «смешно и безрассудно».¹ Для того чтобы безошибочно судить о Кавказе, нужно знать этот край, знать национальные обычаи, национальную культуру, прошлое и настоящее страны.

«Рассказ офицера, бывшего в плену у горцев»² — пример бестужевского этнографического описания, в котором нет «красно выставленных глав»: «о правлении горских народов», «о языке», «история их, нравы, обычаи» и т. п. Писатель-этнограф не обременяет свой труд «учебными формами», его интересует прежде всего «способ воззрения» и взгляд на современную жизнь некоторых кавказских племен. Но этот бестужевский взгляд не совпадает с популярными и в одинаковой мере неверными версиями о кавказцах: «то мы их обвиняем в жестокости, в вероломстве, в хищениях, в невежестве, бог весть в чем; то, кидаясь в другую крайность, восхищаемся их простотою, гостеприимством и не перечесть какими добродетелями. То и другое напрасно». Горцы имеют свои «недостатки и добрые качества, свойственные человечеству», к тому же они не отжили «патриархальный век, и век кочевья, и век разбоя», о горцах следует судить конкретно-исторически, не расписывать их «цветными арабесками» и не опрыскивать их «розовою водою». Однако не следует и умалять их

¹ «Русское обозрение», 1894, октябрь, стр. 832. Письмо А. А. Бестужева к братьям Полевым от 25 января 1834 года.

² Этот рассказ Александра Бестужева своей сюжетной схемой напоминает «Кавказский пленник» Пушкина. Бестужев высоко ставил пушкинскую поэму за описательные картины Кавказа. И Пушкин в предисловии ко второму изданию 1828 года признавался, что «Кавказский пленник» своим успехом обязан «верному, хотя слегка означенному изображению Кавказа и горских нравов». Общее между кавказской поэмой Пушкина и кавказским рассказом Бестужева состоит не только в одинаковом тяготении к местному этнографическому колориту, но и в самой сюжетной ситуации: пленник и черкешенка — у Пушкина, русский офицер и Шалиби — у Бестужева. Но Бестужев не делает из своего пленного офицера романтического героя с загадочной судьбой.

достоинств, не нужно превращать горцев в хищных разбойников, в племя полудикое. Задача состоит в том, чтобы правильно понять эти исторически сложившиеся нравы и помочь горцам найти выход в более разумное будущее. Именно в этом плане Бестужев ведет свой рассказ о койсубулинцах и богучемолах. Исследуя социальный строй горцев, их общественный и частный быт, Бестужев отказывается видеть в горном Дагестане наличие единой военно-демократической республики. Племенная община койсубулинцев — пример разложения родового строя. Бестужева поражает бедность «невольников» гор. Сакля койсубулинцев напоминает курную избу крепостного крестьянина. Вот ее внутренний вид: «Озираюсь, надо мной закопченный потолок, подо мной войлок, брошенный на землю; кругом голые грубые, из булыжника сложенные, стены, расписанные по саже дождевыми струями и по спаям украшенные обоями из паутины; в углу семья хозяина. Вот что представилось моему взору». На Кавказе отсутствуют помещики, но есть князьки и уздени; эти местные феодалы угнетают народ поборами, восстанавливают одно племя против другого. Даже у койсубулинцев есть богатые, «уважаемые в околке», имеющие тысячи полторы рогатого скота, «купцы для выгоды», меняющие ягнят и шкуры у соседних народов на ковры и оружие, и есть совсем бедные, не имеющие ни хлеба, ни мяса. Здесь сказалось стихийное сочувствие декабриста к угнетенному трудовому народу, столь же несчастному, как и русский крестьянин. Койсубулинцы не нуждаются в идеализации, жизнь их совсем не идиллична, она полна неожиданностей и очень скудна. Патриархальная замкнутость и нищета — таково современное состояние этого народа.

В «Письме к доктору Эрману» Бестужев подробно касается теневых сторон быта горцев, отмечая пережиточные явления. Гражданин, по словам Бестужева, не может не содрогнуться, слыша, что «еще незадолго перед сим отцы продавали дочерей и братья сестер Турции». Он указывает на неравноправное положение кавказских женщин: «Участь их самая жалкая. Они спрашивают все домашние и полевые работы; мужья ездят на грабеж или, куря трубку, целый день стругают кинжалом палочку... самая созерцательная жизнь!» Консерва-

тивные семейные обычаи поддерживаются исламом. Магометанство, «эта душевная проказа человечества», убивает в горах «все стремление к лучшему». «Письмо к доктору Эрману» было написано Бестужевым в первый год его пребывания на Кавказе. Многие в этом «письме» было угадано совершенно верно. В очерке о койсубулинцах Бестужев снова отмечает порабощенное положение женщины: «Жена у койсубулинца есть не что, как египетская печка для высиживания детей и рабочая скотина для домашнего обихода».

Вместе с тем Бестужев не желает, чтобы это маленькое кавказское племя прослыло диким и варварским. Если обряд кровомщения и отношение к женщине — показатель темноты и патриархальной ограниченности, то сказки койсубулинцев «о героях прежних веков или о молодечестве, о хитростях, об удачах наездников» — все это является свидетельством гражданских понятий и поэтической одаренности народа. В сказках койсубулинцев много воображения и выдумки, в них «часто прорывается и остроумие». «Сказочники их, — пишет Бестужев, — большие говоруны и народные шуты: присвистывают, щелкают, меняют голос, примешивают к сказке стихи и пение, смешат поговорками, иногда забавными, часто глупыми. Большая часть их сказок, видимо, занесена к ним с Востока: почти в каждой вы найдете название чинов, неведомых вольным горцам, и роскошные описания садов, городов, украшений, невозможных ни природе, ни бедности горской. Страннее всего, что в них я нашел основу почти всех европейских сказок». В этой краткой характеристике заключается богатая мысль. Бестужев не отделяет самой сказки от ее носителя, от его личности, от его быта и бытовых навыков, от исполнительской манеры. Он не впадает в книжность многих фольклористов последующего времени, для которых фольклор, устное творчество народа ничем не отличается от текста, напечатанного в книге, и ведет такую же отвлеченную жизнь, как и этот текст. Бестужев берет фольклор вместе с его этнографической почвой, следуя непредвзятому живому наблюдению, показывающему, что фольклор и его почва едины. Наконец Бестужев не поддается идее «заимствования», хотя и замечает, что в горской сказке присутствуют влияния Востока. Послед-

нее его замечание, что в горских сказках им найдена общая основа всех европейских сказок, по общему ходу его мысли вовсе не поддерживает теории, согласно которой всякий национальный сюжет — чужой, принесенный со стороны. Напротив того, Бестужев выставляет свое суждение: если в горских сказках есть Восток, с которым горцы соприкасаются, то в них есть также и Европа, от которой они отдалены; следовательно, сказки эти самобытны, и сходство с Европой возникло не путем заимствования, а через однородность творчества.

Богучемоны, живущие в Аравии, имеют свой быт, свои обычаи и нравы, но и к этому патриархальному народу неприменима «утопия Руссо». «Три дня провели мы, — рассказывает офицер, — между этими детьми природы, не знающими никакого начальства и потому никакого властолюбия, чуждыми почти всех страстей, всех пороков общества, но не знающими зато никаких его выгод, между людьми, так сказать, не покинувшими еще животного состояния, — это была олицетворенная утопия Жан-Жака, только грязная, не нарумяненная, нагая». И в этом этнографическом описании Бестужев остается верен своей просветительской концепции. Конечно, гостеприимный богучефон Гайдар и его милая дочь Шалиби, не знающие светских пороков, не должны остаться в изоляции, во власти пережитков прошлого: жить в полутьме, есть сырое мясо, умирать под ножом мстителя. Богучемоны достойны лучшей судьбы.

Пленный русский офицер полюбил Шалиби, девушка полюбила русского офицера. Бестужев как бы приравнивает «туземку», простую девушку из рода богучемонов, к русскому офицеру; с другой стороны, русский офицер находит в лице Гайдара своего лучшего друга. Политике стальных штыков Бестужев снова противопоставляет принципы более гуманные, основанные на взаимной дружбе и уважении.

В рамках этнографического описания писатель-этнограф решает определенную политическую проблему: русский офицер, побывавший в плену у горцев, рассказывает о Кавказе по-декабристски, желая Кавказу благосостояния и культурного прогресса. Бестужев мечтал о мирном содружестве народов. В «Письме к доктору Эрману» он прямо заявлял: «Скоро ли настанет время,

когда елей просвещения смоем кровь с крутин Кавказа и обратит сынов его, героев-разбойников, в миролюбивых оратаев».

Это не только взгляд Бестужева. Его товарищ по ссылке Н. И. Лорер говорил о том же самом и теми же словами: «Когда-то эти божьи места путем просвещения, цивилизации сделаются достоянием образованного человечества? Огонь и меч не принесут пользы, да и кто дал нам право таким образом вносить образование к людям, которые довольствуются своей свободой и собственностью?..»¹ А. Е. Розен, прощаясь с Кавказом, записал в своем дневнике: «Прощай, Кавказ! Красуйся не одной природой, но и благосостоянием твоих обитателей».²

Бестужев дает нераздельный образ Кавказа с его прошлым и настоящим, он подходит к этому самобытному краю с декабристских позиций, как историк и этнограф, художник и публицист. От кавказских рассказов и повестей Бестужева нельзя требовать пунктуальной точности и систематического изложения исторических и этнографических фактов. В одном из писем к Полевому Бестужев указывал на своеобразие задуманного им описания Кавказа: «...пусть будет меньше порядка, но больше живости, менее учености, но больше занимательности; облеките все в драматическую форму. Из романов В. Скотта выносишь больше знания о Шотландии, чем из самой истории». Призывая деятельных офицеров Кавказского корпуса собирать материалы о кавказских народах, Бестужев дословно повторил письмо к Полевому, придав ему значение программного документа: «Дайте же нам менее порядка, но более живости; менее учености, но более занимательности — облеките все в драматические формы. Мы, конечно, лучше познакомились с Шотландией по романам Вальтер-Скотта, нежели по самой истории. С моей стороны находя следующий рассказ довольно любопытным, приношу его, как свою лепту, в казну сведений о Кавказе. Если в нем нет очень нового в описаниях, зато есть оно в способе воззрения». Художественные и публицистические произведения нельзя рассматривать как этнографические работы, но

¹ «Записки Н. И. Лорера», М., 1931, стр. 214.

² А. Е. Розен. Записки декабриста. СПб., 1907, стр. 261—262.

они, как об этом справедливо пишет В. К. Соколова, «помогают уяснить основные принципы, с которыми декабристы подходили к изучению быта и культуры народа». ¹ Из бестужевских рассказов и повестей выносятся двойное впечатление — реально-историческое и фольклорно-этнографическое, не уступающее любому краеведческому описанию, и, одновременно, образно-эмоциональное, слуховое и зрительное. Есть в его описании и самое главное: «способ воззрения». Может быть, именно потому, что кавказские рассказы и повести Бестужева стоят между этнографическим очерком и художественной беллетристикой, они и не привлекали должного внимания этнографов, привыкших иметь дело с чисто этнографическими данными, исключая художественный вымысел и беллетризованное повествование. Такое подразделение этнографических описаний на научные и беллетризованные не совсем справедливо, особенно когда речь идет о Бестужеве, стремившемся выразить свой «способ воззрения», не нарушая при этом этнографической правды. Этот бестужевский «способ воззрения» нашел наиболее ясное выражение в «Письмах из Дагестана» (1831), посвященных изображению повстанческого движения на территории Дагестана и Чечни, проходившего под флагом ислама.

* * *

Осенью 1831 года отряд Кази-Муллы осадил Дербент. Рядовой Бестужев принимал непосредственное участие в защите Дербента, проявив во время боя исключительную храбрость. Он первым «кинулся на крутизну в завалы, подкрепленные местными людьми». О мужестве Бестужева свидетельствует «Журнал военных действий, веденный при грузинском линейном батальоне № 10 во время осады крепости Нарын-Калы и города Дербента войсками лезгинских мятежников под предводительством Кази-Муллы в 1831 году в августе месяце»:

«Гг. офицеры неутомимо действовали на стенах; рядовые исполняли свои обязанности с похвальной точно-

¹ «Советская этнография», 1953, кн. 2, стр. 135.

стью; особенно отличался, как сказано выше, *рядовой Бестужев, кинувшись вперед татар на завалы*. Батальонный командир позволил ему участвовать в сей вылазке для изглажения кровью прежних его проступков...»¹

Кази-Мулла, или Гази-Мухамед, первый имам и предводитель мюридов Дагестана и Чечни, предшественник Шамиля, изображен Бестужевым как главный враг дагестанского народа. Потерпев поражение под Дербентом, Гази-Мухамед весной 1831 года предпринял поход в Чечню, но и здесь был разгромлен отрядом под командованием корпусного командира барона Розена. Бестужев одним из первых в русской литературе разоблачил вождя мюридистского движения Гази-Мухамеда. Именем Гази-Мухамеда «ребята пугали друг друга». «Появление дерзкого проповедника Кази-Муллы,— пишет Бестужев,— сосредоточило, дало религиозный характер мятежу, хотя настоящие тому причины давно тлились под пеплом страсти к хищничеству».

Писатель-декабрист, лично наблюдавший движение мюридов и принимавший непосредственное участие в борьбе против Гази-Мухамеда, оставил после себя интереснейшие свидетельства, не утратившие своего значения и до сих пор. Известно, что некоторые советские историки допускали грубейшую политическую ошибку, выдавая мюридистское движение за прогрессивное, национально-освободительное. «Коренная ошибка историков, работавших над изучением движения Шамиля, заключается в том,— пишет А. Данилов в статье «Об извращениях в освещении мюридизма и движения Шамиля»,— что они представляли это движение как прогрессивное, национально-освободительное и демократическое, а мюридизм — его религиозную оболочку — как прогрессивную идеологию. На самом деле это движение следует рассматривать как реакционное, националистическое, подчиненное захватническим интересам Турции и Англии на Кавказе».² После завершившейся дискуссии о Шамиле и мюридистском движении тем более интересно напомнить мнение Бестужева и те материалы, которые он

¹ А. В. Попов. Русские писатели на Кавказе. А. А. Бестужев-Марлинский Баку, 1949, стр. 19—20.

² «Вопросы истории», 1950, № 9, стр. 3.

приводит в «Письмах из Дагестана». Изображая дербентское сражение, Бестужев ссылается на народное мнение, на мнение азербайджанцев и дагестанцев о Гази-Мухамеде. В народном понимании Гази-Мухамед — не борец против русского царизма и местных феодалов, но всего лишь «собачий сын», «омарово отродье», разбойник и грабитель. Желая уточнить «мнение дербентцев» и «толки народа», Бестужев, закутавшись в татарскую чуху и нахлобучив папаху на брови, вмешивался в толпу и прислушивался к разговорам. Вот что говорили «красные бороды» о Гази-Мухамеде:

«— Ему ли, собачьему сыну, прийти сюда! — говорили иные старики, поглаживая с гордостью красные бороды.

«— Сожгу я гроб отцов, да и прадедов этого омарова отродья! — говорил другой. — Видишь, что задумал он! Всем, кто постарее, — голова долой, кто помоложе — в плен, а женщин наших по рукам разобрать!.. Говорят, уж приказ дал своим, все золото с женских монист ему принести, когда будут грабить Дербент, а другое прочее — что кому попало. Проклятый недоверок, да еще нас же не считает мусульманами. «Они, говорит, хуже гяуров!»

«— Плюю на бороду этого Кази-Муллы, и друзей его, и разбойников его! — восклицал третий, выставляя ручку кинжала в оправе с блестящей насечкою.

«В этих речах, — заключает Бестужев, — было много правды».

Бестужев, как очевидец и летописец борьбы кавказских народов с мюридами, в своих дагестанских письмах рассказывает о бесславном конце Гази-Мухамеда. Постерпев еще одно поражение в Гимрах, на своей родине и на родине Шамиля, он с остатками полуразбитого отряда скрылся в сильно укрепленной крепости, однако здесь был настигнут русским отрядом, в состав которого входили азербайджанцы, дагестанцы, прузины и армяне, и после жаркого боя окончательно разбит.

Достаточно этих примеров, чтобы убедиться, насколько прав и дальновиден был Бестужев. Его «Письма из Дагестана» не должны быть забыты. Можно не соглашаться с Бестужевым в оценке «великодушной» деятельности Ермолова и Панкратьева, можно спорить с анализом

военных операций под Тарками, Бурной, Дербентом и Гимрами, но политическую характеристику Гази-Мухамеда и всего мюридистского движения нельзя не признать справедливой.

Декабристы были вдумчивыми наблюдателями исторической и современной жизни России, и очень часто их взгляды совпадали с объективным ходом исторического процесса. В частности Бестужев-Марлинский и как историк и как художник-беллетрист умел улавливать социальные конфликты, замечать и выделять те черты в характере и в развитии нации, которые нарочито обходила официальная дворянская историография во главе с Карамзиным.

В письме из Якутии к матери и сестрам Бестужев писал о призвании историка: «Он должен парить над веками, а не с толпой проходить их. Он не может упередить будущего, но не должен отстать от текущего; но всего менее прилагать аршин нашего образования, наших понятий к древности. Это ставит ее на театральные ходули и надевает макиавельскую маску на самые простые деяния».¹ Бестужев-художник часто сознательно ставил историю на «театральные ходули» — этого требовала историческая минута, пропаганда, конечная цель борьбы.²

В годы каторги и ссылки писатели-декабристы, столкнувшись лицом к лицу с народной жизнью многоликой России, широко использовали в своих произведениях этнографические наблюдения и исторические предания, часто получаемые непосредственно из уст самого народа. Не из «Истории» Карамзина теперь черпаются отдельные сюжеты и темы, они берутся из более живого источника, из памяти народа, из легенд и преданий, исторических анекдотов и былей.

¹ Сборник «Памяти декабристов», Л., 1926, № 1, стр. 218.

² В письме к Николаю Полевому Бестужев говорил о назначении поэзии и литературы в целом: «К чему ж послужила бы поэзия, если бы она не воссоздавала минувшего, не угадывала будущего, если бы она не творила, но всегда по образу и подобию истинны!» Декабристы-романтики умели писать «по правде», «по образу и подобию истинны». Этого нельзя отрицать. — См. «Русский вестник», 1861, март, стр. 328.

Творческая история кавказских повестей Бестужева особенно показательна. Повесть «Аммалат-Бек» всем своим содержанием уходит в ненаписанную летопись Дагестана, в народное предание. Местное происхождение имеет эпитафия: «Будь медлен на обиду, на мшенье — скор!», и все, что за этим эпитафием следует. Эпитафия этот не более как народная поговорка, украшающая дагестанский кинжал. И начинается повесть в высшей степени необычно, с явным уклоном в сторону этнографии: «Была Джума». Бестужев с удовольствием и подробно, как в специальном этнографическом описании, сообщает в подстрочных примечаниях, что «джума» (пятница) у магометан соответствует нашему воскресенью. Далее он перечисляет названия прочих дней магометанской недели: «шамбши» — суббота, «ихшамба» — воскресенье, «душамба» — понедельник, «сешамба» — вторник, «чершамба» — среда, «пханшамба» — четверг, «джума» — пятница. Подобных примечаний к «Аммалат-Беку» насчитывается свыше тридцати пяти. Только по ним можно судить о насыщенности повествования этнографическим элементом. Иногда в одной сноске объединяются самые разнообразные сведения — исторические, этнографические и лингвистические. Рассказывая о том, как к Аммалат-Беку подъехал «эмджек его, Сафир-Али, сын одного из небогатых беков буйнакских, молодой человек приятной наружности и простого, веселого нрава», автор повести непременно пояснит, что «эмджек» — «грудной молочный брат, от слова: эмджек — сосец». Но и этого недостаточно. Бестужев попутно поведает об обряде, сохранившемся у кавказских народов: «У кавказских народов это родство священнее природного; за своего эмджека каждый положит голову. Матери стараются заранее связать таким узлом надежные семьи. Мальчика приносят к чужой матери, та кормит его грудью, и обряд кончен, и неразрывное братство начато». Бестужев не скупится на нравоописание и обрядовые сцены. В повести содержится подробно изображение джигитовки. Это описание тоже достойно самого строгого по отбору этнографического сборника. Женщины, старики, ребяташки в ожидании

нукеров толпятся по обеим сторонам дороги близ Буйнаков. «Женщины без покрывал, в цветных платках, свернутых чалмою на голове, в длинных шелковых сорочках, стянутых короткими архалуками (тюника), и в широких туманах садились рядами, между тем как вереницы ребят резвились перед ними. Мужчины, собравшись в кружки, стоя, или сидя на коленях, или по двое и по трое, прохаживались медленно кругом; старики курили табак из маленьких деревянных трубок; веселый говор разносился кругом, и порой возвышался над ним звон подков и крик: *качь, качь!* (посторонись) от всадников, приготавлиющихся к скачке». Бестужевым не упущены мельчайшие подробности обряда, все описание ведется с учетом значимости этнографических деталей. Достаточно отметить хотя бы следующие этнографические моменты: описание селения Буйнаки, одежды нукеров и женской одежды, черкесского седла с «расписными потбнями», описание самой джигитовки, внешний портрет горцев и их нравственная характеристика. Мы не собираемся говорить о всем этнографическом богатстве повести. Из больших и малых нравоописаний и бытовых картин, содержащихся в «Аммалат-Беке» и в «Мулле-Нуре», можно составить целый свод этнографических данных. Скажем только, что в «Аммалат-Беке» широко представлена горская народная песня. Под аккомпанемент музыкального национального инструмента («комусе») кабардинец поет песню «На Казбек слетались тучи», а аварцы «грозно-унылым голосом» поют «смертные песни», о которых с восхищением отзывался Белинский. «В них так много чувства, так много оригинальности,— писал Белинский,— что и Пушкин не постыдился бы называть их своими» («Литературные мечтания»).

Творческая история повести «Аммалат-Бек» берет свое начало в местном народном предании. Это тоже важно. Бестужев постоянно подчеркивает значение устного народного рассказа, народной молвы, «кавказской были». В послесловии к повести он указывает неоднократно:

«Описанное выше происшествие *не выдумка*. Имена и характеры лиц сохранены в точности; автору повести остается только сказать несколько слов насчет изменения истины в некоторых подробностях... Что касается до

завязки повести, она целиком досталась автору *из рук молвы*... Впрочем, мне многие *очевидцы говорили*, что они не однажды слышали, как Верховский описывал знойную страсть Аммалата к Селтанете, которая славилась в горах красотою... *Молва повествует*, что сам аварский хан требовал от Аммалата головы Верховского вместо кабыну (вену) за дочь. *Автор сохранил народное предание*, но поместил и уверения мамки, истинно бывшие и наиболее убедившие Бека... Что же касается до зверского гробокопства Аммалата, и в этом *не отступил автор от рассказов ни на шаг*... Об этом до сих пор с негодованием *вспоминают все солдаты*... *Автор разговаривал с товарищем* почти всех его странствий, одним каракайдахским беком... В заключение сказать должно, что он (Аммалат-Бек.— В. Б.) был красавец собой и с счастливейшими способностями, — *все анекдоты об его удачестве* в стрельбе и скачке, описанные в 1-й главе, до сих пор *ходят в Дагестане*...¹

Бестужев действительно воспользовался для сюжета повести устными рассказами местных жителей о драматической истории, разыгравшейся в Дагестане в 1823 году. Главным героем народного предания был Аммалат-Бек. Выросшая из народной молвы повесть Бестужева закрепила за собой устное бытование, сама превратилась в предание, в своеобразный «литературный фольклор». Путешественники по Дагестану считали своим неременным долгом побывать в Хузанах, где жила героиня повести Селтанета, собственными глазами увидеть Буйнаки, где гарцовали наездники, посетить Дербент, где разыгралась печальная история с Верховским, и даже кладбище, где совершалось «гробокопство». Об этом рассказывают в своих «Записках об Аварской экспедиции на Кавказе» Я. Костенецкий («Русская старина», 1872, т. 1), И. Березин в «Путешествии по Дагестану и Закавказью» (1850), некто А. Б. в газете «Кавказ» (1846, № 8) и др. Современный исследователь творчества Бестужева М. П. Алексеев, специально изучавший легенды

¹ В письме к Н. А. Полевому Бестужев писал 13 августа 1831 года: «Это истинное происшествие, и я от себя прибавил только подробности; дело кончится тем, что Аммалат убьет своего благодетеля» («Русский вестник», 1861, т. 32, март, стр. 305).

о Марлинском и источники повести «Аммалат-Бек», отмечает, что «история Аммалат-Бека отныне рассказывалась именно так, как ее записал Марлинский. Легенда стала фактом».¹

* * *

Отмечая местное происхождение повести и значение народного предания, не следует все же забывать главное: повесть Бестужева — художественное произведение, а не этнографическая статья и не просто запись кавказской «были». Писатель-декабрист в своей кавказской повести решает определенную идейно-художественную проблему, он идет от факта реальной истории, закрепленного устным народным преданием, к вполне самостоятельному сюжету. Для него Кавказ — арена столкновений разных человеческих характеров, субъективных культур и исторических сил. В повести «Аммалат-Бек» кавказско-русская тема достигает наивысшего драматического напряжения. Не следует забывать, что Аммалат-Бек под предводительством кабардинского князька Джембулата участвовал в набегах на русские владения и был захвачен в плен. Полковник Верховский, находившийся тогда в качестве свитского офицера при главнокомандующем, выпросил ему помилование, взял на поруки, «учил его, воспитывал его, любил его, как брата». И этот Верховский, культурный и очень чуткий к Аммалату человек, становится жертвой коварства и измены. За отеческую заботу, за любовь Аммалат-Бек платит черной неблагодарностью, убийством своего покровителя. Но Аммалат-Бек не просто преступник, не просто недруг, его сдает какая-то стихийная страсть, почти фантастическая любовь к дочери аварского хана Селтанете, сомнение в правоте и честности Верховского. Недоверие и подозрение его всюду преследуют.

Бестужев очень тонко дает понять, что Верховский не завоеватель, несущий Кавказу несправедливость и угнетение; он искренно желает превратить Аммалата

¹ М. П. Алексеев. Этюды о Марлинском. Иркутск, 1928, стр. 44.

в своего союзника и друга, — отсюда его попытка посадить Аммалата за книгу, просветить, поднять его на уровень общечеловеческой культуры, устранить перегородки между образованным русским офицером и горцем — пылким, по-своему очень ярким и глубоким человеком, но еще, к сожалению, находящимся во власти первобытных пережитков и национальных предрассудков. На первых порах Верховский в воспитании Аммалата достигает больших успехов, которыми он гордится и в которые верит. И Аммалат как будто доволен своей судьбой и уже не прочь забыть прошлое. В дневнике Аммалата имеется и такая запись: «Сознаюсь, что я пленен уже одною обложкою книги, не постигая смысла таинственных букв... но Верховский не только манит меня к познанию, но дает и средства присвоить их. С ним, как с матерью молодая ласточка, пытаю новые крылья... Даль и высота еще дивят меня, но не ужасают. Придет пора, и я облечу поднебесье!..»

Внутреннюю противоречивость Аммалата прекрасно понимал Верховский; он знал, что Аммалат требует внимательного отношения, «последовагельного размышления, постепенного развития». Педагогическая система перевоспитания была заранее продумана. Верховский надеялся, что Аммалат найдет путь к истине, что он преодолеет предрассудки, тем более что в нем самой природой были заложены богатейшие возможности и нужно было только правильно их развить. «Природа на зубок подарила ему все, чтоб быть человеком в нравственном и физическом смысле, но предрассудки народные и небрежность воспитания сделали все, чтоб изурочить, изувечить эти дары природы», — отзывался Верховский об Аммалате в одном из писем к своей невесте. Верховский не осуждает Аммалата. Для него ясно, что недостатки этого юноши — результат исторически сложившихся обстоятельств, патриархальной косности и особенно турецко-персидского деспотизма. В апрельском письме к невесте Верховский дает блестящий анализ причин, исковеркавших эту в основном богатую натуру горца: «Аммалат мой скрытен и недоверчив. Я не виню. Я знаю, как трудно переломить привычки, всосанные с матерним молоком и с воздухом родины. Варварский деспотизм Персии, столь долго владевший Адерби-

джаном, воспитал в кавказских татарах самые низкие страсти, ввел в честь самые презрительные происки. Да могло ли быть иначе в правлении, основанном на размене крупного деспотизма на мелкий, где и самая справедливость суда поражает украдкою, где хищение есть преимущество власти?..»

Виновник трагической развязки не столько сам Аммалат, сколько отец Селтанеты Султан-Ахмет-Хан, коварный интриган, действующий в интересах реакционного ислама. Он вселяет в душу Аммалата недоверие и ненависть к Верховскому и России, подстрекает его на убийство русского офицера и, пользуясь безграничной любовью Аммалата к своей дочери, добивается осуществления коварного замысла. Султан-Ахмет-Хан создает между Верховским и Аммалатом отношения напряженные, трагические, он разрушает их дружбу и становится вдохновителем «неслыханного злодейства». Аммалат переживает сложную душевную драму. Он энергично возражает хану, просит не «играть костями Магомета», отстаивает свои понятия о долге и чести, не поддается злой клевете. Вот разговор между Султан-Ахмет-Ханом и Аммалатом, не оставляющий сомнений в искренности и правоте Аммалата:

«— Хан! Ты знаешь, что не русская храбрость, а русское великодушие победило меня: не раб я, а товарищ их.

«— Тем во сто раз хуже и постыднее для тебя! Наследник шамхалов ищет серебряного темляка! Хвалится тем, что он застольник полковника!

«— Умерь слова свои, Султан-Ахмет! Верховскому обязан я более, чем жизнью; союз дружбы связал нас.

«— Может ли существовать какая-нибудь священная связь с гяурами? Вредить им, стрелять их, когда можно, обманывать, когда нельзя, суть заповеди курана и долг всякого правоверного.

«— Хан! Перестанем играть костями Магомета и грозить тем другому, чему сами не верим. Ты не мулла, я не факир и имею свои понятия о долге честного человека».

Султан-Ахмет-Хан, подсланный им магометанский проповедник Самит и подкупленная им же старая Фатьма — это они, используя «яд клеветы», прикрытый ссылками на Магомета и коран, разрушают намечавшую-

ся гармонию между Верховским и Аммалатом. Султан-Ахмет-Хан и его прислужники сумели внушить Аммалату недоверие к Верховскому, распространив слух, что предписание о его казни получено Верховским и что если русские его не повесят, то наверняка сошлют «в Сибирь навечно». «Слушай: если ты хочешь быть достойным зятем моим, — говорит Султан-Ахмет-Хан Аммалату, — первое условие: смерть Верховскому. Его голова будет калым за невесту, которую ты любишь, которая любит тебя». Таков был план заговорщика Султан-Ахмет-Хана, и этот план явился реальной политической ситуацией первой кавказской повести Бестужева.

Верховский был предательски убит из-за угла, но и Аммалат не приобрел личного счастья: Султан-Ахмет-Хан жестоко обманул его. Утратив здоровье и красоту, Аммалат влачил самое «жалкое свое бытие», и имя его среди обитателей Дагестана с тех пор не произносилось «без укора»: его «злодейская измена» была осуждена народом. По крайней мере такую версию распространяла народная молва об Аммалате, скитавшемся между чеченцами и койсубулинцами.

История Аммалата — история печальная, требующая правильного понимания. Трагедия Верховского тоже заслуживает размышлений: в жизни все оказалось значительно сложнее, нежели думал русский просветитель Верховский. Образ Аммалат-Бека, сложный и противоречивый, несет в себе различные возможности: Аммалат-Бек мог победить сомнение, действительно сделаться настоящим другом Верховского и, не теряя самобытности, стать наравне с ним. Но закономерно и то, что предрасудки, привитые с детства и развившиеся под влиянием начетчиков корана, взяли верх, потянули его обратно и завлекли в авантюру Султан-Ахмет-Хана. «Непримиримый враг России» Султан-Ахмет-Хан противостоит Верховскому, но он же противостоит и подлинным интересам Аммалата. Аммалат-Бек изменник и злодей поневоле; в нем наличествует стихийная народность, он человек больших страстей, пылкого характера. Султан-Ахмет-Хан — представитель ханской знати, аварский аристократ; это эгоист и интриган, никак не определяющий лицо нации, — сегодня он с русскими, завтра с турками, но прежде всего он хан, думающий о личном обогащении

и личной власти, имеющий такого сильного союзника, как ислам. Нельзя недооценивать эту враждебную силу, потому что именно она и совлекла Аммалата с верного пути. Идеальная композиция «Аммалат-Бека» отражает столкновение противоречивых тенденций кавказской действительности того времени, и несмотря на наличие драматических эффектов, патетически-декламационной риторики и вычурности повествовательной манеры, этой повести нельзя отказать в логике и в правдивости изображаемых событий.

Первая кавказская повесть Бестужева чрезвычайно драматична. Трагически гибнет Верховский, в борьбе с русскими гибнет и Аммалат, Султан-Ахмет-Хан — на смертном одре. Но этот драматизм закономерен: противоречия на Кавказе были настолько кричащими, что всякая благополучная развязка была бы неестественной и фальшивой. Так как противоречия были определены правильно, трагедия между Верховским и Аммалатом получила вполне реалистическое объяснение, и это чрезвычайно важно отметить для характеристики Бестужева.

Повесть об Аммалат-Беке свидетельствует о том, что Бестужева на Кавказе интересовали и волновали человеческие и национальные отношения, вопросы большого общественного значения. В решении кавказской проблемы Бестужев придерживался исключительно передовых взглядов, его невозможно уличить ни в прямолинейном толковании кавказской темы, ни в казенно-патриотических настроениях, проистекавших от непонимания всей сложности происходивших событий. Бестужеву было совершенно ясно, что Россия несет Кавказу освобождение от турецко-персидского ига, что в России имеются люди, способные работать для блага Кавказа, для просвещения кавказских народов, непрестанно содействуя дальнейшему улучшению кавказско-русских отношений. Таким представителем передовой России, по замыслу Бестужева, и был полковник Верховский, искренний друг Аммалата. Личная трагедия Верховского еще не означает крушения самой идеи — она только подчеркивает сложность роли русского офицера на Кавказе, доказывает необходимость длительной просветительской работы и решительной борьбы с исламом, затемняющим сознание горцев.

Кавказская тема в творчестве Бестужева была продолжением общей, неумирающей темы о родине. Декабристы не мыслили Россию вне ее окраин и народов, населяющих эти окраины. Россия будущего рисовалась им государством многонациональным, распростертым от берегов Ледовитого океана до вершин Кавказа. Декабристов волновала не только судьба русского народа, но и судьбы всех других народов, входивших в состав русского государства и исторически связанных с прошлым и настоящим России. В этом многонациональном государстве декабристы отводили выдающуюся роль Кавказу, — он должен был противостоять турецко-персидскому деспотизму. Декабристы думали также о судьбе порабощенной Греции, и в случае необходимости они собирались через Кавказ оказать помощь грекам, восставшим на борьбу против турецкого ига.

В 1816—1827 годах на Кавказе командовал корпусом генерал Ермолов, и это также импонировало декабристам, в свое время возлагавшим огромные надежды на Ермолова; они не прочь были привлечь его на свою сторону и уже обращались к нему с призывами выступить на защиту порабощенной Греции. Интересно отношение к Ермолову Николая I: за два дня до декабрьского восстания он писал в Таганрог начальнику Главного штаба графу Дибичу: «Я вам послезавтра, если жив буду, пришлю сам еще не знаю кого с уведомлением, как все сошло. Вы также не оставите меня об всем, что у вас или вокруг вас происходит будет, особливо у Ермолова... Ему менее всех верю».¹ После 14 декабря подозрения в неблагонадежности Ермолова еще более усилились. Николай I подозревал, что и в Кавказском корпусе существовало тайное общество, и для подобного подозрения у него были реальные основания: среди ермоловцев были П. Каховский, А. Якубович, В. Кюхельбекер, М. Фонвизин, А. Грибоедов, все они были близкими знакомыми боевого генерала; во время следствия декабристы не скрывали своих симпатий к нему; Ермолов был

¹ «Русская старина», 1882, № 3, стр. 195.

воспет Рылевым и Кюхельбекером; о его оппозиционности усиленно распространялись слухи.

Николай I окончательно решил отстранить Ермолова от командования Кавказским корпусом и в феврале 1827 года командировал на Кавказ Дибича с целью «разузнать, кто руководители зла в этом гнезде интриг, и непременно удалить их». ¹ Были пущены в ход клевета и доносы. Особенно отличился поручик Иван Корганов, уголовный преступник и мошенник, замешанный в воровстве и в подлогах. Об этом Иване Корганове Ермолов сказал однажды: «Если он, подлая тварь, не сдохнет, то он его уморит». Однако «подлая тварь» была обласкана Паскевичем и использована в качестве доносчика. Перед отъездом из Грузии Ермолов писал, что Корганов «составлял на меня доносы и представлял Паскевичу, которому слишком понятно было намерение благотворящего ему императора изгнать меня и дать ему мое место. Не долго было ожидать этого, и мог бы Паскевич обойтись без гнусных ябед и ложных доносов. Государем все принимаемо было за истину, и я изгнан во время начавшейся уже войны, следовательно, как неспособный к службе. Воздерживаюсь говорить правду, чтобы не казалось ядовитым ругательством». ² В 1827 году Ермолов был уволен в отставку, и командование Кавказским корпусом принял ярый проводник реакционной политики Николая I, личный друг царя, бездарный военачальник И. Ф. Паскевич.

Бестужев прибыл на Кавказ в начале августа 1829 года, когда Ермолов, находившийся в опале, никакой роли в кавказских делах не играл. Но среди передового офицерства Кавказского корпуса в 1829 году еще были свежи воспоминания о нем. Декабристская легенда, приукрашивавшая гражданские доблести героя 1812 года, дополнилась новым мотивом: Ермолову приписывалось дружелюбное, сочувственное отношение к ссыльным

¹ «Русская старина», 1880, № 11, стр. 619.

² Вано Шадури. Друг Пушкина А. А. Шишков и его роман о Грузии. Тбилиси, 1951, стр. 204. Ценные сведения о Ермолове на Кавказе сообщаются в новейших исследованиях: в книге А. Фадеева «Декабристы на Кавказе и на Дону» (Ростов-на-Дону, 1951) и Ираклия Андронникова «Лермонтов» («Советский писатель», М., 1951).

декабристам. Когда М. И. Пущин прибыл на Кавказ и вместе с П. П. Коновницыным явился к Ермолову, командир Отдельного кавказского корпуса, видя, как обнимает своих старых приятелей полковник Н. Н. Раевский, расстрогался и сам, встал и сказал: «Позвольте же и мне вас обнять и поздравить с благополучным возвращением из Сибири». «После этого он,— продолжает М. И. Пущин,— просил нас сесть, предложил чаю, расспрашивал о пребывании нашем в Сибири, обнадеживал, что и Кавказ оставит в нас хорошее воспоминание. Продержав нас с час времени, он отпустил нас с благословением на новое поприще».¹

Ермолов выгодно противопоставлялся Паскевичу. Отрицательное отношение Бестужева к Паскевичу достаточно ясно выражено в письме к Николаю Полевому (11 августа 1831 года) из Дербента:

«На прошлой неделе я послал к вам половину повести «Аммалат-Бек» при письме, но не знаю, дойдет ли она до вас по смутным обстоятельствам Кавказа. Шамаха возмутилась, и через Тарки давно уже нет проезда, и мы с часа на час ждем Кази-Муллы в гости... перестрелки чуть ли не за стенами Дербента, который уже лет 25 не нюхал пороха. [По]неволе теперь вспоминают Ермолова: при нем бы этого не сделалось. Паскевич нахвастал много, хотел в один день и в один час с 10 пунктов войти в город и вдруг покорить их... он только разбудил их. Потерял сам кучу людей и ушел восвояси». У Бестужева были и свои личные обиды на Паскевича, который, в отличие от Ермолова, всячески преследовал ссыльных декабристов. В том же письме к Николаю Полевому Бестужев рассказывает о своем тягостном положении и о судьбе брата Петра: «Меня ни за что ни про что... из храброго 41-го полка перевели в линейный батальон. Паскевич при этом случае поступил со мной не скажу жестоко, но просто бесчеловечно. Я был вдруг схвачен с постели больной и в один час выпровожен верхом, зимой, без денег и теплой одежды, ибо все мои пожитки оказались в штаб-квартире полка. И потом он преследовал меня тайными приказами, веля употреблять ежедневно на службу, «во все тяжкие» (это выражение

¹ «Русская старина», 1884, № 2, стр. 307.

героя), умышленно разлучил меня с братьями, — и теперь, находясь друг от друга 100 верст, не имеем отрады видеться. Жалкое положение брата Петра, тяжело раненного в руку, терзает меня во сто раз более, чем собственное неверное, зависящее от всякого подлеца, существование, — верите ли, что вздыхаю по Якутске в стране маслин и винограда! Но мудрено ли: там я был независим, а здесь!!!»¹

Декабристская легенда о Ермолове и явно отрицательное отношение кавказских ссыльных к Паскевичу имеют прямое отношение к повести «Аммалат-Бек». Нельзя упрощать композицию этой повести; она не должна сводиться только к биографиям и судьбам двух лиц: Аммалата и Верховского. События, изображаемые Бестужевым, датируются 1819 годом, и героем этой повести является также и Ермолов: не принимая непосредственного участия в действии, он постоянно подразумевается, имеется в виду. Полковник Верховский принадлежит к числу ермоловцев; в письме к своей невесте он так пишет о нем: «Но если любопытно видеть его на службе, как приятно быть с ним запросто в беседе, куда каждый из людей, отличных чином, храбростию или умом, имеет свободный доступ; там нет чинов, нет завета: всяк говори и делай что хочешь, потому что только те, которые думают и делают как должно, составляют общество. Алексей Петрович шутит со всеми, как товарищ, учит, как отец: он не боится, что его увидят вблизи».

В дружеском кругу, в часы отдыха и досуга, Ермолов хороший товарищ, обаятельный человек, но во время службы он — пример государственного деятеля и военачальника, от его «пронзительного, медленного взора» не уходят чиновники, приехавшие в Грузию «на ловлю чинов или барышей»: «Забавно глядеть, как все, у которых нечиста совесть, мнутя, краснеют, бледнеют, когда он вперит в них пронзительный, медленный взор свой — вы, кажется, видите, как перед глазами у виноватого проходят взяточные рубли, а в памяти — все его бездельничества; видите, какие картины ареста, следствия, суда, осуждения и наказания рисует им воображение, забегая

¹ Институт русской литературы АН СССР. Бумаги Бестужевых, арх. № 5 (5514), л. 17.

в будущее. Зато как он умеет отличить достоинство одним взором, одною улыбкою, наградить отвагу словом, которое идет прямо от сердца и прямо к сердцу, — ну, право, дай бог век жить и служить с таким начальником!»

Бестужев нарисовал портрет Ермолова в духе декабристской легенды, он превратил любимого генерала в идеального гражданского мужа, ни слова не сказав о тех жестоких мерах, которые Ермолов применял на Кавказе, осуществляя политику русского царизма. Но и декабристы, в частности Рылеев и Кюхельбекер, склонны были идеализировать «покорителя Кавказа» и наделять его всеми гражданскими добродетелями. В своей повести Бестужев рисовал Ермолова именно таким, каким он представлялся декабристам в двадцатые годы, — честным и справедливым начальником, достойным вместе с Мордвиновым войти во Временное правление, быть союзником декабристов. После 14 декабря 1825 года прежнее декабристское предание дополнилось новыми кавказскими впечатлениями ссыльных декабристов. Само напоминание об Ермолове в тридцатые годы было пощечиной ставленнику Николая I Паскевичу.

Нарисованный Бестужевым портрет Ермолова, популярного среди молодого поколения и непопулярного в официальных николаевских кругах, не только будил воспоминания о «друзьях, ермоловцах, поэтах», о недавнем декабристском прошлом, но и объединялся с новой молвой об Ермолове, включался в революционно-пропагандистские воззвания и подметные письма тридцатых годов. Напомним, что повесть «Аммалат-Бек», начатая летом 1830 года, была закончена в декабре 1831 года и в самом начале 1832 года, за подписью *Александр Марлинский*, появилась в «Московском телеграфе». Именно в эти годы Ермолов, независимо от его личного желания, становится героем новой легенды. Еще братья Критские, организовавшие тайный революционный кружок, вполне серьезно «надеялись на поддержку своего предприятия со стороны обиженного Николаем генерала Алексея Петровича Ермолова». Василий Критский в своих показаниях свидетельствовал, что у них «была надежда иметь Ермолова во главе своего общества». В 1830 году казанский агитатор Ситников в своих подметных письмах

провозглашал Ермолова главнокомандующим всей веча- вой армии. Отвечая на вопросы Военно-судной комиссии, Ситников объяснил культ Ермолова тем, что «знал из прежнего командования войсками на Кавказе», что Ермо- лов был «достойным генералом», и поэтому «поместил его в качестве воеводы вечаевого всей армии соединенных славян». Наконец, Я. И. Костенецкий, сосланный на Кав- каз и там подружившийся с Бестужевым, в письменном показании по делу Сунгуровского тайного общества сви- детельствовал, что Сунгуров, завлекая в общество и «же- лая как можно высшее дать о нем понятие, дабы тем сильнее ослепить», сказал однажды, что «глава сего об- щества есть Алексей Петрович Ермолов, что во всем должно на него положиться». Интересно также отметить, что революционное воззвание, обнаруженное в 1831 году в Самаре, было написано от имени ветерана 1812 года генерала Ермолова, хотя с полной достоверностью мож- но утверждать, что Ермолову оно не принадлежало. В воззвании, найденном в Самаре, с пометкой «Самара, ян- варя 29 дня 1831 года», содержались следующие призывы:

«Подвигайтесь, сыны России! Пора уже возгнушать постыдное иго самовластия, которым угнетают все ино- племенные пришельцы.. Ныне, когда пелена невежества и заблуждения снята уже с очей России, когда, вопреки утеснителям нашим, дан полет уму спутанному, ныне пора расторгнуть оковы губительного деспотизма; пора оживить нравственность обуявшую, устроить правосудие, ободрить заслугу и томящуюся невинность, короче ска- зать, пора восстановить законное и народное правление... Снесите к берегам Волги, там уже развевается знамя Свободы Российской! Там уже действуем!» И, наконец, замечательно, что в этой прокламации, требующей кон- ституции и «представительного правления», с воодушевле- нием говорится о декабристах: «Вспомните, каким родом казни, доселе неизвестным в России, Николай Павлович истребил в 1826 году первых героев свободы нашей за то, что они вздумали сделать его законным царем своим — царем свободного народа.— Но он, обольщен гнусными советниками, предпочел царствовать безза- конно, обогрив площади и стогны Петровой столицы кровью ее жителей и украсив Петропавловскую крепость виселицами!!»

В 1831 году, когда по всей России распространялись подметные письма и воззвания, прославляющие Ермолова, нарисованный Бестужевым портрет становился еще более злободневным. Одна эта деталь придавала кавказской повести дополнительный смысл. Прославлялся не Паскевич, любимец Николая I, а именно опальный Ермолов, любимец декабристов, бывший командующий Кавказским корпусом, и этот декабристский Ермолов в тридцатые годы становится неожиданно актуальной фигурой, на него призывают опереться революционные агитаторы в борьбе с тиранией Николая I. Так кавказская повесть «Аммалат-Бек» становится декабристской повестью. В основе ее лежат два предания, две легенды: кавказское народное предание об Аммалат-Беке и декабристское предание об Ермолове и ермоловцах.

* * *

Сюжет второй кавказской повести «Мулла-Нур» (1835—1836) тоже идет от устной фольклорной традиции. И эта повесть должна быть отнесена к этнографическим. Прежде чем перейти к главной теме, к изображению Муллы-Нура, Бестужев дает подробнейшее описание религиозного обряда во время засухи, сопровождаемого пением песен в честь Гюдуля, имеющих ритуальное значение.

Повесть открывает развернутая обрядовая сцена: во дворе мечети мусульмане слушают речи бородастого краснослова, потом выбирают самого чистого душою юношу и посылают его со своею молитвой на высь гор к Аллаху, чтобы там набрать священного снегу и принести его в Дербент для умиротворения моря. Описание религиозно-мусульманского обряда проведено Бестужевым в явно иронических тонах. Бестужев никогда не отождествлял религиозное и народное, как это было принято у реакционных романтиков. Глубоко уважая народную культуру, он нисколько не собирался поддерживать религию с ее фанатизмом и мистикой. Речи проповедника, читающего «кровожадные стихи» из корана, поражают в передаче Бестужева своей искусственностью.

В целом Дагестане, по словам Бестужева, не найдется и двух человек, которые бы поняли толкователя корана, внушающего дербентцам, что «Мухамед — посол бога». Отмечая утилитарный характер обряда зазывания дождя, как обряда ритуального, связанного со страхом перед засухой, Бестужев очень пронизательно заметил, что и в этот обряд переселились социальные страсти: «Бедные трепетали за жизнь свою, богатые — за кошелек. Одним грозила нищета, другим — невольная благотворительность». Это уже, конечно, не просто этнография, но этнография с социальным комментарием.

Бестужев щедро использует местный фольклорный материал и этнографические наблюдения. Но все это он делает в просветительских целях. Бестужевский этнографизм внутренне полемичен. Такова, в частности, легенда об основании города Дербента. Рустем, «геркулес персидского баснословия», послал однажды шайтана к поселянам одной «несчастной деревушки: «Кстати, — сказал Рустем чорту, — ведь мне на тебе не ездить; смотри ж, собачий сын, чтобы к утру ты мне выстроил тут город со стенами и с башнями. Да станет Дербент!» Герой «персидского баснословия» в бестужевском изложении приобретает черты завоевателя и хищника, чорт — его двойник, сила темная и коварная, несущая дербентцам лишения и горе. Рустем способен только «загрести жар чужими руками». Ясно, что и город, построенный чортом, посланным Рустемом, не мог не походить на самого строителя, чертовщина наложила на нем свой отпечаток: «Все дома родились слепыми, все их черепы были расплюснуты под адскою пятою, все они пищали от тесноты, ущемленные между двух высоких, длинных-предлинных стен».

Бестужев постоянно спорит с поэтами, учеными, путешественниками, писавшими о Дагестане с чужих слов. Он не прощает этнографических неточностей, сознательных и бессознательных заблуждений. К полемическим островам Бестужева следует отнести слова, взятые автором повести в скобки: «Дербентские красавицы пляшут перед мужчинами и ездят по ночам за город с нукерами только в русской словесности; в действительности — никогда». Беспечные путешественники не увидели настоящего Кавказа, раздираемого внутренним противоречием. «Не верьте, пожалуйте, — говорит Бестужев, — госпо-

дам путешественникам по Востоку, будто все женитьбы мусульман совершаются так, что будущие супруги не видят и не знают друг друга. Это справедливо только в отношении к ханам, богатым купцам, людям власти и роскоши, которые на слух сватают или покупают себе жен. Средний класс народа и бедняки живут слишком тесно друг с другом, чтобы не знать взаимных отношений и даже соседних лиц». Неверно и то, что многоженство у кавказских народов — обычное явление. «Многоженство, впрочем, кроме самых богачей, редко до невероятности», — возражает Бестужев. К тому же не все, что существует в действительности, заслуживает оправдания и похвалы. В быту кавказских народов еще много консервативного, привитого исламом, и это консервативное требует критического отношения. Повесть «Мулла-Нур» полемически направлена против литературы «путешествий», искажающей подлинный облик Кавказа. Полемична она и в отношении самого Дагестана, где толкователи корана имеют силу и некоторое влияние в народе.

Фабула повести в какой-то степени продолжает обрядовую сцену, вернее вырастает из нее, а затем и противостоит религиозно-обрядовой догматике. Среди юных дербентцев во время моления в мечети присутствует Искандер-бек, который и избирается ходоком на гору Шагдаг за священным снегом. Этот красивый и высоко нравственный юноша воплощает лучшие качества своего народа. Вся жизнь Искандер-бека есть оппозиция той среде и тем нравам, которые его окружают, оппозиция «самовластью ханов» и «разгульной жизни подвластных им беков».

В повести подробно рассказывается о путешествии двух дербентцев — Искандер-бека и Гаджи-Суфа — за священным снегом. Это совсем разные люди, хотя оба они из Дагестана. Параллельно разворачивая два резко отличных человеческих характера, Бестужев показывает, что в каждом народе заложены разные возможности, что изображение кавказцев не должно быть односторонним. Искандер-бек полон энергии и молодости, он храбр, отважен и свободолюбив. Пылкая любовь Искандера к Кичкене подчеркивает отважность юного дербентца. Он и в любви благороден и смел, без всяких предрассудков

и ограничений. Юсуф изображен гротескно. Его узнают по носу — под тенью юсуфовского носа «могли бы спать три человека». «Должно полагать, такой нос был в большом уважении между всеми правоверными носами, потому что дербентцы выбрали хозяина его в проводники Искандер-бека; других достоинств по крайней мере мною за ним не замечено». Юсуф — комик этой повести. Это не значит, что Бестужев лишил его своеобразной привлекательности. Юсуф — отличный балагур, весельчак и одновременно отчаянный трус, почти фанатик трусости, а в общем и целом он добрый малый.

Путешествие на гору Шах-даг потребовалось Бестужеву не столько для того, чтобы завершить обрядовую характеристику, сколько для того, чтобы столкнуть двух дербентцев с разбойником Мулла-Нуром. Вместо традиционного этнографического описания мы видим рассказ о людях. Бестужев строго придерживается того мнения, что в этнографическом описании самое ценное — человек. Описание Кавказа нельзя вести, минуя самобытный тип горца. Изучать традиционные обряды недостаточно, необходимо понять современную жизнь народа. Это и есть концепция Бестужева. «В каждом краю свои обычаи», — говорит Бестужев. Но эти обычаи не укладываются в узкую этнографическую схему.

Декабристы признавали равноправие многонационального этнографического материала, они учитывали этнографические и исторические своеобразия каждого народа в отдельности. Бестужев в кавказских повестях, следуя за основными принципами декабристской романтической эстетики, стремится понять национально пестрый Дагестан и его социальные отношения. Внимание Бестужева не случайно привлекают народные рассказы о «благородном разбойнике». Разбойничество — заметное явление в истории Дагестана. Писатель-декабрист почувствовал в Мулла-Нуре принципиального врага персидско-турецких завоевателей и ислама.

* * *

Идейную композицию этой повести нельзя правильно понять, если не учесть конфликта между Мулла-Нуром

и муллою Садеком.¹ Мулла Садек — странствующий проповедник, пропагандист мюридизма, шарлатан и приобретатель. Мюридизм в Дагестане насаждался турецкими агентами. В период русско-турецкой войны 1828—1829 годов в Дагестане действовал Гаджи-Измаил, вслед за ним, начиная с 1831 года, то есть в ту самую пору, когда Бестужев работал над своими кавказскими повестями, мюридистское движение возглавлял Гази-Мухамед, известный своими связями с Шамилем, учитель последнего. Реакционная роль мюридизма была разоблачена еще Ф. Энгельсом. «Коран и основанное на нем мусульманское законодательство, — пишет Ф. Энгельс, — сводят географию и этнографию всего мира к простой и удобной форме деления на две половины: правочерных и неверных. Неверный, это — «гяур», это — враг. Ислам проклинает нацию неверных и создает состояние непрерывной вражды между мусульманами и неверными».² Мюридизм с момента его зарождения был идеологией захватнической политики Турции, наиболее реакционным и воинствующим проявлением ислама. Турецкие и персидские интервенты, вдохновляемые Англией, использовали ислам и его священную книгу коран для угнетения народов Кавказа, для разжигания национальной розни и ненависти к России. Большая заслуга Бестужева и как писателя и как этнографа-кавказоведа состоит в том, что он правильно разобрался в природе мюридизма, не строя себе никаких лжеромантических иллюзий о роли ислама среди народов Кавказа.

В повести «Мулла-Нур» выводятся «странствующие проповедники», которые приезжают на Кавказ из Турции и Персии, чтобы «рассказывать легенды про чудеса своих имамов и нередко вздорными рассказами питать вражду к русским нововведениям». Таков Садек — странствующий мулла: от него «сияло святостью и пахло розовым маслом на двадцать шагов в окружности». «Впрочем, Садек, разрабатывая ниву небесную, не забывал округлять свои земные делишки. Дружбу водил он с немногими, а деньги брал он от всех...» Мулла Садек — явление антинародное, он приобретатель и плут, способный

¹ В повести «Аммалат-Бек» этот конфликт только намечался.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. X, стр. 6.

на любое вероломство. Сцена в мечети — вершина разоблачения Садека. Истолкователь корана, обжирющийся и сидящий на мешке с золотом, грубо отталкивает нищего, просящего подавание:

«— Убирайся ты к чорту, суннитский недоверок! — вскричал он с сердцем. — Разве для таких, как вы, мошенников выдумал Аллах милостыню? Для вас есть трава в поле и палки в городе: вот все! Есть сила, так вы разбойничаете; нет силы, выманиваете у правоверных *шаги* родные денежки да после над ними смеетесь. Нет тебе от меня ни куска чурека, ни гроша; сам я дорожный человек, да и последнее отнял у меня проклятый земляк ваш Мулла-Нур, когда я ехал сюда: облупил, словно каштан, разбойник».

Для Садека Мулла-Нур не более как нищий или разбойник с большой дороги: сегодня — нищий, завтра — разбойник. Бедняк, просящий милостыню, наоборот, видит в Мулла-Нуре своего спасителя. Для него Мулла-Нур — порядочный и добрый человек, защитник правых. «Мулла-Нур, — говорит бедняк, — помог деньгами в нужде моему брату и многих земляков моих выручил из беды. Я не знаю его в лицо, но по сердцу знаю...» Между тем под укрытием дербентской мечети сидел и Мулла-Нур, наблюдавший всю эту сцену. «Странник (это был Мулла-Нур. — В. Б.) с удивлением поглядел на изнемогающего от голода бедняка, с укором на богатого муллу. Богач бросил проклятие вместо милостыни в суму нищего. Нищий не хотел проклясть за глаза незнакомого разбойника за спасение жизни. Странник сунул пять червонцев в руку удивленного лезгина, ударил по плечу муллу Садека и сказал обоим:

«— Есть бог правды в небе, есть добрые люди на земле! — и скрылся».

У стен мечети, где недавно народ совершал религиозный обряд, произошло столкновение двух противоположных сил: нищего с Садеком, народного мнения — с мнением проповедника корана.

Религиозному обряду Бестужев противопоставляет именно эту сцену. Показав враждебность Садека к кавказским народам и его крайний эгоизм, а также отрицательное отношение народа к исламу, разоблачив спекулятивно-торгашескую сущность проповедника корана,

Бестужев в то же самое время заставил нищего с восторгом отзываться о Мулла-Нуре. Толкователь корана Садек с его философией скупости и религиозным ханжеством не имеет никакого отношения к народным чаяниям. Мулла-Нур — положительный герой, в нем народ видит своего человека, своеобразного правдоискателя.

Разбойничество Мулла-Нура — не врожденный инстинкт, не личная прихоть и отнюдь не показатель пережитков военно-родовой демократии; разбойничество на Кавказе — результат социально-экономических условий и внешнеполитических обстоятельств. В борьбе с турецко-персидскими завоевателями, местными ханами, шамхалами, беками и проповедниками корана Мулла-Нур сыграл свою положительную роль. Не случайно «благородный разбойник», по словам Бестужева, является любимым героем народных сказок. «Разбойник — самое занимательное лицо азиатских сказок и поэм, неизбежное лицо напутных анекдотов...»

Но разбойничество становится хищничеством, грабеджом и вымогательством, как только оно перестает служить целям народной борьбы с угнетателями. Если разбойничество существует «не для возмездия притеснителям, а для грабежа встречного и поперечного», оно заслуживает порицания. Таков вывод Бестужева. Мнение Бестужева о разбойничестве на Кавказе определило в конечном итоге диалектику образа Мулла-Нура. Мулла-Нур — фигура не случайная, личность поэтическая, излюбленная в народной сказке. Однако же и эта гордая фигура для реальной борьбы в реальном мире, для борьбы, которая приводит к сколько-нибудь прочным завоеваниям, не пригодна, будущее не за этим героем Бестужев сознательно осложнил характер «благородного разбойника» внутренней рефлексией, не скрыл противоречий этого образа. Хотя Мулла-Нур и грабит с различием, шадит бедных, но не милует богатых, он все же личность трагическая, он пленник исторически сложившихся условий.

Едва ли не самым суровым осуждением разбойничества является исповедь самого Мулла-Нура перед Искандер-беком. Когда Искандер-бек искренне позавидовал разбойничьей жизни, Мулла-Нур грустно покачал головой и в назидание своему юному другу сказал:

«У всякого есть своя звезда, — возразил он: — не завидуй мне, не ходи по моему следу; опасно жить с людьми, но и без них скучно. Дружба их — безумящий и усыпительный терьяк, зато и вражда к ним горше полыни. Не охотой, а судьбой я выброшен из их круга, Искандер; нас делит струя крови, и не в моей силе перешагнуть за нее назад. Прекрасен вольный свет, но разве нельзя наслаждаться им, не быв изгнанником?»

И, наконец, заключительные слова Мулла-Нура звучат совсем трезво, в них содержится тоска по обществу, горький упрек судьбе, рефлексия. За громкими фразами об «избытке жизненной деятельности», об «охоте побуйствовать» скрывается всего лишь «жалкая потеха»: «Она забавляет на миг, а дает желчи на месяц, потому что как ни дурен человек, а все-таки он — брат нам». Это почти пушкинский итог, только повернутый не в сторону Алеко, городского индивидуалиста, а в сторону дикого горца, своеобразного отступника и беглеца, стихийного бунтовщика, запутавшегося в своих собственных противоречиях.

История поединка Искандер-бека с Мулла-Нуром тем и показательна, что победителем выходит юный Искандер-бек. Это была победа физическая и моральная человека труда, «оратая» над разбойником, хотя и «благородным». В мечети, где притворный толкователь корана Садек отказал нищему в подаении, а Мулла-Нур в руку лезгина сунул пять червонцев, состоялся первый поединок, закончившийся полным поражением этого скупого и жестокого человека, странствующего проповедника корана. Мулла-Нур неожиданно вырос в личность поэтическую, сильную, в защитника угнетенных и обиженных. Побежденный в поединке с Искандером, Мулла-Нур не утратил своей поэтичности и самобытности. Встреча с Искандером была во многом поучительной. Мулла-Нур понял свое одиночество, драматизм своего положения. Свет бестужевской критики распространяется и на этого героя. В состоявшемся поединке непобедимый Мулла-Нур оказывается побежденным: он скатывается в ущелье на верную гибель. Победитель Искандер спасает противника из пропасти, возвращает его к жизни; враги становятся друзьями, за добро Мулла-Нур отвечает добром: он убивает с пути их общего врага, с которым не может быть

примирения, юриста Садека, пытавшегося разрушить личное счастье Искандера, помешать его женитьбе на Кичкене. Бестужев хотел сказать, что отношения гуманные, отношения дружеские, основанные на взаимном понимании и доверии, должны победить исторически сложившуюся вражду между отдельными кавказскими народами и племенами, прекратить междоусобицу. Это было в интересах не только передовой России, но и самого Кавказа. Другое дело Садек. С толкователем корана не может быть примирения, здесь необходима решительная борьба.

* * *

В самом конце повести Бестужев рассказывает о своей встрече с Мулла-Нуром. Мулла-Нур поведал о своей жизни: «Нет, моя жизнь не тайна, мои похождения может рассказать тебе последний мальчик в Кубе. «Он убил своего дядю и бежал в горы!» — вот вся повесть обо мне, и она не ложь...» Потом Мулла-Нур рассказывает Бестужеву «главные случаи своей жизни», «рассказ его превратился в какую-то жалобу, в какую-то прерывчатую исповедь, в чудный разговор с самим собою». Повесть обрывается на этом незавершенном рассказе: «Река стекла, грозно перекликались над головою орлы. Мулла-Нур с жаром рассказывал мне свою повесть, и речь его походила на бушевание горного потока, на крик пустынного орла при добыче...»

Существует точка зрения, что Мулла-Нур — исторически реальное лицо, известный разбойник, действовавший в то время в Дагестане, и Бестужев имел случай с ним познакомиться. Кроме «Рассказа лезгинца о похождениях своих», известного в обработке В. И. Даля, на устные предания о Мулла-Нуре ссылаются ориенталист И. Н. Березин, писатель В. И. Немирович-Данченко и историк-кавказовед В. А. Потто. Все они утверждают реальность встречи Бестужева с отважным качагом. В. И. Немирович-Данченко, лично слышавший рассказы стариков дербентцев, утверждает, что личность Мулла-Нура «по местным сказаниям несомненна, и свидание с ним Бестужева не является вымыслом автора повести».

«Мулла-Нур». И. Н. Березин в «Путешествии по Дагестану и Закавказью» передает своими словами один из сюжетов дербентского предания о Мулла-Нуре: «Этот храбрец среди бела дня приезжал к бывшему городничему и благодетелю Дербента Мухаррем-беку, взял у него взаймы денег — и был таков!»¹ Возможно, что местные предания о разбойнике Мулла-Нуре самим народом были дополнены эпизодом встречи популярного Бестужева с кубинским качагом. Русские путешественники по Кавказу в сороковые — пятидесятые годы могли слышать предания о Мулла-Нуре, объединившиеся с легендой о Бестужеве. Это тем более вероятно, что после смерти Бестужева на Кавказе действительно появилось немало самых фантастических рассказов об авторе повестей «Аммалат-Бек» и «Мулла-Нур». Эти легенды передавались из уст в уста с разными вариациями.

Более важно, что и сам Бестужев ссылается на народные рассказы — ему о Мулла-Нуре кубинцы «прожужжали уши». В представлении народа Мулла-Нур — человек большой душевной теплоты и честности, «честность его вошла в пословицу», простой народ он не грабил, да и с купцов брал за проезд через Тегинское ущелье «рубль, много червонец». Кубинцы отмечали также «особенную благосклонность» Мулла-Нура к русским. Далее Бестужев рассказывает о встрече с благородным разбойником как о реальном факте, подробно описывает внешний вид качага: «Он стоял передо мною смело, на сильном коне. Эриванский папах, закинутый назад, вполне открывал его загорелое, но приятное лицо, опущенное короткою черною бородою. Он был среднего роста, широкоплеч, строен». И, наконец, Бестужев уверяет, что он «записал рассказ Мулла-Нура» о его жизни и почти без всяких изменений включил в повесть. «Не смею уверять, что я записал рассказ Мулла-Нура вполне, еще менее во всей силе... Я многого мог не понять, многое забыть. Притом как передам я, — признавался Бестужев, — обаяние истинных чувств, не выраженных, а вырвавшихся из возмущенной души?..»

¹ А. В. Попов. Русские писатели на Кавказе. А. А. Бестужев-Марлинский. Баку, 1949, стр. 47—49.

Конечно, все эти авторские признания требуют проверки, Бестужев легко мог создать все эти сюжетные эпизоды своим воображением. Но в бумагах Бестужева сохранился «Рассказ Мулла-Нура» (в черновой и в белой редакции), и, судя по всему, этот рассказ был записан со слов самого качага. Эта запись не только подтверждает реальность встречи Бестужева с Мулла-Нуром, более того: она значительно уточняет биографию легендарного героя. Вот автобиографический рассказ Мулла-Нура в записи Бестужева:

«Хоть я родился в родной деревне Чечи, недалеко отсюда, но жил в городе у дяди для обучения грамоте; отец мой, видите ли, хотел — пусть я стану муллою, и на этой надежде, как на мягком изголовье, заснул он сном смерти. Русские вошли к нам без бою и без грабежа, и оттого мы, дети, смотрели на невинных более с любопытством, нежели [со] страхом. Офицеры особенно ласкали меня, и скоро я свылся с русскими, несмотря на то, что наши старики и взрослые, в своей семье, дома или в своем кружку на майдане, бранили их и дичились их явно, злобились исподтишка. Не за что мне было ненавидеть их за себя, а по чужим речам и подавно. Да и зачем, люди, вы учили меня потом этой адской науке: «ненависти», которая отравляет себя ядом, кипятя его в собственном сердце для недруга? Я рос быстро, еще быстрее жил. Незванная гостья — опытность — приходит к сиротам спозаранку. В 15 лет мне было уже за двадцать; в двадцать уже под сорок. Началось с того, что на селе родственники завладели домом и домоводством отца, скудным наследством моим. Говорили о них, будто это за долги. Никто не верил этому, и никто не помешал грабежу. Дядя, у которого я жил, попрекал меня каждым куском, брошенным как милостыня факиру, как подачка собаке».¹

Из этого наброска рассказа, записанного Бестужевым со слов Мулла-Нура, частично проясняется биография героя, в частности выясняется история загадочного убийства («он убил своего дядю и бежал в горы!»). Мулла-Нур после смерти отца был ограблен, унижен, оскорблен,

¹ Институт русской литературы АН СССР. Бумаги Бестужевых, арх. № 7 (5576), л. 112 и об.

он вынужден был удалиться в горы, противопоставить себя обществу; его разбойничество имело характер социального протеста — это был бунт одинокой романтической личности. Таким образом бестужевский качаг — не «татарский Карл Моор», как это утверждали некоторые историки литературы, а личность историческая, ставшая героем народных преданий. Бестужев имел основание назвать свою повесть «былью».

Кавказские повести Бестужева пользовались большим успехом среди ссыльных декабристов. Письмо Николая Бестужева, написанное 15 декабря 1835 года под диктовку Марией Юшневской, передает восторженное отношение сибиряков к творчеству Бестужева-Марлинского. Ссыльные декабристы находили в его повестях и рассказах «красоту слога» и «верность мыслей», они видели в них продолжение декабристской традиции. «На сих днях мы, — говорится в этом коллективном письме, — получили «Библиотеку для чтения» и там прочитали продолжение твоих «Кавказских очерков». Превосходно! любезный Александр, никогда еще мы не оставались в столь умиленном удовольствии, как по прочтении этих строк. Теплота чувствований, верность мыслей, красота слога — все, все тут есть!.. Да, милый Александр, и не одни мы с братом, но и все наши уважаемые дамы и все наши товарищи отдали справедливую дань верности твоих изображений!.. Повторим наши просьбы: давай нам восточного, нового, свежего, давай нам более кавказских очерков».¹ Вместе с тем Николай Бестужев не разделял стилистической вычурности Марлинского и ссылался на Гоголя, который пишет «*натурально, живым, прекрасным языком*».²

* * *

✓ В своих последних повестях Бестужев-Марлинский в какой-то мере преодолевает ограниченность декабристского романтизма, расширяется и самое понятие народности. Смелые и сильные люди из народа, народный па-

¹ «Отечественные записки», 1860, май, стр. 92—93.

² Там же, стр. 95. Письмо к А. А. Никольскому от 3 сентября 1851 года.

триотизм и народная героика выступают в качестве равноправного объекта художественного изображения и без всякой предвзятости. Простые русские солдаты, архангельские мореходы, народы Сибири и Кавказа становятся героями бестужевских повестей, и над всем этим народным миром не довлеет критически настроенная личность, романтический герой. Особенно тепло Бестужев изображает простого русского солдата. И это понятно. В тридцатые годы ссыльный декабрист, дворянин в солдатской шинели, солдат прежде всего, жил заодно с народом, и русский солдат стал по-братски близок и понятен ему.

Журналисты и романисты часто упрощали военный быт и фронтовую жизнь, изображали военные сражения слишком слашаво, как в «суздальских лубочных картинках», даже знаменитое Бородинское сражение они сумели одеть в «газетный мундир» и превратить в нечто показное и нарядное, вместо сражения они описывали «пир горой». «Я бесился,— писал Бестужев в отрывках из романа «Вадимов»,— читая в некоторых романах и журналах описания бородинской ночи: слушать их, так у нас в лагере был тогда чуть не пир горой и песни да шутки, и смехи да потехи! Писали это или не русские, или не очевидцы, или какие-нибудь дутики, лишенные всякой наблюдательности, люди, которые даже из крови умеют пускать мыльные пузыри, надутые пошлыми газетными восклицаниями». Бестужев изображает боевые сражения без всяких прикрас, он чувствует «поэзию битв» и не преуменьшает тяжести войны. В повестях и рассказах из военной жизни — «Вечер на бивуаке», «Вечер на Кавказских водах», «Лейтенант Белозор», «Аммалат-Бек», «Путь до города Кубы», «Латник», «Письма из Дагестана», «Подвиг Овечкина и Щербины на Кавказе» — содержатся яркие и правдоподобные образы русских офицеров и солдат, разных по своему внешнему и внутреннему облику, веселых и беспечных, вдумчивых и суровых, но в любой обстановке храбрых, любящих свою родину, русских по складу ума и характера. Поручик Щербина, посланный на вылазку, ворвался в мечеть, где засел отряд Сурхай-хана. Из засады, обороняясь от нападающего неприятеля, он кричит своему командиру, штабс-капитану Овечкину: «Возвратись! Береги людей для охраны крепости — они нужнее меня отечеству.

Я обрек себя на смерть, но умру недаром, и если не станет свинцу, то своим падением задавлю неприятеля!» Подававший блестящие надежды своим «умом и храбростью», поручик Щербина погиб в бою, но «кровь его пролилась за отечество недаром; он вписал красную строку в летопись военной славы народа русского». Мы не говорим о батальной живописи. Описание сражений и походов — родная стихия Бестужева.

Писатель-воин сумел посмотреть на военную жизнь, тягелую и героическую, глазами очевидца и патриота. Бестужев знал солдат не по рассказам, не по корреспонденциям в «Русском инвалиде» и в «Северной пчеле», он сам был солдатом и на себе испытал невзгоды и славу, поражение и успехи. Продолжая в своих военных рассказах традиции декабристской беллетристики и публицистики 1812 года, в письме к Н. Полевому из Дербента от 1 января 1832 года Бестужев с большим воодушевлением писал о «смышленном народе» и русском солдате, который еще не нашел своего художника в России, хотя давно уже заслужил «гениального взора». Бестужев не претендовал на этот «гениальный взор», он понимал, что русской литературе не хватает народности, но и сам не был подготовлен для решения этой проблемы. Глядя на народ, он чувствовал некоторую растерянность. Но как художник и литературный критик, Бестужев все же многое угадал в народе и по заслугам оценил русский героический характер. В упомянутом письме к Н. Полевому Бестужев писал о задачах литературы в связи с изображением народной жизни:

«Чтобы узнать добрый, смышленный народ наш, надо жизнью пожить с ним, надо его языком заставить его разговориться... быть с ним в розхмель на престольном празднике, ездить с ним в лес на медведя, в озеро за рыбой, тянуться с ним в обозе, драться вместе стена на стену. А солдат наш? Какое оригинальное существо, какое святое существо и какой чудный, дикий зверь с этим вместе! Надо спать с ним на одной доске в карауле, лежать в морозную ночь в секрете, итти грудь с грудью на завал, на батарею; лежать под пулями в траншеях, под перевязкой в лазарете; да безделица: ко всему этому надо гениальный взор, чтобы отличить перлы в куцах всякого хлама, и потом дар, чтобы снизить из этих

перл ожерелье. О! сколько раз проклинал я бесплодное мое воображение за то, что из стольких материалов, под рукой моей рассыпанных, не мог я соорудить ничего доселе! Дай бог, чтобы время починило дырявые мои карманы, а то все занимательное высыпается из них, словно орехи у школьника. Я был так счастлив (или, пожалуй, так несчастлив), что вблизи разглядел народ наш и, кажется, многое угадал в нем; вопрос: удастся ли мне извлечь когда-нибудь из этих дробей знаменателя?... Хочу и сомневаюсь».¹

Бестужев-Марлинский стремился понять исторические судьбы народа, его прошлую и настоящую жизнь, он не просто подражал фольклорным образцам, а дорожил богатством народного языка и мнением народа. Слушая солдатские сказки из уст самих солдат, Бестужев видел в них выражение русского национального самосознания, русского национального характера. В письме к Кс. Полевому он писал 14 декабря 1832 года, в памятный день своей жизни: «Солдатских сказок невообразимое множество, и нередко они замысловаты очень. Дай-то бог, чтобы кто-нибудь их собрал: в них драгоценный, первобытный материал русского языка и отпечаток неподдельный русского духа».² Свои повести и рассказы о русском солдате Бестужев создавал не без влияния народных солдатских сказок, бестужевский солдат — смышлен, находчив, отважен, он не лезет в карман за словом, не унывает во время боя, умеет повеселиться во время отдыха. Часто этот безымянный бестужевский герой совершает подвиги, которые не по плечу светскому бунтовщику, он является практическим деятелем истории. Опыт 1812 года и личные наблюдения, бестужевская жизнь в Сибири и на Кавказе, жизнь среди народа не прошли даром. Бестужев глубоко чувствовал психологию массы и хорошо познал солдатское сердце. В очерке «Будочник-оратор» (1832) Бестужев писал о русском солдате: «Когда подумаешь о терпении и подчиненности нашего солдата, о его бескорыстии, о его храбрости — он защищает отечество снаружи, охраняет его внутри, лезет в огонь очертя голову, — когда вообразишь неумоимость

¹ «Русский вестник», 1861, т. 32, март, стр. 319.

² Там же, стр. 335.

трудоу его в походах и осадах, бесстрашие в битвах: так уму чудно, а сердце радуется. С пудовым ранцем за плечами прыгает он на стены, как серна, с голодным брюхом дерется, как лев, на приступе! Нет для него гор непроходимых, нет крепостей неодолимых. Кто измерит их завоевания, сосчитает подвиги, оценит славу! — Кто?»

Русские офицеры и солдаты — смельчаки и храбрецы, но не только «лихие рубаки», в них много хорошей романтики и человеколюбия, веселости и иронии. Никто так увлекательно не рассказывает преданий, воспоминаний, анекдотов и разных историй, как русские офицеры у бивуачных огней. Среди военных имеются, конечно, и Скалозубы, но в большинстве своем русские офицеры — настоящие рыцари добра и чести, образованные люди, верные сыны отечества и великодушные граждане. Вообще, военный быт, общество военных, офицерский и солдатский артельный дух Бестужев ставит гораздо выше дворянской гостиной, светского общества. В этой открытой симпатии к передовым кругам русской армии, к участникам Отечественной войны 1812 года сказалась прежняя закоренелая декабристская любовь к армейской «священной артели». Для Бестужева офицерская артель — маленькая республика, где существует равенство и настоящая дружба.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СУЖДЕНИЯ ПОЗДНЕГО БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО

* * *

В 1833 году Александр Бестужев закончил четвертое по счету литературное обозрение, назвав его «О романе Н. Полевого «Клятва при гробе господнем»». ¹ Эта статья может служить прекрасным послесловием к бестужевским повестям и к декабристской литературе в целом.

Бестужев написал не статью о романе Н. Полевого, а трактат об искусстве, запоздалый манифест декабристского романтизма, в котором выразил свой взгляд на романтическую поэзию и исторический роман. И в этом трактате немало крылатых бестужевских афоризмов и эффектных выражений, быющих на оригинальность, но за всей этой внешней позолотой бестужевского стиля скрываются вполне законченные мысли и обобщения, чрезвычайно близкие основным положениям декабристской эстетики. Трактат 1833 года был итогом многолетних размышлений. Белинский нашел в нем «верное чувство изящного» и «увлекательное красноречие». «Оставляя в стороне ложность или поверхностность многих мыслей,— писал Белинский,— скажем, что многие светлые мысли, часто обнаруживающие верное чувство изящного, и все это, высказанное живо, пламенно, увлекательно, оригинально и остроумно,— составляют неотъ-

¹ «Московский телеграф», 1833, ч. 52, № 15 и № 16 (август), и ч. 53, № 17 и № 18 (сентябрь).

емлемую и важную заслугу Бестужева. Он был первый, сказавший в нашей литературе много нового, так что все, писавшееся потом в «Телеграфе», было повторением уже сказанного им в его литературных обозрениях. Лучшим доказательством этого служит его примечательная и — несмотря на отсутствие внутренней связи и последовательности, на неуместность толков о всякой всячине, не идущей к делу, несмотря на множество софизмов и явное пристрастие — прекрасная статья о «Клятве при гробе господнем». «Телеграф», во все время своего существования, ни на одну йоту не сказал больше сказанного Марлинским, и только разве отстал от него, обратившись к устаревшим мнениям, которые прежде сам преследовал. Да, Марлинский немного действовал, как критик, но много сделал, — его заслуги в этом отношении незабвенны...».

Ретроспективные элементы в этой последней статье постоянно дают себя знать. Бестужев не останавливается на второстепенном, он дает общую схему историко-литературного процесса и общую оценку литературных явлений, исходя из прежних декабристских критериев. Так он приветствует искусство эпохи Возрождения, видя в нем «незнаемую в древности стихию гражданственности». Носителями гражданственности в средние века были «вольные» города, «бодрое, смышленное народонаселение, которое породило так называемое среднее сословие». Среднее сословие, родившееся в эпоху «мятежей и распрей», «воспитало в своей касте и сохранило в своих сочинениях какую-то насмешливую досаду на вельмож и на дворян». «Изобретение пороха и книгопечатания добило старинное дворянство... Первый печатный лист был уже прокламация победы просвещенных разночинцев над невеждами-дворянчиками».

В то время как Италия имела Данте, когда в Испании был Кальдерон, заселивший сцену драмами, полными «огня и простоты», когда португальский поэт Камоэнс написал знаменитую «Лузиаду», а в Англии явился великий Шекспир, Франция «набивала колодки на дар Корнеля и рассиропливала Расина водою Тибра, с оршадом пополам». Именно во Франции была «посвойски» растолкована Аристотелева пиитика, и поэзия была поставлена на «точные ходули классицизма»: «Три

единства или смерти! Признавайтесь, исповедуете ли вы три единства?» Франция «замуровала свой ум в гробовые плиты классицизма». Такой резкий, но справедливый приговор французскому классицизму Бестужев произнес еще и потому, что, начиная с времен Елизаветы; «французская литература завалила матушку-Русь своими обломками и своими потомками». Бестужев пользуется случаем, чтобы напомнить о русском дворянстве, которое коснело в своем антипатриотизме и с полным равнодушием относилось ко всему отечественному, к лучшим надеждам России. Вот эта гневная обличительная тирада, направленная против одного из главных врагов декабристов:

«Краснея, как русский, упоминаю (вспоминать я, слава богу, не могу) про эту эпоху графинек и князьков, мушек и фижм, привозных романчиков в двенадцатую долю и связей на три часа, не имевших извинением ни любви, ни пыла, ничего, кроме моды,— связей, не посыпанных даже блестками французского остроумия!— эпоху, в которую городское дворянство наше так же усердно старалось выказать свою безнравственность, как в другое время ее прячут; в которую продажность гуляла везде без укора или скрывалась без труда! Довольно и через край золотили мы прошлый век свой — время наперекор нам съедает эту сусальную позолоту...»

Во французской литературе XVIII века далеко не все заслуживало порицания. Франция имела своих «национальных гениев». Мольер и Лафонтен «посреди всеобщего лицемерства и ползания умели сохранить искренность и смели говорить правду». Но эти гении во Франции «пошли за бесценнок». Вольтер тоже был «трибуном своего века, представителем своего народа». Вольтер — вольнодумец, «скептик», «насмешник», «остроумец», и в то же самое время — «гордый ползун» и «льстец», который «не только смеялся над людьми и богами, но льстил богу и людям». Вольтеру не хватало независимости и искренности, которыми в полной мере обладал Руссо. Бестужев называет Руссо «независимым чудачком». Руссо «создал своего человека, выдумал свое общество»; правда, он «заблудился в облаках, не достиг истины», он был «Дон-Кихот утопии», творец несбыточной

мечты, но все же он не желал жить по-старому, смело критиковал феодальное общество, первый сказал, что «мир может быть улучшен». Бестужев считает Руссо единственным представителем романтизма во Франции.

Бестужев рассматривает мировую литературу в свете декабристской теории романтизма и классицизма. Не случайно в трактате 1833 года содержится подробное изложение литературной полемики между классиками и романтиками. «Надо было видеть,— вспоминает Бестужев,— как востропел тогда старикашка-классицизм от дремы на своей кафедре, источенной червями. «К перу! к перу!» — возопиял он гласом великим и, наточив указку, потащился в бой с романтиками. Должно признаться, что бескровный бой этот был очень смешон. Старики не постигали древних; молодежь толковала о новых писателях понаслышке. Одни задыхались под ржавыми латами, другие не умели владеть своим духовным оружием». Борьба классиков и романтиков приобрела в России особенно ожесточенные формы еще и потому, что под их именем «сражались политические и религиозные партии». Русские романтики в этой борьбе одержали блестящую победу, хотя и сами недостаточно постигали, что такое романтизм. «Романтизм победил, идеализм победил, и где ж было воевать пудре с порохом»... Слово «романтизм» в двадцатые годы в России «раздалось выстрелом». «Мы,— говорит Бестужев от лица романтиков,— сбрасываем с себя классицизм, как истлевшую одежду мертвеца, в которую хотели нарядить нас». Напомним, что итог десятилетнему спору о классической и романтической поэзии в 1825 году подвел Рылеев, выдвинувший на первый план проблему самобытности и гражданственности. Бестужев снова дает понять, что декабристский романтизм — романтизм национальной ориентации, романтизм боевой, полный политического пафоса, самобытности.

В 1833 году Бестужев продолжает развивать именно это положение декабристской эстетики. Отсюда и бестужевские «романтики»: великий Шекспир — безусловно романтик и самый крупный романтик, Мольер и Лафонтен стоят в преддверии романтизма, они близки народности и гражданственности, «независимый чудак»

Руссо — тоже романтик. В Германии имелся свой романтизм, но только Шиллер усвоил «романтизм Шекспиров». В немецкой поэзии сложился особый романтизм, романтизм идеалистический, олицетворяющий «полуземную» Германию, «вечно колеблющуюся между картофелем и звездами, Германию, которой половина в пыли феодализма, а другая — в облаках отвлеченностей». Немецкому романтизму нехватало героического начала и подлинной народности. Немецкие романтики «вынули из человека душу и рассматривали ее отдельно от народной жизни». После Гете немецкая поэзия «заиграла на гудке сельскую песню, зафилософовала на старый лад с Гегелем, затянула с Уландом про что-то и нечто, превратилась в лепет засыпающего». Немецкий романтизм, романтизм мечтательный и туманный, был искусственно перенесен в русскую поэзию Жуковским. Под влиянием Жуковского в России появились «вялые певцы увялой души, утомительные певцы томности, близорукие певцы дали». Жуковский и его последователи хотели немецкому романтизму придать русский колорит, но из этого ничего не вышло, вместо народности — «собачий вой их баллад, страшных одною нелепостью; их бесы, пахнущие кренделями, а не серою». Вместе с «туманными образами» и «надеждами замогильными» в Россию переселился из «Англии-купчихи» не «романтизм Шекспиров», а всего лишь «гяуризм и дон-жуанизм», хандра и сплин.

В критике литературных школ и направлений первой четверти XIX века Бестужев ни на шаг не отступает от своих прежних убеждений, он завершает недосказанное и дополняет декабристские трактаты о романтизме внимательным обзором западноевропейской литературы.

Беспощаден Бестужев к Карамзину и его эпигонам. Если в «Полярной звезде» Бестужев Карамзина и критиковал и щадил, то в его последней статье нет никаких недомолвок. Карамзин «внушил в русских романтическую мечтательность и потом заставил их полюбить родную историю», но «романтическая мечтательность» была привезена из-за границы, а любовь к «родной истории» была слишком патриархальной, — Карамзин-историк «не думал о будущем и не справлялся с предыдущим».

Разоблачению дворянского сентиментализма посвящена страница в дневнике «Путь от города Кубы» (1834):

«Один плачет от страха, другой — от гнева, многие, но различно, от печали. Иной слушает с сухими глазами панихиду по отце и потом льет горькие слезы по своей лошади. Тот с бранью выталкивает из присутствия бедную сироту, умоляющую о правосудии, а вечером разливается слезами в театре над мнимыми несчастиями. Я видел одну чувствительную даму, которая чуть не оторвала мальчику ухо за то, что он не успел выхватить муху, попавшую в сеть паука; знал другую, которая отдала в солдаты своего кучера, зачем он на катанье по Невскому затоптал санями голубя». Плакать о погубленном голубе и не сожалеть об осиротевшей семье кучера, плакать о мухе, попавшей в сеть паука, и не замечать крепостного мальчика с оторванным ухом может только «шутиха жеманства».

Бестужев направляет удар в сторону сентиментальной литературы, чувствительной и лицемерной. «Каждый автор разливался чернильными слезами по бумаге, и все говорили не иначе, как со вздохом вместо запятых! Что ж из этого? Неужели мы устыдимся слезы истинного умиления, истинного раскаяния, потому что она была приманкою простоты или шутихою жеманства». Сентиментализму расслабленному, пассивному, реакционному по своей социальной природе Бестужев противопоставляет сентиментализм, идущий «от гнева», сентиментализм гражданский, основанный на радищевском учении о человеке. Бестужев всегда помнил, что Россия выдвинула Радищева, хотя и не называл своего великого предшественника по имени. Отсутствует в статьях Бестужева и сам термин «гражданский сентиментализм». Декабристы обычно говорили о «человеколюбии», «благоденствии» и «справедливости», о «вознаграждении невинно притесненных и угнетенных», о «священных обязанностях» и т. п. Но это и есть гражданский сентиментализм, или гуманизм. Бестужев напоминает, что XIX век в России «взошел не розовою зарею, а заревом военных пожаров». Современная Россия нуждалась не в «оханье над пустяками», а в героическом подвиге, в силе активной, способной постоять за интересы угнетенного народа. Не Карамзина, а Державина, Крылова и Пушкина следует считать «крестными отцами» новой русской литературы. Бестужев переносит в статью 1833 года декабристские

характеристики трех великих русских поэтов, известные нам по статьям в «Полярной звезде».

Державин: «И вдруг из этого моря миндального молока возник огнедышащий Державин и взбросил до звезд медь и пламя русского слова... Философ-поэт, он первый положил камень русского романтизма не только по духу, но и по дерзости образов, по новосте форм. Прочитав его «Ласточку», его оду «Бог», его оду «К счастью», его «Фелицу», «Вельможу», «Водопад» — и вы назовете их романтическими поэмами».

Крылов: «Один только самобытный, неподражаемый Крылов обновлял повременно и ум и язык русский во всей их народности. Только у него были они свежи собственным румянцем, удалы собственными силами. Он первый показал нам их без пыли древности, без французской фольги, без немецкого венка из незабудок. Мужички его — природные русские мужички; зверьки его с неподкрашенной остюю».

Пушкин: «Еще Русь отзывалась грустными напевами Жуковского, еще перед очами нашими носились туманные образы его поэзии, еще сердце теплилось его неземною любовью, его отрадными надеждами замогильными, когда блеснул Александр Пушкин, резвый, дерзкий Пушкин, почти ровесник своему веку и вполне родной своему народу. Овладев языком, овладеваем страстями до глубины души, он скоро мог сказать вниманию публики: «мое»... Сначала причудливый, как Потемкин, он бросал жемчуг свой в каждого встречного и поперечного; но, заплатив дань Лафору и Парни, раскланявшись с Дон-Жуаном, Пушкин сбросил долой плащ Байрона и в последних творениях явился горд и самобытен...»

Самобытен и народен — значит *романтик*. Державин «положил камень русского романтизма»; Крылов «самобытный, неподражаемый», Пушкин — «горд и самобытен». Иначе говоря: «Поэт в наш век не может не быть романтиком». Условность подобного определения романтизма совершенно очевидна. Бестужев ратовал за романтизм, а под романтизмом имел в виду прежде всего народность. Но в этом и состоит главная особенность декабристской трактовки романтизма.

Народная поэзия лишней раз доказывала, что «романтизм оперялся понемногу», что и фольклор по-своему романтичен и может служить надежным источником самобытной литературы. В трактат о романтизме Бестужев включает целое исследование о народной поэзии, уточняя свои прежние высказывания. Так во «Взгляде на старую и новую словесность в России» он впервые коснулся «одушевляющих песен», считая, что эти песни или гимны и есть основной «гений красноречия», «гражданин всех стран» и «ровесник всех возрастов народов». В статье о романе Н. Полевого делается важное уточнение, явившееся в результате пристальных наблюдений Бестужева над поэзией народов Сибири и Кавказа. Бестужев расширяет свой взгляд до «первобытной поэзии», которая «непременно зависит от климата», от природных и исторических условий. Нельзя, например, равнять поэзию народов крайнего севера с поэзией кавказских горцев, поэзию египтян, негров и индийцев, создававших свои первые песни в напряженной борьбе с «природой-мачехой», с поэзией древних греков, у которых поэзия находилась «в равновесии с силами природы». Бестужев неясно видел различие между первобытно-общинными отношениями и развитым родовым строем, слишком переоценивал географический фактор, влияние природных условий и т. п. Однако сама попытка разобраться в своеобразии первичных форм поэтического сознания у разных народов заслуживает внимания, она свидетельствует о глубочайшем интересе Бестужева к общественно-историческим источникам фольклора. В отличие от представителей западноевропейской фольклористики, чрезмерно преувеличивавшей теорию странствующих сюжетов, Бестужев говорит о важности местных географических и экономических условий. Бестужева интересовала прежде всего проблема самобытности в фольклоре. Отсюда его попытка разобраться в национальных особенностях обрядовой поэзии, постоянное напоминание о том, что и народная поэзия у разных народов имеет свои качественные своеобразия. «Так у кафра, палимого зноем, и у чукчи, дрожащего от мороза, у обоих, которым голодная смерть грозит ежедневно, — пишет Бестужев, —

первая поэзия, как первая религия, есть заклинание. Он через колдуна, через шамана старается умиловить злых духов или сковать их клятвами. Напротив, у скандинава, у кавказского горца, у араба, людей столько же гордых, как бедных, столько же свободных, как бесстрашных, у коих все зависит от самого себя, которые ничего в мире не знают выше собственных сил и отваги, поэзия есть песня самохваления. Прочтите вы саги Оссиана, Моаллаки; послушайте песен аварца или черкеса: это — вечная вариация местоимений «я» или «мы»; а «мы» значило у них — мой род, моя деревня, моя дружина. Грек уже горд народною славою: у него отечество — не одно свое селение; силы его в равновесии с силами природы; небо у него самое благорастворенное, и он, вдохновленный им, поет гимн: песню благодарности богам, песню торжества собственного. Но Египет, сожженный, закопченный солнцем Египет, который произведен и живет только милостыней Нила, или эта Индия — оба края, столь богатые драгоценностями и разами всех родов, где жизнь качается на острие гибели, — скажите, мог ли там человек, запуганный природою, начать поэзию песнею благодарности или торжества? Конечно, нет. Скорее всего, она была молитва, ибо индеец боготворит все и всего хочет, ибо все манит его, ибо завтра для него не существует. В Индии природа — мать и мачеха вместе для младенца-человека».

Если заклинания и гимны были первой степенью народного поэтического творчества, то «вторая несомненная степень поэзии есть эпопея», то есть народные предания о старине, «одетые в шумиху басни». Народная эпопея есть «поэма в истории», «история всех племен всегда начинается баснею, точно так же, как история всех народов должна заключиться нагою летописью». «Новички-народы» стремятся воспеть, облагородить своих предков; родоначальники их — «вечно или герои, или боги». Каждый народ имел свои эпопеи, но «имел в возрасте юношества, не иначе». «Вот почему так неудачны были все попытки во времена разума создать или повторить народную эпопею». В народном эпосе исторические и мифологические мотивы переплетаются, естественное превращается в сверхъестественное и наоборот, но «нравы и климаты дают обликам сих преданий разные характеры».

У народа воинственного возникают «гимны победные». Таким «гимном» у русских было знаменитое «Слово о полку Игореве», а также былевые эпические песни. Борьба с суровой природой, беспрестанные стычки с кочевниками и «войны междоусобий» воспитали в русском народе храбрость, развили «физические и нравственные силы», отважность и находчивость. Важные коррективы Бестужев вносит в характеристику поэзии русского средневековья. Если в своих ранних обозрениях критик был склонен считать, что владычество татар убило на Руси дух народной поэзии, прерывало «возвышенные песнопения старины русской», то теперь, в тридцатые годы, Бестужев отказывается от этого неверного утверждения: народ «мало изменился со времен Святослава, ибо татары и поляки мало имели дела с простолюдинами». Не только в России, но и в Европе и в Азии народное творчество не погасало даже в самые суровые годы истории. Крестовые походы, давшие «средство усилиться королям», в то же самое время способствовали пробуждению «в сердцах многих народов глухого чувства нетерпения к деспотизму совести, чувства зависти к церковным поместьям, выращенным потом их». В эпоху крестовых походов народная словесность «разбогатела восточными сказками, столь причудливыми, столь замысловатыми».

В свое время и Бестужев и Кюхельбекер, главные теоретики декабристского романтизма, признавали бесспорным то, что старинная народная поэзия является надежным источником самобытной литературы; что касается самостоятельного художественного и идейного значения фольклора, то эта проблема декабристов интересовала недостаточно. О значении для современности русской народной поэзии Бестужев отзывался в «Полярной звезде» совсем скептически, он признавал его только за «Словом о полку Игореве», все остальные «возвышенные песнопения старины русской» он считал безвозвратно исчезнувшими. Такое слишком категорическое заявление могло явиться в 1824 году, во-первых, от незнания народной поэзии и тех современных процессов, которые в ней происходили, и, во-вторых, от одностороннего взгляда на народную словесность, в которой Бестужев ценил и желал видеть исключительно «возвышенные песнопения», героические мотивы. В годы каторги

и ссылки декабристы, оглядываясь на прошлое, начинали понимать, что они в свое время недооценивали народ; эта недооценка касалась и эстетического наследия народа, народной поэзии. В статье 1833 года, написанной ровно через десять лет после «Взгляда на старую и новую словесность в России», Бестужев пришел к выводу, что русский народ всегда «верил чудесам, любил чудесное наравне со смешным, потому что первое золотило ему будущее, второе подслащало настоящее». «Каждый перекресток, — утверждает Бестужев, — имел тогда свою легенду, каждый пруд — своего духа, каждый лес — разбойника, каждая деревня — колдуна, каждый базар — сказочника. Чудесное бегало тогда по улицам босиком, приезжало из-за моря гостем, стучалось под окном посохом паломника. Оно совершалось наяву и во сне... Этнография, география, история — все тогда было сказка, а сказка значила повесть, потому что правда тогда была близнец выдумки». На этом не обрывается характеристика народной поэзии. Никогда еще Бестужев с таким воодушевлением и красноречием не писал о народных песнях и сказках. «Да, — продолжает Бестужев, — песня и сказка — душа русского народа: он веселится и горюет с песнею, засыпает под говор сказки. У князей были баяны, Ураны, Митусы; у черни — Кирши Даниловы, сказочники-слепцы, скоморохи, певцы, которые умели и растрогать и рассмешить до слез, все величать и все пародировать, — умели уколоть шуткою и князя, и боярина, и попа... Отличительная черта русского простолюдина, что он никогда не был изувером и не смешивал веры с служителями веры, благоговел перед ризою, но не перед рясою, и редкая смешная сказка или песня обходится у нас без попа или чернеца». В сказке «впервые простолюдины стали играть роли наравне с визирями и ханами». Фольклор романтичен именно потому, что народ воплотил в свою поэзию мечту о свободе, и эта мечта резко расходится с действительным положением, с реальной жизнью трудового народа. «И народ может быть любознателен, народ, который у себя водили они, — замечает Бестужев о дворянах, — в ошейниках, будто гончих, и ценили часто ниже гончих».

Бестужев отказывается от прежней своей концепции, в которой народная лирика не получила должного

признания. Если в ранних своих литературных обзорах, напечатанных в «Полярной звезде», критик утверждал, что в народных песнях «редко встречаются пылкие страсти и обилие мыслей», то теперь Бестужев не только говорит об обаятельной поэтической прелести русских народных сказок и песен, но и настойчиво проводит ту мысль, что «песня и сказка — душа русского народа», а простолоудин, выступающий часто в костюме шута, «шут-простолоудин», есть по-настоящему «народный трибун», который умеет «уколоть шуткою и князя, и боярина, и попа». Такой социальной характеристики народного певца и народной поэзии не знала ранее декабристская фольклористика.

Бестужеву принадлежит один из самых восторженных отзывов о народной поэзии:

«Божественная поэзия! Ангел-утешитель старины! Ты являлась везде, где только нужно было стереть слезу или дать сладость улыбке; ты одушевляла на добро и славу князей гуслими певцов; ты заставляла прыгать бедняг под липою гудком бродячего слепца; ты убаюкивала чудесною сказкою раба на пепле хижины, сожженной в двадцатый раз междуусобием, ты смешила голодных солдат своими прибаутками; ты бросала символы свои во все обряды важных случаев жизни, засыпала радужным песком крючковатое маранье (grimoire) приговоров; ты населяла даже запечье резвыми жильцами, давала голос бутылке шинкаря, песню — оковам узника, блеск — топору казни; ты была везде, украшала все; ты вила струны свои то из цепочки паникадила, то из тетивы, то из удавки. Простой народ почти всегда сохранял эту поэзию, но мы к ней только что возвращаемся, и слава богу! Лучше потолкаться у гор на масленице, чем зевать в обществе греческих богов или с потретами своих напудренных предков».

Это уже совсем близко пушкинскому пониманию народной поэзии. Фольклор воспринимался как истинно народное и самобытное искусство. Позднейшие бестужевские высказывания о народных песнях и сказках («песни и сказки — душа русского народа») свидетельствуют, что декабристская фольклористика не остановилась на 14 декабря 1825 года, она продолжала развиваться и обогащаться за счет вдумчивого отношения к народной жизни и новых фольклорно-этнографических наблюдений.

Бестужевская статья не только продолжала развивать декабристские идеи народности, но и ставила вопрос о недопустимости болгаринского «простонародничанья», шарлатанского отношения к историческому и народному преданию. Бестужев зло иронизирует над романистами типа Булгарина и Загоскина: «Искромсали Карамзина в лоскутки; доскреблись и до архивной пыли; обратили кругом изустное предание; не заваялась даже за печкой никакая сказка, ни присказка. Мало нам истории, принялись мы и за мораль». В исторических и нравоописательных романах тридцатых годов, в этих «куклах-самородках», есть все, начиная с русского кваса и квасного патриотизма, но нет самого главного: нет России и русского народа. Бестужев не желает тратить время на нравоописательные и нравственно-сатирические романы: «В утешение господ сочинителей их признаю, что прочесть иных не имел я случая, других не стало терпения дочесть, а многие, очень многие я вовсе читать не стану...» Это опять не в бровь, а в глаз Булгарину и Загоскину, которых постоянно «ободряло и огораживало» правительство. Бестужев считает своим долгом говорить серьезно только об исторических романах, поскольку «век романтизма» еще не кончился и «романтико-историческое» направление, начатое Рылеевым и самим Бестужевым, подвергается ревизии и искажается в угоду официальной народности. Историю России Булгарин и Загоскин превращают «во все, что вам угодно»: «она — то герой, то скоморох; она — Нибур и Видок через строчку». В исторических романах Булгарина и Загоскина нет истории, нет исторических судеб народа, нет ничего того, что хранилось «в памяти, в уме, на сердце народа». Булгарин «не постиг духа русского народа», в «Дмитрии Самозванце» он «недоглядел того, что не народ, а вельможи подкопали трон Годунова; что не любовь к Рюриковичам, а зависть бояр к власти недавнего товарища была причиной успехов Дмитрия». К тому же Булгарин «слишком романтизировал похождения своего героя и прибег к чудесному, очень уже изношенному, заставив колдунью пророчить Годунову самым пошлым образом над змеями и жабами, которых, между нами будь

сказано, не найти в марте месяце ни за какие деньги». Пушкин в своем «Борисе Годунове» воздвигал «пирамиду в пустыне нашей поэзии», а Булгарин изображал в своих романах «не Русь, а газетную Россию». В его «Петре Выжигине» историческая часть «вовсе чахоточная», об Отечественной войне 1812 года Булгарин распространял слухи, которым могли поверить «только на гостинном дворе», русских характеров в булгаринском романе не видно, «они теряются в возгласах или падают в карикатуру». Романы Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» и «Рославлев, или Русские в 1812 году» тоже не дают никакого понятия о национальной истории, о характере русского народа. О взгляде на события и говорить не приходится — везде «шапочное знакомство» и «чужеземная подделка». Словом, в романах Загоскина нет ничего поучительного и народного. «Неужели три, четыре черты составить смогут картину? — спрашивает Бестужев. — Неужели пара помещиков, да пары две офицеров, да один угол траншеи под Данцигом могут дать полное понятие о русских, о войне громового 1812 года? Помилуй бог!»

К историческому роману Бестужев предъявляет те же требования, что и к романтической поэзии. Русский исторический роман должен быть национально-самобытным и героическим, героическим потому, что «человек на Руси боролся с природою более жестокой, со врагами более ужасными, чем где-либо». Говоря о самобытности, Бестужев ставил в пример Вальтер-Скотта. Герои его романов — «живые люди, с их мелкими страстишками, с их повериями, с их обычаями, с любимыми их приговорками». Однако Вальтер-Скотт — «романтик по изложению, по форме». Но он не был «романтиком по предмету». Русская литература нуждается в «романтиках по предмету». Бестужева интересовала сама возможность «одеть историю в роман», но так «одеть», чтобы история не оборачивалась «златоперым рассказом Карамзина». История не всегда ходила «неслышно, будто кошка», она часто «буянила», «разбивала царства, ничтожила народы, бросала героев в прах, выводила в князи из грязи». Правда, народы после «тяжелого похмелья забывали вчерашние кровавые походы, и скоро история оборачивалась сказкою», но романист и на эту «сказку» должен посмотреть

«с. выси гор». Через «историко-романтические узоры» всегда просвечивается гражданская жизнь народа, из истории следует извлекать «светлые идеи», поучительные уроки для современности. В дневнике «Путь до города Кубы» Бестужев прямо пишет: «Дело в том, чтобы выследить развитие гражданственности у разных народов и... и...»

Бестужев не закончил своей мысли, ограничившись многоточием. Но и без окончания ясно, что основное назначение декабристского историзма состояло в «прослеживании развития гражданственности» и в доказательстве необходимости борьбы с тиранами, похитителями этой гражданской свободы. И историк и исторический романист обязаны «парить над веками», писать историю «по правде» — это не значит следовать за ней вслепую. Исторический роман не претендует на «портретное сходство местности», но он заставляет «подумать». Бестужев имел все основания сослаться на «думы» и поэмы Рылеева. В своем путевом дневнике в 1834 году он не мог этого сделать, поэтому он ограничился ссылкой на Плутарха и Вальтер-Скотта. «Мало правды в исторических лицах Вальтер-Скотта, но разве ее более в портретах Плутарха... В каждой книге самое интересное есть именно то, чего в ней нет, но о чем она заставит вас подумать; роман имеет это достоинство наравне с летописью». В жизнеописаниях Плутарха и в романах Вальтер-Скотта мало исторической правды, но этой правды нет и в «Истории государства Российского» Карамзина. Спор с Карамзиным продолжается. Условному карамзинскому историзму Бестужев противопоставляет столь же условный декабристский историзм. О Карамзине-историке Бестужев в 1831 году в письме к матери отзывался совсем резко: «Вы обвиняете меня, что я резок в критике. Я втрое пылче в похвалах. Никогда не любил я бабушку Карамзина, человека без всякой философии, который писал свою историю страницу за страницей, не думая о будущей и не справляясь с предыдущей. Он был пустозвон красноречивый, трудолюбивый, мелочный, скрывающий под шумихою сентенций чужих свою собственную ничтожность».¹

¹ «Русский вестник», 1870, июнь, стр. 506—507.

В основу русского исторического романа нельзя брать идейные концепции Карамзина. Пусть лучше мерку «исторических лиц» писатель-романтик ищет в народных преданиях, имеющих «достоинство наравне с летописью». Бестужев не случайно ставит в пример юродивых и шутов: «Еще есть у нас стихия, драгоценная для исторического романа: это — дураки и шуты. С тех пор как наугую правду выгнали из дворца за бесстыдство, — пишет Бестужев в статье о романе Н. Полевого, — она прикинулась баснею и шуткою, спряталась под ослиное седло, захрюкала, запела «жу-ка-ре-ку», покатила колесом, задомила набекрень дурацкую шапку и стала ввертывать свои укоры между хохота и ударов хлопущки... Шут был кривой проводник мнений народа ко власти и нередко проводник правосудия от власти к народу. Обличитель пороков, пересмешник недостатков, он не щадил ни гостей, ни хозяина и бичевал их намеками, не боясь бичеванья ремнями... Одним словом, шут-простолудин, приближенный к князю, был что-то похожее на народного трибуна в карикатуре». Мнением юродивых и шутов, этих народных дипломатов, нельзя пренебрегать, и сам Бестужев в своем художественном творчестве постоянно обращался к народному преданию, к народной молве.

Декабристский романтизм не отвергал реалистических элементов, правдивого изображения действительности, он вырос из национальной жизни и шел навстречу реализму. Именно декабристы развенчивали «ложную чувствительность» Карамзина и оторванную от жизни поэзию Жуковского. С другой стороны, они высоко ценили предреалистическую поэзию Державина, горячо приветствовали народность басен Крылова, с восхищением отзывались о поэзии Пушкина, о «Горе от ума» Грибоедова. Художественный реализм Пушкина и Грибоедова развивался в недрах декабристского общественного движения и многим был обязан декабристскому романтизму, декабристскому литературному движению. В свою очередь декабристская литература не менее обязана Пушкину и Грибоедову, их реалистическому искусству. В двадцатые годы грибоедовско-пушкинский реализм и декабристский романтизм часто сливались, дополняя друг друга.

СУДЬБА БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО

* * *

Восемь лет провел Бестужев на Кавказе, кочуя с места на место, как рядовой Кавказского отдельного корпуса, в солдатской шинели, с ранцем и с ружьем. Однообразная гарнизонная служба, выматывавшая последние силы, сменялась боевыми походами и вылазками. Бестужев любил боевые тревоги, он первым шел в бой, мужественно переносил удары судьбы, надеясь отличиться или найти смерть от пули. «Ей-богу, лучше пуля, чем жизнь, какую я веду», — писал он в письме к брату Павлу 19 августа 1835 года.¹

Буржуазно-дворянская историография и литературоведение сознательно искажали облик Бестужева-Марлинского, изображая декабриста после 14 декабря сломленным, потерявшим жажду к жизни и волю к борьбе. Но эта декабристская воля сказалась хотя бы и в том, что Бестужев желал себе лучше смерти, чем прозябания в удушливой николаевской России. Бестужев принадлежал к числу тех лучших и наиболее идейно стойких декабристов, которых не смогли сломить ни каторга, ни ссылка, ни окружающий гнет. Он жил воспоминанием о недавнем прошлом, это прошлое он высоко ценил и ему поклонялся. В пути из Сибири на Кавказ Бестужев узнал о смерти Грибоедова. По приезде в Тифлис он идет прежде всего на могилу «незабвенного» друга и плачет там «как дитя». За несколько месяцев до своей гибели Бестужев снова попадает в Тифлис, это было тогда, когда Россия потеряла Пушкина. На могиле убитого Александра

¹ «Отечественные записки», 1860, июль, стр. 49.

Грибоедова Александр Бестужев служит панихиду и о Грибоедове и об Александре Пушкине, «за убиенных бояр Александра и Александра». Вспоминает он и о Рылееве: «Вот трое погибли, и какую смертью все трое». ¹ В письме к брату Павлу он писал о посещении грибоедовской могилы: «Я не смыкал глаз всю ночь, и на заре я уже уехал по скверной дороге в монастырь св. Давида, который ты знаешь. Приехав туда, я зову священника и прошу его отслужить панихиду на могиле Грибоедова, могиле поэта, попираемой ногами толпы, без камня, без надписи. Я плакал тогда горькими слезами, как плачу теперь, над другом, над товарищем по оружию, над самим собой. И когда священник произнес слова: «за убиенных бояр Александра и Александра», я задыхался от рыдания — эта фраза казалась мне не только воспоминанием, но и предсказанием... Да, я чувствую это, моя смерть тоже будет насильственной, необычной и близкой». ²

Так декабристы после 14 декабря, Кюхельбекер в Сибири, Бестужев на Кавказе, оплакивали своих сверстников и друзей по общей борьбе с самодержавием, со словами дружеского привета провожали в последний путь Грибоедова и Пушкина, постоянно напоминали о Рылееве и пророчествовали о своей судьбе. Декабризм живет в воспоминаниях и в живых встречах с представителями декабристского движения, сосланными в Сибирь и на Кавказ.

Нельзя не сказать о тех исключительно тяжелых условиях, в которых приходилось жить и творить Бестужеву-Марлинскому. Полицейские агенты следили за каждым шагом ссыльных декабристов, вели «строгое и неусыпное наблюдение за тем, чтобы они не могли распространять между товарищами каких-либо вредных толков». ³

За Бестужевым следили вдвое, ибо он был «одарен талантом» и мог иметь большое влияние на молодых офицеров. Достаточно было Бестужеву осенью 1835 года встретиться в Пятигорске с В. М. Голицыным и С. И. Кривцовым, как граф Бенкендорф уже сообщал командир

¹ «Отечественные записки», 1860, июль, стр. 71.

² «Мир божий». 1902, сентябрь, стр. 279.

³ «Русская старина», 1903, № 6, стр. 484.

Кавказского отдельного корпуса барону Розену «высочайшее повеление»: «Государь император получил, частным образом, сведение о неблагонадежном расположении Бестужева, которому хотя не дает полной веры, но не менее того высочайше повелел, дабы внезапным образом осмотреть все вещи и бумаги Бестужева и о последующем донести». ¹ При обыске у больного Бестужева ничего подозрительного не обнаружили, но «пылкость характера, а особенно чрезмерное самолюбие, свойственное каждому литератору», были отмечены и поставлены в вину ссыльному декабристу. ² Преследования Бестужева продолжались до конца его жизни. Когда оренбургский генерал-губернатор В. А. Перовский обратился к Николаю I с просьбой перевести Александра Бестужева в Оренбург, где он мог бы быть использован для «статистического описания» края, «вешатель декабристов» ответил на просьбу губернатора: «Бестужева следует посылать не туда, где он может быть полезнее, а туда, где он может быть безвреднее». ³ На просьбу новороссийского генерал-губернатора М. С. Воронцова о переводе измученного лихорадкой Бестужева на гражданскую службу Николай I 28 сентября 1836 года наложил следующую резолюцию: «Мнение гр. Воронцова совершенно не основательно; не Бестужеву с пользою заниматься словесностью; он должен служить там, где сие возможно без вреда для службы. Перевести его можно, но в другой батальон». ⁴

Бестужев прекрасно понимал свое бесправное положение. В письме из Тифлиса от 3 мая 1834 года он предупредил К. Полевого: «Писавши ко мне, ограничьтесь, пожалуйста, одною словесностью: в нашем положении иногда отвечать приходится не только за то, что сам пишешь, но и что нам пишут». ⁵ Вот еще одно письмо из Дербента, датированное 21 февраля 1834 года (к Булгарину): «Но талант мой убит в три доли, ибо я не знаю,

¹ «Отечественные записки», 1860, июль, стр. 51—52.

² «Русская старина», 1880, кн. 10, стр. 418—420.

³ А. Е. Розен. Записки декабриста. СПб., 1907, стр. 245.

⁴ П. Е. Щеголев. Из резолюций имп. Николая I о декабристах — «Голос минувшего», 1913, ноябрь, стр. 199. См. также Г. В. Прохоров. «Неопубликованное письмо А. А. Бестужева-Марлинского» — «Звезда», 1931, № 3.

⁵ «Русский вестник», 1861, № 4, стр. 457.

что писать? Свет далек, историческое невозможно в этой глуши. Цензура пугает меня, а мелочи службы съедают досуг. Смею думать положительно, что я более принес бы пользы как писатель, чем как гарнизонный солдат, но царь далеко, а бог высоко — терплю больно, но безропотно. Хоть бы дали мне подраться да поглядеть Кавказ — и того нет, я прикован к одной скале». ¹ Двумя годами ранее, 15 марта 1832 года, Бестужев писал из Дербента: «Что могу я предпринять без книг, без библиотек, без архивов, без местностей?.. О, нигде в мире не хотел бы я родиться, кроме России, и ее-то должен я стараться забыть, потопясь в Лете. И в ней-то нашел для себя я камни темницы, но не найду камня для гробницы... Коршуны Кавказа развеют крыльями прах изгнанника». ² Нужно удивляться не тому, что Бестужев-Марлинский в своих романтических повестях, предназначенных для журналов Полевого и Греча, обошел открыто декабристские сюжеты, а тому, что и в подцензурной печати он сумел остаться верным декабристскому романтизму и постоянно напоминать о сильных характерах и бурных чувствах. В тридцатые годы Бестужев-Марлинский не прямо касается политических вопросов, он более осторожно пользуется намеками на современность. И все же декабризм живет в его повестях. Через всю сибирскую ссылку и тяжелую солдатскую жизнь на Кавказе Бестужев-Марлинский пронес нетронутыми основные идеи декабризма и в меру возможности, стесненный постоянными гонениями и цензурой, в своем художественном творчестве продолжал литературное дело декабристов.

* * *

Александр Бестужев мечтал написать роман о поэте, гибнувшем от чумы в пору расцвета своих дарований. «О, если бы судьба дала мне хоть один не отравленный людскою злобою год, — писал Бестужев 5 апреля 1833 года Николаю Полевому, — чтоб я мог попробовать крылья свои, не спутанные в цепи! А то едва я попынулся

¹ «Русская старина», 1901, № 2, стр. 404.

² Там же, стр. 400.

было на дельную вещь (роман), судьба одела меня грозною тучею. Я не имею ясности духа вылить на бумагу, что кипит в душе, но это пройдет, и я пришлю к вам отрывок, в коем изображу поэта, гибнущего от чумы, поэта, который сознает свой дар и видит смерть, готовую поглотить его невысказанные поэмы, его исполинские грезы, его причудливые видения горячки. Пусть не поймут меня, но я буду смел в этих безумствах».¹

Жизнь и судьба самого Бестужева — сюжет для такого романа. Талантливый русский писатель и видный декабристский деятель погиб от самой страшной чумы, от самой тяжелой пытки — его уничтожало самодержавие постепенно. В письме Бестужева к Ксенофону Полевому, написанном 9 марта 1833 года, ровно за месяц до цитированного выше письма о трагической участи поэта, содержится готовая канва для романа, для романа безысходно трагического, как судьба самого Бестужева. Вот этот набросок не написанного Бестужевым романа:

«О, сколько высоких блестящих ступеней остается мне, чтобы только выйти из посредственности, не говорю достигнуть совершенства!.. Надобно лететь, парить, чтобы сблизиться с этим солнцем, а у меня восковые крылья, а у меня сердце на чугунной цепи, а у меня руки прибиты гвоздями судьбы неумолимой, неуголимой. О, если бы вы знали, как жестоко гонит меня злоба людская, — вы бы не похвалы сыпали на меня, а со мной пролили бы слезы... Мне бы было легче. Не даром, но долей похож я на Байрона. Чего не клеветали на него? В чем его не подозревали? То и со мною. Самые несчастья мои для иных кажутся преступлениями. Чисто мое сердце, но голова моя очернена опалой и клеветою!»²

Это, конечно, не отрывок из романа, но почти готовый сюжет. Судьба Бестужева была трагична и жестока. 7 июня 1837 года знаменитый Бестужев-Марлинский погиб от пули в схватке с черкесами у мыса Адлер. Генерал Вольховский, как об этом рассказывает отставной капитан Ф. Д. К., говорил Бестужеву, вышедшему первым в цепь стрелков: «Что вы делаете, Александр Александрович! Отличиться или умереть вы всегда и везде

¹ «Русский вестник», 1861, апрель, стр. 439.

² Там же, стр. 434—435.

успеете, чего же вы теперь-то лезете на явную смерть? Ваша жизнь дорога для России...»¹ Бестужев ответил на эти слова генерала: «Нет, найдутся люди, что и порадуются моей смерти». Николай I и его временщики были рады гибели декабриста Бестужева, это они его обрекли на явную смерть. Но Россия революционная, которой так верно служил Бестужев-Марлинский, навсегда сохранила память о соратнике Рылеева, талантливом декабристском писателе, погибшем в один год с Пушкиным. А. И. Герцен в статье «О развитии революционных идей в России» помянул Бестужева вместе с Рылеевым, Пушкиным, Грибоедовым, Лермонтовым и Белинским, с этими замечательными деятелями русской литературы:

«Ужасная, черная судьба выпадает у нас на долю всякого, кто осмелится поднять голову выше уровня, начертанного императорским скипетром; поэта, гражданина, мыслителя неумолимый рок толкает в могилу. История нашей литературы — или мартиролог, или регистр каторги. Даже те, которых правительство пощадило, погибают, едва распустившись, спеша оставить жизнь...

«*Рылеев* повешен Николаем.

«*Пушкин* убит на дуэли тридцати восьми лет.

«*Грибоедов* зарезан в Тегеране.

«*Лермонтов* убит на дуэли тридцати лет, на Кавказе.

«*Веневитинов* убит обществом двадцати двух лет.

«*Кольцов* убит своей семьей тридцати трех лет.

«*Белинский* убит тридцати пяти лет голодом и нищетой.

«*Полежаев* умер в военном госпитале, после службы солдатом на Кавказе в течение восьми лет.

«*Баратынский* умер после двенадцатилетней ссылки.

«*Бестужев* умер на Кавказе совсем еще молодым, после каторжных работ в Сибири».

¹ «Русский вестник», 1870, июнь, стр. 79—85.

Почти двадцать лет (1818—1837) Александр Бестужев писал очерки, рассказы и повести, постоянно сотрудничал в журналах и альманахах, практически участвовал в создании молодой русской прозы. Путь этот отмечен такими важнейшими событиями, как дружба с Рылеевым, вступление в Северное общество, активное участие в декабрьском восстании 1825 года, пережитая трагедия неудавшегося восстания, ссылка в Сибирь и тяжелая солдатская служба на Кавказе.

Проза Бестужева-Марлинского всегда привлекала внимание критиков и историков литературы. Но это внимание было приковано к так называемому «марлинизму», к своеобразиям бестужевского литературного стиля. На любовь Бестужева к стилистической чрезмерности и выпренности, на бестужевское эксцентричное слово не однажды очень резко указывал Белинский. Называя в «Литературных мечтаниях» Бестужева-Марлинского «одним из самых примечательнейших наших литераторов», Белинский еще тогда, в 1834 году, отмечал отсутствие простоты и естественности в его романтических повестях: в них «более фраз, чем мыслей, более риторических возгласов, чем выражений чувства». В специальной статье, посвященной выходу в свет полного посмертного собрания сочинений Марлинского (1850), Белинский назвал талант Бестужева слишком «внешним»: «Это поэзия, но поэзия не мысли, а блестящих слов, не чувства, но лихорадочной страсти; это талант, но талант чисто *внешний*, не из мысли создающий образы, а из материи выделяющий красивые вещи».

Белинский нападал на бестужевскую фразистость, осуждал стилистические излишества и манерность, но для

него было ясно и то, что в повестях Бестужева-Марлинского «блестящая риторическая мишура», любовь к словесному орнаменту, к блеску не имеет никакого отношения к Карамзину, принципиально отлична от гладкой карамзинской речи. Все эти стилистические особенности принадлежат исключительно Марлинскому и составляют его своеобразие. Не «завивал и кудрявил» Бестужев речь карамзинскую, а создавал свой стиль, противоположный гладкому и вялому стилю Карамзина, отказываясь от карамзинского принципа «приятности» в лексике и стилистике. Основа карамзинской прозы — идиллическая, пасторальная; основа бестужевской прозы — риторический, метафорический стиль торжественных речей, рассчитанных на сильный эффект и громкую усложненную фразу. Бестужев не просто «кудрявил», а сражался с Карамзиным, с его сентиментальной манерностью и витиеватостью. Белинский видел своеобразие Бестужева-Марлинского и в своем отзыве 1847 года писал о нем:

«Первые его повести и рассказы были необыкновенным явлением в русской литературе того времени. Они так не походили на прежние опыты в этом роде, так были новы, свежи, оригинальны и отличались такой, в сравнении с ними, естественностью и натуральностью, что в то время никто не мог заметить фразистости их выражения, мелодраматизма их содержания, преобладания внешнего и блестящего над внутренним и спокойно прекрасным...»

Белинский был свидетелем громкой славы Марлинского и постепенного ее погасания. Известность Бестужева-Марлинского росла в тридцатые годы «с чудовищной быстротой». Но это была не та слава, которую заслужил Бестужев-декабрист. Назвав первые повести и рассказы Бестужева-Марлинского «необыкновенным явлением в русской литературе того времени», Белинский в своем отзыве 1847 года подвел итог его литературной деятельности, противопоставив ему Гоголя, который нанес «страшный удар всему риторическому, блестящему снаружи, эффектному»: «Литература и вкус публики приняли новое направление. Все это оказалось вдруг, неожиданно. Марлинский, доселе шедший, повидимому, впереди всех, вдруг очутился позади». Отвергая романтический стиль бестужевских повестей, Белинский тем самым отстаивал реалистическое направление в русской литера-

туре и окончательно развенчивал многочисленных подражателей и вульгаризаторов Марлинского. Великий критик-демократ не собирался умалять заслуг Бестужева-Марлинского и в том же отзыве 1847 года отмечал, что «Марлинский навсегда останется замечательным лицом в истории русской литературы». Оценка бестужевского стиля, данная Белинским, до сих пор остается единственно верной, но это не значит, что она не требует уточнения и развития.

Несколько бравируя, Бестужев писал о своем слогe: «Перо мое — смычок самовольный, помело ведьмы, конь наездника. Да: верхом на пере я вольный казак, я могу рыскать по бумаге, без заповеди, куда глаза глядят. Я так и делаю: бросаю повод и не оглядываюсь назад, не рассчитываю, что впереди. Знать не хочу, заметает ли ветер след мой, прям или узорен след мой. Перепрынул через ограду, переплыл за реку — хорошо; не удалось — тоже хорошо. Я доволен уже тем, что наскакался по простору, целиком, до устали» («Мореход Никитин»). В письме к брату Павлу, отвечая на не дошедшие до нас критические суждения Николая Бестужева, он писал из Дербента 13 декабря 1833 года о своих «блестках»: «Николай все критикует меня и, право, напрасно: в подражании другим не виноват я. А что касается блесков, это я живой: как хотят, чтоб автор не был собою на письме? переиначьте мой слог, вы ошиплете его, вы окастратите его».¹ Бестужев не только не отрицал своего «огненного наречия», вычурности отдельных выражений, риторической приподнятости и сложной метафоричности повествования, но и считал, что в этом «наречии» весь он, его родная стихия, его слог и почерк.² С точки зрения

¹ «Отечественные записки», 1860, т. 130, май, стр. 332.

² «Огненное наречие» — не только стиль бестужевских повестей, но и жизненный стиль самого Бестужева. Это был человек страстного темперамента, эксцентричный, необузданный в своих порывах. В письме к брату Павлу он писал 20 мая 1837 года, за семнадцать дней до трагической гибели у мыса Адлер, о своем пылком характере: «Странно, что делаешь удивительно-вопросительные знаки о моем войнобесии... Рада бы курочка на стол нейти, да за хохол волокут; а раз в поле — я, как пьяница на пиру, не стерплю, чтобы не погулять. Чуть выстрел — у меня вся кровь кипит, и след или не след мне быть под пулями, я уж верно нырну в перестрелку» (там же, т. 131, июль, стр. 77).

Бестужева такая стилистическая манера была вполне оправдана, она брала свое начало в декабристской поэтической культуре, в сознательной ориентации на красочные световые и зрительные образы, на высокий «стиль», язык приподнятый, торжественно-приподнятый и порывисто-громкий, как в декабристской оде и трагедии. О языке бестужевских повестей Белинский сказал прекрасно: «Их язык риторический, вроде монологов классической трагедии». Бестужев перенес в романтическую прозу стилистические приемы декабристской поэзии, декабристскую патетику и витийственность, приподнятость слова и образа, стилистические принципы романтической поэмы. Исследователь творчества Бестужева-Марлинского Н. Л. Степанов правильно отмечает эту органическую связь между бестужевской прозой и стиховой культурой двадцатых годов: «Проза Марлинского по своим стилевым принципам связана со стиховой культурой 20-х годов, в первую очередь с романтической поэмой. Эта близость к стиху сказывается не только в ритмизации ее интонационно-синтаксического строя, но и в поэтизации языка, в страсти к метафоризации». Патетические речи бестужевских героев часто звучат слишком риторически и напыщенно, местами почти парадоксально, совсем не в духе прозаического повествования. Но и страсти к метафоризации и искусственная декламационность не есть ли своеобразный декабристский прием, рассчитанный на затемнение подлинного смысла его повестей? Если бы Бестужев «верхом на пере» преследовал цели исключительно формальные — «кудрявость, блески», словесную мозаику, разговорное остроумие и т. п., то заслуги его перед декабристской литературой были бы невелики.

Проблему бестужевского стиля никак нельзя решать изолированно от общего содержания его творчества, от идейной проблематики повестей и рассказов.

Бестужевские герои всегда и всюду — у себя в поместье («Испытание»), на кладбище («Вечер на Кавказских водах», «Страшное гадание»), на поле боя, во время отдыха, среди полевых огней («Роман и Ольга», «Наезд», «Вечер на бивуаке», «Латник», «Листок из дневника гвардейского офицера», «Подвиг Овечкина и Щербины на Кавказе»), в борьбе и в дружбе с горцами («Мулла-Нур», «Аммалат-Бек», «Письма из Дагестана»),

в рыцарских поединках («Ревельский турнир», «Замок Эйзен»), на суше и в море («Лейтенант Белозор», «Фрегат «Надежда», «Мореход Никитин») — воспитывают в себе силу и закаляют волю, они всегда в движении, в борьбе, им не свойственна вялость, физическая и душевная усталость, тоска и апатия. В декабристской прозе Бестужева мы видим те же героические фабулы, что и в поэзии Рылеева, Кюхельбекера и Одоевского. Тихим, спокойным, созерцательным фабулам сентиментальных повестей карамзинистов противостоят бестужевские напряженные композиции и волевые характеры; в декабристской прозе происходила та же самая борьба за героическую личность, за драматический сюжет, за героическую фабулу, что и в поэзии, в «думах» и в поэмах Рылеева. Бестужев проводит своих героев через тяжелые испытания, бестужевским героям не до отдыха, не до спокойного сна, их стерегут неожиданности, преследуют опасности, они всегда должны быть начеку, готовыми к схватке с противником, к преодолению препятствий, к защите родной земли и к мщению за поруганную честь. Такое же напряжение чувствуется в гражданских стихотворениях Рылеева и Кюхельбекера, декабристский лирический герой поглощен размышлениями о судьбах земных владык, о назначении борцов-пророков; декабристская лирика тоже не терпит покоя, она всегда готова служить «общественному благу». О сильных страстях и бурных переживаниях, о событиях необыкновенных, полных борьбы и драматизма, нельзя было писать прозой мерной, гладкой, не прибегая к патетико-эмоциональным «взрывам», к аффектации речи героев. Повести Бестужева свидетельствуют также и о том, что автор их любил не только сильных людей, но и величественную и энергичную природу, разбушевавшуюся стихию, грозное море во время шторма, горы и орлиные гнезда. Пейзаж Бестужева живописен, динамичен и порывист.

Мелодраматические эффекты, внешняя занимательность сюжета и стилистический орнамент — одна из сторон бестужевского творчества, но отнюдь не главная. Упускали содержание творчества Бестужева: особый взгляд Бестужева на Россию, Сибирь и Кавказ, на народы, населяющие Россию с ее окраинами, ироническую

трактовку светского общества, культ героической личности и действенной жизни.

Художественная проза Бестужева-Марлинского имеет под собой твердый грунт — исторический, бытовой, этнографический, политический. Совершенно неправильно обычное представление о Марлинском как о беспредметном авторе, расточавшем свои силы на декламацию и риторiku. В художественной прозе Марлинского мы видим и предметное богатство и очень широкий идейный кругозор. Бестужев-Марлинский писал свои повести «не зря», повествования ради: его творчество служило пропаганде излюбленных идей декабристов, углубляло познание России, жизни народов России, проповедовало дружбу народов, связанных с Россией общей исторической судьбой. Если Марлинский по истокам своего творчества предметен, материален, если по цели своего творчества он революционно-публицистичен, то в этом еще нет причины снимать с него звание романтика. Известно, что романтики, в любом своем направлении в той или иной степени и весьма по-своему, но отталкивались от реальной действительности. Следует говорить об особом характере декабристского романтизма. Действительность, к которой восходит романтизм Бестужева-Марлинского, совсем иная, нежели у романтиков типа Жуковского и его последователей. По своему составу и идейной природе декабристский романтизм является революционно-просветительским романтизмом, и заинтересованность декабристских романтиков в явлениях реальной жизни гораздо более интенсивна, чем у романтиков другого склада.

Творчество Бестужева-Марлинского в тридцатые годы органически связано с декабристской традицией, оно является продолжением этой традиции в новых условиях. Основная методологическая ошибка историков литературы, писавших о Бестужеве-Марлинском, состоит именно в том, что они не замечали органического единства между ранним Бестужевым и поздним Марлинским. И после 1825 года, после поражения декабристов, Бестужев-писатель целиком находится во власти недавнего прошлого, декабристских настроений, сюжетов и тем; его последекабрьское творчество завершает не завершенные ранее замыслы, прерванные 14 декабря. Бестужев как бы восстанавливает в своей памяти те сюжеты, которые волно-

вали его в годы декабристского движения и которые не утратили своего значения сейчас, в годы подневольной жизни.

Творчество Бестужева-Марлинского после декабря значительно еще и потому, что оно открыто и непосредственно участвовало в литературной жизни последнедекабрьского периода: Бестужева-Марлинского печатали, и его популярность была огромной. Только то обстоятельство, что Бестужев-Марлинский чересчур подчеркивал свою литературную манеру, чересчур задевал внимание своим словесным слогом, только это обстоятельство может объяснить нам, почему историки литературы почти пропускали декабристское содержание его позднего творчества,— они вообще не видели в нем содержания, а в иных случаях и не хотели видеть,— мы говорим о литературоведах, равнодушных или враждебных к общественному содержанию литературы; для них Бестужев-Марлинский казался находкой, но они все сводили к его вызывающей литературной манере и в ней усматривали суть его литературного дела. В письме к брату Павлу от 22 марта 1834 года Бестужев-Марлинский писал по поводу своих критиков: «Надо было главное смотреть на дух, а не на слог». Если следовать этому пожеланию Бестужева, то его творчество окажется не в пример более содержательным, связанным с жизнью, с Россией, с политическими и общественными идеями декабристов, чем это кажется взгляду, не проникающему глубже словесной поверхности произведений Бестужева-Марлинского.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Предисловие	3
-----------------------	---

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Из истории декабристского литературного движения

Литература «путешествий»	13
Письма и записки об Отечественной войне 1812 года	60
«Письма» Федора Глинки и И. М. Муравьева-Апостола	78
1812 год и начало борьбы за самобытную литературу	106
Дневники и записки	126
В «учёной республике»	151
О политическом красноречии	167
Народная молва и агитационные песни Рылеева и Бестужева	180
Декабристы в борьбе за самобытную и гражданскую литературу	197
Еще о политическом красноречии и декабристских воззваниях	234

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Творчество Александра Бестужева-Марлинского

Бестужев-критик	249
Путешествие в Ревель	290
Новгородская повесть	305
Ливонские повести	312
Повесть «Замок Эйзен» («Кровь за кровь»)	323
Творчество Бестужевых в годы сибирской ссылки	336

Повести о людях и страстях. Народная фантастика в повестях Бестужева-Марлинского	371
Светские повести	389
Спор с Пушкиным	406
Повесть о замке на Каме	419
Повесть об архангельских мореходах	436
Кавказские повести и рассказы	450
Литературные суждения позднего Бестужева-Мар- линского	497
Судьба Бестужева-Марлинского	513

Редактор П. А. Сидоров
Художник И. В. Варзар
Художественный редактор
А. М. Гайденков
Технический редактор
Л. П. Крючкина
Корректор Э. С. Урицкая

Подписано к печати 19/ХП 1963 г.
М-55322. Тираж 20 000 экз.
Бумага 84×108^{1/2} = 8,25 бум. л.—
27,06 печ. л. Учетно-изд. л. 27,93.
Заказ № 1368. Цена 13 р. 15 к.

2-я тип. им. К. Е. Ворошилова
УВИ МО СССР